ISSN 0130-6545

8. 1995

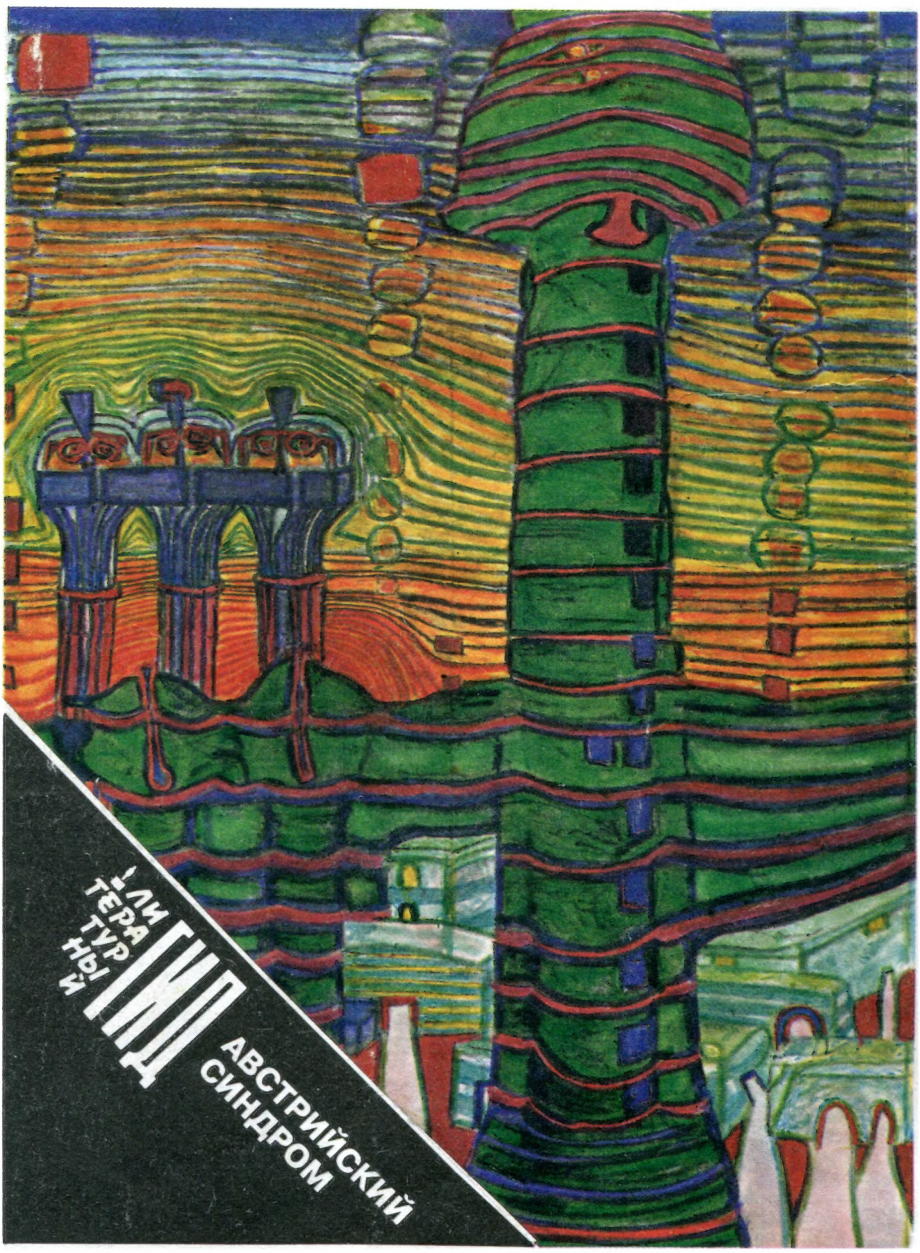
Иностранная литература

В номере:

ЙОЗЕФ РОТ
Иов

ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ
Рассказы

Журнал «МАНУСКРИПТЫ»



"ИЛ" в1996 году

План следующего года составлен нами еще далеко не полностью - редакция ждет подведения итогов литературного года, ставя себе задачу максимально сократить временной разрыв между выходом произведения на языке оригинала и появлением русского перевода на страницах «ИЛ». К сожалению, приходится помнить и о литературных пиратах, использующих наши анонсы в качестве бесплатного источника информации. Поэтому сейчас мы можем назвать лишь некоторые из произведений, по поводу которых журнал ведет переговоры с правообладателями:

Последний роман американца **ЧАРЛЬЗА БУКОВСКИ «Макулатура»**

Роман француза **ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЭРА «Билет в один конец»** (*Гонкуровская премия 1994 года*)

Пьеса англичанина **ТОМА СТОППАРДА «Аркадия»** (*признана в США лучшей пьесой 1995 года*)

Новый роман чеха **МИЛАНА КУНДЕРЫ «Медлительность»**

Знаменитый роман аргентинца **АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕСА «Война со свиньями»**

Автобиографическая книга испанца **ХОРХЕ СЕМПРУНА «Писательство и жизнь»**

Новый роман американца **ТИМА О'БРАЙЕНА «На Лесном озере»**

Документальная повесть китаянки **АНЧИ МИН «Красная азалия»**

В рубрике №В мы познакомим читателей с творчеством **СЕЙСА НОТЕБУМА, ПОЛА ОСТЕРА и ТОМАСА ПИНЧОНА**

Будет продолжена авторская рубрика **ПЕТРА ВАЙЛЯ** «ГЕНИЙ МЕСТА»

В рубрике «ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ» мы представим портреты **БРУНО ШУЛЬЦА, ПАУЛЯ ЦЕЛАНА, ХУЛИО КОРТАСАРА, СТАНИСЛАВА ИГНАЦЫ ВИТКЕВИЧА**

АЛЕКСАНДР ГЕНИС пришлет нам рукопись своей новой книги о современной культуре.

В фокусе нашего внимания живой литературный процесс - самые яркие имена, самые заметные произведения, удостоенные престижных премий, попавшие в списки бестселлеров, вызвавшие повышенный интерес критики.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи. А тем, кто имеет возможность получать номера в редакции, советуем подписаться прямо у нас - это надежнее и намного дешевле.

Подписка в редакции будет производиться *с 1 сентября до 1 декабря ежедневно с 12 до 18 часов, кроме пятницы и выходных.*

Адрес редакции: Пятницкая улица, дом 41 (метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская»), телефон 233 -51-47.

Где бы Вы ни жили, подписавшись на "ИЛ", Вы окажетесь в самом центре литературной жизни современного мира.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 29 570 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.

ЭТОТ НОМЕР ВЫПУЩЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ АВСТРИИ И МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АВСТРИИ

Главный редактор
А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н.Я. КАЗАРЦЕВА — заведующая отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, И.А. БРОДСКИЙ, П.Л. ВАЙЛЬ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК, Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ, М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
ЭРВЕ БАЗЕН, КРИСТА ВОЛЬФ,
ТОНИНО ГУЭРРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

8 август 1995

СОДЕРЖАНИЕ

УРШУЛЯ КОЗЕЛ — Стихи (*Перевод с польского и вступление Н.Астафьевой*) 5
УМБЕРТО ЭКО — Маятник Фуко (*Роман. Продолжение. Перевод с итальянского Е. Костюкович*) 12

№

ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ

ДМИТРИЙ СТАХОВ — Личный ад Чарльза Буковски 73
АЛЕКСАНДР ГЕНИС — Уроки пламенного равнодушия 75
ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ — Рассказы (*Перевод с английского Виктора Голышева, Василия Голышева, Виктора Когана*) 78

Литературный гид

АВСТРИЙСКИЙ СИНДРОМ

Д. ЗАТОНСКИЙ — «Эта гротескная Австрия...» 114
ЙОЗЕФ РОТ — Иов (*Роман. Перевод Юрия Архипова*) 123
ИЛЬЗА БРЕМ — Стихи (*Перевод Г.Ратгауза, Д. Павлова. Вступление Г.Ратгауза*) 190
КРИСТОФ РАНСМАЙР — Убийство (*Отрывок из романа. Перевод Н. Федоровой*) 194
КАРЛ ЛЮБОМИРСКИЙ — «Голубой цветок на обочине...» (*Стихи. Перевод Е. Соколовой, В. Агафоновой, В. Вебера. Вступление Вальдемара Вебера*) 198
ХАЙМИТО ФОН ДОДЕРЕР — Очень короткие истории (*Перевод Э. Венгеровой*) 202

Литературная пресса мира

«Манускрипты» (*Вступление и перевод Н. Васильевой*) 205

ЙОРГ МАУТЕ — Венские правила хорошего тона (*Перевод И. Ланина*) 230
АЛЬБЕРТ КАРЕЛЬСКИЙ — Лекция о творчестве Франца Кафки 241

К нашим иллюстрациям

О. ХЛЕБНИКОВА — Картины, растущие словно деревья 249

Австрийская литература на страницах «ИЛ» 251

Курьер «ИЛ» 252

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1995

В следующем номере «ИЛ»

Повесть французской писательницы ЭММАНУЭЛЬ БЕРНХАЙМ **«Его жена»**, удостоенная в 1993 г. премии Медичи, новелла албанского писателя ИСМАИЛЯ КАДАРЭ **«Великая Стена»**, стихи СТЕФАНА ХЕРМЛИНА и РИЧАРДА ОЛДИНГТОНА.

Тема «Литературного гида» номера — новая шведская литература. В него войдут автобиографическая повесть ИНГМАРА БЕРГМАНА **«Воскресный ребенок»** (1993), которая еще раз блестяще подтвердила, что Ингмар Бергман не только великий режиссер, но и прекрасный писатель, а также стихи выдающегося поэта ТУМАСА ТРАНСТРЁМЕРА, новеллы ЛАРСА ГУСТАФССОНА, МАРГАРЕТ ЭКСТРЁМ, ТОРГНИ ЛИНДГРЕНА.

«Вертикально неординарный афро-американец с животным-товарищем...» — что это? Читайте статью ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ и **«Политически корректные сказки на сон грядущий»** ДЖЕЙМСА ФИННА ГАРНЕРА, которые вот уже больше года находятся в списке бестселлеров в США.

Цветные иллюстрации номера — работы австрийского художника Фридриха Хундертвассера:
На 1-й стр.обложки — Конец Греции.
На 2-й стр.обложки — Кунстхаус, Вена.
На 3-й стр.обложки — варианты цветовых решений плаката

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 17.07.95. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.

Бумага типографская. Усл. печ. л.22,4 Усл. кр.-отт. 23,9. Уч.-изд. л. 25,37 Заказ №924

Тираж 29 570 экз. Цена по подписке 10 000р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

УРШУЛЯ КОЗЕЛ

Стихи

Перевод с польского НАТАЛЬИ АСТАФЬЕВОЙ

От переводчика

В галерее польских поэтесс XX века, которых мне удалось представить русскому читателю, не было Уршули Ко́зел. Не по моей вине. Еще в середине семидесятых годов я перевела несколько ее стихотворений, но напечатать их тогда не довелось: она была в «черном списке».

С Уршулей Козел я познакомилась в 1975-м в Варшаве, встречалась с ней там и позже, а в 1986-м заглянула и во Вроцлав, где она живет. В вечер нашего приезда она и Тадеуш Ружевич сидели с нами в артистическом кафе. В театральной среде Вроцлава она, как и Ружевич, — свой человек. С композицией по ее стихам «В ритме солнца» вроцлавский студенческий театр «Каламбур» вместе с автором объездил всю Европу, выступал в США и Канаде.

Первая книга Уршули Козел вышла в 1963-м. Один из рецензентов назвал этот дебют «сенсационным». Сенсационность менее всего вяжется с ее именем. Скорее основательность. «Честная поэтическая работа», как выразился в статье о ней прекрасный польский критик Ежи Квятковский. Он назвал ее поэзию «по-крестьянски добросовестной».

Уршуля родилась в деревне. Отец и мать ее — сельские учителя. Отсюда с самого детства привычка и любовь к книге, приведшая в университет, на филологический. Поэзию ее, «деревенскую» поначалу, можно было бы определить и как «университетскую», если бы с этим не связывалось представление о некоторой узости, абстрактности, оторванности от «корней». Между тем первая ее книга — «В ритме корней». «Корни», «земля» (или даже «мать-земля») — вот ключевые слова, которыми оперировали критики, говоря о ее первых книгах. Есть это и в позднейших. Но в ее интеллектуальной, философской, зачастую не сразу поддающейся пониманию поэзии с «врожденным» почвенничеством давно уже неотделимо, органично срослось и знание: знание истории, этнографии, поэтики мифа.

«Жальник» — так назвала она последнюю свою книгу, 1989 года. «Жальник» (кладбище, курган или могильник, погребальная урна с пеплом) — слово общеславянское, по-русски его приходится искать у Даля и в словаре русского языка XI — XVII вв. Однако в книге со столь архаичным заглавием речь идет о самой что ни на есть современности: о социальном и политическом бытии Польши и поляков в годы кризисов и перемен. Многие страницы книги — как бы страницы дневника политической жизни, хроника текущих событий на рубежах знаменательных лет — 1956, 1968, 1976, 1980 или 1981 годов.

Острозлободневное и «вечное» сосуществуют здесь и не мешают друг другу.

Стихотворение «Рецепт мясного блюда», открывающее эту подборку (давно уже хрестоматийное в Польше), было напечатано в 1962 году в еженедельнике тогдашних молодых «Вспулчесность» («Современность»). Хотя образ жертвенного животного восходит к Ветхому Завету, стихотворение — свидетельство конкретного момента, когда свободы, добытые поляками в 1956-м, начали сверху урезать и кто-то покорно склонял шею, а кто-то, как Уршуля Козел, возмущался такой покорностью.

А вот строки из стихотворения 70-х годов, передающие атмосферу того времени — времени «застоя»:

... как здесь тухло
от пота ожиданья от пота потенья
как здесь нудно
от перебиранья ногами на месте и на месте...

©Urszula Koziol, 1989

Я слышала, как она читала это стихотворение в 1975 году участникам Международного съезда переводчиков польской литературы. Она призывала поляков «взяться за руки» и «крепко держаться».

Поляки научились держаться крепко. Вот как вспоминала она сама, в декабре 1989-го, тот мрачный декабрь 1981-го, когда в Польше было введено военное положение: «... наше общество — уже в первые часы военного положения! — сумело организоваться в неформальные группы и начать немедленные действия по самообороне. Рухнули барьеры страха...»

Но даже в самое политизированное время поэт должен взглянуть на мир «как бы с другой еще стороны». Должен уметь увидеть и макушки двух деревьев в городских сумерках как «два кончика общего неясного смысла» всего мироздания. Должен ощущать космос, пытаться его осмыслить. Одна из книг ее прозы (а она не только поэт, но и прозаик) называется «Птицы для мысли».

С мыслями о природе соприкасаются в ее творчестве размышления о любви, об эротике, о драматизме эротическо-эмоциональных отношений мужчины и женщины.

Уршуля Козел популярна в Польше. Я видела недавно, как раскупали в Варшаве только что изданное очередное ее, уже четвертое, «Избранное» 1994 года. Ее, автора всего, казалось бы, пяти книг, вот уже четвертый раз издательства, притом разные, представляют польскому читателю томиком избранных стихов. И продолжают это делать даже сейчас, в условиях рынка.

Ее уважают коллеги — и ровесники, и старейшины польского литературного мира. Что касается самых старших, то на первые же ее публикации обратили когда-то внимание Мария Домбровская, Юлиан Пшибось и Чеслав Милош. Но может быть, особенно важно, что ее всегда ценили те, кто моложе ее, кто шел вслед за ней. С молодыми поэтами «новой волны» у нее сразу же завязался живой творческий диалог. В частности, ее стихотворение «Мы не смотрим правде в глаза» (1976) — это «ответ» на стихотворение Станислава Баранчака «Посмотрим правде в глаза». Если это и спор, то спор единомышленников.

Земляк и товарищ, вроцлавский поэт Яцек Лукасевич назвал поэзию Уршули Козел «интегральной». Сама же она считает, что ее поэзия — это «... неустанное возобновление вопроса о том, как несмотря ни на что достойно жить на земле, под небом, которое может оказаться пустым, как противостоять оцепенению, которое нас охватывает, нарастающей апатии и отчаянию; как придать себе отваги, как не разорвать связь с другими людьми, связь с природой и с общим наследием хотя бы европейской культуры и, наконец, с универсумом».

Рецепт мясного блюда

Нужен лишь острый нож
нужен лишь гладкий камень
лезвием гладить камень чтоб чувственно ответил
нож должен быть беззвучный а блеск его упругий
чтоб взял всю злую нежность и нервный ток руки
Все что потом — несложно
Доска. Щепотка соли
Зелень услада глаз
Еще листок лавровый
Все что потом — обычно
Ведь главное приправы
(С каким подать гарниром как сочетать цвета)
С огнем теперь легко спасибо Прометею.
Были бы нож да камень.
И покорная шея.

1963

Лущение гороха

... взять целиком его (так женщина бубнила)
должна я брать в нем всё цвет кожи запах пота

и шею красную мешок в котором голос.
Уж коль беру его то не перебираю
бубнила женщина луща горох в подоле

(горох когда лущат всегда перебирают)

Коль выбрала его перебирать уж поздно
уж рот так стало быть слова с дыханьем вместе
и руки брать должна хоть были бы не те
каких хотелось мне. Не выберу других.
А если нету рук а есть лишь только место
в котором быть должны так это место тоже.

Потом должна я ждать как примется во мне.
Так садят черенок. Тогда я как бы почва.
Порой уходит он. Тогда я только рана
и медленный отрыв рук глаз и слов и жестов
боль ампутации и русло без реки
не выброшу его как из стручка горох.

(Мужчина пьяный вдрызг вошел упал на стул)

Мы родились на свет чтоб нашу боль терпеть
мы каждый божий день хлеб в тело претворяем
а значит хлеб деля свое мы делим тело
и поделенное опять питаем хлебом.
Женщины — я о тех с грудями до пупа
подобных кенгуру о женщинах чьи руки
лущащие горох загребистые руки
небу грозящие когтями в черноземе.
Мужчины делят мир как делят хлеб насущный
бесплоден их раздел и претворится в кровь
сплошь страхом обросли спасенья ищут в водке
но страх не сходит с них — так женщина бубнила
луща горох — и всё на этом можно кончить

(Мужчина кулаком о стол и головою)

Уж коль беру его то не перебираю
а целиком беру. Его мечтаний смелость
и страх его беру когда в ночном кошмаре
проснется он в поту узрев крушенье мира
и через страх идет как через реку вброд
во время паводка обыденность спасенья
неся в своих руках а значит хлеб и тело.
Я всё принять должна и нежность в нем и хамство
он вроде бы силен любовь отнять он может
и в то же время слаб кочевничьей любовью.
Ведь сила нам нужна чтоб нашу боль терпеть
не чтобы причинять — так женщина смекала

1963

Вздох облегченья весной

Спасибо весна что не ждешь ты моих подсказок
что знаешь сама когда проклюнуться почке
и помнишь время цветенья и созреванья
и все совершается вовремя и как должно
и без моего слава богу участья

Деревья выводятся сами и пчелы сами
и свет и тени сменяются сами собою

и зверь так разумен что сам призывает зверя
и голову мне собой не морочит

Спасибо земля мальчик с пальчик нашей вселенной
что ты сама обегаешь избитые оси
меня удивить не пытаясь чем-нибудь новым
— вот был бы цирк необыкновенный!

И нет мне заботы с прилетами птиц и весен
и нет мне заботы с движеньем воды и ветра
вздох облегченья: мир без меня обойдется
мир без меня обойдется
без человека

1967

Сверхобнаженность

Лес был моим укрытьем
— вырублен тобою.
Скрылась в места иные
— настигаешь снова.
Куда б я ни бежала
ждал ты на дороге
дома́ на перекрестках расставил в дозоре.

Был бы хоть поединок
но ты вступил в сговор
все одного облавой окружают зверя
без сезонных запретов
без правил дуэли.

Кого найду кто б не выгнать мог меня с порога
кого найду кто б не выдать мог
не обнаружить
мог не погнаться следом.
Тебе мой след виден
прежде чем он оттиснут в безумном побеге.

Только мне и осталось молчащее слово.
Но ты сумел проникнуть в тайные глуби
так что сама себе я уже не союзник.
Язык прилип к гортани
но чрево стоусто.
Секрет желёз меня выдаст дух перехватит
пульс и давленье крови сговорясь погубят —

И все же не поймал ты. Не вся в твоей воле.
Смерть мою взять не сможешь.
В ней от тебя скроюсь

1967

***

С некоторых пор
едет ко мне верхом на горбатых тучах
старуха.

Бросаю через плечо гребешок пусть вырастет перед нею лес
бросаю через плечо зеркальце пусть разольется перед нею
озеро

но она все ближе
и я уже даже вижу ее во сне.

Мы кланяемся друг другу издалека
она холодно глядит мне в глаза
мы чужие друг другу.

Всей своей кожей
я еще ощущаю в себе присутствие юной девушки —
(мы вместе с ней собирали лютики и фиалки
и не одну лунную ночь
процеловались мы с парнем
и не один протанцевали рассвет)
девушка медлит уйти
ищет предлогов побыть во мне подольше —

вот почему
мои пальцы все еще замирают от близости пальцев мужчины
и под чьим-нибудь взглядом
во мне взлетает внезапно трепещущая птица.

1976

Мы не смотрим правде в глаза

у правды нет глаз
нет лица
нет языка

у правды нет крыльев
вовсе она не живет
за семью морями лесами горами

я полагаю что правда
это скорее докучный нарост
который мешает внутри

я полагаю что это именно то
липкое
свернувшееся клубком где-то там под кожей
враждебное уюту
вдруг набухает
дает тебе отчаянные знаки
темное
как мимика глухонемых

это болит
это мучает
ты не можешь больше молчать

кричишь

1976

Осень 1981-го

Типичная польская осень
покой — как польский злотый под нависшей тучей
инфляции
патриоты улетают в теплые страны

время на зиму делать запасы
сил

время подковывать карту
если страна должна стать на ноги

строфы юных стихов рапортуют о своем прибытии
хотят на высоких каблуках политики
вскарабкаться на транспарант покачаться над улицей

каждое мгновенье широко раскрывает глаза

незаметный бухгалтер включает в реестр папиллярные линии
слов бросаемых на ветер

жизнь хочет взять тебя на пушку
сомневаюсь что успеешь к урожаю
железных должностей и суждений

махнувший кистью прошлогоднего снега
манипулятор событий перекроет тебе кислород

подумай о себе
заройся в землю незамеченной картофелиной
или стань на распутье и разводи руками
как сбившийся указатель или беспомощный птичник
с протезом крыльев хрипящих под острым ветром.
1981

Вечером

Сквозь щели ночного неба
просвечивает свет

— вечный?

Может быть кто-то там в вышних
не спит еще

может быть подводит баланс
редуцирует бытия
готовится сворачивать дело
или постукивая нетерпеливо по крыше мира
читает посланный в никуда из мрачных бездн
донос
нацарапанный каракулями
или читает чью-то ксиву
безнадежную как стих одинокого.

Тем более
не проси теперь никого
ни о чем.

Скорее уж взгляни туда
где как бы с другой еще стороны
торчат две макушки не распознанных тобою деревьев
почти как два кончика общего
неясного смысла

Попробуй собственными силами дать этому
хотя бы названье
покуда тебя не поглотила их тьма
1989

***

Кто другой
давно бы уж сидел одесную
Господа

или с таким как твой голосом
присоединился бы к хору
или в его виноградниках искал прохлады

ты же сердито стучишь и стучишь
этой своей палкой отец
слышу тебя за углом за поворотом
слова —

в мрачном подземном переходе
зачем же
опершись на палку все упорствуешь
не хочешь мне сниться

1991

■

УМБЕРТО ЭКО
Маятник Фуко

РОМАН

Перевод с итальянского Е. КОСТЮКОВИЧ

48

Таким образом, от вершины до низа основания, меры Великой Пирамиды в египетских дюймах составляют 161 000 000 000. Сколько человеческих душ жило на земле от Адама до сегодняшнего дня? Приблизительный подсчет сообщает нам результат: от 153 000 000 000 до 171 000 000 000

Пьяцци Смит, *Наше наследие в Великой Пирамиде*
Piazzi Smyth, *Our inheritance in the Great Pyramid*
London, Isbister, 1880, p. 583

- Воображаю, что ваш сочинитель начинает с того, что высота пирамиды Хеопса равняется квадратному корню из цифры площади каждой из сторон. Натурально, все меры снимаются в футах, более приближенных к египетскому и древнееврейскому локтю, а не в метрах, потому что метр есть абстрактная величина, изобретенная в современную эпоху. Древнеегипетский локоть составляет 1,728 фута. При отсутствии точных измерений, мы можем обратиться к пирамидиону, таково название маленькой пирамиды, расположенной на вершине большой, образовывавшей ее верхушку. Пирамидион выполнялся либо из золота, либо из какого-то другого металла, блестевшего на солнце. Так вот, снявши высоту пирамидиона, надо ее умножить на высоту всей пирамиды, умножить результат на десять в пятой степени, и у нас выйдет длина окружности экватора. Более того, измерив периметр основания, умножив его на двадцать четыре в третьей степени и разделив на два, получаем средний радиус земли. Мало этого: площадь основания пирамиды, умноженная на девяносто шесть на десять в восьмой степени, дает сто девяносто шесть миллионов восемьсот десять тысяч квадратных миль, то есть поверхность земного шара. Так он пишет?

Любимое выражение Бельбо в случаях, когда он изумлялся, было заимствовано им из старого американского фильма «Янки Дудль Денди» с Джеймсом Кэгни, который он видел в синематеке, посещая курс фильмов на языке оригинала: «I am flabbergasted!» Это он выпалил и тут. Алье, надо думать, хорошо знал разговорный английский, потому что на лице его отразилось нескрываемое удовольствие. Он и не стеснялся своего тщеславного удовольствия. - Дорогие друзья, - сказал он. - Когда господин, имя которого мне неизвестно, берется стряпать очередную компиляцию по вопросу о тайне пирамид, он способен сказать лишь то, что в наше время известно каждому младенцу. Я удивился бы, если бы у него прозвучала хотя бы какая-нибудь новая мысль.

Продолжение. Начало в №7, 1995.

- Значит, - переспросил Бельбо, - этот господин излагает уже устоявшиеся истины?

- Истины? - усмехнулся Алье, снова открывая коробку своих корявых, очаровательных сигар. - Quid est veritas[1], хотел знать один мой старый знакомец. С одной стороны, перед нами гора разнообразных бессмыслиц. Начать с того, что если разделить точную площадь основания на удвоенную точную высоту, не пренебрегая и десятыми долями, результат получится 3,1417254, а вовсе не число π. Разница небольшая, но она есть. Кроме того, ученик Пьяцци Смита, Флайндерс Петри, измерявший и Стоунхендж, говорит, что однажды он застукал маэстро за спиливанием гранитных выступов в царской приемной: у того никак не сходились подсчеты. Наверное, это сплетни, однако такой человек, как Пьяцци Смит, в принципе не производил доверительного впечатления, достаточно было видеть, как он завязывал галстук. С другой стороны, среди всех этих нелепиц содержатся неопровержимые истины. Господа, не угодно ли подойти вместе со мною к окну?

Театральным жестом он распахнул ставни, предложил нам выглянуть и указал невдалеке, на углу между улочкой и бульварами, деревянный цветочный киоск.

- Господа, - сказал он. - Предлагаю вам самим отправиться и измерить эту будку. Вы увидите, что длина прилавка составляет 149 сантиметров, то есть одну стомиллиардную долю расстояния между Землей и Солнцем. Высота его задней стенки, разделенная на ширину окошка, дает нам 176/56, то есть 3,14. Высота фасада составляет девятнадцать дециметров, то есть равна количеству лет древнегреческого лунного цикла. Сумма высот двух передних ребер и двух задних ребер подсчитывается так: 190x2+176x2=732, это дата победы при Пуатье[2]. Толщина прилавка составляет 3,10 сантиметров, а ширина наличника окна - 8,8 сантиметров. Заменяя целые числа соответствующими литерами алфавита, мы получим $C_{10}H_8$, то есть формулу нафталина.

- Фантастика, - сказал я. - Сами мерили?

- Нет, - ответил Алье. - Но один подобный киоск был измерен неким Жан-Пьером Аданом. Воображаю, что все цветочные киоски должны строиться более или менее одинаково. С цифрами вообще можно делать что угодно. Если у меня имеется священное число 9, а я хотел бы получить 1314, то есть год сожжения Жака де Молэ - этот день дорог сердцу каждого, кто, подобно мне, составляет часть тамплиерской рыцарственной традиции, - что я делаю? Умножаю на 146 (это роковой год разрушения Карфагена). Как я пришел к этому результату? Я делил 1314 на два, на три и так далее, до тех пор покуда не отыскал подходящую дату. Я бы мог поделить 1314 и на 6,28, что составляет собой удвоение 3,14, и пришел бы к цифре 209. Ну что ж, в этот год примкнул к антимакедонской коалиции Аттал I, царь Пергама. Годится?

- Значит, вы не верите ни в какую нумерологию, - разочарованно сказал Диоталлеви.

- Я? Я твердо верю, верю в то, что мир - это восхитительная перекличка нумерологических соотношений и что прочтение числа, купно с его символической интерпретацией, таков привилегированный путь познания. Но если весь мир, как низменный так и верховный, являет собой систему соотношений, где перекликается все, tout se tient, вполне естественно, что и киоск и пирамида, оба представляющие собой плоды рук человека, подсознательно отображают в своем устройстве гармонию космоса. Эти так называемые пирамидологи открывают невероятно затрудненными методами линейную истину, гораздо более старую и уже известную. Логика их поиска, логика открытия - извращенная логика, потому что она основана на науке. Логика знания, напротив, не нуждается в открытиях, потому что знание просто знает, и все. Зачем доказывать то, что иначе быть бы не могло? Если секрет имеется, он гораздо глубже. Эти ваши авторы просто не идут глубже поверхности. Воображаю, что господин, написавший этот труд, перепевает и все бредни о египтянах, якобы владевших электричеством...

- Не стану спрашивать, как вам удалось угадать.

---

[1] Что есть истина? Иоанн, 18, 38 - оставшийся без ответа вопрос Пилата Христу.

[2] В 732 году при Пуатье франки одержали победу над арабами.

- Вот видите? Эти люди довольствуются электричеством, как первый попавшийся инженер Маркони. Гораздо меньшим ребячеством звучало бы рассуждение о радиоактивности. Это была бы забавная конъектура, которая, в отличие от гипотезы об электричестве, способна была бы объяснить пресловутое проклятие Тутанхамона... Как им удалось поднять глыбы на пирамиды? Валуны ворочали с помощью электроразрядов? Использовали энергию атомного ядра? Египтяне открыли способ избавляться от земного притяжения, они овладели тайной парения. Новая форма энергии! Известно ли вам, что халдейскими мудрецами приводились в движение священные механизмы при помощи одного лишь звука, и что священнослужители Карнака и Фив якобы умели распахивать двери храма одним лишь своим голосом - о чем ином свидетельствует, на ваш взгляд, легенда «Сезам, откройся»?

- И что дальше? - спросил Бельбо.

- Вот то-то же, друг мой. Электричество, радиоактивность, атомная энергия, как известно настоящим посвященным, это только метафоры, поверхностный камуфляж, условные обозначения, в крайнем случае - жалкие заместители некоей более древней силы, пребывающей в забвении, которую посвященные ищут и, когда придет время, обрящут. Нам следует интересоваться, вероятно, - он помедлил, колеблясь, - теллурическими течениями.

- Чем? - спросил не помню кто из нас троих.

Алье был явно разочарован: - Ну вот, а я надеялся, что среди ваших кандидатов хоть один мог бы сообщить мне что-то любопытное по этому поводу... Оказывается, уже довольно поздно. Ну-с, судари, договоренность достигнута, все остальное прошу простить как стариковское многоглаголание.

Когда мы пожимали руки, вошел слуга и прошептал что-то хозяину. - А, любезная приятельница, - сказал Алье. - Я и забыл. Попросите ее подождать минуту... Нет, не в гостиной, в турецком кабинете.

Любезная приятельница, должно быть, была своим человеком в доме, потому что тем временем она уже входила в кабинет и даже не взглянув на нас, в полутьме смеркающегося дня, уверенно подошла к Алье, игриво погладила его по лицу и сказала: - Симон, ты что, заставишь меня сидеть в приемной?

Это была Лоренца Пеллегрини.

Алье легонько отодвинулся, поцеловал ей руку и сказал, указывая на нас: - Любезная моя, милая София, как вы знаете, вы дома в любом доме, который озаряете присутствием. Я просто прощался с посетителями.

Лоренца обратила внимание на нас и радостно взмахнула рукой - да я и не помню, видел ли я хоть раз ее удивленной или смущенной чем бы то ни было. - А, как чудесно, - сказала она. - Вы тоже знаете моего друга! Якопо, как дела.

Последняя фраза имела не вопросительную, а утвердительную форму.

Я заметил, как побледнел Бельбо. Мы попрощались, Алье напоследок сказал, что крайне рад найти с нами общих знакомых. - Я считаю нашу общую приятельницу одним из наиболее подлинных созданий из всех, кого мне выпало знавать. В своей свежести она воплощает, позвольте сравнение, присталое старику ученому, Софию, сосланную на нашу землю. Но милая моя София, я не успел еще известить вас, что обещанный вечер откладывается на несколько недель. Я огорчен.

- Неважно, - сказала Лоренца. - Я подожду. Вы идете в бар? - Это обращение к нашей троице тоже походило скорее на приказание, чем на вопрос. - Хорошо, я задержусь здесь на полчасика, я хочу взять у Симона один из его эликсиров, вам тоже бы неплохо их попробовать, но Симон говорит, что это только для избранных. Потом я тоже приду.

Алье улыбнулся тоном снисходительного дядюшки, откланялся нам, попросил проводить к выходу.

Выйдя на улицу, мы в полном молчании направились к моей машине, влезли в нее и доехали до «Пилада». Бельбо был нем. Но у стойки бара заговорить стало просто необходимо.

- Не хотел бы я завести вас в лапы безумцу, - сказал я.

- Нет, - ответил Бельбо. - Он человек умный и остроумный. Только живет не в том мире, что мы с вами. - И мрачно добавил немного погодя: - Почти.

50

Ибо я есмь и первая и я последняя, я чтимая и я хулимая, я блудница и я святая

Фрагмент Наг Хаммади 6, 2

Вошла Лоренца Пеллегрини. Бельбо посмотрел на потолок и заказал последний мартини. Напряжение стало невыносимым, и я начал привставать. Лоренца меня удержала. - Нет, нет, идемте все вместе, сегодня открывается новая выставка Риккардо, празднуется открытие нового стиля! Это потрясающий стиль, ты ведь видел, Якопо.

Я знал этого Риккардо, он околачивался в «Пиладе», но тогда я еще не мог понять, из-за чего взгляд Бельбо еще больше сгустился на потолке. После этого, прочтя файлы, я понял, что Риккардо - это человек со шрамом, с которым Бельбо не осмеливался затеять порядочную ссору.

Лоренца повторяла: пойдем, пойдем, галерея совсем недалеко от «Пилада», там намечалась настоящая гулянка, вернее даже настоящая оргия. Диоталлеви, потрясенный, сразу выпалил, что опаздывает домой, а я завяз в нерешительности, идти не хотелось, но было очевидно, что Лоренца хочет, чтобы был и я, и это дополнительно нервировало Бельбо, потому что при мне объясняться было невозможно. Но приглашение было так настойчиво, что я потащился за ними.

Мне этот Риккардо нравился довольно мало: В начале шестидесятых он малевал скучноватые картины, состоящие из переплетения черных и серых штришков, очень геометрического типа и с оптическими эффектами, от которых все прыгало в глазах. Произведения назывались «Композиция 15», «Параллакс 117», «Евклид X». В шестьдесят восьмом он выставлялся в домах, захваченных студентами, слегка поменял палитру, полюбил резкие черно-белые контрасты, мазки стали более толстыми и названия изменились в сторону «Ce n'est qu'un debut»[1], «Молотов», «Пусть расцветают сто цветов». Когда я вернулся в Милан, оказалось, что он популярен в кругу, где обожают доктора Вагнера, он изничтожил черный цвет, перешел на белые щиты, где контрастно выделялись лишь разнонаправленные волокна пористой бумаги «Фабриано», и таким образом картины, как он объяснял, приобретали разнообразное настроение в зависимости от падения света. Назывались они «Апология амбивалентного», «Са»[2], «Berggasse»[3], «Яйность» и так далее.

Тогда вечером, войдя в новую галерею, я увидел, что в творческом методе Риккардо произошел качественный скачок. Экспозиция именовалась «Megale Apophasis» - «Великое Откровение». Риккардо перешел к фигуративности. Палитра его сияла. Живопись превратилась в цитатную, а так как рисовать, по моему подозрению, он не умел, думаю, что он обходился проекциями на холст диапозитивов знаменитых полотен. Ассортимент варьировался от pompiers[4] конца прошлого века до символистов начала нынешнего. По контурам оригинала Риккардо потом наводил лоск пуантилистской техникой, играя на микроскопических оттенках цвета, и проходил точка за точкой весь цветовой спектр, так чтобы в начале пути было ярчайшее пылающее ядро, а в конце абсолютная чернота, или же наоборот, в зависимости от того мистического космологического концепта, который ему требовалось передать. Там были горы, испускавшие солнечные лучи, распыленные на тысячи кружочков нежнейших раскрасок, виднелись и концентрические небеса с намеком на прекраснокрылых ангелов, что-то очень похожее на дантовский «Рай» Доре. Названия картин - «Беатрикс», «Мистическая роза», «Данте Габриеле 33», «Верные любови», «Атанор», «Гомункулус 666». Вот откуда у Лоренцы взялась идея завести домашнего гомункула, сказал я себе. Самая здоровенная картина подписана была «София», и представляла собой что-то вроде сосульки из черных архангелов, которая на кончике пузырилась и из нее вытекало

---

1 «Это только начало» (*франц.*).
2 Оно (*франц.*).
3 Улица в Вене, на которой жил Фрейд.
4 Пожарников (*франц.*). В искусстве: художники-интерпретаторы банальных затасканных сюжетов.

белое создание, ласкаемое ладонями синюшного цвета, перерисованными с контура, который виднеется в небе «Герники». В смысле вкуса все это выглядело сомнительно, и с близкого расстояния обляпанный холст не радовал глаз, но если отойти на два или три метра, получалось очень даже лирично.

- Я реалист старой формации, - прошипел мне Бельбо в ухо. - Могу понять только Мондриана. Бывает ли содержание в негеометрической живописи?

- Он раньше делал геометрическую, - сказал я.

- Он делал не живопись, а сортирный кафель.

Тем временем Лоренца поздравляла и целовала Риккардо, а с Бельбо герой дня обменивался кивками на расстоянии. Толпа была изрядная, галерея была отделана под нью-йоркский «лофт», все белое, трубы обогрева и горячей воды выведены наружу под потолок. Бог знает сколько могло стоить денег подобное осквернение приличной квартиры. В одном углу система хай фай глушила окружающих восточными мотивами, что-то с участием ситара, если я правильно понял, такое, в чем не должно быть мелодии. Все безучастно проходили мимо картин к банкетным столам у дальней стены, торопясь расхватать бумажные стаканчики. Мы появились довольно поздно, в воздухе было не продохнуть от дыма, какие-то девки время от времени начинали колыхаться посередине залы, но большинство до сих пор еще болтало между собой и налегало на буфет, действительно вполне порядочный. Я уселся на диване, у подножия которого размещалась огромная чаша с компотом, и собрался начерпать некую толику, потому что не обедал. Однако посередине, на горке нарезанных фруктов, увидел четкий отпечаток ботинка. Пол вокруг весь был заплескан белым вином, и кое-кто из приглашенных с трудом поддерживал равновесие.

Бельбо завладел стаканом и равнодушно слонялся без видимой цели, похлопывая по плечу встречных. Он пытался отыскать Лоренцу.

Но все находилось в движении. Толпа была во власти круговой турбуленции - пчелиный рой в стремлении к неведомому цветку. Я, например, никого не искал, однако тоже поднялся на ноги и пустился в путь, подчиняясь импульсам, исходившим от группы. Вдалеке обрисовалась Лоренца, возгласами восторженного узнавания приветствовавшая знакомых, с поднятой головой, умышленно близоруким взором, прямыми плечами и грудью, со всей неподражаемой жирафьей повадкой.

Потом человеческий поток затиснул меня в угол у банкетного стола, прямо передо мной были Лоренца и Бельбо, спинами ко мне, наконец повстречавшиеся - может быть, случайно - и, как и я, несвободные. Не знаю, понимали ли они, что я от них близко, но в общем галдеже никто все равно не мог бы расслышать, что говорят другие. Хотя мне было все-таки слышно.

- Ну, - говорил Бельбо. - Откуда взялся этот твой Алье?

- Он с таким же успехом твой. Почему-то тебе можно знать Симона, мне нельзя знать Симона. Логика.

- Какой он тебе Симон? Почему он тебя зовет София?

- Ну, в шутку! Мы познакомились у общих друзей. И по-моему, он очень мил. Он так целует мне руку, как будто я принцесса. И вообще он мог бы быть моим отцом.

- Как бы он тебя не сделал матерью.

Мне казалось, что я слышу собственный голос там, в Баии, когда мы были с Ампаро. Что взять с Лоренцы. Алье умеет целовать ручку молодой даме, непривычной к такому обращению.

- В чем юмор шутки про Симона и Софию? Его зовут Симон или нет?

- Юмор замечательный, можешь быть спокоен. Дело в том, что наш универсум - это результат ошибки, и немножко виновата в этом я. София - это женская половина Бога, и вообще когда-то Бог был больше похож на женщину, чем на мужчину, это вы потом обрастили его бородой и назвали Он. Я была его лучшей половиной. Симон говорит, что потом мне захотелось создать мир не спросясь, без разрешения, мне - это Софии, которая называется еще, подожди, сейчас я вспомню, ага, Эннойя. Дальше, кажется, моя мужская половина не захотела ничего создавать, наверное, струсила, а может быть даже,

оказалась импотентом. Я же тогда, вместо того чтобы с ней - с ним - согласиться, захотела создать мир своими силами, ну просто удержу не было, до чего создать хотелось, это от любви, я обожаю универсум, хотя он и бестолковый. Поэтому я душа этого мира. Так говорит Симон.

- Очаровательно. Он всем бабам это говорит?

- Нет, дурачок, только мне. /.../Тебе не нравится, что он не тянет меня в постель, а считает интеллектуальным партнером.

- И светочем.

- Вот этого ты не должен был говорить. Риккардо, уведи меня и поищем чего-нибудь еще выпить.

- Нет уж, погоди, - сказал Бельбо. - Сейчас ты мне объяснишь, правда ли ты приняла его всерьез, а я подумаю, совсем ты сошла с ума или еще не до конца. И перестань пить столько. Ты приняла его всерьез?

- Но милый, я же говорю, это такая шутка. Самое интересное в этой истории, что когда София понимает, кто есть она, она освобождается от тирании ангелов, чтобы двигаться куда хочет и быть свободной от греха...

- А, ты перестала грешить?

- Умоляю, передумай, - промурлыкал Риккардо, целомудренно целуя ее в лоб.

- Наоборот, - отвечала она снова Бельбо, не обращая внимания на художника, - все такое, что ты думаешь, это вовсе не грех, и можно делать все что угодно, чтобы освободиться от плоти и попасть на ту сторону добра и зла.

Она ткнула в бок Риккардо и отпихнула от себя. И громко выкрикнула: - Я София, и чтобы освободиться от ангелов, я должна прострать... простирать... распространять свой опыт на все разряды греха, в том числе самые изысканные!

Легонько покачиваясь, она направилась в угол, где сидела девица в черном одеянии с подрисованными глазами и безумно бледная. Лоренца вывела девицу на середину зала и они принялись извиваться, прижавшись животами, повесив руки по сторонам тела. - Я и тебя могу любить, - говорила Лоренца, целуя ее в губы.

Народ выстроился полукругом, все слегка возбудились, слышались какие-то выкрики. Бельбо сидел неподвижно и наблюдал за происходящим с видом финдиректора, пришедшего на репетицию. При этом он был мокрый от пота и у него прыгал угол левого глаза - тик, которого до тех пор я не замечал. Внезапно - с тех пор как начался танец, прошло не менее пяти минут, причем пантомима становилась все похотливее - он отчетливо произнес: - Прекрати немедленно.

Лоренца замерла, раздвинула ноги, вытянула вперед руки и выкрикнула: - Я есмь великая блудница и святая!

- Ты есть великая дрянь - ответил Бельбо, поднялся, сдавил руку Лоренцы за запястье и повел ее к выходу из галереи.

- Не смей, - бушевала она. - Кто тебе позволил... - И тут же расплакалась, обняв его за шею: - Миленький, я София, твоя половина, не сердись на меня за это...

Бельбо нежно обхватил ее за плечи, поцеловал в висок, пригладил ей волосы и сказал в направлении зала: - Простите ее, она не привыкла много пить.

Раздались новые смешки. Думаю, Бельбо тоже их расслышал. Тут он встретился со мною глазами, так что сказанное им могло в равной степени предназначаться и мне, и остальным, а может быть, просто самому себе. Он сказал это почти шепотом, себе под нос, когда внимание к их персонам стало явно ослабевать.

Все еще обнимая Лоренцу, он повернулся на три четверти к залу и произнес медленно, как самое естественное в данных обстоятельствах: - Кукареку[1].

---

[1] Крик отчаяния главного героя в «Учителе Гнусе» Г. Манна.

51

Когда же Каббалистический Мозг желает сообщить тебе что-то, не думай, что он говорит пустое, вздорное, суетное; но тайну, но оракул...

Томазо Гарцони, *Театр многоразличных и всяких мирских мозгов*
Thomaso Garzoni, *Il teatro de vari e diversi cervelli mondani*
Venezia, Zanfretti, 1583, discorso XXXVI

Иконографический материал, собранный в Милане и Париже, нуждался в дополнениях. Господин Гарамон утвердил мою командировку в Мюнхен, в Дейчес Музеум.

Несколько вечеров я просидел в кабачках Швабинга - в этих громадных подземных криптах, где музыканты пожилые, с усами, в коротких кожаных шароварах, и любовники переглядываются сквозь дым, напитанный запахами свинины, над литровыми кружками пива, парочки втиснуты рядами за бесконечные столы. Днем же я сидел над каталогами репродукций. Иногда я выбирался из архивного зала, чтобы побродить по музею, где воспроизведено все, что человеческий гений изобрел или мог бы изобрести, нажми только кнопку, и внутри нефтяных диорам насосы приходят в движение, заходи в настоящую субмарину, вращай сколько хочешь планеты, играй в образование кислот, в ядерную реакцию - это тот же Консерваторий, но меньше готики, больше футурологии, и все забито шумливыми пятиклассниками, которых с детства учат уважать инженеров.

В Дейчес Музеум можно также досконально уяснить себе горное дело. Спускаешься по лестнице и попадаешь в шахту, состоящую из выработок, подъемников для людей и лошадей, перепутанных туннелей, по которым с натугой проползают (надеюсь, сделанные из воска) изнуренные эксплуатируемые подростки. Среди мрачных нескончаемых коридоров тут и там спотыкаешься на самом обрыве бездонных колодцев, озноб страха пронизывает до костей, почти что чуется носом рудничный газ.

Я блуждал по второстепенной галерее, разуверившись уж когда-либо вновь узреть лучи дневного светила, как вдруг заметил, перевесившись через край пропасти, некоего знакомого персонажа. Лицо его было мне чем-то известно, с его серостью и с морщинами, с сединой, с совиностью век, но я смутно ощущал: есть что-то неестественное в платье, как если бы это лицо я привык видеть над форменною одеждой, как когда встречаешься со священником в штатском или с капуцином без бороды. Он ответил мне пристальным взором и тоже заколебался. Как бывает в таких случаях, последовала перестрелка быстролетными взглядами, наконец он взял быка за рога и поздоровался по-итальянски. Внезапно мне удалось мысленно возвратить его в привычный костюм. Он должен был быть окутан длиннейшим желтоватым саваном. Тогда получался настоящий господин Салон - А. Салон, таксидермист. Его мастерская соседствовала дверью с моим офисом, в коридоре бывшей фабрики, где я трудился детективом от культуры. О йес! Мы неоднократно встречались на лестнице и обменивались полуприветствиями.

- Забавно, - сказал он, протягивая руку. - Мы жильцы одного дома, а представляемся друг другу в недрах подпочвы, за тысячу миль от нашего местожительства.

Последовала светская беседа. У меня сложилось впечатление, что Салон хорошо знает, чем я занимаюсь, что, правду сказать, немало, учитывая, что это было не слишком известно и мне самому. - Что это вы в музее техники? Ваше издательство интересуется более духовными материями, если не ошибаюсь.

- Откуда такая осведомленность?

- О, - отмахнулся он, - люди рассказывают, у меня бывает столько посетителей...

- А что, много клиентов у чучельщиков, простите, у бальзамировщиков?

- Препорядочно. Вы скажете, наверное, что у меня редкая профессия. Так все считают, а тем не менее спрос высокий, заказчиков полным-полно, и в самом разном духе. От музеев до частных коллекционеров.

- Не так часто встречаются в частных домах чучела, - сказал я.

- Не часто? Ну, зависит от того, в каких домах вы бываете... И в каких подвалах.

- А что, звериные чучела держат в подвалах?

- Многие держат. Не все экспозиции рассчитаны на солнечный свет. Бывает и на лунный... Я таким клиентам не доверяю, но работа есть работа. Я не доверяю подземельям.

- Поэтому я вас вижу в шахте?

- Врага надо знать в лицо. Я не люблю подземелий, но их изучаю. Не так уж много возможностей в этом плане. Катакомбы в Риме, вы скажете. Нет, в них нет тайны, там полно туристов, все контролирует церковь. Другое дело канализация Парижа... Вы в ней не бывали? По понедельникам, средам и в последнюю субботу каждого месяца там бывают экскурсии, вход от Пон д'Альма. Но и это в общем туристское мероприятие. Конечно, в том же Париже имеются и катакомбы, и подземные каменоломни. Не говоря уж о метро. Вы когда-нибудь были в доме номер 145 по улице Лафайет?

- Признаюсь, не бывал.

- Это не самый посещаемый район, между Гар де л'Эст и Гар дю Нор, Восточным и Северным вокзалами. Здание на первый взгляд обыкновенное. Только присмотревшись, обнаруживается, что ворота сделаны под деревянные, а на самом деле выполнены из раскрашенного железа, а за окнами скрываются комнаты, пустующие не одно столетие. Там никогда не горит свет. Однако люди идут мимо и ничего не знают.

- Чего они не знают?

- Что этот дом фальшивый. Он только фасад, оболочка, в нем нет ни крыши, ни внутренних переборок. Он пуст. Это выхлопная труба. Он служит для вентилирования и отвода паров из ближайшей станции метро. А только вы поймете это, как у вас появляется ощущение, будто вы стоите у жерла ада, что если бы только вам удалось пройти сквозь фальшивые стены, вы получили бы доступ к подземному Парижу. Бывало, я проводил долгие, долгие часы перед этими воротами, которые прикрывают врата врат, отправную станцию путешествия к центру земли. Зачем, как вы думаете, понадобилось его выстроить, этот дом?

- Чтобы вентилировать метро, вы сказали?

- Хватило бы простых отдушин. Нет, именно подобные вещи укрепляют мои подозрения. Вы меня понимаете?

Философствуя о земном мраке, он озарялся. Я спросил, в чем же таком подозреваются подземелья.

- Да потому, что если Верховники Мира существуют, им негде находиться, кроме как под землею, это истина, которую многие угадывают, но немногие решаются выразить. Может быть, единственный, кто осмелился высказать это открытым текстом, был Сент-Ив д'Алвейдре. Знаете его?

Я, скорее всего, встречал это имя в каком-то из сочинений одержимцев, но подробностей не помнил.

- Это тот, который говорит нам об Агарте - подземной резиденции царей мира, оккультном центре синархии, - сказал Салон. - Он ничего не опасается, он уверен в себе. Однако все, кто стал его открытыми последователями, были устранены за то, что слишком много знали.

Мы двигались вдоль галереи, а господин Салон все говорил и говорил мне, рассеянно поглядывая по сторонам, скользя глазами по ответвляющимся коридорам, по устьям неожиданных скважин, как будто он выискивал в темноте подтверждение своих догадок.

- Вы когда-либо задавались вопросом, почему все крупнейшие столицы в прошлом веке поспешили прокопать метрополитены?

- Чтоб решить проблемы с транспортом. Зачем же еще?

- Когда не существовало автомобильного движения и все ездили в экипажах? От человека вашего ума я рассчитывал услышать что-нибудь поинтереснее?

- А у вас есть объяснение интереснее?

- Может, и есть, - ответил Салон, мне показалось, с задумчивым, почти отсутствующим видом. Это, видимо, был сигнал к прекращению беседы. И точно, через минуту он заявил, что должен идти по делам. После чего, пожимая мне руку, задержался еще на секунду, как пораженный внезапным воспоминанием: - А кстати, этот вот полковник... как его звали, который несколько лет назад приходил в «Гарамон» говорить вам о сокровище тамплиеров? Вы о нем ничего не слыхали?

Я ощутил как удар бичом от столь наглого, бесцеремонного хвастовства сведениями, которые я считал потаенными, погребенными. Я даже не спросил, откуда ему известно об этом - так испугался. Я только ответил безразличным голосом: - О, какая старая история, я о ней вообще забыл. А кстати: почему вы сказали «кстати»?

- Я сказал «кстати»? Ах да, конечно, мне казалось, что он отыскал что-то там в подземелье...

- Откуда вы знаете?

- Не знаю. Не помню, кто рассказывал мне об этом. Кто-то из клиентов. Но у меня откладывается в памяти все, что связано с подземельями. Причуды старика. Счастливо оставаться.

Он ушел, а я остался размышлять о значении этой встречи.

52

В некоторых областях Гималаев, в числе двадцати двух храмов, отображающих двадцать две тайны Гермеса и двадцать две литеры некоторых сакральных алфавитов, Агарта образует Мистический Ноль, ненаходимый... Колоссальную шахматную доску, которая простирается под землею, под всеми почти областями земного шара.

Сент-Ив д'Алвейдре, *Миссия Индии в Европе*
Saint-Yves d'Alveydre, *Mission de l'Inde en Europe*
Paris, Calmann Lévy, 1886, p. 54, 65

Несколько предположений на этот счет выдвинули и Бельбо с Диоталлеви. Гипотеза первая: Салон, сплетник и пустослов, возбуждающийся от намека на таинственность, в свое время был знаком с Арденти, и все тут. Или же: Салон что-то знал о судьбе Арденти и работал на тех, кто его убрал. Третья гипотеза: Салон - это информатор полиции.

Потом нас одолели всякие одержимцы, и Салон слился с ему подобными.

Прошло несколько дней, и в контору к нам зашел Алье по поводу некоторых рукописей, бывших у него на отзыве. Судил он блистательно: точно и профессионально. Будучи человеком умным, он мгновенно уяснил двойную бухгалтерию «Гарамон» - «Мануций», и мы перестали чтобы то ни было от него скрывать. Теперь он работал в нашем контексте. Испепелив автора двумятремя смертельными репликами, он цинично заключал, что для «Мануция» работа выглядит вполне приемлемой.

Я спросил его об Агарте и о Сент-Иве д'Алвейдре.

- Сент-Ив д'Алвейдре... - протянул он. - Забавная личность, не стану спорить, он с молодости общался с последователями Фабра д'Оливе. Скромный клерк в министерстве внутренних дел, но какое тщеславие... Мы, конечно, не отнеслись слишком строго к его женитьбе на Мари-Виктуар...

Алье, конечно, не устоял перед соблазном перейти на рассказ от первого лица. Мы не моргнули глазом. - Кто это, Мари-Виктуар? Обожаю сплетни, - подбросил дровишек в огонь Бельбо.

- Мари-Виктуар де Ризнич, она была очень хороша в годы, когда к ней благоволила императрица Евгения. Но когда она встретилась с Сент-Ивом, ей было уже за пятьдесят, а ему - только тридцать. Для нее мезальянс, натурально. И не только; но еще, чтобы дать ему титул, ей пришлось приобрести не помню уж где имение, принадлежавшее некогда маркизам д'Алвейдре. С тех пор наш красавчик мог похвалиться титулом, а по Парижу загуляли куплеты про жиголо. Обеспеченный пожизненной рентой, он целиком предался

своему коньку. Ему втемяшилось в голову создать политическую формулу, на которой было бы основано самое совершенное общество. Синархия, противоположность анархии. Объединенная Европа, управляемая тремя европейскими советами, экономическим, юридическим и ответственным за гуманитарную сферу, то есть за религию и за науку. Просвещенная олигархия, которая свела бы на нет классовую борьбу. Мы слыхали теории и похуже.

- А Агарта?

- Он рассказывал, будто в один прекрасный день его посетил таинственный афганец по имени Хаджи Шарипф, который, заметим, не мог быть афганцем, потому что это имя албанское, и открыл ему тайну местоположения Царей Мира - впрочем, сам Сент-Ив не употреблял этого выражения, это уже его последователи. Он же говорил: «Агарта», «Ненаходимое».

- Где говорил?

- В своем сочинении «Миссия Индии в Европе». Она довольно сильно повлияла на современную политическую мысль. В Агарте есть подземные города, а под городами, еще ближе к центру земли, пребывают пять тысяч пандитов, которые управляют страной - разумеется, цифра пять тысяч восходит к герметическим корням ведийского языка, как вы уже сами догадались... Каждый корень являет собой магическую иерограмму, связанную с некоей небесной потенцией и с санкцией некой потенции ада... Центральный купол Агарты озаряется чем-то вроде зеркал, которые пропускают лучи через энгармоническую гамму цветов, в то время как солнечный спектр обыкновенных учебников физики строится на простейшей диатонической гамме... Мудрецы Агарты изучают все сакральные языки, чтобы прийти ко всеобщему языку, Ваттан. Подступаясь к тайнам чересчур глубоким, они воспаряют вверх и раздробили бы свои головы о купол, если бы собратья не удерживали их. Они изготавливают молнии, направляют циклические течения межполярных и межтропических приливов, регулируют интерференциальные деривации на разных географических широтах и высотах земли. Они отбирают виды, и ими созданы твари хотя и мелкие, однако невиданных психических достоинств, с панцирем черепахи и с желтым крестом на этом панцире, у них по одному глазу и по одной пасти на каждой конечности. Многоногие твари, способные продвигаться в любом направлении. В Агарту, по всей вероятности, укрылись тамплиеры во время диаспоры, и оттуда ими осуществляется контролирование. Продолжать дальше?

- Но... он это всерьез? - спросил я.

- Думаю, что он принимал все это буквально. Сперва мы все считали его ненормальным, потом решили для себя, что в подобном визионерском преломлении он отобразил идею оккультного управления историей. Ведь говорят же, что история - это загадка, бессмысленная и кровавая? Но это неправильно, смысл в ней обязан быть. Обязан быть некий Разум. Поэтому люди не легкомысленные создали для себя, в ходе столетий, образы неких старшин или же царей мира, может быть, и не имеющих физического воплощения, может быть, они только функция, коллективная роль, периодическое воплощение некоего Постоянного Намерения. С которым несомненно были связаны исчезнувшие великие ордена священства и рыцарства.

- Вы в это верите? - спросил Бельбо.

- И более уравновешенные люди, чем Сент-Ив, ищут Непознанных Верховников.

- И находят?

Алье снисходительно, добродушно посмеялся и ответил: - Какие же они Непознанные, если дадут познавать себя кому попало? Господа, у нас полным-полно работы. Мы еще не обсудили одну рукопись, это как раз трактат о секретных обществах.

- Стоящий? - спросил Бельбо.

- Как бы не так. Но для «Мануция» сгодится.

53

Не имея возможности открыто направлять земные судьбы, потому что правительства воспротивились бы, эта тайная ассоциация может действовать только через секретные общества... Эти секретные общества, создаваемые по мере того как в них появляется необходимость, разделены на группы, несхожие и с виду противоположные, исповедующие временами взаимопротиворечащие мнения, чтобы контролировать, каждую отдельно и, пользуясь абсолютным доверием, все совокупно религиозные, политические, экономические и литературные партии, и все они подчиняются тайному центру, и получают указания от секретной центральной организации, которая представляет собой мощный механизм, способный таким образом невидимо управлять судьбами земли.

Й. М. Хёне-Вронский цит. по:П.Седир, *История и доктрина Розы и Креста*
J. M. Hoene-Wronski, cit.da P. Sêdir, *Histoire et doctrine des Rose-Croix* Rouen, 1932

Однажды я увидел господина Салона на пороге мастерской. Внезапно и совершенно дико меня пронизала мысль: вот сейчас он ухнет, как филин. Он приветствовал меня с видом близкого друга и спросил, как дела там у нас. Я неопределенно кивнул, осклабился и пробежал к себе.

Меня снова разбудоражили думы об Агарте. В таком виде как их преподнес нам Алье, идеи Сент-Ива могли показаться соблазнительными какому-нибудь одержимцу, но ничего тревожащего не было в них. А вот в словах и в лице Салона в день мюнхенской беседы определенно было что-то неспокойное, и мне передалось это чувство.

Так что после работы я решил заскочить в библиотеку и посмотреть эту самую «Миссию».

В каталожном зале и на заказах была толпа, как всегда. Я сразился за нужный мне ящик, покопался в нем, заполнил требование и отдал его на стойку. Там мне сказали, что книга на руках, с традиционным в таких случаях библиотечным злорадством. Я опечалился, но вдруг над ухом послышался голос: - Да есть она, я ее недавно сдавал. - Я обернулся. Передо мной был комиссар Де Анджелис.

Я узнал его, а он меня - я сказал бы, как-то подозрительно легко. Я-то сталкивался с ним в обстоятельствах для меня экстраординарных, а он меня видел полчаса в ситуации самого рядового сбора показаний. Кроме того, во времена Арденти я носил реденькую бороду, и волосы были гораздо длиннее. Ну и глаз у комиссара.

Что же, он наблюдает за мною с самого моего возвращения? Или он спец по физиогномике, в полиции их тренируют на внимание, чтоб запоминали лица, имена...

- Господин Казобон? И читаем мы одно и то же!

Я протянул ему руку: - Ныне можете звать меня доктор. А я могу подать документы на конкурс в полицию, как вы мне в свое время советовали, и тоже начну выхватывать книги из-под носа у штатских.

- Неправда, тут как в спорте. Я прибежал первым. Не горюйте, скоро книга придет на место и вам ее выдадут. А пока что позвольте пригласить вас на чашку кофе.

Угощение от полиции меня смутило, но отказаться было бы уж очень грубо. Мы уселись в ближайшем баре. Он спросил меня, откуда интерес к индийской миссии, и мне ужасно захотелось ответить встречным вопросом: а у него откуда? - но я решил сначала защитить тылы. Я сказал, что продолжаю потихоньку разрабатывать тамплиерскую тему. А тамплиеры, согласно фон Эшенбаху, спаслись из Европы в Индию, а согласно кое-кому еще, спаслись потом в царство Агарту. Теперь можно было осторожно открываться. - Скорее странно, с какого боку это интересует вас.

- А как же, - отвечал он весело. - Как вы посоветовали мне книгу о тамплиерах, так я и стал понемногу любопытствовать в этом духе, а вы только что прекрасно объяснили, что от тамплиеров до Агарты один шаг.

Он меня переиграл. Ох. Но, слава Богу, тут же прибавил: - Шучу, шучу. Я искал эту книгу по другой причине. Потому что... - и заколебался. - В общем, в нерабочее время я хожу в библиотеку. Чтобы не превратиться в робота, или чтоб не остаться чурбаном в погонах, выбирайте из двух выражений, которое больше нравится... Расскажите лучше о себе.

Я коротенько изложил автобиографию, невероятные металлы включительно.

Он спросил: - Но в этом вашем издательстве, или в его филиале, выпускают и книги на оккультные темы?

Откуда он знал о «Мануции»? Сведения, подобранные, когда его интересовал Бельбо, несколько лет назад? Или он все еще идет по следу Арденти?

- При таком количестве типчиков вроде Арденти, которые околачивались в «Гарамоне», а «Гарамон» их пытался перепихнуть в «Мануция», - сказал я, - господину Гарамону пришло в голову сыграть на их сумасшествии Кажется, это окупается. Если вас интересуют личности вроде старого полковника, там их пруд пруди.

Он ответил: - Да. Но Арденти пропал. Надеюсь, остальные на месте.

- Пока да. Чтобы не сказать «увы, да». Знаете, комиссар, ужасно хочется задать вам один вопрос. Думаю, при вашей профессии пропавшие без вести, или еще хуже того, попадаются вам ежедневно. Вы всем им уделяете такое... значительное время?

Он посмотрел на меня с лукавством. - А почему вы считаете, что я до сих пор уделяю время полковнику Арденти?

Что же, отбил прекрасно. Но если я буду поактивнее, ему ничего не останется кроме как открыть карты. - Бросьте, комиссар, - сказал я тогда. - Вы знаете все о «Гарамоне» и «Мануции», вы идете в библиотеку за книгой про Агарту...

- А что, разве от Арденти вы что-то слышали про Агарту?

Опять касание. И действительно, Арденти говорил нам, в частности, про Агарту, если я правильно помню. Я удачно выкрутился: - Нет, но что-то плел про тамплиеров, если помните.

- Помню, - кивнул он. Потом добавил: - Но вы не должны представлять себе так, что мы занимаемся одним делом вплоть до победного конца. Так бывает только в телефильмах. В действительности же полицейский как зубной врач, пришел пациент, поковырялся в его зубе, он ушел с билетиком на следующую неделю, тем временем появилась сотня новых. Такой случай, как с этим полковником, может находиться в архиве пусть даже и десять лет, но потом при расследовании другого дела, снимая показания с совершенно случайного человека, вдруг выходит наружу след, хлоп, мгновенно представилось все по-другому, после этого начинаешь решать задачку. Потом новый хлоп. Или никакого хлопа, и дело возвращается в архив.

- Какой же хлоп в этом смысле случился недавно?

- Вам не кажется, что такие вопросы не задают? Ничего, ничего, у меня нет секретов. Полковник выплыл совершенно неожиданно, мы держали под колпаком одного типа по абсолютно другому поводу, и заметили, что он посещает «Пикатрикс», вы, наверно, слышали об этом клубе...

- Я слышал о журнале, о клубе почти ничего. Чем они занимаются?

- Да ничем, ничем, довольно спокойное место, немножко они все чокнутые, но ничего особенного. Однако я сразу вспомнил, что у них толокся и Арденти. Вся наша профессиональность состоит в таких вещах. Вспоминать, где ты слышал имя или видел лицо, даже по прошествии десяти лет. Тогда я заинтересовался, чем сейчас занимаются в «Гарамоне». Вот и все.

- А какое отношение клуб «Пикатрикс» имеет к политической полиции?

- Не сомневаюсь, что слышу голос незапятнанной совести, но любопытничаете вы подозрительно.

- Вы же сами позвали меня пить с вами кофе.

- Это правда, к тому же у нас обоих неслужебное время. Я вам отвечу. До определенной степени в этом нашем мире все состыкуется со всем. - Бесценная герметическая философема, сказал себе я. Но он продолжал: - То есть я не хотел бы утверждать, что пикатриксовцы замешаны в политике, но знаете ли... Раньше мы искали краснобригадников в коммунах, а чернобригадников в спортзалах, теперь легко может оказаться все наоборот. Странно стало в

мире. Честное слово, десять лет назад работать было проще. Сейчас даже среди идеологий уже нет религии. Сколько раз я мечтал перейти в отдел наркотиков. Там хотя бы, кто торгует героином, не философствует. Там у людей устоявшаяся система ценностей.

Он помолчал еще немного с тем же нерешительным видом. Затем вытащил из кармана записную книжку размером с поминальник. - Послушайте, Казобон, вы по работе все время встречаете странных людей. Читаете еще более странные книги. Можете помочь мне? Что вы знаете о синархии?

- Ох, вот тут вы меня подловили. Да почти ничего. Слышал этот термин в связи с Сент-Ивом, и все.

- Но что о ней вообще говорят?

- Если о ней вообще и говорят, то в мое отсутствие. Если честно, мне в ней видится что-то фашистское.

- Попали прямо в точку, многие из тезисов синархии на вооружении в «Аксьон франсэз». Но если бы на этом все кончалось, я был бы на коне. Как вижу группу, прославляющую синархию - даю ей политическую оценку. Но плохо то, что стоит углубиться в материал, натыкаешься, например, на следующее. Примерно в 1929 году некие Вивиан Постель дю Мас и Жанна Канудо основывают группу «Полярис», которая вдохновляется мифом о Царе Мира, а затем предлагают синархический прожект: социальные службы против капиталистической прибыли, изжитие классовой борьбы при помощи кооперативного движения... Это кажется социализмом фабианского толка, нереволюционная социалистическая теория в духе лейбористских убеждений. И действительно, и «Полярис» и фабиане обвиняются в том, что они эмиссары синархического заговора, возглавляемого евреями. И кто же их обвиняет? «Ревю насьональ де сосьете секрет», журнал, обличающий юдомасонобольшевистские козни. Многие его сотрудники связаны с интегристской правой организацией повышенной секретности - «Ля Сапиньер». Они утверждают, что все политические революционные объединения не что иное как маскировка дьявольского ига, идеологом которого выступает оккультный комитет. Вы могли бы сказать, конечно: ну раз так, мы просто ошиблись. Сент-Ив в конечном итоге сделался идейным предтечей реформистских групп, а правые, как им свойственно, валят все в одну кучу и расценивают все эти группы как филиации демо-плуто-социал-иудейского толка. Что же, и Муссолини занимался тем же. Но откуда берутся разговоры об оккультной подоплеке? На основании того немногого, что мне видно, «Пикатрикс» довольно-таки далек от рабоче-крестьянского движения.

- Мне тоже думается так, о Сократ. Что из этого следует?

- За Сократа мерси, но поймите, в самом деле чем больше я читаю, тем больше путается в голове. В сороковые годы рождались самые разные группы, которые именовали себя синархистами, и рассуждали о новом европейском порядке, под руководством правительства мудрейших мужей, стоящих вне каких-либо партий. К чему тяготеют все эти группы? К среде коллаборационистов Виши. Тогда, скажете вы, мы опять все перепутали, синархия - это правые. Стоп! Читаешь, читаешь, и убеждаешься, что только в одном отношении все согласны между собой: что синархия существует и таинственно управляет миром. Однако и тут выплывает некое «но».

- Что же это за «но»?

- Но 24 января 1937 года Дмитрий Навашин, масон и мартинист (что такое мартинист, я не знаю, но по-моему, какая-то тайная секта), экономический советник Народного Фронта, бывший директор одного московского банка, гибнет от руки тайной Организации революционного и национального действия, в просторечии известной под именем «Ля Кагуль», оплачиваемой Муссолини. Объясняется это тем, что «Ля Кагуль»-де подчиняется некоей секретной синархии и Навашин убит ею за то, что осмелился проникнуть в ее секреты. Один документ, вышедший из левой политической среды, во время немецкой оккупации, изобличает некий Синархический имперский договор, как причину поражения Франции, а Договор этот якобы является порождением латинского фашизма португальского типа. Однако потом оказывается, что Договор составлен Дю Мас и Канудо, и содержит те самые идеи, которые они

распространяли и пропагандировали направо и налево. Ничего тайного в этих идеях нет. Тем не менее они же, на этот раз в качестве сверхсекретных, возникают в 1946 году в сочинении «Синархия, панорама 25-ти лет оккультной борьбы» месье Юссона, который развенчивает синархический революционный сговор левых и подписывается, погодите, где-то тут у меня это сказано... вот. Жоффруа де Шарнэ.

- А это уж вообще, - сказал я. - Де Шарнэ, это товарищ Молэ, гроссмейстера храмовников. Их сожгли в один день. Здесь, значит, у нас неотамплиер, критикующий синархию с правых позиций. Но ведь синархия-то рождается в Агарте, то есть в убежище тамплиеров!

- А я что говорил? Вот видите, вы мне подбросили еще один элемент. К сожалению, он только усугубляет путаницу. Это значит, что правые критикуют Синархический имперский договор, социалистический и тайный, который на самом деле тайным не является, но тот же самый тайный синархический договор, как мы видели, критикуется и слева. Новая интерпретация: синархия, это иезуитский заговор с целью свержения Третьей республики. Эта интерпретация принадлежит Роже Менневе, из лагеря левых. Чтобы мне жилось еще спокойнее, вот кое-какие выписки. В 1943 году в военных кругах правительства Виши, петенистских, но антинемецких, распространяются документы, свидетельствующие о том, что синархия - это нацистский комплот. Гитлер, это розенкрейцер, вдохновляемый масонами, которые, как вы сами видите, без труда переходят от юдобольшевистского заговора к немецки-имперскому.

- И этим все объясняется.

- Хорошо бы. Однако вот еще одна трактовка. Синархия - это соглашение международных технократов. Так говорит в 1960 году некий Вилльмаре, в книге «14-й заговор 13-го мая». Техно-синархический заговор ставит своей целью дестабилизацию правительств, а для этой цели вызывает войны, поддерживает и инспирирует государственные перевороты, вызывает расколы внутри политических партий, провоцируя образование внутренних течений и ересей... Этих синархов вы узнаете?

- Господи, это ИСК, Империалистический союз концернов, так о нем говорили Красные бригады несколько лет тому назад!

- Ответ на пятерку! А теперь, что должен делать комиссар Де Анджелис, когда он слышит о связях чего бы то ни было с синархией? Я спрашиваю у доктора Казобона, специалиста по тамплиерам.

- Специалист Казобон ответит, что существует тайное общество с филиалами во всем мире, которое плетет свои сети с целью распространения слуха, будто существует всемирный заговор.

- Вот вы шутите, а я...

- Я совершенно не шучу. Пойдите почитайте рукописи, которые приносят к нам в издательство. Если же вас интересует объяснение более примитивное, могу напомнить анекдот о заике, которого не брали работать на радио за то, что он не член партии. Нужно же приписывать кому-то свои провалы, диктатурам требуется внешний враг, чтобы сплачивать подданных. Как говорил кто не помню, для каждой сложной проблемы имеется простое решение, и это решение неправильное.

- И если я найду в поезде бомбу, обвернутую в плакат, изобличающий синархию, я удовлетворюсь ответом, что речь идет о простом решении сложной проблемы?

- А что, вы находили бомбы с плакатами... Извините. Это действительно не мое дело. Хотя зачем тогда вы мне об этом говорите?

- Потому что надеюсь, что вы знаете больше моего. Потому что, наверное, для меня утешительно видеть, что и вы в этом не сечете. Вы говорите, что приходится читать слишком много психов, и вам кажется это потерей времени. Мне так не кажется, для меня сочинения ваших сумасшедших ... «ваших» относится ко всем обычным людям... могут служить важным материалом. Может быть, сочинение сумасшедшего объяснит мне, какова логика тех, кто подкладывает бомбы в поезд. Или вы боитесь стать информатором полиции?

- Нет, честное слово, не боюсь. В конце концов, искать идеи в каталогах - мое ремесло. Если мне что-то для вас попадется, я просигнализирую.

Вставая, он обронил свой последний вопрос: - А среди этих рукописей... вам ничего не попадалось о Трис?

- Трис? Что это значит?

- Не знаю. Не то ассоциация, не то секта, понятия не имею даже существует ли она на самом деле. Я о ней слышал, и мне сейчас припомнилось по ассоциации с вашими ненормальными. Передайте привет вашему другу Бельбо. Передайте ему, что я за вами не шпионю. Просто у меня противная работа, и, к сожалению, она мне нравится.

Топая домой, я судил и рядил, кто же из нас вышел победителем. Он мне рассказал множество всего, я ему ничего не открыл. Если уж совсем сходить с ума, можно предположить, что он выудил что-то совершенно нечувствительно для меня. Но так запросто можно заработать себе что-то вроде психоза синархического заговора.

Когда я рассказал об этом случае Лии, она сказала:

- По-моему, он был вполне искренен. Просто хотел выговориться. Ты думаешь, у него в полиции много таких, кто в состоянии поддержать разговор, была ли Жанна Канудо левой или правой? Комиссар просто хотел понять, в нем ли дело, он ли не понимает, или дело в том, что это дело действительно слишком трудное. А ты не смог ответить ему единственно правильным образом.

- А что, есть правильный ответ?

- Конечно. Что и понимать нечего. Что синархия, это Бог.

- Бог?

- Бог. Человечество не выносит мысли, что наш мир получился случайно, по ошибке, потому что четыре обалдевших атома столкнулись на мокром асфальте. А где нет места случаю, там отыщется и космический заговор, и Бог, и ангелы, и дьяволы. Синархия выполняет ту же самую функцию на несколько суженном поле.

- Значит, я должен был сказать ему, что люди подкладывают в поезда бомбы из-за того, что ищут Бога?

- Я считаю, да.

54

Князь ада - джентльмен

Шекспир, Король Лир
Shakespeare, King Lear, III, iv, 140

Это случилось осенью. Я зашел на улицу Маркиза Гуальди за подписью господина Гарамона на заказе слайдов за границей. Краем глаза я заметил, что у госпожи Гра.ции сидит Алье и роется в каталоге авторов «Мануция». Я не стал с ним здороваться, потому что и без того опаздывал.

Покончив с техническими проблемами, я спросил у Гарамона, чем занят Алье в кабинете секретарши.

- О, это гений, - отвечал Гарамон. - Что за тонкость, что за эрудиция. Позавчера мы с ним ходили ужинать с авторами, и наша сторона выглядела великолепно! Беседа! Стиль! Джентльмен старой складки, настоящий аристократ, таких теперь не делают. Что за ученость, что за культура, скажу сильнее, что за информированность. Он рассказывал дивные анекдоты про исторических особ, и хотя они жили более сотни лет назад, клянусь вам, было впечатление, будто он лично знавал их всех. И знаете, какую он мне подал идею по пути домой? Он с первого взгляда проник в самую душу наших приглашенных, клянусь, он раскусил их лучше, чем я! Он сказал, что не следует дожидаться, покуда авторы для «Изиды без покрывал» найдутся сами. Потеря времени, читка рукописей, и никогда не знаешь, пожелают ли они потом платить за издание. В то время как у нас есть золотые россыпи, стоит только их разработать! Картотека авторов «Мануция» за последние двадцать лет! Понимаете теперь? Мы пишем нашим драгоценным, славным и проверенным сочинителям, или хотя бы тем, кто согласился выкупить свой залежавшийся

тираж со склада, мы пишем следующее: глубокоуважаемый, знаете, что мы начинаем издавать серию о знании и традициях высочайшей духовности? Столь утонченный литератор, как вы, не хочет ли испробовать силы на неизведанных поприщах, потягаться с трудностями и так далее и так далее. Ну гений, просто гений, что я вам могу сказать. Кажется, он всех нас приглашает в это воскресенье в какой-то замок, или дворец, более того, на замечательную виллу где-то́ возле Турина. Кажется, намечается невообразимая программа, какой-то ритуал, церемония, шабаш, кто-то будет фабриковать золото или живое серебро или еще что-то в этом духе. Этот мир нами недостаточно изучен, дорогой Казобон, при всем уважении к тем научным занятиям, которым вы посвящаете всего себя с подлинной страстью, напротив, я весьма доволен нашим с вами сотрудничеством, - знаю, знаю, ожидается та небольшая экономическая поправка, о которой вы недавно мне напоминали, я нисколько не забыл, в свое время мы с вами все это детально обсудим. Алье сказал, что ожидается и та синьора, красивая синьора, быть может, не идеально красивая, но в ней есть стиль, что-то такое во взгляде, - эта приятельница Бельбо, как ее...

- Лоренца Пеллегрини.

- Наверное. У нее что-то с нашим другом Бельбо, не правда ли?

- Они дружат.

- А! Вот ответ настоящего джентльмена. Молодец Казобон. Но я ведь не от любопытства, я по отношению ко всем вам выступаю чем-то вроде отца и... опустим, à la guerre comme à la guerre... Ступайте, мой милый.

У нас действительно была назначена встреча с Алье в горах около Турина, подтвердил Бельбо. Программа двойная. Первая часть вечера - праздник в помещении замка, принадлежащего одному состоятельному последователю розенкрейцеров. После этого Алье приглашает нас в лес, за несколько километров от замка, где намечен, разумеется на полночь, друидический ритуал, о подробностях которого он не распространялся.

- Но я вот что еще думал, - добавил Бельбо. - Нам надо бы заняться невероятными приключениями металлов. А здесь нас все время дергают. Почему бы нам не выехать накануне и не провести уик-энд в моем старом доме в ***? Там довольно мило, вы увидите, хорошие горы. Диоталлеви уже согласился, может быть, поедет и Лоренца. Разумеется, приезжайте с кем хотите.

Он не был знаком с Лией, хотя знал, что у меня кто-то есть. Я сказал, что буду один. За несколько дней до того мы с Лией поссорились. Повод был глупый и действительно все рассосалось за неделю, но именно в ту минуту мне хотелось смыться из Милана на пару дней.

Таким образом мы появились в *** - гарамоновская троица плюс прекрасная Лоренца. В момент отъезда все чуть было не лопнуло. Лоренца пришла на место встречи, но перед посадкой в машину заявила: - Я, наверное, останусь, чтоб не мешать вам работать. Вы поезжайте спокойно, потом увидимся, меня привезет Симон.

Бельбо, сжав пальцами руль, уставился прямо перед собой и тихо произнес: - Садись в машину. - Лоренца села и всю дорогу держала ладонь на шее у Бельбо, который вел машину в полном молчании.

*** остался той же самой деревушкой, которую знавал Бельбо во время войны. Мало новых домов, сказал он, в хозяйстве страшный спад, потому что все молодые переженились в города. Он показал нам на холмы около деревни, ныне заросшие травой, которые в старые времена все были засеяны пшеницей. Деревушка выскакивала из-за поворота неожиданно, над ней был холм, на холме вилла Бельбо. Холм был низкий, он не закрывал пейзажа, обрамленного легкой яркой полосой тумана. Взъезжая по горной дороге, Бельбо показал нам на противоположный холм, совершенно лысый, с капеллой на макушке, где росли еще две сосны. - Это Брикко, - сказал Бельбо. - Неважно, что это вам ничего не говорит. Туда отправлялись на праздничный пикник в понедельник после Пасхи. Сейчас в машине можно добраться за пять минут, а в те годы ходили пешком и это было паломничество.

55

Именую театром [место], в котором все действия слов и мыслей, а также все особенности речей и предметов показываются как будто на публичном театре, где представляются трагедии и комедии.

Роберт Фладд, Всеобщая история космоса
Robert Fludd, Utriusque Cosmi Historia
Tomi Secundi Tractatus Primi Sectio Secunda
Oppenheim (?), 1620 (?), p. 55

Мы подъехали к вилле. Назовем это виллой: господский дом, но весь первый этаж был перестроен под давильню, в которой Аделино Канепа - тот самый злобный батрак, который в свое время донес на дядюшку партизанам - делал вино из винограда, росшего в имении Ковассо. Дом, судя по всему, стоял пустой уже много лет.

В маленьком флигеле неподалеку была еще жива какая-то бабка, как объяснил нам Бельбо - тетушка батрака Аделино, все остальные потихоньку поумирали, дядя, тетя Бельбо, сам Аделино, осталась столетняя старуха, копалась в огороде, щупала четырех кур, откармливала кабана. Земли все были проданы для уплаты налогов на наследство, за долги, кто упомнит за что. Бельбо застучал в дверь флигеля, старуха высунулась из закутка, не сразу узнала посетителя, зато потом многообразно продемонстрировала восторг и гостеприимство. От приглашения зайти к ней Бельбо все же, после объятий и ласк, отказался.

Когда мы открыли дом, Лоренца запричитала от восторга и, обнаруживая все новые лестницы, коридоры, мрачные комнаты со старинной мебелью, продолжала ликовать. Бельбо прибеднялся, говорил что-то вроде «у каждого своя Доннафугата»[1], но был безусловно растроган. Он сюда иногда наезжает, сказал он, правда - редко.

- Но работается тут хорошо, летом не жарко, а зимой благодаря толстым стенам холодный ветер не страшен, и в каждой комнате печки. Когда я был подростком, семья эвакуировалась из города и я жил тут, в нашем распоряжении были только те две боковые комнаты в глубине коридора. Сейчас я обживаю дядитетино крыло и начал работать в кабинете дяди Карло. - Там стоял секретер, забавная штука, лист положить почти что некуда, зато порядочно ящиков, явных и потаенных. - Сюда невозможно взгромоздить Абулафию, - сказал Бельбо, - но в те редкие разы, что я здесь бываю, я пишу от руки, как в старинные времена.

Потом он распахнул дверцу огромного шкафа. - Вот что, когда я умру, имейте в виду, здесь все произведения моего раннего периода. Стихи, написанные в шестнадцатилетнем возрасте, планы шеститомной саги, которую я писал в восемнадцать... И прочее.

- Читаем, читаем, - захлопала в ладоши Лоренца и по-кошачьи подалась к шкафу.

- Лапы прочь, - отогнал ее Бельбо. - Читать там нечего. Я сам никогда не заглядываю. В любом случае, после смерти я являюсь сюда и лично все сожгу.

- Да, кстати, надеюсь, привидения тут водятся?

- Теперь-то конечно. Во времена дяди Карло здесь не было привидений, жизнь била ключом. В духе георгик. Я же стал наезжать сюда, когда возобладали буколики. Приятно работать тут по вечерам, собаки лают в долине...

Он показал нам отведенные комнаты: мне, Диоталлеви, Лоренце. Лоренца осмотрела свою, похлопала по старой кровати с пудовой периной, понюхала простыни и заявила, что это похоже на нырок в бабушкину сказку, потому что простыни пахнут лавандой. Бельбо сказал, что это не лаванда, а плесень, Лоренца ответила, что не имеет значения, а потом, привалившись к стене, так что бока и бедра выступили вперед, как при сражении с флиппером, сказала: - И что ж, я буду спать тут одна?

[1] Доннафугата - семейный замок в романе «Леопард» Дж. Томази ди Лампедуза.

Бельбо отвел глаза в сторону, в стороне оказались мы, он посмотрел в другую, потом шагнул в коридор и из коридора ответил: - Это мы решим. В любом случае хорошо, что у тебя есть куда удрать. - Мы с Диоталлеви удалились, слыша вдалеке, как Лоренца спрашивает у Бельбо, что он, ее стесняется? Он же отвечал, что если бы не показал ей комнату, она, конечно же, немедленно бы спросила, где ей прикажут спать. - Я сделал первый ход, теперь у тебя нет выбора. - Коварный афганец! - отвечала она. - Коли так, я решила спать себе смирно в своей келейке. - Ладно, ладно, - отвечал он с раздражением. - Люди приехали работать, я пойду, мы сядем на террасе.

Так мы и работали на большой террасе с виноградным навесом, под холодную минералку и литры кофе. До вечера был провозглашен сухой закон.

С террасы открывался вид на Брикко, под холмом Брикко виднелось размашистое строение с закрытым двором и футбольным полем. В пейзаж вплетались движения разноцветных фигурок: видимо, дети. Бельбо мотнул головой в ту сторону: - Ораторий францисканцев сальской школы. Они занимаются воспитанием. Именно там дон Тико учил меня музыке. Там был оркестр.

Я вспомнил о трубе, в которой Бельбо было отказано, о рассказе про сон. - На трубе или на кларнете?

Какую-то секунду он был охвачен ужасом. - Как вы дога... А, ну да, я ведь вам рассказывал про сон и про трубу. Понятно... Дон Тико учил меня действительно играть на трубе, но в оркестре я играл на генисе.

- А что такое генис?

- Кто его упомнит. Давайте лучше работать.

Однако в ходе работы не раз и не два он задумывался, глядя на ораторий. У меня возникло чувство, что ради того чтобы смотреть на ораторий, он рассказывает совсем другие вещи. Например, следующую историю.

- В конце войны тут перед домом случилась одна из самых яростных перестрелок, какие можно вообразить. Дело в том, что у нас в *** существовало соглашение между фашистами и партизанами. Летом, в течение двух лет, партизаны захватывали местность, и фашисты их не беспокоили. Фашисты все были пришлые, а партизаны - местные ребята. В случае стычек они знали, куда им бежать, знали все посадки кукурузы, лесочки и кустарниковые изгороди. Фашисты сидели практически взаперти в городе и вылезали только для проведения облав. Зимой же для партизан становилось гораздо труднее перемещаться по равнине, некуда было спрятаться, люди были видны на снегу и из приличного пулемета их можно было достать даже за километр. Поэтому партизаны уходили повыше в горы. И снова пользовались тем, что им были известны перевалы, щели и сторожки. Фашисты тогда овладевали долиной. Но вот пришла весна перед самым концом военных действий. Тут у нас фашисты еще оставались, но в город возвращаться они не хотели, как бы предчувствуя окончательную ловушку, которая ожидала их в городах и, как известно, захлопнулась двадцать пятого апреля. Думаю, что имели место кое-какие тайные переговоры и партизаны выжидали, никто не хотел вступать в бой, все знали, что скоро все так или иначе разрешится, по ночам «Радио Лондон» передавало все более утешительные известия, сплошные шифрованные сообщения для Франки[1], завтра снова будет дождь, дядя Пьетро принес хлеб и далее в таком роде, может быть, ты, Диоталлеви, помнишь, как это все выглядело... В общем, кто-то что-то спутал, партизаны спустились с гор как раз в то время, когда фашисты еще не убрались, как бы то ни было, моя сестра была вот на этой террасе, вошла в гостиную и сказала нам, что какие-то двое гоняются друг за другом с пулеметом. Мы нисколько не удивились,

[1] «Франко Франки» - подпольная антфашистская организация, основанная в Турине в мае 1944 года.

потому что нередко ребята и с одной и с другой стороны от скуки затевали военные игры, однажды в шутку кто-то выстрелил по-настоящему и пуля попала в ствол дерева въездной аллеи, у которого в тот момент стояла моя сестра. Она даже ничего не заметила, нам доложили об этом соседи, и сестре было наказано, что когда она видит, что кто-то играет с оружием, пусть скорее уходит. Вот они снова играют, сказала сестра, входя в комнату с террасы, в основном чтоб показать, что она слушается. Тогда долетел звук первой очереди. Но ее сопровождала и вторая, и третья, а потом очередей стало очень много, можно было различить сухие ружейные выстрелы, хлопки автоматов, глухие и гулкие удары - по-видимому, ручные бомбы, - и, наконец, пулеметы. До нас, по-видимому, дошло, что они уже не играют. Но у нас не было возможности обменяться соображениями, поскольку было не расслышать и собственных голосов. Пим пум банг ратата. Мы залезли под умывальник, я, сестра и мама. Потом появился дядя Карло пробравшись на карачках по коридору, чтоб сказать, что в наших комнатах находиться опасно и чтоб мы шли на их половину. Мы переместились в другое крыло, где наша тетя Катерина рыдала, потому что бабушка была где-то в поле...

- И лежала лицом вниз на голой меже между двумя полями...

- А это вы откуда знаете?

- А вы мне рассказывали в семьдесят третьем году после похода на демонстрацию.

- Ну у вас и память. Впредь буду осторожнее. Ну да, вниз лицом. Отца моего тоже не было дома. Как потом мы узнали, он шел по центральной улице городка, вскочил в какой-то подъезд и не знал как выбраться, потому что на улице был самый настоящий полигон, ее простреливали из конца в конец. С башни городской управы горстка чернобригадовцев утюжила площадь из пулемета. В том же подъезде спасался бывший фашистский подеста городка. Он сказал, что побежит домой, жил он близко, только за угол свернуть. Он выждал, когда было затишье, выскочил из подъезда, поравнялся с углом и был скошен выстрелом в спину с башни горуправы. Эмоциональная реакция моего папы, который, надо сказать, помнил первую мировую войну, была такая: правильнее оставаться в подъезде.

- Этот город полнен сладостных воспоминаний, я вижу, - заметил Диоталлеви.

- Ты не поверишь, - ответил Бельбо, - но они сладостные. Единственные настоящие воспоминания.

Другие вряд ли поняли, я же догадался, что он хочет сказать, а сейчас получил подтверждение. Особенно в последние месяцы, когда нас захлестнули вымыслы одержимцев, и вообще в последние годы, когда Бельбо укутывал свою разочарованность в вымыслы литературы, дни в *** оставались на особом месте в его сознании как знаки реального мира, в котором пуля означает пулю, или пролетит, или словишь, в котором враги выстраиваются стенка на стенку, и у каждого войска свой цвет, или красный или черный, или хаки или серо-зеленый, без двусмысленностей, по крайней мере, ему тогда казалось, что без них. Мертвец есть мертвец есть мертвец есть мертвец. Не то что полковник Арденти, то ли умер, то ли нет. Я подумал, что надо бы рассказать Бельбо о синархии, которая уже в те годы расползалась повсюду. Не синархична ли была встреча между дядей Карлом и полковником Терци, разведенными по разные стороны фронта единой, по сути, силой - идеалистической рыцарственностью? Но я не хотел отнимать у Бельбо его Комбре[1]. Эти воспоминания были сладки, потому что говорили о единственной правде, встреченной им на пути, все сомнительное начиналось после. Беда только (как он дал мне понять) в том, что даже в моменты истины он оставался наблюдателем. Он наблюдал в воспоминаниях за тем временем, в которое наблюдал рождение не-своей памяти, а исторической памяти - памятилища тех историй, которые описать дано было не ему.

А может, все-таки имел место момент славы и решения? Ведь сказал же он: - И вдобавок в этот день я совершил геройский поступок моей жизни.

---

[1] Родовой дом героя-повествователя Марселя Пруста.

- О мой Джон Уэйн, - сказала Лоренца. - Расскажи.

- Да ничего. Я переполз к дяде и не захотел больше ползать. Я хотел стоять выпрямившись в коридоре. Окно было вдалеке, этаж был второй, мне ничего не угрожало, о чем я всем и заявил. И я чувствовал себя капитаном, который остается на мостике, в то время как пули посвистывают и поют у него над ухом. Но дядя Карло рассвирепел и грубо дернул меня, повалив на пол, я уже готов был зареветь, потому что самого интересного меня лишили, и в этот момент послышался звон стекла, три удара, стук в коридоре, будто кто-то играл в теннис против стенки. Пуля влетела в окно, ударилась в водопроводную трубу и рикошетировала на уровне пола ровно в то место, где я был за секунду до того. Останься я там стоять, охромел бы на всю жизнь.

- Нет-нет, хромца мне не надо, - сказала Лоренца.

- Может быть, я был бы этому рад, - сказал Бельбо. И правда, ведь в том случае тоже выбирал не он. Его просто дернул дядя.

Через час он опять отвлек нас от работы. - Потом к нам явился батрак Аделино Канепа. Он сказал, что в подвале для всех будет безопаснее. Они с дядей не разговаривали множество лет, как я вам рассказывал. Но в трагический момент в Аделино заговорил гуманизм, и они с дядей даже обменялись рукопожатием. И мы просидели больше часа в темноте между чанами, вдыхая бродильные пары, немедленно ударявшие в голову, и стрельба была от нас далеко. Потом очереди потихоньку отдалились, стрельба доносилась как через вату. Мы поняли, что кто-то отступает, но все еще не знали кто. Пока наконец сквозь окошечко над нашими головами, выходившее на тропинку, не послышалось на местном диалекте: - Монсу, й'е д'ла репубблика беле си?

- Что это значит? - спросила Лоренца.

- Примерно следующее: «Милостивый государь, не могли бы ли вы быть настолько любезны, чтобы сообщить мне, пребывают ли до сего времени в окрестностях этого палаццо какие-либо приверженцы идеологии Социальной Итальянской Республики?» В те времена республика была ругательным словом. Это какой-то партизан задавал вопрос какому-то встречному, значит, тропинка снова становилась обитаемой, следовательно, фашисты убрались. Темнело. Постепенно появились сначала папа, а потом бабушка, каждый с рассказом о своем приключении. Мама и тетя готовили на скорую руку ужин, в то время как дядя и Аделино Канепа в высшей степени церемонно снова прекращали дипломатические отношения. В течение всего вечера мы слышали отдаленные очереди вдалеке, посреди холмов. Партизаны гнали бегущего противника. Мы победили.

Лоренца поцеловала его в голову и Бельбо всхлипнул носом. Он понимал, что победил не он, а актерский коллектив. Он на самом деле только смотрел фильм. Хотя на какую-то минуту, рискуя схватить рикошетную пулю, он прорвался внутрь этого фильма. Влетел прямо в кадр, как в «Хеллзапоппин»[1], когда перепутываются бобины и индеец верхом на расседланном мустанге влетает на светский бал и спрашивает, куда все поскакали, кто-то машет ему «туда», и он скрывается в совсем другом сюжете.

---

[1] Hellzapoppin («Все кувырком») - фильм (1941) Генри Поттера, ироничный по отношению к условностям кинематографа.

56

И он взялся играть на великолепной трубе так, что окрестные горы зазвенели.

Иоганн Валентин Андреэ, *Химическое бракосочетание Христиана Розенкрейца*
Johann Valentin Andreae, *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, Strassburg, Zetzner, 1616, 1, p. 4

Мы дошли до чудесных приключений водопроводов, к этой главе была найдена гравюра шестнадцатого века из издания «Спириталии» Герона, где изображался алтарь, а на нем кукла-автомат, которая благодаря паровому устройству играла на трубе.

Я возвратил Бельбо к его воспоминаниям. - Так что же ваш дон Тихо Браге или как его там, учитель трубных гласов?

- Дон Тико. Я так и не узнал, что такое Тико. Не то уменьшительное от имени, не то фамилия. Я после того никогда не бывал в оратории. А в свое время занесло меня к ним случайно. Вообще там служили мессы, готовили к зачету по катехизису, играли в подвижные игры и можно было выиграть картинку с блаженным Доменико Савио, это отрок в помятых штанишках из грубой материи, который на всех статуях держится за юбку дона Боско, очи возведены горе, чтобы не слышать, как его товарищи рассказывают неприличные анекдоты. Но я прознал, что дон Тико набрал духовой оркестр из ребят от десяти до четырнадцати лет. Малолетние играли на кларинах, флейтах пикколо, саксофонах сопрано, самые взрослые были в состоянии управляться с баритонами и большими барабанами. Они ходили в форме, верх цвета хаки, синие брюки, в фуражке с козырьком. Дивное зрелище. Так хотелось быть одним из них. Дон Тико сказал, что ему нужен генис.

Пауза. Бельбо смерил нас взглядом превосходства и отчеканил: - Генисом, по имени изобретателя, на жаргоне оркестрантов называется флюгельгорн, другими словами сигнальный горн контральто ми-бемоль. Генис - самый глупый инструмент оркестра. Он играет умпа-умпа-умпа-умпап в зачине марша, а потом парапапа-па-па-па-паа ритм шага, и далее па-па-па-па-па... Но научиться на генисе можно быстро, он относится к подгруппе медных, как и труба, и его звуковая механика - упрощенная копия механики трубы. Для трубы необходимо лучше поставленное дыхание и профессиональный забор мундштука. Нужна, знаете, такая круговая мозоль, которая вырабатывается на губах, как было у Армстронга. При наличии хорошего забора экономится дыхание и звук выходит прозрачным, чистым, дутье не чувствуется - да и вообще, музыканты не дуют с раздуванием щек, это только артисты в театре делают и в шаржах рисуют.

- А труба?

- На трубе я учился играть самостоятельно, летом в послеобеденные часы, когда в оратории никого не было. Я прятался между скамей в зрительном зале. На трубе я учился из эротических побуждений. Видите дом на холме в полукилометре от оратория? Там жила Цецилия, дочка дамы-благотворительницы этого заведения. Каждый раз, когда оркестр давал представление, по праздникам после процессии во дворе оратория, но особенно когда играли в крытом зрительном зале, перед выступлением драмкружка, Цецилия с мамой находилась в первом ряду на местах для почетных гостей, рядом со старостой местной церкви. И в этих случаях программа открывалась маршем под названием «Благой почин» - «Buon principio», марш начинался трубами, трубами си-бемоль, золотого и серебряного сияния, отчищенными по торжественному случаю. Трубы играли это вступление стоя и соло. Потом они садились и вступал оркестр. Только играя на трубе, я мог бы надеяться, что меня заметит Цецилия.

- А по-другому? - спросила растроганная Лоренца.

- По-другому не существовало. Во-первых, мне было тринадцать лет, а ей тринадцать с половиной, они в тринадцать с половиной - это женщины, а мы в тринадцать - сопляки. Кроме того, она любила саксофона контральто, некоего Папи, отвратительного, облезлого, как мне казалось, и она смотрела только на него, похотливо блеющего, потому что саксофон, если это не сакс

Орнетта Колемана, если он звучит в составе оркестра, и вдобавок в руках омерзительного Папи, это инструмент (как думал я в ту эпоху) козий и коитальный, и имеет такой же голос, как у манекенщицы, спившейся и шляющейся по панели.

- Какие это манекенщицы шляются по панели?

- В общем, Цецилия не знала даже, что я существую. Естественно, когда я влекся пешим ходом вверх по склону по вечерам за молоком на горную ферму, я выдумывал восхитительные истории, как ее арестовывают Черные бригады, и как я лечу освобождать ее, а пули посвистывают вокруг моей головы и псс... псс... падают в жнивье, я же открываю ей то, чего она не могла знать, а именно что под таинственной маской я руководитель Сопротивления во всем Монферрато, а она мне признается, что всегда надеялась, что это так, и тут меня охватывал нестерпимый стыд, потому что как будто струи меда разливались по всем жилам, и я клянусь вам, что даже не влажнело в паху, а это было другое, более ужасное, более великое ощущение, и вернувшись из похода, я шел исповедоваться. Думаю, что грех, любовь и слава именно это: бежишь на переплетенных простынях из окна миланского гестапо, она обвивает тебя за шею, вы двое в пустоте и она шепчет, что всю жизнь мечтала о тебе. Все прочее - только секс, копуляция, разнос нечестивого семени. Короче говоря, если бы я перешел на трубу, Цецилия не могла бы продолжать меня игнорировать, когда я вставал бы перед ней во весь рост, искрясь и сияя, а ничтожный саксофон съеживался бы, затененный мною стоящим. Труба воинственная, ангельская, апокалиптическая и победная, трубила бы атаку, а саксофон пусть пиликал бы на вечеринках пригородной шпаны, с жирными бриллиантиновыми патлами, там они отплясывают под саксофон в обжимочку с потными бабенками. Я учился искусству трубы как сумасшедший, до тех пор пока не смог предстать перед доном Тико, и я сказал ему: послушайте. И я был как Оскар Левант в момент его первого прослушивания на Бродвее с Геном Келли. И дон Тико сказал: да, ты труба. Однако...

- Какой же саспенс[1], - сказала Лоренца. - Не томи, скажи уж, и мы переведем дух.

- Однако я должен был сам привести себе замену на генис. Поищи, сказал дон Тико. И я поискал. А должны вы знать, о возлюбленные дети, что в *** в ту эпоху жило два отребья человечества, они были со мною в одном классе, хотя старше меня года на два, оба второгодники. Этих двух ничтожеств звали Аннибале Канталамесса и Пио Бо. В скобках: ист.

- Чего, чего? - изумилась Лоренца.

Я объяснил со знанием дела. - Когда у Сальгари[2] описывается реальный исторический факт (или то, что он считает действительным историческим фактом), скажем, как Сидячий Буйвол после битвы у Малого Большого Мыса поедает сердце генерала Кастера, автор вслед за изложением факта дает примечание в скобках «ист.».

- Вот-вот. В высшей степени ист, что Аннибале Канталамесса и Пио Бо действительно носили такие имена, но это еще в них не самое непозволительное. Они были отъявленные бездельники, способные только воровать комиксы из газетного киоска, тырить гильзы у тех, кто знал толк в гильзах (из-за чего солидные коллекции теряли половину ценности), и класть колбасные бутерброды на книги приключений на земле и на море, одолженные почитать у тех, кто получил их в подарок на Рождество. Канталамесса считал себя коммунистом, а Бо фашистом, оба только и ждали как бы продаться во вражеский стан за марку или рогатку, они рассказывали сексуальные истории, полные анатомических нелепиц, и заключали пари, кто из них дольше промастурбирует. Эти личности были готовы на все, почему было не попробовать с генисом? Я стал их соблазнять. Я нахваливал им оркестрантскую одежду, я водил их на выступления, намекал на возможность завоевания симпатий «Дочерей Марии»... И они попались в мои сети. Долгими днями в крытом театре,

---

1 От англ. suspense - неизвестность, ожидание.

2 Эмилио Сальгари (1863 - 1911) - популярный в свое время итальянский прозаик, писавший в духе Ж.Верна и Дюма-отца.

с длиннейшей тростью, какую вы могли видеть на иллюстрациях к брошюрам про миссионеров, я дрессировал их, лупя по пальцам, когда они ошибались кнопками. У гениса только три вентиля, работают пальцы указательный, средний и безымянный, в остальном все зависит, как я уже говорил, от забора мундштука. Не стану злоупотреблять вашим вниманием, милые слушатели. Настал момент, когда я смог представить дону Тико двух генисов, не то чтобы безупречных, но по крайней мере при первом показе, подготовленном мною ценой бессонных послеобеденных бдений, приемлемых. Дон Тико дал себя уговорить, разгильдяям пошили мундиры, а меня перевели на трубу. И примерно через неделю, в праздник Благоутешительницы Марии, открывая театральный сезон премьерой «Маленького парижанина», перед опущенным занавесом, в присутствии областного начальства, я стоял во весь рост и трубил вступление «Благого почина».

- О великолепие, - произнесла Лоренца с показным выражением нежной ревности. - А Цецилия?

- Ее не было. Может, болела. Не знаю. Не было.

Он обвел взором полукруг слушателей, несомненно в тот момент чувствуя себя не то бардом, не то фигляром. Он выдержал паузу. - Через два дня дон Тико послал за мной и известил меня, что Аннибале Канталамесса и Пио Бо погубили весь вечер. Они не выдерживали ритм, в промежутках отвлекались, шпыняя и щипая друг друга, забывали вступить в нужный момент. - Генис, - сказал мне дон Тико, - это костяк всего оркестра, его ритмическая совесть, его душа. Оркестр - это паства, инструменты - овечки, дирижер - пастырь, а генис - верный рыкливый пес, держащий в повиновении овец. Дирижер глядит прежде всего на генис, и если генис будет ему послушен, все стадо пойдет за ним. Якопо милый, я прошу от тебя воистину огромной жертвы, но ты должен вернуться к генису и стать рядом с теми двумя. У тебя есть чувство ритма, и ты мне нужен, чтобы с ними сладить. Клянусь, что как только они обретут самостоятельность, я верну тебя на трубу. - Я был кругом обязан дону Тико. Я сделал, как он хотел. На следующем празднике трубы снова стояли перед всеми нами и играли вступление «Благого почина» для Цецилии, которая слушала из первого ряда. Я же был в темноте, генис среди генисов. Что же до двух подонков, они так и не обрели самостоятельность. Меня так и не вернули на трубу. Война окончилась, я возвратился в город, забросил музыку, а что касается Цецилии, я так никогда и не узнал, какая была у нее фамилия.

- Бедненький лапочка, - сказала Лоренца, обнимая его за плечи. - Но у тебя остаюсь я.

- Я думал, ты любишь саксофонистов, - сказал Бельбо. Потом поцеловал ей руку, едва повернув голову. И снова стал серьезным. - За работу, - сказал он. - Мы должны заниматься историей будущего, а не хроникой пропавшего времени.

Вечером бурно отмечали отмену сухого закона. Элегическое настроение Якопо, похоже, проходило, и они с Диоталлеви мерились силами: изобретали ненужные механизмы, которые после энциклопедической проверки оказывались уже изобретенными и с успехом применяемыми. В полночь, после бурно прожитого дня, было решено, что следует испытать, удастся ли уснуть в немиланском воздухе.

Я залез под одеяло в старинной комнате, простыни были влажнее, чем это казалось утром. Якопо расставил заранее по всем кроватям «монахов», то есть овальные каркасы, приподнимающие простыни, под которые подсовывают грелки на угольях. Видимо, он хотел, чтобы мы причастились ко всем радостям житья на вилле. Но когда влага рассеяна повсюду, «монах» вытягивает ее из вещей, и хотя ощущается очаровательная теплынь, ткани становятся насквозь мокрыми. Что делать. Я зажег абажур с бахромкой, из тех где должны биться кучи бабочек, дорого продавая свою жизнь, как сказал какой-то поэт, и попробовал усыпить себя чтением газеты.

Сон не шел, через час я услышал шаги в коридоре, открыванье и хлопанье дверей, и в последний раз (в последний из тех, что я слышал) дверь ба-

бахнула с жутким грохотом. Лоренца Пеллегрини играла на нервах у Бельбо.

Тут я начал засыпать, и вдруг послышалось царапанье, на этот раз в мою дверь. Не было понятно, скребется ли зверь (ни кошек, ни собак в доме вроде не водилось), или же это какое-то приглашение, призыв, приманка. Может быть, Лоренца царапалась в дверь, потому что знала, что Бельбо за ней следит. А может, и нет. До тех пор я полагал Лоренцу чем-то вроде имущества Бельбо - по крайней мере в моем отношении к ней, - а кроме того, с тех пор, как я был с Лией, я стал нечувствителен к прочим чарам. Интригующие, почти призывные взоры, которые Лоренца то и дело метала в меня в редакции и у Пилада, подтрунивая над Бельбо и как бы ища во мне союзника или свидетеля, входили составной частью (так мне казалось) в некий шаблон поведения, а кроме того, Лоренца Пеллегрини умела смотреть на кого угодно с таким видом, как будто собиралась проверить его любовные способности, но при этом с подвохом, как бы говоря, «хочу тебя, но только чтобы доказать, что ты меня испугался». В тот вечер, слушая шарканье, шуршание ноготков по краске дверной створки, я понял совсем другое: я осознал, что желаю Лоренцу.

Тогда я сунул голову под подушку и стал думать о Лии. Хочу, чтоб у нас был ребенок, сказал я себе. И его (или ее) я сделаю трубачом, как только научится дуть.

6
ТЕФЕРЭТ

67

Da Rosa, nada digamos agora...[1]

Сампайо Бруно, *Кавалеры любви*
Sampayo Bruno, *Os Cavaleiros do Amor*, Lisboa, Guimarães, 1960, p. 155

Когда душой овладевает подозрительность, не ускользает ни один след. Теперь я находил многозначительные приметы во всем, что попадало в руки.

Я переписывался с бразильскими друзьями; вдруг в Коимбре наметился конгресс по лузитанской[2] культуре. Скорее из желания меня увидеть, чем из уважения к моим познаниям, друзья устроили мне приглашение на этот конгресс. Лия со мной не поехала, она была на седьмом месяце. Беременность не слишком исказила контуры тонкого тела, Лия просто приняла очертания хрупкой фламандской мадонны, но поездка ей была противопоказана.

Три замечательных вечера в обществе старинных товарищей - а затем мы покатили на автобусе обратно в Лиссабон, и на ходу завязалась дискуссия, куда интереснее заехать, в Томар или в Фатиму. Томар - так назывался замок, в котором португальские тамплиеры укрывались после того, как благорасположение короля и заступничество папы спасло их от процесса и костра, и где обитали под именем Христовых Кавалеров. Я не мог пропустить тамплиерский замок. К моей радости, большинство компании прохладно восприняло идею Фатимы.

Если можно вообразить самый растамплиерский из замков - таков Томар. Поднимаешься туда по военной дороге с укреплениями, огибающей наружные бастионы, все бойницы там в форме креста, и с первой минуты вы в атмосфере крестового похода. Рыцари Креста множество столетий жили там припеваючи; предание рассказывает, что Генрих Мореплаватель и Христофор Колумб происходили из их среды, и действительно они посвятили жизнь завоеванию морей - дав основу величию Португалии. Долгое и счастливое пребывание, выпавшее на их долю, позволило им перестраивать и расширять замок, благодаря чему к средневековому корпусу добавились пристройка

[1] О Розе мы тогда не говорили... (*португ.*).
[2] Лузитания - старинное название Португалии.

времен Возрождения и барочное крыло. Я растрогался, увидев замковую церковь с ее восьмиугольною ротондой, повторяющей архитектуру Гроба Господня. Меня также заинтересовало разнообразие форм тамплиерского креста в различных регионах: я уже заметил эту вариативность, изучая разношерстную иконографию по своей теме. В то время как кресты мальтийских рыцарей оставались практически неизменными во времени и пространстве, тамплиерские, судя по всему, модифицировались под воздействием моды эпохи или традиции места обитания. Вот почему охотники за тамплиерами кидаются на кресты любой формы и всегда обнаруживают за ними засекреченных Рыцарей Храма.

Потом гид повел нас смотреть окошечко в стиле мануэлино, так называемое «жанела»: ненамного больше простой отдушины, его проем был облеплен со всех сторон морскими и подводными сувенирами, водорослями, ракушками, якорями, брамселями и швартовами - в прославление достижений здешних рыцарей на поприще океаноплавания. По сторонам окна, на чем-то вроде декоративной ленты, опоясывающей приоконные пилоны, я увидел высеченные знаки Подвязки. Как может быть символ английского ордена в португальской военной крепости? Гид не знал что отвечать, но через некоторое время, проводя нас по противоположному крылу, кажется, северо-восточному, обнаружил и показал нам знаки Золотого руна. Я не мог не подумать о тончайшей игре соответствий, объединяющих Подвязку с руном, руно с аргонавтами, аргонавтов с Граалем, Грааль с тамплиерами. Я вспоминал и бредни полковника Арденти, и какие-то страницы из сочинений одержимцев... И прямо подскочил, когда гид-португалец ввел нас в залу со сводчатым потолком, усеянным розетками. Из доброй половины розеток глядела бородатая, козлоподобная физиономия. Бафомет...

Мы спустились в крипту. От семи отлогих ступеней пол необработанного камня подкатывается к абсиде, в которой так и видится алтарь или трон Великого Магистра. Но чтоб приблизиться к нему, надо пройти под семью сводами, в середине каждого из коих - роза, каждая крупнее предыдущей, а последняя, совершенно распустившаяся, нависает над колодцем. Крест и роза в тамплиерском монастыре, в зале, которая несомненно создавалась до розенкрейцерских манифестов! Я задал гиду несколько вопросов в этом духе, он улыбнулся: - Знали бы вы, сколько знатоков оккультного дела паломничает сюда к нам... Говорят, это был зал для инициации...

Случайно попав в еще не отреставрированное помещение, я оказался посередине пыльной мебели и картонных коробов. Я рассеянно запустил руку в короб - вынулся растерзанный том на еврейском языке, приблизительно семнадцатого века. Что делает еврейская книга в Томаре? Гид ответил, что тамплиеры поддерживали отношения с местной еврейской общиной. И, подведя меня к окну, показал кусок французского сада с маленьким изящным лабиринтом. Творение, сказал он, еврейского архитектора восемнадцатого столетия, Самуила Шварца.

Второе свидание в Иерусалиме... А первое назначалось в Замке. Не так ли говорится в провэнском завещании? О господи, вот он заветный замок, замок первого съезда. Это не Монсальват рыцарских романов, не Авалон гипербореев. Они искали место для срочной ретирады, что первым делом приходило им в голову, храмовникам из Провэна, привыкшим командовать гарнизонами, а не перечитывать романы Круглого Стола? Отступаем на укрепленные позиции, окапываемся в Томаре. И там под именем Рыцарей Христа уцелевшие храмовники пользовались всеми благами свободы, неограниченными гарантиями, и там у них была налаженная связь со связными второго отряда!

Я ехал из Томара, из Португалии, и воображение мое полыхало. Наконец-то я прочувствовал серьезные аспекты послания, переданного нам полковником. Храмовники, перейдя на нелегальное положение, выработали План, предназначенный продлиться шестьсот лет и завершиться в сегодняшнем столетии. Тамплиеры были серьезные люди. Если они писали «замок», они действительно имели в виду серьезный замок. Действие Плана начинается в Томаре. В этом случае, какой идеальный маршрут мог быть намечен на будущее? Какая последовательность для пяти предполагающихся слетов? Места,

в которых тамплиеры могли рассчитывать на радушный прием, на покровительство, единомыслие. Полковник называл нам Стоунхедж, Авалон, Агарту... Все это глупости. Текст завещания следовало проанализировать по-новому.

Разумеется, повторял я сам себе, возвращаясь домой, речь не идет о том, чтоб открыть секрет тамплиеров, а о том, чтобы изобрести его.

Для Бельбо, по-моему, было неприятно напоминание о малоудачной истории с полковником. Тем не менее листок он мне отыскал, порывшись в самом нижнем ящике. А, так все-таки, заметил я про себя, он его хранил. Мы вместе перечитали послание провэнцев. После стольких-то лет.

Все начиналось фразой, зашифрованной согласно Тритемию:

«Les XXXVI invisibles separez en six bandes». «Тридцать шесть невидимых, разделенных на шесть отрядов».

Потом шло:

a la .... Saint Jean
36 p charrete de fein
6... entiers avec saiel
p.... les blancs mantiax
r... s... chevaliers de Pruins pour la ... j. nc.
6 fois 6 en 6 places
chascune fois 20 a ... 120 a...
iceste est l'ordonation
al donjon li premiers
it li secunz joste iceus qui ... pans
it al refuge
it a Nostre Dame de l'autre part de l'iau
it a l'ostel des popelicans
it a la pierre
3 fois 6 avant la feste ... la Grant Pute.

Через тридцать шесть лет после повозки с сеном, в ночь Иоанна Крестителя, года 1344, шесть запечатанных посланий рыцарям в белых плащах, снова упорствовавшим после покаяния рыцарям из Провэна, в целях отмщения. Шесть раз шестеро в шести местностях, раз в сто двадцать лет, таков План. Первые едут в замок, потом соединяются с теми, кто ест хлеб. Потом опять в укрытие, потом опять к Нашей Владычице с той стороны реки, после этого в дом к попликанам, а потом к камню. Как видите, в 1344 году План рекомендует тамплиерам отправляться в Замок. И действительно, они укрепляются в Томаре начиная с 1357. Теперь давайте подумаем, куда могли в это время заслать второе подразделение. Ну, раз-два-три, убегающие тамплиерчики, куда бы нам приклонить ваши буйные головы?

... Н-ну... допустим, рыцари сенной телеги высадились потом в Шотландии... но почему оказаться в Шотландии называется «у тех, кто ест хлеб»?

Но меня уже невозможно было сразить. По ассоциативным цепочкам я мог бы участвовать в первенстве мира. Прекрасно, начинаем с любого места. Шотландия - Горная страна - друидические обряды - ночь святого Иоанна - летнее солнцестояние - костры на Ивана Купалу - Золотая ветвь... Попробуем, хотя успех не гарантирован. Что-то я читал о кострах в «Золотой ветви» Фрэзера[1].

Я позвонил Лии. - Слушай, возьми, пожалуйста, «Золотую ветвь» и посмотри костры на Ивана Купалу.

Лия искала, как всегда, недолго. - Что тебя интересует? Древний ритуал, отмечен во всех странах Европы. Празднуется день, когда солнце занимает максимальную высоту над горизонтом. Святого Иоанна добавили, чтобы охристианить все это дело...

- А едят хлеб? В Шотландии?

[1] Джеймс Джордж Фрэзер (1854 - 1941) - английский этнограф, знаток древних религий, шотландец по происхождению. В «Золотой ветви» описал мифы и ритуалы древних религий.

- Не написано... А, вот. Хлеб едят не на Ивана Купала, а первого мая, в ночь первомайских костров или костров, ночь Белтейн, имеется такой праздник друидического происхождения, в особенности в шотландских горных областях....

- О, вот то что надо! Едят хлеб? Сказано почему?

- Делают лепешки из пшеничной и овсяной муки и выпекают на угольях. Потом какой-то ритуал, воспроизводящий доисторические человеческие жертвоприношения... Эти лепешки называются бэннок - bannock.

- Как? Скажи по буквам! - Я записал, поблагодарил, заверил, что она моя Беатриче, моя фата Моргана и еще какие-то нежности. И тут я вспомнил один пассаж из своего собственного диплома: секретное ядро ордена, согласно легенде, укрылось в Шотландии при короле Роберте Брюсе и храмовники помогли этому королю выиграть битву при Бэннок-Берн. Король же отблагодарил их, учредив новый орден Кавалеров Св. Андрея Шотландского.

Я вытащил из шкафа пятитонный английский словарь и проверил свою догадку. Бэннок на средневековом английском (bannuc на древнесаксонском, bannach на гэльском) - это что-то вроде крекера, выпеченного на плите или на гриле, из ячменя, овса или любого другого зерна. Берн (burn) - это поток. Оставалось только перевести на французский так, как могли перевести французские тамплиеры, оповещая об обстановке в Шотландии своих провэнсских компатриотов, и выходило что-то вроде Хлебного ручья, или Булочной протоки, в общем хлеб в любом случае присутствовал. Те, кто при хлебе - означало те, кто выиграл сражение на Хлебном ручье, то есть шотландская ветвь распавшегося ордена, которая в то время, когда писался текст, возможно, распространилась уже на всю территорию Британских островов. Логично, суперлогично, архилогично. Маршрут Португалия -Англия - это естественнее, чем Северный полюс - Палестина.

68

Пускай твои одежды будут белыми... Если ночь, засвети множество лампад, пусть они засияют... Тогда начинай переставлять буквы, по одной, или по нескольку, меняй их местами, передвигай и сочетай до тех пор, пока сердце твое не станет горячо. Будь внимателен к перемещению букв и к тому, что может произойти от их смешивания. И когда ощутишь, что в сердце твоем горячо, когда увидишь, что перестановкой букв тебе удается постичь вещи, которые иначе не удалось бы тебе постигнуть, ни самостоятельно, ниже обратяся к Преданию, когда ты готов воспринять наитие Божественной мощи, которая войдет внутрь тебя, напряги тогда всю глубину помысла, чтобы вообразить в твоем сердце Имя и Его Ангелов наивысших, как если бы они были человечны и находились перед тобой неподалеку.

Абулафия, *Хайе Га-Олам га-Ба*

- Складно, - сказал Бельбо. - А где в таком разе у них Убежище?

- Шесть ячеек, как мы уже поняли, получили приказ законспирироваться в шести местах, из которых только одно фигурирует под именем Убежища. Что нестандартно. Следовательно, можно сделать вывод, что в других местностях, например в Португалии или в Англии, тамплиеры могли жить не скрываясь, только переменивши свое имя, а вот в этом конкретном месте они должны были прятаться. Я сказал бы, что Убежищем вполне могли бы называть место, в которое схоронились тамплиеры Парижа, когда им пришлось покинуть Тампль. Вдобавок, мне кажется еще и разумным, чтобы маршрут из Англии пролегал через территорию Франции. Почему бы не предположить, что у храмовников сохранялся подпольный центр в городской черте Парижа, в тихом и спокойном месте? Они хорошо понимали, что такое политика, и предполагали, что через два столетия многое в жизни переменится и что возможно станет и во Франции действовать при свете дня, или почти при свете.

- Ладно, пусть едут в Париж. Что потом на очереди?

- Полковник предлагал нам Шартр. Но если мы подставили в третью позицию Париж, мы не можем в четвертую помещать Шартр, потому что План

должен охватывать разные государства Европы. Кроме того, сначала мы вырабатывали мистическую версию, с тем чтобы опереть на нее версию политическую. Понимаемое мистически, продвижение тайных отрядов организуется, скорее всего, по синусоиде; поэтому имеет смысл принять к рассмотрению север Германии. И что же? С той стороны воды, с той стороны реки, попросту говоря за Рейном, имеется город - не какая-то там церковь, а целый город, - посвященный Богоматери. Мариенбург.

- А с чего бы им назначать свидание в Мариенбурге?

- Потому что это город тевтонских рыцарей! У тамплиеров с тевтонами отношения не испорчены, как испорчены с госпитальерами. Те так и подстерегают, подобно стервятникам, чтобы орден окончательно разгромили, чтобы все богатства перешли к ним. Тевтонский же орден, хотя он тоже основан в пику тамплиерскому (в Палестине, германскими императорами), довольно скоро был переведен на север, чтобы остановить вторжение варваров - пруссаков. И они провернули это так удачно, что в какие-то два столетия превратились практически в империю, объединившую все балтийские территории. Они подмяли под себя Польшу, Литву и Ливонию. Они основали Кенигсберг, потерпели поражение один-единственный раз - от Александра Невского в Эстонии, и приблизительно в тот момент, когда тамплиеров арестовывают в Париже, тевтоны провозгласили своей столицей Мариенбург. Если действительно духовное рыцарство работало над планами завоевания мира, у тамплиеров с тевтонами могла существовать договоренность о зонах влияния...

- Знаете что я вам скажу на все это? - произнес Бельбо. - Похоже на логику. Переходим к пятой группе. Объясните теперь попликан.

- Не могу, - сказал я.

- Вы меня ужасно разочаровали, Казобон. Наверное, придется спросить Абулафию.

- Ох, нет, - отвечал я, уязвленный. - Абулафия способен подсказать неожиданные связи. Но попликане - не связь, а данное; а данные - это забота старого Сэма Спейда. О йес! Дайте мне несколько дней и ночей.

- Две недели я могу дать вам, Спейд, - отвечал Бельбо. - И если через две недели вы не представите мне попликан, будьте добры предоставить бутылку «Баллантайна» двенадцатилетней выдержки.

«Баллантайн» был мне не по карману. Через неделю в этот же час я преподносил своим хищным подельникам попликан почти что на блюдечке.

- Все элементарно. Держитесь за меня крепче. Сперва мы заскочим в четвертый век после начала нашей эры, на территорию Византии, и убедимся, что в средиземноморском ареале в это время укореняются разнообразные вероучения манихейского содержания. Начнем хотя бы с архонтиков, которых основал в Армении Петр Кафарбарухийский, о котором никто не может сказать, что у него незапоминающееся имя. Заядлые антииудаисты, они идентифицируют дьявола с Саваофом, богом иудеев, обитающим на седьмом небе. Их цель - возвыситься до Великой Светоматери, которая живет небом выше, на восьмом, для чего, по их понятию, следует откреститься и от Саваофа и от таинства крещения. Что скажете?

- Открещаемся, - тряхнул головой Бельбо.

- Да? Но архонтики еще паиньки по сравнению со всеми остальными. В пятом веке возникают мессалиане, которые, кстати, продержались во Фракии аж до одиннадцатого века. Мессалиане - не дуалисты, они монархиане. Но у них активные взаимоотношения с силами ада, до такой степени, что в некоторых сочинениях они именуются борбориты - от «borboros», что означает нечисть, в честь тех непроизносимых бесчинств, которые они творили.

- А в чем состояли непроизносимые?

- Да все то же. Мужи и жены собирали свои непотребства, то есть сперму и месячные крови, и в ладонях возносили к небесам и поедали как тело Христово. Если же беременела жена, отверзали ей чрево ладонью и вырывали плод и толкли его в ступе и поедали с медом и перцем.

- Мед с перцем, - покривился Диоталлеви. - Ну и гадость.

- Теперь вы знаете, каковы мессалиане, впрочем, известные также под

именами стратиотиков и фибионитов, но не путайте их с барбелитами, состоящими из наассеан и фемионитов. Правда, некоторые отцы церкви полагают, что барбелиты - это как бы припоздившиеся гностики, а следовательно, дуалисты, обожавшие Великую Матерь Барбелу, и члены этого согласа называли борборианами илликиан, «детей материи», но не психиков, которые все же были поприличнее илликиан, и не пневматиков, которые в свою очередь гораздо приличнее психиков и в этой компании представляют собой что-то вроде «Ротари клуба». С другой стороны, есть мнение, что стратиотики - это не что иное, как илликиане по терминологии митраистов.

- Я не все уловил, - сказал Бельбо.

- Я вас понимаю. Но, к сожалению, эти люди не оставили документальных свидетельств. Все, что о них нам известно, известно от их ненавистников. Забудем же о них! Мне они понадобились, только чтобы показать вам, какая безалаберщина царила в это время в средиземноморском ареале. Теперь вы поймете, откуда взялись павликиане. Павликианами именовались последователи, как вы догадались, апостола Павла, к которым присоединились иконоборцы, изгнанные из Албании. Начиная с восьмого века и в течение последующих число этих павликиан стремительно умножалось, секта перерастала в общину, община в банду, банда в политическую силу и византийские императоры начали из-за них терять терпение и насылать на них имперские армии. Они же распространяются до самой границы арабского мира, обсаживают Евфрат, заполоняют византийские владения по берегам Эвксинского понта. Устраивают колонии повсеместно, и мы обнаруживаем их последышей даже в семнадцатом веке, после чего их переагитировали иезуиты, хотя и до сих пор существуют какие-то общины на Балканах или что-то вроде этого. Во что же веруют павликиане? В Господа триединого, за исключением одной детали - что Творец действительно спроектировал наш мир (насколько удачно, сейчас не обсуждается). Они отрицают Ветхий завет, ниспровергают заповеди, попирают крест и не почитают Приснодеву, так как думают, что Христос воплотился непосредственно на небе и проскочил через Марию как через водосток. Богомилы, которые частично вдохновились их идеями, заявляли даже, что Христос в Марию вошел через ухо и вышел через другое, так что она вообще ничего не заметила. Кое-кто обвиняет их в том, что они обожают солнце и дьявола и примешивают младенческую кровь ко хлебу и к вину причастия.

- Ну, не одни они.

- Самое смешное, что в то время для еретиков хождение к мессе было действительно травматогенно, впору хоть в мусульмане подаваться. Я вам коротенько охарактеризовал этих несгибаемых именно для того, чтобы пояснить, что когда в Италии и в Провансе распространились дуалисты-диссиденты, их спонтанно начали называть в честь павликиан: попеликанами, публиканами, популиканами и так далее. В Галлии, как мы читаем, употреблялась форма «попликане» - gallice etiam dicuntur ab aliquis popelicant!

- Что и требовалось нам от них.

- Что и требовалось. Павликиане же продолжают в девятом веке вставлять пистоны византийским императорам, до тех пор, пока император Василий торжественно не присягает, что если только он доберется до их атамана по имени Хризохер (ей-богу!), который к тому времени запустил свой сброд в церковь Св. Иоанна Божьего в Эфесе и напоил коней из водосвяченой купели...

- ... дались им эти кони, - пробормотал Бельбо.

- ... он ему вставит три стрелы в башку. Он наслал на него имперские вооруженные силы, те его изловили и отрубили голову, император дождался, когда голову принесли к нему на подносе, поставил ее к себе на трюмо, на журнальный столик, не знаю в какое место, и вжих, вжих, вжих, загнал свои три стрелы, полагаю - по одной в каждый глаз и в рот.

- Ну и нравы, - сказал Диоталлеви.

- Да они не со злости, - сказал Бельбо. - Это еще один аспект веры «Основа чаемых вещей»[1], а попросту говоря - выдача желаемого за действительное. Давайте дальше, Казобон, все равно наш Диоталлеви - презренный богоубийца и не понимает теологических тонкостей.

[1] Данте. Рай XXIV. 64.

- Так вот, к чему я собственно: крестоносцы пересекались с павликианами! Они пересекались с ними около Антиохии во время первого крестового похода, в то время как павликиане воевали на стороне арабов, а кроме того, при осаде Константинополя, когда павликианская община из Филиппополя норовила тихо сдать город болгарскому царю Иоаннице, ради того только, чтобы насолить французам, как свидетельствует Виллардуен[1]. Вот вам искомая связь с тамплиерами и искомый ключик к загадке. Легенда говорила, что тамплиеры оказались нестойки к ереси катаров, а на самом деле тамплиеры и втравили катаров в эту ересь! Они встречались с павликианскими общинами во времена крестовых походов и наладили с ними таинственные взаимоотношения, как прежде их налаживали с мистиками и с мусульманскими еретиками. В то же время на нас работает и сама по себе теория Плана. Мистическому Пути некуда идти если не через Балканы.

- Почему?

- Потому что, по-моему, очевидно, что шестое свидание намечено в Иерусалиме. В Плане ясно сказано - объединиться у камня. Где стоит тот самый камень, который обожествляют мусульмане, и чтобы увидеть который надо снимать ботинки? Да вот же, посередине Омаровой мечети в Иерусалиме, там, где некогда был Храм храмовников! Не знаю, кто там будет заниматься организацией встречи - может быть, тамплиеры, законспирированные и закамуфлированные, а может быть, каббалисты, связанные с португальцами, но ясно одно: чтобы из Германии попасть в Иерусалим, самый короткий путь пролегает через Балканы, и именно там затаилась пятая подстава, а именно павликиане. Видите, как с каждым шагом наш План все хорошеет.

- Прелесть просто, - сказал Бельбо. - А где именно на Балканах надо было их искать? Попликан?

- Я полагаю, что самыми естественными преемниками попликан должны были выступать болгарские богомилы. Но провэнские тамплиеры не могли, безусловно, предвидеть, что в самый неподходящий момент Болгария будет захвачена турками и останется под их пятой в течение пяти столетий.

- Исходя из чего, делаем вывод, что выполнение Плана сорвалось на переходе от немцев к болгарам, когда примерно?

- В 1824 году, - сказал Диоталлеви.

- Почему, извини?

Диоталлеви быстро набросал следующую схему:

Португалия	Англия	Франция	Германия	Болгария	Иерусалим
1344	1464	1584	1704	1824	1944

- В 1344 году первые великие магистры каждой из шести групп обосновываются на шести установленных Планом местах. В течение стадвадцатилетнего срока в каждой группе сменяется по шести великих магистров и в 1464 году шестой магистр Томара встречается с шестым магистром английской группировки. В 1584 году двенадцатый английский магистр встречается с двенадцатым французским. Цепочка и дальше развертывается в том же ритме и если встреча с павликианами срывается, она срывается в 1824-м.

- Предположим, что она срывается, - сказал я. - Но невозможно понять, почему столь подготовленные люди, имея на руках четыре шестых части окончательного Извещения, не смогли реконструировать его сами. Или почему, если уж сорвалось их свидание с болгарами, они не связались непосредственно со следующими партнерами.

- Казобон, - сказал на это Бельбо. - Вы действительно считаете, что провэнские конспираторы были такие дурошлепы? Если они хотели, чтобы Сообщение оставалось в тайне полных шестьсот лет, наверное, они приняли предосторожности, или я ошибаюсь? Каждый великий магистр, наверное, знает, где ему искать гроссмейстера следующей команды, но не знает, где искать всех остальных, а никто из остальных не знает, где искать представителей предыдущих эшелонов. Стоило немцам разминуться с болгарами, и они уже

[1] Жоффруа де Виллардуен (≈1150 - ≈1220) - французский хронист, автор сочинения «Завоевание Константинополя», посвященного Четвертому крестовому походу, в котором он сам участвовал.

не знают, где искать иерусалимитян, а иерусалимитяне не знают, где им искать и кого вообще разыскивать. Что же касается реконструкции желанной Вести по имеющимся фрагментам, это зависит от того, как были нарезаны и розданы эти фрагменты. Я думаю, не в прямой последовательности. Не хватает важного кусочка - и потерян смысл всей вообще истории, а тот, у кого кусочек на руках, не знает, что ему с ним делать.

- Подумайте только, - произнес Диоталлеви, - если их встреча не состоялась, сейчас по Европе в совершенной тайне рыскают представители всех групп, желающие и не могущие объединиться. Каждому из них совершенно ясно, что вот столечко не хватает ему до мирового господства... Как зовут этого чучельщика, о котором вы рассказывали, Казобон? Может быть, действительно существует заговор, и вся история мира - это только результат состязания за восстановление потерянного Известия? Мы их не видим, а они, невидимые, орудуют вокруг нас.

У Бельбо и у меня в голове роилось примерно то же самое, так что мы все говорили хором. Накричавшись, мы обратили внимание на то, что должно было сразу броситься в глаза. По меньшей мере два выражения из провэнского завещания, а именно: пассаж о тридцати шести невидимках и рассуждение о ста двадцати годах - всплывали и в ходе знаменитого спора о розенкрейцерах.

- К тому же розенкрейцеры - немцы, - добавил я. - Придется почитать их манифесты.

- Но вы же говорили, что они фальшивые, - сказал Бельбо.

- Ну и что? Мы тоже сочиняем фальшивку.

- Ах да, - ответил на это Бельбо. - Я почти что забыл.

69

Elles deviennent le Diable: débiles, timorées, vaillantes à des heures exceptionnelles, sanglantes sans cesse, lacrymantes, caressantes, avec les bras qui ignorent les lois... Fi! Fi! Elles ne valent rien, elles sont faites d'un côté, d'un os courbe, d'une dissimulation rentrée... Elles baisent le serpent... [1]

Жюль Буа, *Сатанизм и магия*
Jules Bois, *Le satanisme et la magie*
Paris, Chailley, 1895, p. 12

Он действительно забывал, сейчас я понимаю. И конечно к этому времени относится нижеследующий файл, короткий и безумный.

Имя файла: Эннойя

Ты пришла ко мне домой неожиданно. У тебя была трава. Я не хотел, потому что не позволяю никаким растительным веществам вмешиваться в деятельность моего мозга (что снова ложь, потому что я курю табак и пью дистилляты из зерен). В любом случае, в шестидесятые годы, когда кто-нибудь меня втягивал в круговое сосание скользкой колбаски, пропитанной слюнями, со знаменитой последней затяжкой через булавочку, мне бывало смешно, и только.

Но вчера мне предложила это ты, и я подумал, что, вероятно, это твоя манера предлагать себя, и я накурился с верой. Мы танцевали прижавшись, как не принято уже многие годы, и вдобавок - какой стыд - под Четвертую симфонию Малера. У меня как будто бы в объятиях восходило, вызревало древнее создание, со сладостным и морщинистым ликом ветхой козы, змея, выникавшая из-под глуби моих чресел, и я тебя обожал, как старобытную и всеохватную тетку. Вероятно, я продолжал колыхаться, приединенный к твоему телу, но чувствовал, что ты возносишься в воздух, претворяешься в злато, идешь в затворчатые двери, воздымаешь тела на воздух. Я пронзал

[1] Они - женщины - становятся Дьяволом: слабые, оробелые, дерзостные в исключительный час, бесконечно кровоточащие, плачущие, ласкающие, с руками, не ведающими правил... Фи! Фи! Они ничего не стоят, они сотворены из ребра, из одной изогнутой кости, из вновь явленного притворства... Они целуются со змеем... (*франц.*).

твое темное чрево, Megale Apophasis[1], Полонянка Ангелов.

Может быть, не тебя искал я? Может быть, до сих пор ожидаю тебя? Всякий раз я терял тебя потому, что не мог узнать? Всякий раз я терял тебя потому, что, узнавая, узнавал, что потеряю?

И куда ты делась вчера вечером? Я проснулся, было утро и болела голова.

70

Все мы помним, однако, секретные намеки на период в 120 лет, которые брат А., наследник Д. и последний во второй линии наследования - живший среди многих из нас - обратил к нам, членам третьей линии наследования....

Слава Братства, в: Всеохватная и всеобщая Реформа всего целого мира
Fama Fraternitatis, in *Allgemeine und general Reformation*, Cassel, Wessel, 1614

И я кинулся штудировать оба манифеста розенкрейцеров, «Слава» и «Исповедание». Не оставил без внимания и «Химическое бракосочетание Христиана Розенкрейца» Иоанна Валентина Андреаэ, потому что именно Андреаэ был предположительным сочинителем манифестов.

Манифесты появились в Германии в 1614-1615 гг. То есть лет через тридцать после встречи 1584 года между французами и англичанами и почти что за сотню лет до даты, в которую была назначена встреча французов и немцев.

Я приступил к чтению не ради того, что в манифестах реально было сказано, а ради того, что в них просматривалось «между строк». Я понимал, что чтобы заставить их означать не то, что написано, я должен буду проскакивать некоторые места, а другие почитать важнейшими, нежели прочие. Но именно этой системе учили нас одержимцы и их славные вдохновители! Передвигаясь в тончайшем времени Откровения, никто не обязан подчиняться дотошным и тупым требованиям логики, перебирать скучные цепочки причин-следствий. И то сказать, при буквальном восприятии розенкрейцерские манифесты - просто дикое нагромождение абсурда, загадочности, противоречий.

Поэтому они не могли означать то, что означали при первочтении. Следовательно, они не являлись ни призывом ко глубинной духовной перестройке, ни рассказом о жизни бедолаги Христиана Розенкрейца. А следовательно, они были зашифрованным текстом, который можно было читать наложив определенную сетку. Сетка закрывает одни пространства и оставляет на воле другие: как зашифрованное завещание провэнцев, где имели значение только начальные буквы слов. У меня сетки не было, но достаточно было вообразить ее. Вообразить сетку - значит просто читать с недоверием.

В том, что манифесты излагали провэнский План - не было сомнений. Гробница С. R. (явная аллегория здания Гранж-о-Дим, в ночь 23 июня 1344 года!) хранит в себе тайное сокровище, завещанное грядущим поколениям, «добро... заложенное на сто двадцать лет». Что этот клад - не денежного порядка, тоже не может быть двух мнений. Тексты не только открыто насмехаются над простодушной алчностью алхимиков, но и явно говорят, что под обещанным добром имеется в виду огромное историческое свершение. И если кому-то остается еще что-то непонятно, вступает в дело второй манифест, который подчеркивает, что нельзя пренебрегать обетованием, сулящим miranda sextae aetatis (чудеса шестого, окончательного объединения!). И снова повторяется: «О если бы угодно было Богу донести до нас свет своего шестого Светильника... если бы возможно было прочесть все в единой Книге! и читая, если бы возможно было понять и воспомнить все, что бывало... Сколь было бы отрадно, если бы возможно стало преобразить посредством пенья (то есть чтения вслух Извещения!) скалы (lapis exillis!) в жемчуга и в драгоценные камни...» И говорилось о тайных секретах, и о правительстве, которое могло

[1] Megale Apophasis - «Великое Изъяснение» - одно из главных сочинений философа-гностика Симона Волхва (1 в. н.э.).

бы быть установлено в Европе, и о «великом деянии», которое следовало совершить...

Говорилось о том, что С. R. побывал в Испании (и в Португалии?) и указал тамошним ученым, как можно «подступиться к истинным знакам - indicia - грядущих столетий, но все втуне». Почему втуне? И чего ради немецкая тамплиерская рота в начале семнадцатого века публично обнародовала ревниво оберегаемые тайны? Решили «засветиться», чтобы таким образом компенсировать сбой, произошедший в эстафете?

Никто не может отрицать, что в манифестах указываются те же самые этапы Плана, которые выделил Диоталлеви. Первый брат, о смерти которого говорится, вернее говорится, что он «преодолел предел», - брат И. О. Умирает он в Англии. Следовательно, кто-то победоносно добрался до места первого свидания. Далее речь идет о второй и о третьей линиях наследования. И до этих пор все, казалось бы, спокойно: вторая линия, то есть английская, встречается с третьей, французской, в 1584 году, и ясно, что люди, пишущие в начале семнадцатого века, могут говорить только о том, что имеет отношение к первым трем группам. В «Химической свадьбе», написанной Валентином Андреаэ в юношескую пору, то есть раньше, чем манифесты (хотя и они относятся к 1616 году) упоминаются три великолепных храма, три места, которые, по всей видимости, уже были задействованы.

В то же время меня не покидало ощущение, что манифесты говорят о том же самом хотя и теми же словами, но не с тем настроением, и в их интонации чувствуется какая-то тревога.

Отчего, скажем, столь упорно повторяется в них рассуждение о том, что времена созрели, что момент настал, невзирая на врагов, которые расставили ловушки и пустили в ход все свое лукавство для того, чтобы «случай» не сбылся? Какой еще случай? Говорится, что конечной целью С. R. выступал Иерусалим, но туда он не смог добраться. Почему? Хвалят арабов за то, что они обмениваются посланиями, в то время как германцы не умеют помогать друг другу. И намекают на «более крупную группу, которая хочет все пастбище только для себя». То есть речь идет не просто о том, что кто-то собирается нарушить План ради своих собственных интересов, а о том, что План действительно уже нарушен.

В «Славе» говорится, что вначале некто выработал магическое письмо (ну да, конечно - провэнское послание!), но что Господни часы отбивают каждую минуту, «в то время как нашим не удается отыграть и часы». Кто же не сумел уловить биение Божиих часов, кто не прибыл на нужное место в необходимую минуту? Обиняками ведется рассказ о некоем изначальном союзе братьев, которые могли бы обнародовать некую тайную философию, однако предпочли вместо этого распространиться по миру.

Манифесты явно намекают на случившуюся неприятность, в них ощущается неуверенность, чувство потери. Братья первых линий причащения все устроили так, чтобы их сменяли на посту «достойные последователи», однако положили правилом «содержать в тайне место своего погребения... так что и доселе мы не знаем, где же они погребены».

Что скрывается под этой аллегорией? Что осталось и доселе неизвестным? Какого «погребения» до нас не дошел адрес? Безусловно, манифесты были написаны из-за того, что какая-то информация пропала, и всех тех, кто случайно мог бы располагать сведениями по данному вопросу, приглашали срочно объявиться, заявить о себе.

Невозможно не признать, что именно в этом смысл завершения «Славы»: «Снова обращаемся ко всем ученым Европы... с просьбой благосклонно соответствовать нашему предложению... оповестить нас о своих мыслях... Ибо хотя мы до сих пор и не оглашаем имена наши... Кто бы ни донес до нас собственное имя, получит возможность собеседовать с нами гласно и вживе, или же - если к тому возникнут препятствия - тогда в письменной форме».

Именно то, к чему стремился в свое время и полковник, публикуя свою версию. Он хотел заставить кого-то прервать молчание.

Итак, имел место некий гэп, пауза, провисание, неувязка. На гробнице С. R. была помещена не только надпись «Post 120 annos patebo» - напомина-

ние о необходимой периодичности встреч, - но и «Nequaquam vacuum», что следовало понимать не как «пустоты нет», а как «пустоты не должно быть». А между тем создалась пустота! Пустоту следовало срочно заполнить!

Но тут я опять остановился и снова спросил себя: почему же подобный разговор возникает в Германии, где в любом случае четвертая линия должна была терпеливо дожидаться своей законной очереди? Немцы не могли сокрушаться в 1614 году по поводу несостоявшейся встречи в Мариенбурге, потому что Мариенбург был намечен на 1704 год!

Единственный возможный вывод из всех возможных - это что германцы жаловались на то, что не сумела состояться предыдущая встреча!

Вот он, ключ к разгадке! Немцы четвертой линии жаловались на то, что англичане второй линии разминулись с французами третьей! Ну конечно, все дело в этом. В тексте, если присмотреться, содержатся аллегории по-детски прямолинейные. Когда открывают гробницу C. R., обнаруживают подписи братьев первого и второго кругов, но не третьего! Португальцы и британцы налицо, но куда подевались французы?

Розенкрейцеры выходили на поверхность, снимали маску и рисковали всем на свете, потому что это был для них единственный способ спасти от развала План.

71

Мы даже не знаем с определенностью, владели ли Братья второй линии теми же сведениями, что были у Братьев первой, и не знаем, были ли они допущены к познанию всех секретов.

Слава Братства, в: Всеохватная и всеобщая Реформа всего целого мира
Fama Fraternitatis, in Allgemeine und general Reformation
Cassel, Wessel, 1614

Все это я изложил с энтузиазмом, и как Бельбо, так и Диоталлеви согласились, что секрет манифестов был предельно ясен даже для самого последнего оккультиста.

- Итак, все понятно, - сказал Диоталлеви. - Мы уперлись на идее, что эстафета прервалась на переходе от германцев к павликианам, а на самом деле это случилось в 1584 году, между Англией и Францией.

- Но с какой стати? - спросил Бельбо. - Есть у нас объяснение, по какой такой причине англичанам не удалось организовать встречу с французами? Ведь англичане знают, где находится Убежище, они-то единственные это и знают.

Бельбо нуждался в подсказке. Поэтому он запустил Абулафию, которую предварительно зарядил всевозможными пословицами и поговорками, стишками, всем, что попалось под руку. Абулафии было приказано выдать последовательность двух заложенных данных. На выход поступило следующее:

Минни - это невеста Микки Мауса
Тридцать дней в ноябре, апрель-июне, сентябре

- Ну, что скажете? - подытожил Бельбо. - У Минни свидание с Микки Маусом, но они договорились на тридцать первое сентября, и вот бедный Микки Маус...

- Стоп, стоп, у меня потрясающая мысль! - заорал я. - Такое действительно могло случиться, но только не тридцать первого сентября, а пятого октября 1582 года!

- Что, что?

- Григорианская реформа календаря! Господи, да вот же оно. В 1582 году вступает в силу григорианский календарь, отменяется юлианский, и для выравнивания счета исчезают десять дней из месяца октября - с пятого по че-

тырнадцатое!

- Но свидание во Франции назначалось на 1584-й, и не на октябрь, а на Иванову ночь - 23 июня, - сказал Бельбо.

- Это да, это конечно... Однако если я правильно помню, реформа вступила в силу не сразу и не повсеместно. - Я помчался к стеллажу, где у нас находился Объединенный вечный календарь. - Вот-вот. Смена календаря предписывается начиная с 1582 года, и тем самым отменены дни с 5 по 14 октября, но это имеет значение в основном для папы. Во Франции реформу проводят в 1583 году и отменяют дни с 10 по 19 декабря. В Германии в это время раскол церквей, католические области присоединяются к реформе в 1584-м, как например Богемия, а протестантские тянут до 1775-го, представляете, почти двести лет тянут, не говоря уж о том, что делается в Болгарии, но о чем, кстати, рекомендуется помнить, - там григорианский календарь вступает в силу только в 1917-м! Теперь посмотрим Англию... Реформа была проведена в 1752-м! Естественно! Ведь они ненавидели папистов, англикане, - и сумели продержаться около двух столетий. Ну вот, теперь нам понятно, что там произошло между ними. Франция упразднила десять дней в конце 1583 года и к июню 1584-го все уже к этому привыкли и думать забыли. Но в Англии-то вместо 23 июня 1584-го было всего только 13-е! С другой стороны, настоящий англичанин, пусть даже и тамплиер, не станет обращать внимание на разные материковые глупости. Они же до сих пор ездят задом наперед и не выучили десятеричной системы мер. Они, конечно, прибыли на свидание в полном составе 23 июня 1584 года, да только было уже третье июля... Французы прождали их напрасно и разошлись недовольные. Может быть, они прождали целую неделю и разошлись за несколько часов до прибытия британцев - кто знает? Может быть, и те в свою очередь проторчали там неделю в полном недоумении? Ясно одно - два великих магистра потеряли друг друга из виду.

- Восхитительно, - отозвался Бельбо. - Похоже, так оно и было. Но почему закопошились немецкие розенкрейцеры, а вовсе не англичане?

Чтобы ответить на этот вопрос, я попросил еще сутки сроку. Я перерыл свою драгоценную картотеку и на следующий день появился в редакции, лопаясь от гордости. След! след был найден, пусть даже и минимальный, но Сэму Спейду достанет и этого, потому что ничто не ускользает от его ястребиных очей. Я пришел доложить, что как раз около 1584 года Джон Дии, маг и каббалист, придворный астролог английской королевы, получает задание разработать и внедрить григорианскую систему летосчисления!

- Англичане встретились с португальцами в 1464 году. После этого, по всему судя, британские острова охватила настоящая каббалистическая лихорадка. Обрабатывается информация, полученная на первой встрече, и ведется подготовка к следующему свиданию. Джон Дии - основная фигура этого магически-герметического возрождения. Он формирует личную библиотеку в четыре тысячи томов, и она такова, что ее как будто составляли провэнские тамплиеры. Его книга «Monas Ieroglifica» («Иероглифическая монада») как будто непосредственно повторяет «Tabula smaragdina» - «Скрижаль изумрудову» - библию алхимиков. Что же делает Джон Дии начиная с 1584 года и далее? Он читает «Стеганографию» Тритемия! И читает ее в рукописи, потому что первое печатное издание появилось только в начале семнадцатого века. Вот он, Великий Магистр английского разряда, он находится под опасным шахом, это почти что мат: сорвалась заветная встреча. Дии пытается понять, что же произошло, в чем коренится ошибка. А так как он прекрасный астроном, довольно скоро до него доходит, в чем дело, и он хлопает себя по лысине и вопит: какой же я кретин, господи ты боже! И хватается изучать григорианскую реформу (обеспечив себя госзаказом от Елизаветы), чтобы придумать, как помочь беде. Но беде помочь нельзя, время упущено. Он не знает, на кого имеет смысл прямо выходить во Франции. Остается среднеевропейский ареал, где у него достаточно знакомых. Прага Рудольфа II в те времена - сплошная алхимическая лаборатория. Действительно, в эти самые годы Дии отправляется в Прагу и встречается с Хунратом, сочинителем «Амфитеатра вечной науки» («Amphiteatrum sapientiae aeternae»), включающего аллего-

рические гравюры, в которых чувствуется влияние как Андреаэ, так и розенкрейцерских манифестов. Какие контакты удалось завязать Дии? Я не знаю. Сокрушенный раскаянием по поводу своей непростительной ошибки, он умирает в 1608 году. Но это не страшно, потому что тем временем в Лондоне уже начинает активно действовать персонаж, который, по мнению молвы, принадлежит к розенкрейцерам и в частности говорит о розенкрейцерах в своей «Новой Атлантиде». Я имею в виду Фрэнсиса Бэкона.

- Что, Бэкон действительно говорит о розенкрейцерах? - поинтересовался Бельбо.

- Не вполне. Но некий Джон Хейдон переписывает «Новую Атлантиду», называя ее «Священная земля», и там действуют розенкрейцеры. Нам все это годится и в таком виде. Мы-то понимаем, что если Бэкон не говорит открыто, это из-за конспирации, то есть как если бы он говорил.

- А кто не верит, холера ему в бок.

- Вот именно. И как раз по инициативе Бэкона все теснее сближаются английские и немецкие конспираторы. В 1613 году состоялось бракосочетание между Елизаветой, дочерью Иакова I, в тот момент правившего Англией, и Фридрихом V, пфальцграфом-избирателем Рейнским. После смерти Рудольфа II Прага перестает быть самым подходящим местом, им становится Гейдельберг. Великокняжеская свадьба превращается в апофеоз тамплиерских аллегорий. Во время лондонских церемоний всю режиссерскую часть берет на себя Бэкон, им поставлена аллегория: нисхождение духовной кавалерии с появлением рыцарей на вершине горы. Очевидно, что Бэкон, будучи преемником Дии, стал Великим Магистром английской тамплиерской ячейки...

- ... а так как он несомненно является также и подлинным автором пьес Шекспира, надо бы нам теперь пересмотреть весь корпус шекспировской драматургии, которая, натурально, говорит не о чем ином как о Плане, - сказал Бельбо. - Ночь святого Иоанна - сон в летнюю ночь... Не понимаю, каким образом до сих пор все это могло оставаться незамеченным. Сейчас меня поражает прежде всего ясность почти невыносимая...

- Нас губил рационалистический подход, - кивал Диоталлеви. - Я всегда это говорил.

- Дайте слово Казобону, пусть он выскажется до конца, потому что, по-моему, он разработал замечательную теорию.

- Ничего замечательного. Я уже кончаю. После лондонской части торжеств наступает часть гейдельбергская. Соломон де Каус выстраивает для графа-избирателя висячие сады. Гвоздем представления выступает аллегорическая колесница, несущая Язона-жениха, а на двух мачтах корабля, сооруженного на колеснице, укреплены символы Подвязки и Золотого Руна. Думаю, вы не забыли, что то же сочетание эмблем я обнаружил в замке Томар... Все совпадает. В течение года после этого появляются розенкрейцерские манифесты. Это знак того, что английские тамплиеры, воспользовавшись помощью своих немецких друзей, забросили наживку в европейском масштабе, надеясь увязать звенья оборвавшейся цепочки.

- Но какова конкретно их цель?

72

Nos invisibles pretendus sont (à ce que l'on dit) au nombre de 36, separez en six bandes[1].

Ужасающие соглашения, заключенные между диаволом и предположительными невидимыми
Effroyables pactions faictes entre le diable et les pretendus Invisibles
Paris, 1623, p. 6

- Скорее всего, ведут двойную игру. С одной стороны, направляют сигналы французам, а с другой, взаимосвязывают нити, разрозненные в немецкой среде, вероятно, пострадавшей в результате лютеранской реформации.

[1] Наши предположительные невидимые существуют (судя по тому, что о них говорится) в числе 36, разделенные на шесть групп.

Именно в Германии и происходит самое скандальное недоразумение. Оно состоит в том, что после выхода манифестов, году к 1621-му, их сочинители получили слишком много ответов...

Я процитировал те самые названия бесконечных летучих книжонок, затрагивавших данную тему, которыми мы так замечательно потешались далекой ночью с Ампаро, в Салвадоре. - Скорее всего, среди этих графоманов есть и люди, которым что-то известно, но они теряются в преизбытке сумасшедших, исступленно толкующих каждую букву манифестов, а может быть - и провокаторов, цель которых - сорвать всю операцию, а по большей части - растяп... Англичане пытаются вмешаться в дискуссию, навести порядок, не случайно Роберт Фладд, другой английский тамплиер, в течение года пишет целых три работы, предлагая единственно верную интерпретацию манифестов. Но процесс уже пошел, он не поддается контролированию, в Европе вспыхивает тридцатилетняя война, пфальцграф-избиратель разбит испанцами, Пфальцграфство и Гейдельберг разграблены ордами победителей, Богемия в огне... Англичане тогда переключаются на Францию, пробуют разобраться хотя бы там. Вот почему в 1623 году манифесты розенкрейцеров объявляются в Париже, обращая к французам приблизительно те же самые призывы, которые прежде они посылали к немцам. И что же мы читаем в одной из парижских книжечек, обличающих розенкрейцеров и написанных кем-то из тех, кто либо их сильно подозревал, либо пытался просто подтасовать карты? Что розенкрейцеры - обожатели диавола, это уж само собой, и это не имеет значения, но поскольку в любой клевете бывает доля истины, значение имеет одна деталь: если верить обвинителям, тамплиеры гнездятся в Марэ.

- Ну и что?

- Вы не помните планировку Парижа? Марэ - это квартал Храма и в то же время еврейское гетто! Не говоря уже о том, что в этих книжечках сообщается, что розенкрейцеры связаны с сектой иберийских каббалистов алумбрадос! Не исключено, что антирозенкрейцерская литература, якобы направленная против тридцати шести невидимых, на самом деле нацелена на то, чтобы попросту выявить их. Габриэль Ноде, библиотекарь Ришелье, издает свое «Предписание французам относительно истинности историй о розенкрейцерах». Что же в нем предписывается? И кто таков предписывающий? Пресс-атташе тамплиеров третьего эшелона - или авантюрист, замешавшийся в чужую игру? С одной стороны, он вроде бы старается выставить тамплиеров как дьяволопоклонников, а с другой - повсеместно разбрасывает тонкие намеки на толстые обстоятельства. Скажем, на то, что розенкрейцеров насчитывается еще в активе целых три коллегии. И точно, после третьего эшелона, как мы знаем, существуют где-то на свете еще три. Автор дает совершенно фантастические адреса (к примеру сказать - Индия, плавучие острова), но в то же время пробалтывается, что одна из коллегий расположена в подземельях Парижа.

- Вам кажется, что этого хватает для объяснения тридцатилетней войны? - спросил Бельбо.

- Несомненно, - ответил я. - Ришелье получает конфиденциальную информацию от Ноде, ему тоже хочется поучаствовать в этой истории, но он допускает ошибку, применяет военную силу, тем самым еще больше мутит воду. Но я бы не преуменьшал значение еще двух фактов. В 1619 году собирается капитул Кавалеров Христовых в Томаре. После сорока шести лет молчания! Предыдущий капитул собирали в 1573 году, за несколько лет до намеченного 1584: это значит, что на повестке дня, по-видимому, стояла подготовка к путешествию в Париж совокупно с англичанами; а после появления розенкрейцерских манифестов в Томаре снова проводится слет, очевидно с целью разработки единой линии действия - примыкать ли к кампании англичан или пробовать другие дороги.

- И это необходимо, - поддержал меня Бельбо. - Эти люди потерялись в лабиринте. Кто выбирает один закоулок, кто другой. Кричат все, и слушая отголоски, не могут ничего понять - чужой ли это вопль или эхо собственного выкрика... А чем заняты в это время павликиане и иерусалимитяне?

- Если бы мы знали! - отозвался Диоталлеви. - Могу сказать только, что именно в этот период в Европе распространяется лурианская каббала и впервые выдвигается формула о «разбитых сосудах». То есть именно тогда возникает представление о Торе как о неоконченном сказании. Есть одно сочинение польских хасидов, и там написано: если бы произошло еще одно событие, все буквы переставились бы по-иному. При этом имейте в виду: каббалисты недовольны, что немцы захотели опередить свое время. Верная последовательность шагов и порядок, описанный в Торе, так и остались сокрытыми, их же ведает Пресвятый, да славится Его имя. Но не будем, не будем, а то я договариваюсь до глупостей...Если уж и священная каббала вовлечена в этот План...

- Если План существует, в него должно быть вовлечено все. Или он всеобщ, или никчемен, - сказал Бельбо. - Однако Казобон собирался рассказать еще о каком-то сигнале...

- Да. Точнее, о некоей серии сигналов. Еще до того как провалилась встреча 1584 года, Джон Дии начал заниматься картографическими изысканиями и поощрять отправку морских экспедиций... Сотрудничая с кем? Да с Педро Нуньесом, космографом королевского дома Португалии! Дии отправляет разведгруппы на поиски северо-западного пути в Катай[1], вкладывает деньги в предприятие некоего Фробишера, который отклоняется к полюсу и возвращается, везя эскимоса, которого все принимают за монгола. Дии подзуживает Фрэнсиса Дрейка на все его лихачества, включая кругосветное мореплавание, и надеется организовать также путешествие на восток, потому что на востоке лежит начало любого оккультного знания, а в день отплытия не помню уж какой экспедиции заклинает ангелов...

- И что все это означает в нашем контексте?

- Да по всей видимости, Дии не столько интересовался открытием новых мест, сколько их картографическим отображением, именно поэтому он привлек к сотрудничеству Меркатора и Ортелиуса, великих картографов. Больше всего это похоже на то, как если бы по обрывкам Известия, которыми располагает, он догадался, что дело идет о некоей карте, и даже догадался, что тайна и есть карта, и после этого стал пытаться составить карту своими силами! Я выражусь и гораздо сильнее, как сказал бы господин Гарамон. Возможно ли вообще, чтобы ученый такого калибра прошляпил столь очевидную вещь, как расхождение календарей? Бросьте. Он все это подстроил нарочно. Он надеялся расшифровать Завещание без чужой помощи и обвести конкурентов вокруг пальца. Мне кажется, что именно в этот момент, начиная с Дии, впервые является мысль, что секреты можно разгадывать самостоятельно - при помощи либо магии, либо науки, - не дожидаясь, пока сбудется План. Возникает синдром нетерпения. Так рождается класс буржуазии, класс завоевателей, и так погибает принцип солидарности, на котором держалась вся духовная кавалерия. Если это зародилось еще у Дии, что говорить о Бэконе. С тех самых пор англичане рвутся к открытию секрета, используя все возможные достижения новейшей науки.

- А немцы что же?

- Немцы? Их мы и дальше отправим по дороге традиции. Благодаря чему получим объяснение не менее чем двухсотлетнему периоду истории философии: англосаксонский эмпиризм против романтического идеализма...

- О, так мы поэтапно переоткрываем историю человечества, - сказал Диоталлеви. - Мы с вами переписываем Книгу. Интересно, интересно!

---

[1] Средневековое название Китая.

73

Еще один занимательный пример криптографии был предъявлен миру в 1917 году одним из лучших историографов Бэкона, доктором Альфредом фон Вебером-Эбенгоффом из Вены. Следуя той же самой системе, которая была уже применена к произведениям Шекспира, исследователь приложил ее к произведениям Сервантеса... Проводя свое исследование, он обнаружил потрясающее вещественное доказательство: первый английский перевод «Дон Кихота», выполненный Шелтоном, содержит исправления от руки, внесенные Бэконом. Ученый сделал вывод, что имеющийся английский текст и является истинным подлинником романа и что Сервантесу принадлежит только его перевод на испанский язык.

Ж. Дюшоссуа, *Бэкон, Шекспир или Сен-Жермен?*
J. Duchaussoy, *Bacon, Shakespeare ou Satn-Germatn?*
Paris, La Colombe, 1962, p. 122

В том, что в последующие дни Якопо Бельбо кинулся читать самым запойным образом исторические работы, относившиеся ко времени тамплиеров, сомневаться не приходится. Потом он поделился с нами выводами, пересказал голую суть своих пестрых фантазий, и мы обнаружили для себя немало полезных рабочих гипотез. Теперь, однако, я знаю, что он писал на Абулафии гораздо более сложную повесть, и в ней лихорадочная пляска цитат переплеталась с его собственной личной мифологией. Получив возможность перетасовывать фрагменты чужой жизни, он наконец почувствовал, что способен описать, под этим прикрытием, собственную. Нам он об этом файле ни разу не говорил./.../

74

При том, что намерения он имеет благие, весь дух его и все его пророчества несомненно одушевляются дьяволом... Его речи способны соблазнить многочисленных любознательных людей и нанести большой ущерб и бесчестье церкви Господа Нашего.

Характеристика на Гийома Постэля, направленная Игнатию Лойоле отцами иезуитами Сальмероном, Лоостом и Уголетто, 10 мая 1545 года

Точнее, Бельбо говорил с нами об этом, но очень сдержанно, ограничившись сжатым пересказом мотивов и связей и, разумеется, затушевав личностный компонент. Он даже попытался сделать вид, что мотивы и связи подсказала ему сама машина, Абулафия. Я действительно и до Бельбо уже читал где-то предположение, что Бэкон является тайным автором розенкрейцерских манифестов. Меня поразил скорее другой факт, упомянутый Бельбо: что Бэкон был виконтом Сент-Альбанским!

Что-то загудело у меня в голове, какое-то воспоминание, связанное опять же со знаменитым, ныне полузабытым дипломом о тамплиерах. Всю ночь я копался в старых конспектах.

- Господа, - торжественно обратился я на следующее утро к сообщникам - Мы не можем изобретать связи. Наше дело их обретать. Они существуют. Когда Святой Бернард подал идею созвать свой знаменитый собор для легитимизации тамплиеров, среди членов оргкомитета мероприятия числился приор Сент-Альбанский. Святой Альбан, кстати говоря - это первый британский мученик, евангелизатор британских островов, и родился он в Веруламе, поместье Бэкона. Святой Альбан, кельт и несомненный друид, посвященный в тайны, как и сам Святой Бернард.

- Этого мало, - сказал Бельбо.

- Погодите. А приор Сент-Альбанский, о котором я говорил до того, становится настоятелем Сен-Мартен-де-Шан, аббатства, в котором будет впоследствии учрежден Консерваторий Науки и Техники!

Бельбо не выдержал. - Дьявольщина!

- И не только, - продолжал я как ни в чем не бывало. - Еще и сам Консерваторий задумывался как памятник Фрэнсису Бэкону. 25 брюмера III года республики от Конвента поступает приказ Комитету народного образования - подготовить и опубликовать полное собрание сочинений Бэкона. А 18 вандемьера того же года тот же Конвент принимает законопроект об учреждении Дома науки и искусства, в котором бы воплотилась идея Дома Соломона, описанного Бэконом в «Новой Атлантиде»: место, где собраны все известные технические изобретения человеческого рода.

- Ну и что? - спросил Диоталлеви.

- А то, что в Консерватории висит Маятник, - ответил Бельбо. По вопросу Диоталлеви я понял, что Бельбо не вводил его в курс своих соображений на тему о маятнике Фуко.

- Всему свое время, - сказал я тогда. - Маятник будет изобретен и установлен лишь в девятнадцатом веке. Пока что пренебрежем.

- Пренебрежем? - перебил Бельбо. - Вы что, никогда не видели изображения Иероглифической монады Джона Дии, талисмана, в котором сосредоточена вся мудрость подлунного мира? Что это, по-вашему, не Маятник?

- Прекрасно, - ответил я. - предположим, нам удается установить соответствия между этими фактами. Но какой переход от Сент-Альбана к Маятнику?

И я нашел переход за несколько дней и принес им его в зубах.

- Значит, приор Сент-Альбанский - настоятель Сен-Мартен-де-Шан. Таким образом аббатство становится филотамплиерским центром. Бэкон, через свое имение, налаживает тайные связи с друидами, последователями Святого Альбана. В то же время учтем, что когда Бэкон начинает в Англии свой творческий путь, во Франции его же оканчивает Гийом Постэль.

/.../

- Постэль изучает еврейский язык, желая доказать, что это праматерь всех языков, и переводит «Зогар» и «Багир»; он завязывает отношения с каббалистами, разрабатывает проект всепланетного мира, сходный с проектами розенкрейцерских групп в Германии, а также пробует устроить военный союз короля Франции с султаном, посещает Грецию, Сирию, Малую Азию, изучает арабский язык, одним словом - повторяет духовный маршрут Христиана Розенкрейца. Не случайно он подписывается во многих случаях «Розисперг» - «прыщущий росой». В то же время Гассенди[1] в своей «Поверке Фладдовой философии» говорит, что Розенкрейц происходит не от розы, а от росы («рос»). В одной рукописи он говорит о некоей тайне, которую надлежит хранить, пока не созреют времена, и добавляет «не пометайте бисер ваш пред свиниями». А знаете, где еще появляется это евангельское выражение? На фронтисписе «Химического бракосочетания»! Вдобавок Святой отец Марино Мерсенн, обличая розенкрейцерца Фладда, говорит, что тот - из такого же теста, такой же великий безбожник, как и Постэль. С другой стороны, почти что достоверно известно, что Дии и Постэль встречались в 1550 году, но тогда они еще не знали, да и откуда бы им узнать, что именно они и станут теми двумя Великими Магистрами, которых План обяжет встретиться в 1584-м. Вдобавок ко всему, Постэль заявлял, вы только послушайте! что как прямой потомок старшего отпрыска патриарха Ноя, притом что Ной - родоначальник

[1] Пьер Гассенди (1592 - 1655) - французский философ, математик, астроном.

кельтского племени и следовательно, цивилизации друидов, король Франции имеет непосредственное право на титул Царя Мира. Именно так: Царя Мира, того самого, который в Агарте, но употребляет он этот термин тремя столетиями раньше! Бог с ним, с Постэлем, и с его странной биографией, потому что в определенный момент он втюрился в старушку по имени Иоанна, назвал ее Божественной Софией, видимо, подвинулся рассудком. Учтем при этом, что у него имелись довольно солидные недоброжелатели, которые аттестовали его псом, калоедом, мерзостным отродьем, клоакой ересей и вместилищем легиона демонов. Несмотря на это, и даже несмотря на старушку любовницу, инквизиция не считала его еретиком. Он проходил у инквизиторов по статье amens, что переводится как «блаженненький». Делаем вывод, что этого человека не трогают, потому что за его спиной - тень какой-то могущественной группировки. В скобках для Диоталлеви добавляю, что Постэль любил путешествовать по Востоку и являлся современником Исаака Лурии, а дальше Диоталлеви пусть делает выводы какие хочет. Да. Так вот в 1564 году (когда Дии сочинил свою «Иероглифическую монаду»), Постэль отрекается от еретических блудней и удаляется искупать вину... угадайте куда? В монастырь Сен-Мартен-де-Шан! Как легко понять, он хочет провести двадцать лет в ожидании 1584-го.

- Это уж точно, - кивнул Диоталлеви.

Я летел дальше. - Да вы понимаете, что у нас вся картина на ладони? Постэль - гроссмейстер французского ядра, он дожидается встречи с ядром английским, но умирает в 1581 году, за три года до условленной встречи. Выводы. Во-первых, ляпсус с 1584 годом происходит, в частности, потому, что нет надежного человека, такого как Постэль, способного вовремя предусмотреть и откорректировать нелепицу с календарями. Второе, Сен-Мартен - это место, где тамплиеры испокон веков чувствовали себя как дома и где поселился их уполномоченный представитель, ожидая выхода на связь. Сен-Мартен-де-Шан - это и есть «Укрытие»!

- Ну просто одно к одному.

- Вот именно. В год несостоявшегося свидания Бэкону еще всего только двадцать лет. Дожив до 1621 года, он принимает титул виконта Сент-Альбанского. Спрашивается: почему его вдруг так потянуло к имению предков и ко всему с этим связанному? Мы не знаем. Однако в этом же году кто-то выдвигает против него облыжное обвинение в коррупции и Бэкон попадает в тюрьму. Очевидно, Бэкон раскопал нечто, что могло внушать страх. Внушать кому? Не будем забывать, что к этому времени Бэкон уже твердо уверен, что Сен-Мартен - ключевая точка, и собирается разместить именно там свой Дом Соломона - лабораторию, в которой можно работать, проводить эксперименты, с тем чтобы раскрыть секрет Плана.

- Но, - спросил Диоталлеви, - через кого осуществлялся контакт между наследниками Бэкона и деятелями Великой французской революции?

- Сейчас сказали бы - через масонов, - пробормотал Бельбо.

- Феноменально! Ведь именно об этом говорил нам в свое время и Алье!

- Ох, придется нам заняться масонами. Что представляют из себя ложи в то время?

75

> От вечного сна... не убежит никто, кроме тех, кто еще при жизни сумел обратить свой дух к высшему совершенству. Посвященные (Адепты) находятся на пределе этого пути. Следуя указаниям памяти - анамнезу, по выражению Плутарха, - они обретают свободу, дорога их пряма, увенчанные, они отправляют тайносовершительные действия и видят на земле иных, кто не был посвящен и кто не очистился, их толкотню и давку в грязи и в сумерках.
>
> Юлиус Эвола, *Герметическая традиция*
> Julius Evola, *La tradizione ermetica*,
> Roma, Edizioni Mediterranee, 1971, p.111

Я нахально вызвался составить в самые сжатые сроки примерную хронологическую таблицу. Лучше бы я этого не обещал. Меня захлестнуло море

книг, наполненных историческими сведениями и герметическими сплетнями, и понял, сколь непростое дело отличать достоверное от фантастического. Я проработал как автомат в течение семи дней и к концу недели у меня в руках был совершенно непроходимый перечень различных сект, лож и группировок. Не скрою, что при этом занятии не раз и не два я подскакивал как ужаленный, обнаружив известные мне имена в совершенно неожиданной компании, сталкиваясь с поразительными хронологическими совпадениями. Перебелив список, я показал его коллегам.

1645 Лондон: Эшмол основывает Незримый колледж розенкрейцерского толка.
1662 Из Незримого колледжа рождается Королевское общество, а из Королевского общества, как всем известно - масонство.
1666 Париж: Академия наук.

1707 Рождается Клод-Луи де Сен-Жермен[1], если он действительно рождается.
1717 Основана Великая Лондонская ложа.
1721 Андерсон составляет Конституцию английского масонства. Будучи посвящен в Лондоне, Петр Великий учреждает ложу в России.
1730 Монтескье, будучи в Лондоне проездом, вступает в ложу.
1737 Шевалье де Рамзай заявляет о связи масонства с тамплиерством. Появляется шотландский обряд, отныне и впредь находящийся в конфликте с Великой Лондонской ложей.
1738 Фридрих - в то время наследный принц Пруссии - вступает в масоны. Становится покровителем энциклопедистов.
1740 Примерно в это время появляются ложи во Франции: в Тулузе - Ложа Верных Шотландцев, в Бордо - Коллегиум Высоких Князей Королевской Тайны и т. д.
/.../
1743 Первое появление на публике графа Сен-Жермена. Лионская ложа изобретает ступень Рыцаря Кадоша, чье назначение - месть за тамплиеров.
1753 Виллермоз открывает ложу Совершенной Дружбы.
1754 Мартинес Пасквинес (Мартен де Паскуалли) основывает Храм Элус Коэн (возможно, позднее - в 1760).
1756 Барон фон Гунд учреждает Строгое Наблюдение Тамплиеров. Некоторые утверждают, что эта ложа возникла под влиянием Фридриха II Прусского. Впервые возникает разговор о Неведомых Старшинах. Кое-кто утверждает, что Неведомыми Старшинами были Фридрих и Вольтер.
1758 В Париж прибывает Сен-Жермен и предлагает свои услуги королю в качестве химика, специалиста по крашению и краскам. Он бывает у Помпадур.
1759 Формируется Совет Императоров Востока и Запада, который спустя три года составляет Конституцию и Бордоский устав, откуда поведет свое начало Древний и Принятый шотландский обряд (официально он начинает свою деятельность только с 1801). Характерной чертой шотландского обряда является увеличение числа верхних степеней вплоть до тридцати трех.
1760 Сен-Жермен и его двусмысленная дипломатическая миссия в Голландии. Он должен скрываться, в Лондоне его арестовывают и затем отпускают. Дом Пернети основывает Общество иллюминатов в Авиньоне. Мартинес Пасквинес учреждает Орден Кавалеров Избранных Каменщиков Мира.
1762 Сен-Жермен в России.
1763 Казанова встречается с Сен-Жерменом в Бельгии. Там он именуется Де Сюрмон и превращает простую монету в золотую.

[1] Казобон контаминирует : известны Клод-Луи де Сен-Жермен (1707-78) - военный деятель, и легендарный граф Сен-Жермен, настоящее имя которого неизвестно.

1768 Виллермоз входит в общество Элус Коэн, основанное Пасквинесом. Печатается, с апокрифическим местом публикации - Иерусалим, - книга «Развенчание наиболее тайных секретов высших степеней масонства, или же Истинное розенкрейцерство»: в книге говорится, что ложа розенкрейцеров находится на горе Гередон в шестидесяти милях от Эдинбурга. Пасквинес встречается с Луи-Клодом Сен-Мартеном, который впоследствии станет знаменит под именем Неизвестного Философа. Дом Пернети становится библиотекарем прусского короля.

1771 Герцог Шартрский, впоследствии знаменитый как Филипп Эгалите, становится Великим Магистром Великого Востока, потом Великого Востока Франции, и пытается объединить все ложи, встречая сопротивление лож шотландского обряда.

1772 Пасквинес переезжает в Санто-Доминго, а Виллермоз и Сен-Мартен основывают Суверенный Ритуал, который сделается впоследствии Великой Шотландской Ложей.

1774 Сен-Мартен удаляется от дел, чтобы стать Неизвестным Философом, а один из делегатов Строгого Послушания Тамплиеров предпринимает переговоры с Виллермозом. Рождается Шотландская директория провинции Овернь. Из Овернской директории образуется Шотландский Исправленный обряд.

1776 Сен-Жермен, под именем графа Уэллдона, представляет химические проекты Фридриху II.
Создается Общество Филафетов для объединения всех герметических обществ.
Ложа Девяти Сестер, в которую входят Гильотен и Кабанис, Вольтер и Франклин. Вейсгаупт кладет начало баварским иллюминатам. По некоторым данным, он был посвящен неким датским купцом, Кельмером, возвратившимся из Египта, который будто бы - не кто иной как таинственный Альтотас, учитель Калиостро.

1778 Сен-Жермен встречается в Берлине с Домом Пернети. Виллермоз учреждает Орден Добродетельных Кавалеров Града Святого. Строгое Послушание Тамплиеров сливается с Великим Востоком при условии, что будет соблюдаться Шотландский Исправленный обряд..

1782 Большой съезд всех секретных обществ в Вильгельмсбаде.

1783 Маркиз Томэ учреждает Обряд Сведенборга.

1784 Сен-Жермен якобы погибает, устраивая для ландграфа Гессе фабрику по производству красок.

1785 Калиостро учреждает Мемфисский обряд, который впоследствии превратится в Древний и Первобытный Мемфисско-Мисраимский обряд и в котором количество высших степеней будет доведено до девяноста.
Вспыхивает инспирированный Калиостро скандал с ожерельем королевы. Дюма передает этот эпизод как масонский заговор с целью дискредитации монархии.
Орден иллюминатов в Баварии, подозреваемый в революционной деятельности, подпадает под запрет.

1786 Мирабо проходит инициацию у баварских иллюминатов в Берлине. В Лондоне выходит манифест розенкрейцеров, приписываемый Калиостро. Мирабо пишет письмо Калиостро и Лафатеру.

1787 Во Франции около семисот лож. Публикуется «Проект» Вейсгаупта, где предлагается такой тип тайной организации, в которой каждый член знает только своего непосредственно вышестоящего.

1789 Начало Французской революции. Кризис французских лож.

1794 Восьмого вандемьера депутат Грегуар представляет в Конвенте проект Консерватория Науки и Техники. Музей будет создан в соборе Сен-Мартен-де-Шан в 1799 году по решению Совета Пятисот.
Герцог Брунсвик требует роспуска лож под предлогом, что некая злокачественная секта распространила среди них свою заразу.

1798 Арест Калиостро в Риме.

1801 В Чарльстоне оповещается об официальном учреждении Древнего и Принятого Шотландского Обряда, с тридцатью тремя степенями.

1824 Послание от венского двора французскому правительству: донесение о деятельности тайных обществ, таких как абсолюты, индепенденты, Высокая Вента карбонариев.

1835 Каббалист Эттингер утверждает, что встретил Сен-Жермена в Париже.

1846 Венский литератор Франц Граффер публикует мемуар о встрече его брата с Сен-Жерменом в 1788-1790 гг. Сен-Жермен принимает посетителя, листая книгу Парацельса.

1865 Основание Розенкрейцерского общества в Англии (по другим свидетельствам - 1860 или 1867). В него вступает Булвер-Литтон, автор розенкрейцерского романа «Занони».

1868 Бакунин основывает интернациональный Альянс социалистической демократии, вдохновленный, по мнению некоторых, обществами баварских иллюминатов.

1875 Елена Петровна Блаватская основывает Теософическое общество. Выходит ее книга «Изида без покрывал». Барон Спедальери провозглашает себя членом Великой ложи Одиноких Горных Братьев, Иллюминатом-Братом Древнего и Восстановленного Ордена Манихеев и Великим Иллюминатом Мартинистов.

1877 Мадам Блаватская говорит о влиянии Сен-Жермена на теософию и о том, что среди его физических воплощений (реинкарнаций) были Роджер и Фрэнсис Бэконы, Розенкрейц, Прокл, Святой Альбан.
Великий Восток Франции отказывается от обращения к Великому Архитектору Вселенной и провозглашает свободу совести в абсолюте. Великий Восток порывает отношения с Великой Ложей Англии и принимает решительно светский, радикальный характер.

1879 Основание Розенкрейцерского общества в США.

1880 Начало деятельности Сент-Ива д'Алвейдре. Леопольд Энглер проводит реорганизацию иллюминатов Баварии.

1884 Лев XIII в своей энциклике «Роду Человеческому» осуждает масонство. Отход от масонства католиков, приход рационалистов.

1888 Станислас де Гуайта основывает Каббалистический орден Розенкрейцеров. Учреждение в Англии Герметического ордена Золотой Зари. Одиннадцать градаций - от неофита до Ipsissimus'а[1]. Император ложи - Мак-Грегор Матерс. Его сестра была женой Бергсона.

1890 Жозефен Пеладан отходит от Гуайты и основывает общество «Роза+Крест Католиков Храма и Грааля», приняв при этом имя Сар Мередак. Распря между розенкрейцерами Гуайты и адептами Пеладана известна под названием «Войны двух роз».

1891 Папюс публикует «Методический трактат об оккультных науках».

1898 Алейстер Кроули посвящен в орден Золотой Зари. Потом им будет основан самостоятельный Телемский орден.

1907 От Золотой Зари отпочковывается орден Утренней Звезды, адептом которого становится Йейтс.

1909 В Америке Спенсер Льюис «возрождает к жизни» Древний Мистический орден Розы и Креста и в 1916 году с успехом демонстрирует в одном отеле превращение куска цинка в золото.
Макс Гиндель основывает Розенкрейцерское общество. Затем основываются Розенкрейцерский Лекторий, Первородные Братья Розы-Креста, Герметическое Братство, Храм Розы-Креста.

1912 Анни Безан, ученица Блаватской, учреждает в Лондоне орден Храма Розы-Креста.

1918 В Германии рождается общество Туле.

1936 Во Франции открывается Великий Приорат де Голь. В «Тетрадях полярного братства» Энрико Контарди ди Родио рассказывает, как его посетил граф де Сен-Жермен.

- Что все сие означает? - спросил Диоталлеви.
- Не спрашивайте у меня. Вам нужны были факты. Я их подобрал.

---

[1] Превосходная степень от inpse - сам (*лат.*).

- Надо бы проконсультироваться с Алье. Бьюсь об заклад, что даже он не знает всех этих организаций.

- Что? Он этим кормится. Ему ли не знать. Но все-таки можно устроить ему проверочку. Прибавим несуществующую секту. Свежеоснованную.

Я вспомнил странный вопрос Де Анджелиса - слышал ли я когда-либо об организации ТРИС. И выпалил: - Например, Трис.

- А что будет значить Трис? - спросил Бельбо.

- Предположим, это акроним. Значит, его можно разгадать, - сказал Диоталлеви. - Зачем иначе мои раввины изобретали Нотарикон? Подождите... Тамплиеры-Рыцари Интернациональной Синархии. Каково?

Нам понравилось, и список был благополучно завершен.

- Между прочим, этих сект столько, что изобрести новую не каждому удается, - промурлыкал Диоталлеви в порыве заслуженной гордости.

76

Чтобы дать самую сжатую характеристику французского масонства XVIII века, только одно слово подходит к ситуации: дилетантизм.

Рене Ле Форестье, *Франкмасонство тамплиерское и оккультистское*
René Le Forestier, *La Franc-Maçonnerie Templière et Occultiste*
Paris, Aubier, 1970, p. 2

На следующий вечер мы пригласили Алье к Пиладу. Хотя новое поколение его посетителей ввело в обиход пиджаки и галстуки, все же появление нашего гостя в костюме-тройке маренго, в крахмальной сорочке и с золотой булавкой на галстуке произвело впечатление. Слава богу еще, в шесть часов народу у Пилада никогда не бывает слишком много.

Алье вогнал Пилада в пот своим заказом: марочный коньяк. Коньяк все-таки нашелся, но на самой верхней полке выставочного стеллажа, и покрытый многомесячным наростом пыли.

Говоря с нами, Алье любовался на просвет оттенком напитка, согревал его в ладонях, посверкивая золотыми запонками египетского рисунка. Мы показали ему свой список, сказав, что это сводный каталог писаний одержимцев.

- Что тамплиеры связаны с древнейшими ложами строителей-каменщиков, восходящими ко временам постройки Соломонова Храма, это общеизвестно. Так же общеизвестно, что тогда же каменщики объединились в память подвига архитектора этого храма, Хирама, ставшего жертвой таинственного убийства, и поклялись отомстить за него. Когда началось преследование тамплиеров, многие из рыцарей Храма безусловно влились в артели мастеров-каменотесов, причем мотив мести за Хирама отождествился с отмщением за Жака де Молэ. С другой стороны, в восемнадцатом веке в Лондоне существовали ложи настоящих каменотесов, так называемые деятельные ложи, и со временем скучающие джентльмены, самого респектабельного состояния, привлеченные традиционными ритуалами, наперебой начали просить о вступлении в них. Таким образом деятельное масонство, состоящее из каменщиков-рабочих, превратилось в созерцательное масонство, состоящее из каменщиков символических. В этой обстановке некий Дезагюлье, распространитель идей Ньютона, оказывает влияние на одного протестантского священника, Андерсона, который составляет Конституцию Ложи братьев каменщиков, деистского толка, и кладет начало мифу о масонских обществах как корпорациях, имеющих четырехтысячелетнюю историю и ведущихся от основателей Соломонова Храма. Таковы истоки масонской атрибутики, маскарадных костюмов: всех этих фартуков, угольников, молотков. Но, может быть, именно по этой причине масонство становится модой, привлекает дворянство, в частности, как новое украшение генеалогического дерева и герба. Но еще сильнее им очаровывается мещанство, которое благодаря членству в ложе не только становится на равную ногу с благородными, но даже получает возможность нацепить шпагу... О нищета нарождающегося современного мира!

Благородным требуется среда, в которой они могут общаться с новыми производителями капитала, а последние - разумеется - стремятся облагородиться... /.../Люди, подобные мне, ищущие связей между разрозненными нитями Предания, недоумевают, когда думают о позапрошлом веке, масонских съездах, собраниях и конференциях. Кто-то угадал тайну, но не открыл ее братьям, кто-то что-то знал, но говорил пустое! А потом время истекло, сделалось поздно, налетел вихрь французской революции, заклубилась, как собачья свара, суматоха позднего девятнадцативечного оккультизма. Перечитайте свой список. Что за свистопляска доверчивости, подозрительности, взаимных подкусываний, разоблачений, секретных сведений, которые у всех на устах. Я называю это театр оккультизма.

- Как я понял из ваших слов, оккультизм - синоним недостоверности? - спросил Бельбо.

- Прежде всего, никак нельзя смешивать оккультистское и эзотерическое. Эзотеризм есть изыскание сведений, которые передаются исключительно посредством символов, непостижимых для профанов. Оккультизм же понятие, возникшее в девятнадцатом веке, это верхняя часть айсберга, незначительная видимая доля эзотерического знания. Тамплиеры были действительно посвящены: это доказывается именно тем, что даже под пытками они не выдали своего секрета. Мощная завеса тайны, созданная ими, убеждает нас в том, что они действительно располагали секретным знанием, а также в том, что располагать подобным знанием завидно. Оккультисты же - эксгибиционисты. Как говорил Пеладан, раскрытый секрет инициации совершенно бесполезен. К сожалению, сам Пеладан был не инициатом, а оккультистом. Девятнадцатое столетие - век доносительства. Каждый торопится разгласить секреты магии, теургии, каббалы, тарокко. Они-то сами, думаю, этим секретам верили.

Алье продолжал просматривать наш список, то и дело сострадательно всхмыкивая. - Елена Петровна. Душа женщина. К сожалению, ни разу в жизни не сказала ничего, кроме тех вещей, о которых написано на всех стенах. Де Гуайта. Книгочей и наркоман. Папюс, его принимают всерьез? - И вдруг застыл с бумагой в руке. - Трис. Откуда вы получили это сведение? Из какой рукописи?

Ишь ты, подумал я, его на мякине не проведешь. Пришлось заметать следы: - Знаете, сколько текстов мы пересмотрели для этого списка, большинство их мы уже выбросили, они были неудобоваримы. Где-то в этой куче, наверное, был и Трис... Бельбо, вы не помните часом, откуда он взялся?

- Нет, не помню. А вы, Диоталлеви?

- Теперь уже трудно восстановить. А что, это важно?

- Это совершенно неважно, - заверил его Алье. - Просто об этой организации я никогда не слышал. Вы действительно не помните, где она цитировалась?

Мы были в отчаянии, но нам не удавалось припомнить.

Алье вытащил из жилетного кармана часы. - Какая жалость, я опаздываю на следующую встречу. Прошу вас меня извинить.

Когда он вышел, мы дружно загалдели.

- Теперь все ясно. Англичане забросили масонскую удочку, чтобы объединить всех посвященных Европы и попробовать провести в жизнь бэконовскую идею.

- Но это удалось им только наполовину. Предложение бэкониан оказалось настолько заманчивым, что привело к результатам, противоположным их ожиданиям. Так называемое шотландское крыло восприняло запланированное объединение как прекрасный случай им самим восстановить сбившуюся последовательность. И шотландцы обратились к немецким тамплиерам.

- Алье считает эту ситуацию непостижимой. Со своей точки зрения, он прав. Она постижима лишь для нас; только нам известно, что же происходило на самом деле: то есть что мы хотим, чтобы на самом деле происходило. По

этой системе, резиденты в различных странах наперебой бросились действовать. Я, скажем, не исключаю, что Мартен де Паскуалли - был агентом томарской группировки. Англичане изгнали из своего состава шотландцев,. которые по сути дела - французы. Среди французов, в свою очередь, образовались два подразделения: филобританское и филогерманское. Масонство служило всем этим группам камуфляжем, крышей, предоставляя возможность агентам разных групп (вот только чем занимались тем временем павликиане и иерусалимитяне, это знает один Бог) съезжаться и пересекаться в любых сочетаниях, пытаясь выцарапать друг у друга обрывки спецсведений.

- Масонство это как Американский бар в фильме «Касабланка»! - сказал Бельбо. - Смотрите, мы опровергли общепринятую теорию. Оказывается, масонство - это не тайное общество!

- Какое там тайное. Это порто-франко, вроде Макао. Только вывеска. Тайна-то была не у них.

- Бедные масоны.

- Прогресс требует жертв. Согласитесь, однако, что нам удается даже доказать имманентную рациональность истории.

- Рациональность истории есть результат удачного переписывания Торы, - сказал Диоталлеви. - Хвала Всевышнему за то, что ниспосылает нам удачу, и да будет хвалим до скончания времян.

- Да будет, - согласился Бельбо. - Что же мы имеем? Бэкониане завладели аббатством Сен-Мартен-де-Шан, франко-германское неотамплиерство развалилось на мириады различных сект... А мы до сих пор не придумали, в чем же состоит тайна.

- Пора бы вам придумать, - сказал Диоталлеви.

- Вам? Мы все, и ты, дорогой, по уши в этой истории, и если не выпутаемся из нее с честью - опозорены навеки.

- Перед кем?

- Перед историей, перед судом Истины.

- Quid est veritas[1]? - спросил Бельбо.

- Мы, - отвечал я.

77

Есть трава, которая называется Чертогонною у Философов. И доказано, что лишь ее семенем изгоняются дьяволы и их наваждения. Была трава дана некоей юнице, которую ночами беспокоил дьявол, и трава обратила дьявола к бегству.

Иоанн Рупескисса, *Трактат о пятой сущности*
Johannes Rupescissa, *Tractatus de quinta essentia*, II

В последующие дни я забросил План. Беременность Лии подходила к сроку и я, когда мог, старался быть с нею. Лия меня успокаивала - говорила, что еще рано, еще не время. Она посещала курсы подготовки к родам, я как мог вникал в смысл ее упражнений. Лия отвергла возможность, предоставляемую чудодейственной наукой, узнать заранее пол младенца. Пусть это будет неожиданностью. А я думал: пусть будет, как она хочет. Я касался ее живота, не пытаясь представить себе, что в нем находится и что выйдет из него на свет божий. Мы решили называть его Оно.

Единственное, что я пытался - определить собственную степень участия. - Ведь Оно и мое тоже, - говорил я Лии. - Что же, я буду как в кино, шагать взад и вперед по коридору, прикуривая сигарету от сигареты?

- Пиф, только это и остается. На определенном этапе действовать позволяется только мне. Ты еще и некурящий... как быть с тобой, просто не знаю.

- Как же быть со мной?

- Тебя следует привлекать как до, так и после. После, в частности, ты сможешь взяться за его воспитание, тем более если это мальчик. Ты будешь

[1] Что есть истина? - (*лат.*).

лепить его по своему подобию, создавать у него хороший эдипов комплекс, когда настанет момент - с улыбкой подчинишься ритуальному отцеубийству, не будешь разводить трагедию, в нежную минуту приведешь его в свой занюханный офис, покажешь свои карточки, верстку необыкновенных приключений металлов и скажешь: сын мой, придет день, когда все это станет твоим.

- А если девочка?

- Скажешь: дочь моя, в один прекрасный день все это перейдет к твоему балбесу мужу.

- А каким образом меня можно использовать «до»?

- Ты будешь считать время. Дело в том, что от схватки до схватки проходит определенное время и тут важно не сбиться, потому что по мере того, как сокращаются интервалы, приближается срок. Будем считать вместе, ты будешь задавать ритм. Как гребцы на каторжных галерах. Раз-два-взяли, мы вместе будем помогать, чтобы Оно вылезло из своей темноты на свет божий. Бедняга-бедняго. Сидит себе спокойно, насосалось соков как спрут, все ему бесплатно, и вдруг битте-дритте, пожалуйте рожаться, оно вытаращит глаза и заорет: куда это я попало?

- Не такое уж бедняго. Оно еще господина Гарамона не видело... Давай попробуем посчитать.

Мы взялись за руки в темноте. Считая вслух, я в то же время думал: Оно, родившись, оправдает всю глупую болтовню одержимцев. Бедные одержимцы целыми ночами разыгрывали химические свадьбы, ломали голову, удастся ли породить восемнадцатикаратное золото и окажется ли философский камень ляписом экзиллисом, несчастным глиняным Граалем, а мой Грааль - вот он, почти получен из драгоценного Лииного горнила.

- Вот-вот, - кивала Лия, держа руку на своем круглом горячем сосуде, - тут и настаивается заложенное тобой прекрасное сырье. Твои алхимики что говорят на этот счет, что происходит в посудине?

- Там клокочут меланхолия и сернистая земля, черный свинец и сатурново масло бурлят в темном чреве - это Стикс: размягчение, томление, перегнивание, разжижение, смешивание, напитывание, затопление. Унавоженная почва, зловонная могила...

- Что они, все импотенты? Не знают, что там прячется «бело-розовое диво, и пречисто, и красиво»?

- Нет, они это учитывают, но твой живот для них всего лишь метафора, передающая тайну...

- Не существует никакой тайны, Пиф. Известно во всех деталях, как формируется Оно со всеми лапками, глазками, печеночками, селезеночками...

- Господи, сколько должно быть печенок, Оно что - ребенок Розмари?

- Это я для красного словца. Но вообще мы должны быть готовы принять Его даже если Оно двухголовое.

- Еще бы. Я научу обе головы играть дуэты для тромбона и кларнета... Хотя нет, необходимы четыре руки, а это чересчур. С другой стороны, какой вышел бы пианист! Брр. Что за разговорчики. Как бы то ни было, даже и моим одержимцам известно, что в этот день в клинике намечается Белое Деяние, добрая алхимия, после заклинаний будет нарождаться Ребис, это андрогин, двуполый гомункул...

- Вот только нам двуполого не хватало. Слушай лучше, давай назовем его Джулио/Джулия, как моего дедушку, хорошо?

- Ладно, звучит хорошо, я согласен.

Эх, если бы я на этом остановился. На Белом Деянии, добром гримуаре, дать бы его всем адептам Изиды без покрывал, объяснить им, что секретум секреторум не надо больше разыскивать, что прочтение жизни не предполагает никаких запрятанных смыслов, то-то и оно-то, всего-то и делов-то, в животах всех на свете Лий, в родильных палатах, на соломенных подстилках, у реки на светлой отмели, на песочке - а философские камни, выходящие из «экзилия»-«изгнания», святые Граали - это обезьянки с болтающимся обрывком пуповины, орущие в руках у доктора, получая шлепки по заду. Незнае-

мыми Старшинами в данном случае выступали мы с Лией, и не такими уж незнаемыми, ибо наше порождение готовилось узнать нас довольно скоро, и кстати, без всякой помощи этого дуролома де Местра[1].

Нет бы тогда остановиться. Но мы - одержимые дьявольскою гордыней - захотели сыграть в прятки с дьявольскими духовидцами, доказать им, что раз пошло на космический заговор, мы придумаем им такой, что космичнее не бывает.

- Поделом тебе, - твердил я про себя тогда вечером, - вот сиди теперь, трясись, жди, чем кончится дело под маятником Фуко.

78

Я сказал бы, конечно, что эта монструозная помесь не исходит из материнского лона, но несомненно от какого-либо Эфиальта, от какого-либо инкуба, или от иного ужасающего демона, и что зачата она была грибом, зловонным и ядовитым, детищем фавнов и нимф, более походящим на демона, нежели на человека.

Афанасий Кирхер, *Подземный мир*
Athanasius Kircher, *Mundus Subterraneus*,
Amsterdam, Jansson, 1665, II, pp. 279-280

В тот день я хотел остаться дома, чуяло мое сердце. Но Лия потребовала, чтоб я не изображал принца-консорта и шел на работу. - Время еще не наступило, да и мне надо пойти по делам. Пиф, отправляйся.

Перед самой дверью конторы я заметил, что приоткрывается дверь мастерской чучельщика. Высунулся господин Салон в своем желтом рабочем фартуке. Я остановился поздороваться, он пригласил меня войти, и я решил посмотреть, что же такое чучельная мастерская.

Когда-то, по всей видимости, это была нормальная квартира, но Салон, сломал все внутренние переборки, и теперь сразу от входа открывался грот неопределенных, весьма обширных размеров. По непонятной архитектурной прихоти это крыло строения имело двускатное перекрытие, и свет проникал в помещение искоса, через потолок. Стекла в окнах были или матовые, или очень грязные, а может быть, Салон поставил в них защитные шторки; или, что ли, нагромождения предметов (страх пустоты выступал лейтмотивом декора) способствовали какой-то особой пасмурности освещения. К тому же это темное пространство было заполнено, как в лабиринте, стеллажами старинной аптеки, среди которых открывались арки, а за ними - лазы, ходы, закоулки. Доминирующим цветом был коричневый: коричневые стены, полки, потолок, и коричневым казался смешанный свет, получаемый от затененного дневного и от старых светильников, пятнами тут и там освещавших поверхности. Первое впечатление было - как будто попал в скрипичную мастерскую, в которой все мастера перемерли еще во времена Страдивариуса, а пыль с тех пор все откладывается и откладывается на округлых пузах контрабасов.

Потом, постепенно приспособив глаза, я увидел, что нахожусь, как, собственно, и надо было ждать, в окаменевшем зоопарке. Какой-то медведь карабкался по искусственному дереву, глаза его блистали стеклом, у меня под боком гнездился насупленный отупелый сыч, а впереди по столику шагала ласка - а может быть, и куница, или же хорек. Посередине стола возвышался доисторический скелет незнакомого мне ископавра.

Это, судя по рентгену, мог быть гепард, или пума, или пес огромных размеров, на скелете в разных местах были намотаны пучки пакли, костяк армирован железом.

- Дог одной богатой и чувствительной дамы, - хихикнул Салон. - Он останется с ней навеки, такой точно, каким был в лучшее время их супружеской жизни. Видите, как это делается? Спустив шкуру с трупа, мездру натирают мышьяковым мылом, потом кости мочат и вываривают. Видите, там

[1] Жозеф де Местр (1753 - 1821) - французский писатель и религиозный философ.

целая полка берцовых костей, под нею - ребра и заготовки грудных клеток. Имеют вид, правда? Кости скрепляются при помощи металлической проволоки; когда скелет собран весь, я сажаю его на раму, потом подкладываю сено, использую довольно часто или папье-маше, или гипс. И под конец обтягиваю кожей. Моя работа противостоит и силе смерти, и силе тления. Вот этот филин, например, правда, похож на живого?

Я посмотрел и понял, что отныне любой живой филин покажется мне мертвым, побывавшим в руках Салона и обретшим склеротическую вековечность. Глядя в лицо бальзамировщика этих фараонских зверомумий, на его кустистые брови, серые скулы, я пытался распознать, жив ли он сам или же являет собою лучший образец своего собственного искусства.

Чтобы удобнее рассмотреть его, я попятился на один шаг назад и почувствовал, что меня гладят по затылку. В ужасе обернувшись, я увидел, что привел в движение маятник.

Огромная потрошеная птица болталась у меня перед носом, подвешенная на железной палке, протыкавшей ее насквозь. Прут проходил, ломая череп, в распахнутую грудную клетку, и там было видно, что где некогда находились сердце и зоб, железный штырь расходился, образуя перевернутый трезубец. Самый массивный из зубов протыкал то место, в котором должны были бы помещаться кишки, а потом нацеливался в землю, напоминая шпагу. Два же боковых крюка пронизывали насквозь лапы птицы и симметрично высовывались среди когтей. Птица мерно качалась, а три сквозных острия легонько намечали на полу траекторию, которую они процарапали бы, будь касание сильнее.

- Отличный экземпляр царского орла, - сказал Салон. - Но с ним еще работы на несколько дней. Я как раз подбирал глаза. - И он показал мне коробку, наполненную роговицами и стеклянными зрачками. Палач, вырвавший глаза у святой Лючии, помер бы от зависти. За всю свою карьеру он не накопил столько реликвий. - Здесь возни-то побольше, чем с насекомыми. Тем что надо? Коробку да булавочку. А беспозвоночным, например, требуется уже и формалин.

Я задыхался в этой атмосфере морга. - Интересная у вас работа, - промямлил я, а про себя все думал о той живой твари, которая трепетала внутри Лииной утробы. Ледяным холодом меня просквозила еще одна мысль: если Оно умрет, сказал я себе, я хочу его похоронить в земле, чтоб кормило червей, удобряло почву, хотя бы в этом Оно будет живо...

Тут меня всего передернуло, а Салон продолжал бормотать, вынимая из далекого шкафа очень странное создание. Сантиметров тридцати длиной, оно являло собою самого настоящего дракона, рептилию с большими перепончатыми крыльями черного отлива, с петушьим гребнем и распахнутой пастью, нашпигованной мельчайшими зубами, как теркой. - Правда, красиво? Это мое творение. Я использовал саламандру, летучую мышь, змеиную чешую. Это подземный дракон. Вот по такому образцу... - Он показал мне на другом столе толстый том ин-фолио, переплетенный в старинный пергамент и с кожаными застежками. - Стоило бог знает каких денег. Я вообще не библиофил. Но эту книгу все-таки хотелось иметь. «Подземный мир» Афанасия Кирхера, первое издание, 1665 год. Вот он и дракончик. Вылитый наш, не правда ли? Он живет в стремнинах вулканов, как свидетельствует почтенный Кирхер, а этот иезуит знал все: известное, неизвестное и невозможное...

- Вы всегда занимаетесь подземельями, - произнес я, вспоминая нашу с ним беседу в Мюнхене/.../

В ответ он распахнул свой атлас на другой странице. Изображение земного шара в разрезе - почернелая набухшая шишка, проникнутая паутиной пылающих вен, змееподобных и ярких. - Если только Кирхер был прав, в недрах земли скрывается не меньше троп, чем те тропы, которыми изборождена ее поверхность. Все, что совершается в мире природы, питается теплом, испускаемым отсюда. - (Я же думал о Черном деянии, о Лии, ее чреве, в котором сокрыто Оно, готовящееся извергнуться из вулкана) - А в мире людей все, что осуществляется, отсюда берет начало.

- Это кто говорит, Кирхер?

- Нет, Кирхер пишет только о мире природы... Однако примечательно, что вторая половина этой книги посвящена алхимии и алхимикам и что именно здесь, вон, видите, где отмечено место, содержатся обвинения против розенкрейцеров. В трактате о подземном мире? Причем тут розенкрейцеры? Кирхер прекрасно знал, какая связь между ними. Дело в том, что последние тамплиеры убежали в подземельное царство Агарту...

- и до сих пор живут там...- продолжил я.

- ... да, до сих пор, - отрезал Салон. - Не в Агарте, так в других катакомбах. Может, прямо под нашими ногами. Теперь вот и в Милане прокопали метро. А кому это выгодно? Кто руководил работами?

- Полагаю, инженеры-метростроевцы, - ответил я.

- Ну-ну, продолжайте прятать голову в песок. А тем временем ваше дорогое издательство публикует книги весьма непроверенных личностей. Сколько евреев среди ваших авторов?

- Мы не смотрим в штаны нашим авторам, - резко ответил я.

- Я не антисемит, можете не думать. У меня есть и друзья евреи. Я только говорю о некоторых евреях...

- О каких, к примеру?

- Знаем о каких.

79

Он открыл свой чемоданчик. В невообразимом беспорядке там были навалены воротнички, резинки, кухонные принадлежности, кокарды с гербами разных училищ, там была даже монограмма царицы Александры Феодоровны и орден Почетного Легиона. Во всех этих изображениях он в своем безумии находил печать Антихриста, в форме либо треугольника либо двух взаимоналоженных треугольников.

Александр Шейла, *Сергей А. Нилус и протоколы*
Alexandre Chayla, *Serge A. Nilus et les Protocoles*
La Tribune Juive, 14 mai 1921, p.3

- Я, - продолжал он, - родился в Москве. Именно там, в России, во времена моей молодости появились секретные документы евреев, в которых открытым текстом говорилось: чтобы поработить государства земного шара, следует работать под землей. Послушайте. - Он потянулся за тетрадочкой, куда от руки были выписаны какие-то цитаты. - «У нас в запасе такой терроризирующий маневр, что самые храбрые души дрогнут: метрополитеновые подземные ходы - коридоры будут к тому времени проведены во всех столицах, откуда они будут взорваны со всеми своими организациями и документами стран». «Протоколы Сионских мудрецов», документ номер девять.

Мне тут же начало казаться, что коллекция позвонков, коробка с глазами, кожи, растянутые на распялках, - все это доставлено сюда непосредственно из Дахау. О, что за чушь, передо мною просто ностальгический старикан, который всю жизнь лелеет и холит дорогие сердцу памятки русского антисемитизма.

- Если я правильно помню, в этом тексте речь идет о заговоре некоторых евреев, не всех, с целью мирового господства. Но почему под землей?

- По-моему, это естественно! Тайная сеть сооружается в тайне, не при свете же дня. С незапамятных времен это всем очевидно. Господство над миром означает господство над подмирным миром. Власть над подземными токами.

Мне вспомнился вопрос Алье, когда мы впервые были у него в кабинете.
/.../

- Почему кельты устраивали свои святилища в недрах земли, выкапывали галереи, подводившие к подземной скважине? - продолжал Салон. - Скважина эта доходила вплоть до радиоактивных пластов, это ясно. Как построен Глэстонбери[1]? Разве это не знаменитый остров Авалон, откуда берет начало миф о Граале? И кто же выдумал Грааль, если не евреи?

[1] Глэстонбери - аббатство в юго-восточной Англии, где расположена старейшая в Англии христианская церковь (VI в.). По преданию здесь находится могила короля Артура.

Снова этот Грааль, господи боже мой. Сколько можно о Граале, Грааль есть на свете только один, и он - это мое Оно, и Оно заряжается от радиоактивных пластов Лииного лона и, может быть, уже сейчас начинает продвигаться в шурфе шахты, может быть, Оно уже на позиции пуска, а я торчу здесь среди засушенных сычей, сто из которых подохли, а сто первый притворяется живым.

- Все соборы выстроены там, где кельты устанавливали свои *менгиры*[1]. Зачем им было зарывать в землю камни, притом что это стоило стольких усилий?

- А зачем египтянам было тратить усилия на пирамиды?

- Вот именно. Антенны, термометры, зонды, иглы, как те, которыми пользуются лекари в Китае, вонзая их в жизненные центры человеческого тела, в ключевые узлы. В центре земли располагается ядерный реактор, очень похожий на солнце, то есть, скорее всего, самое настоящее солнце, вокруг которого осуществляется вращение вещества по различным траекториям. Так формируются подземные токи. Кельты знали, где их находить и как ориентировать. А Данте-то, Данте! Что он подразумевает в своем рассказе о спуске к солнцу? Вы поняли меня, дорогой друг?

Дорогим другом мне быть не очень хотелось. /.../Я должен идти, - сказал я. - Мне жаль, но это необходимо. Может быть, потом почитаю себе что-нибудь по этой теме...

- Да все, что написано по этой теме, лживо, как душа Иуды! То, что я вам рассказываю, мне известно от отца...

- Геолога?

- О, нет, - осклабился Салон. - Мой отец... стыдиться мне здесь нечего, да и дело давнее... работал в Охране. Непосредственно под началом легендарного Рачковского[2].

Охрана (OCHRANA), это что-то наподобие КГБ; Рачковский... Кто это такой? Кто это был с похожим именем? Вот это да... Таинственный гость пропавшего полковника, граф Раковски... Хватит, хватит, главное - не делать стойку на простые совпадения. Я же не набиватель дохлых тварей. Я порождатель живых.

80

Когда возобладает Белизна в материи Великого Деяния, значит, Жизнь возобладала над Смертью, Царь воскрес, Земля и вода претворились в Воздух, это правление Луны, их Отрок рожден... Тогда материя усваивает такую степень устойчивости, что Огонь уже не в силах уничтожить ее... Когда художник видит совершенную белизну, философы говорят, что следует разорвать все книги, потому что они становятся бесполезны.

Дом Ж. Пернети, *Мифо-герметический словарь*
Dom J. Pernety, Dictionnaire mytho-hermétique
Paris, Bauche, 1758, «Blancheur»

Я поспешно забормотал извинения. Кажется, что-то вроде «моя девушка на днях рожает». Салон пожелал ей благополучного разрешения, судя по виду, недоумевая, кто же является отцом. Я помчался домой вдохнуть свежего воздуха.

Лии не было. На столе в кухне записка: «Дорогой Пиф, у меня отошли воды. Тебя нет в конторе. Еду в больницу на такси. Приходи скорее, мне одной страшно».

Паника охватила меня. Я ведь должен быть вместе с Лией, чтобы не сбиться со счета, я должен был быть у себя в кабинете, на телефоне, в пределах досягаемости. Я виноват во всем, и Оно родится мертвым, Лия тоже умрет вместе с Оным... Оном... Салон сделает чучела из обоих.

---

[1] Древние каменные памятники, иногда достигающие большой высоты. (Разновидность мегалитов.)

[2] Петр Иванович Рачковский (1853 - 1911) - полицейский чин, руководитель отделения русской тайной полиции в Париже.

Вошел я в клинику как будто у меня лабиринтит, спрашивал все у тех, кто не мог знать ничего, два раза попал не в то отделение, встречные безусловно знали, где сейчас рожает Лия, но мне не говорили, а говорили, чтобы я не сходил с ума, потому что тут все рожают.

Наконец, не знаю каким путем, я оказался в палате. Там была Лия, бледная, перламутровой белизны, и улыбалась. Кто-то упрятал ее челку под белую шапочку. Впервые в жизни я увидел чело Лии во всем великолепии. Рядом лежало Оно.

- Это Джулио, - сказала она.

Мой Он. Его сделал и я тоже. И не из клочков разрезанных трупов, не из мышьякового мыла. Он был абсолютно комплектный и с пальцами.

Я потребовал, чтоб распаковали. - Какой замечательный пистолетик, и какие близнята у него здоровенные! - потом я поцеловал Лию в открытый лоб. - Все твоя заслуга, все зависело от сосуда.

- Конечно моя заслуга, мерзкий тип. Я считала одна.

- Зато я считаюсь с тобой во всем. В конечном счете... - кое-как острил я.

81

Подземный народец достиг максимального знания... Если бы наше безумное человечество затеяло войну против них, они были бы способны взорвать поверхность планеты.

Фердинанд Оссендовски, *Звери, люди и боги*
Ferdinand Ossendowski, *Beasts, Men and Gods*, 1924, V

Я был все время дома с Лией и малышом после их выхода из больницы, потому что, приехав домой, меняя пеленки Джулио, она вдруг заплакала навзрыд и заявила, что совершенно не в состоянии со всем этим справиться. Нам потом объяснили, что это предусмотрено во всех учебниках, и что после невероятной эйфории по случаю победы - то есть родов - наступает ощущение отчаяния и ответственности не по силам. В те дни, слоняясь по квартире с чувством полнейшей собственной ненужности, в особенности для грудного вскармливания, я прочитал все, что мне попалось под руку о подземных токах Земли.

/.../Тамплиеры, думал я, должно быть, открыли секрет земных токов в те долгие бессонные ночи, обнявшись с напарником по коню, в пустыне, в сухоте, под свист неумолимого самума... Или вырвали этот секрет по словечку, по шепотку у тех, кто был знаком с тайной космической концентрации, что заключена в Черном Камне Мекки, в этом наследии вавилонских кудесников, ибо становилось ясно, что при этой гипотезе Вавилонская башня представляла собой не что иное, как попытку - увы, чересчур скоропалительную и, по вине гордыни, безуспешную - возвести менгир мощнее всех менгиров. Но в любом случае, даже не развались эта башня, все равно вавилонское конструкторское бюро обсчиталось, потому что, как продемонстрировал славный иезуит отец Кирхер, если бы постройка и была победоносно завершена, из-за ее избыточного веса земная ось перекосилась бы на девяносто или более градусов, и таким образом наш несчастный земной шар, который планировали увенчать стоячим приапическим фаллосом, оказался бы перевернутым, с болтающимся бесплодным отростком, поникшим, опавшим, смехотворным, как мартышечий хвост, - Шекинах[1], затерянная в провалах антарктического Мальхута[2], в общем - хлипкий иероглиф, посмешище пингвинов.

- Но все-таки, какой же секрет открыли эти тамплиеры?

- Спокойно. Они открыли и мы откроем. На сотворение мира давалось семь дней. Время еще есть.

---

1 Изгнанная, рассеянная по свету нация (*иврит*).
2 Царства (*иврит*).

82

Земля есть магнетическое тело; и действительно, как открыли некоторые ученые, это цельный большой магнит, как утверждал Парацельс еще триста лет тому назад.

Е. П. Блаватская, *Изида без покрывал*
H. P. Blavatsky, *Isis Unveiled*, 1877, I, p. XXIII

Мы постарались, и кое-что вышло. Земля есть огромный магнит. О'кей? Сила и направление тока регулируются воздействием небесных сфер, сезонами года, прецессией равноденствий, космическими циклами. Поэтому система токов переменна. Все токи концентрируются вокруг каких-то электрических зарядов. Точно так растут волосы на голове у человека: на макушке - завихрение. Если установить на макушке земли мощный передатчик, появится возможность направлять, посылать, отклонять теллурические течения под коркой всей планеты. Тамплиеры поняли, что весь секрет - не столько в том, чтоб иметь полнейшую карту течений, сколько в том, чтобы найти критическую точку, макушку, пуп, пульт, Пупок земли, Омфалос, Центр мира, Командную вышку.

/.../

- Великолепно, - сказал Диоталлеви. - Ну а кто научится направлять теллурические токи, что он с ними будет делать? Лампочки вкручивать?

- Да что вы, - закричал я, - не понимаете этого открытия? Подобная станция позволяет организовать и дождь и засуху, устраивать ураганы, землетрясения и моретрясения, раскалывать континенты, утапливать острова (гибель Атлантиды несомненный результат одного такого испытания), выращивать леса и воздвигать горы. Как же вы не понимаете? Не нужны атомные бомбы, вредные, кстати, и для того, кто их кидает. Вы просто сядете за пульт, позвоните президенту Соединенных Штатов: завтра, к примеру, прошу положить мне под коврик три триллиарда долларов, а не то - независимость Латинской Америке! Гавайям! Взорвем все твои ядерные арсеналы! Или вот тебе: сдвиг Сент-Андреас окончательно сдвинется, Калифорния отвалится и Лас-Вегас придется переделывать в ресторан-поплавок.

- Вообще-то Лас-Вегас в Неваде.

- Какая разница. Контролируя тектонические процессы, можно отломать и Неваду, и Колорадо, все что угодно. Можно еще позвонить в Верховный Совет. Дорогие товарищи, прошу выслать на мой адрес всю икру из Волги и переоборудовать Сибирь мне под промышленный холодильник, не хотите - попрощайтесь с вашим Уралом, мы его провалим, а Каспий разольем, Литву и Эстонию пустим в дрейф и затопим в Марианской впадине.

- Да, - сказал Диоталлеви. - Сделать можно много. Переписать всю Землю как Тору. Прилепить Японию к Панаме.

- Вот будет паника на Уолл-стрит./.../

- Как я могу догадываться, тамплиеры провели радиоразведку в Новом Свете, отыскали серебряные руды, организовали вулканические взрывы, а потом при помощи Гольфстрима подогнали серебро к португальскому побережью. Томар стал брокерской конторой, в Восточном лесу устроили погреба. Вот истоки богатства тамплиеров. Это, конечно, жалкие крохи по сравнению с их возможностями. Однако чтобы возможности в настоящем масштабе использовать, требовались такие технические достижения, к которым человечество могло бы приблизиться разве что лет через шестьсот.

Значит, тамплиеры выдумали и запрограммировали свой План таким образом, чтобы их наследники, к тому времени как созреют технологические предпосылки, получили бы указание: в каком месте должны они разыскивать Пуп мира. Но как распределялись фрагменты этого указания между тридцатью шестью уполномоченными? Что, по кусочку на каждого? Разве надо столько кусочков для того чтобы сообщить, что Пуп земли обретается, скажем, в Баден-Бадене, Виннипеге или Кондопоге?/.../

Использовалась карта? Но на карте, как ни верти, в какой-то точке проставлен крестик. И у кого на руках кусочек с крестиком, тот знает все и не нуждается в чужих подсказках. Нет, что-то посложнее они должны были придумать. Мы прошевелили мозгами несколько дней, потом Бельбо решил обратиться к Абулафии. Машина ответила, как всегда, нашими собственными фразами:

Гийом Постэль скончался в 1581.
Бэкон был виконтом Сент-Альбанским.
В Консерватории висит маятник Фуко.

Значит, настал момент приискать работу для маятника Фуко.

Через несколько дней у меня было готово довольно изящное решение. Один из одержимцев принес к нам в издательство книгу о герметических смыслах кафедральных соборов. По мысли нашего сочинителя, создатели собора в Шартре однажды пронаблюдали за отвесом со свинцовым грузиком, свисавшим с замкового свода, и без труда пришли к заключению о том, что земля вращается. Вот вам причина осуждения Галилея, вставил Диоталлеви: церковники почуяли в нем тамплиера. Нет, возразил ему Бельбо. Кардиналы, которые засудили Галилея, были тамплиерскими агентами, засланными в Рим, и они поторопились заткнуть рот проклятому тосканцу, компрометировавшему тамплиерство, из тщеславия разбалтывавшему тайны за четыреста лет до того срока, на который программировалось увенчание Плана.

В любом случае эта гипотеза объясняла, чего ради под своим Маятником мастера-каменщики Шартра прочертили лабиринт (стилизованное изображение хитросплетений земли). Мы отыскали гравюру этого лабиринта. Солнечные часы, роза ветров - аппарат кровообращения - слизистые следы сонного скольжения Мирового Змея. Обобщенный символ перемещения.

- Хорошо, давайте предположим, что так и было: тамплиеры прибегли к какому-то маятнику, чтобы указать, где макушка земли. Вместо лабиринта, который, как ни крути, - абстракция, клали на пол карту земли и смотрели, куда качается маятник. Но где следует подвешивать этот маятник?

- Где? Само собой разумеется: в Сен-Мартен-де-Шан, в Укрытии!/.../

83

Карта - это не местность.

Альфред Кошибски, *Наука и здоровье*
Alfred Korzybski, *Science and sanity*, 1933; 4 ed., The International Non-Aristotelian Library, 1958, II, 4, p. 58

/.../

84

Основное занятие этой Ассамблеи, и самое наиполезное, должно состоять - как мне видится - в разработке натуральной истории согласно указаниям Бэкона (Веруламия).

Христиан Гюйгенс, *письмо к Кольберу*
Christian Huygens, *Oeuvres Complètes, La Haye*, 1888-1950, VI, p. 95-96

Занятия шести тайных групп не исчерпывались поиском той единственно верной карты, которую следовало расположить под маятником. Вполне возможно, что тамплиеры в тех двух первых обрывках Указания, которые попали к португальцам и к англичанам, намекали на какой-то маятник, но представления о маятниках в их эпоху бытовали исключительно расплывчатые. Одно дело - раскачивать на длинной нитке свинцовое грузило, и совсем другое - построить механизм такой степени точности, чтобы можно было рас-

считать его положение в миг, когда в окно собора попадает первый луч утреннего солнца 24 июня - то есть с точностью до доли сантиметра и доли секунды. На совершенствование конструкторских методов тамплиеры и прикинули приблизительно шесть столетий. Бэконовская команда начала работу в этом направлении и планомерно подключала к ней каждого посвященного, которого ей удавалось завербовать.

Не случайно человек розенкрейцеров - Соломон фон Каус - пишет для Ришелье трактат на тему о солнечных часах. После этого, от Галилея и далее - безудержная гонка за точностью, совершенствование измерительных устройств. Все это делалось под предлогом использовать часы для вычисления географических широт, однако в 1681 году Гюйгенсу бросается в глаза, что маятник, точно действовавший в Париже, оказывается неточным в Кайенне, и он понимает, что это можно объяснить изменением центробежной силы, связанным с вращением Земли. Когда он публикует свой «Часовой механизм», в котором развивает соображения Галилея о маятнике, кто немедленно приглашает его в Париж? Кольбер, тот самый, который пригласил в Париж и Соломона де Кауса, чтобы поручить ему подземные работы!

/.../А что, если тем временем еще одна группа, явно бэконианской складки, замыслила разгадать секрет планетарных тяготений без карты и без маятника, а просто идя по пути тамплиеров, то есть вслушиваясь что есть сил снова, как вслушивались те, в сердцебиение подземного Змея? Тогда укладываются в строку все разглагольствования Салона! Действительно, почти в то же время, когда работал Фуко, индустриальный мир, порождение бэконианской мысли, начинает бурение метрополитеновых шурфов в самом сердце европейских метрополисов.

- Это точно, - настаивал Бельбо. - Девятнадцатый век просто одержим подземельями. Жан Вальжан, Фантомас, Жавер и Рокамболь только и делают что лазают по туннелям и клоакам. Да господи, если подумать, весь Жюль Верн стоит на этом! Его книги - сплошное инициационное откровение о секретах подполья! Путешествие к центру земли! Двадцать тысяч лье под водой! Пещеры таинственного острова! Подземное царство Черной Индии! Полезно было бы нанести на карту все жюльверновские маршруты и несомненно мы увидим извивы тектонического Змия, восстановим схему мегалитических линий для каждого континента. Наш друг Жюль Верн изучал вдоль и поперек сетку силовых трансгрессий.

Я решил подбросить дровишек в огонь. - А как зовут главного героя «Черной Индии», помните? Джон Гарраль! Это анаграмма Грааля.

- Вот что значит свежий глаз практического человека. Мы, слава богу, не какие-нибудь книгочеи. Мы подходим к делу просто. Робур Завоеватель - Robur le Conquérant, R. C. - Роза и Крест. «Робур», прочитанное навыворот, дает «Рубор» - рубиновый цвет розы.

85

Филеас Фогг. В этом имени - уже вся программа: *эйс-* по-гречески имеет смысл всеобщности (так же как *пан-* и *поли-*), так что Филеас это то же, что Полифил. Что касается фамилии Фогг, по-английски она означает туман... Следовательно Верн принадлежал к тайной ложе «Le Brouillard» - «Тумана». Он в частности был до такой степени любезен, что проинформировал нас о взаимоотношениях между этой ложей и розенкрейцерами, ибо что такое есть его герой, благородный путешественник по имени Филеас Фогг, если не Роза+Крест? А кроме этого, разве он не принадлежит к Реформ - Клубу, инициалы которого, R. C., совпадают с реформаторским РозенКрейцерством? Реформ-Клуб находится на Пэлл-Мэлл, таким образом снова возникает мотив «Сна Полифила»[1].

Мишель Лами, *Жюль Верн, инициированный и инициатор*
Michel Lamy, *Jules Verne, initié et initiateur*, Paris, Payot, 1984, pp. 237-238
/.../

[1] «Сон Полифила» (1499) - аллегорическое произведение, приписываемое Франческо Колонне (1432-1527?), сюжет которого - мистический путь героя (*Полифила* - влюбленного в даму Полию, т.е. в цитате этимология неправильная) по саду и дворцу.

86

Данное знание, не утраченное, по крайней мере в материальном его аспекте, богобоязненные мастера переняли от монахов Сито... В прошлом веке они были известны под именем Компаньонов Французской башни. Это к ним обратился Эйфель для выполнения своего проекта.

Луи Шарпантье, *Тайны Шартрского кафедрального собора*
Louis Charpentier, *Les mystères de la cathédrale de Chartres*, Paris, Laffont, 1966, pp. 55-56

Итак, мы видим, что вся история нового времени наполнена хлопотливыми кротами, роющими под земной корой, разведывающими планету изнутри. Но внедрялась наряду с этой и другая, встречная методология, внедрялась теми же бэконианами, и результаты их работы находились на глазах у всех, но никто ничего не замечал... Перерывалось подполье, велась разведка в глубинных складках, однако кельты и тамплиеры не ограничились бурением скважин, они еще вдобавок и втыкали повсюду шипы высотою до самого неба, чтоб пересылать сигналы от мегалита к мегалиту и улавливать взаимовлияние звезд...

Эта мысль овладела умом Бельбо в одну бессонную ночь. Он высунулся в окно и увидел над крышами Милана, очень вдалеке, сигнальные огни телевизионной вышки. Скромная, неброская башня Вавилона. И тогда Бельбо понял все.

- Эйфелева башня, - объявил он нам на следующее утро. - Как мы об этом до сих пор не догадались? Металлический мегалит. Это менгир последних кельтов, самый высокий и самый полый шпиль из всех полых готических шпилей. Зачем и кому понадобилась в Париже подобная бессмысленная каланча? Затем, что это небесный зонд, антенна, принимающая информацию со всех секретных передатчиков, установленных на поверхности нашего глобуса: от статуй острова Пасхи, от памятников Мачу-Пикчу, от статуи Свободы на Бедлоу'з Айленд, установленной по пожеланию члена секретного общества Лафайета; от Луксорского обелиска, от самой высокой вежи Томара, от колосса Родосского, который продолжает посылать сигналы со дна порта, где его все ищут и все не находят, от храмов, затерянных в брахманских джунглях, от бастионов Великой Китайской стены, с вершины Айерс Рок, от колокольни Страсбургского собора, которой восхищался член секретного общества Гёте, от гигантских статуй «храма американской демократии» - горы Рашмор (о сколь о многом сумел догадаться еще один член секретного общества, Хичкок!), от антенны, установленной на крыше Эмпайр Стейтс Билдинг, и объясните мне, на какую империю намекает эта постройка, плод деятельности американского тайного общества, если не на империю Рудольфа Пражского! Парижская же башня получает информацию из подполья и сравнивает ее с той, которая приходит из поднебесья. А кто создал первый, ужасающий кинематографический портрет Эйфелевой башни? Рене Клер в фильме «Париж уснул». Р. К., как вы видите сами.

Нам надлежало перечесть всю историю мировой науки. Становились предельно ясны тайные пружины космической гонки сверхдержав, становилось понятно, зачем понадобились все эти орды спутников, мотающихся по своим орбитам и в сотый и в тысячный раз фотографирующих с неба земную поверхность, ловящих неуловимые признаки энергетических натяжений, подводных токов, перемещений тепловых масс. Чтобы переговариваться между собой, им и понадобился Эйфель, понадобился Стоунхедж...

87

Забавное совпадение: издание ин-фолио 1623 года, публикуемое от имени Шекспира, содержит ровно *тридцать шесть* произведений.

У. Ф. Ч. Уигстон, *Фрэнсис Бэкон против фантоматического капитана Шекспира: розенкрейцерский маскарад*
W.F.C.Wigston, *Francis Bacon versus Phantom Captain Shakespeare: The Rosicrucian Mask*,
London, Kegan Paul, 1891, p. 353

Обмениваясь результатами наших фантазий, мы все время ощущали какую-то неловкость, несостоятельность ассоциаций и натянутость дедукций, и если бы нас по-серьезному приперли, мы первые бы устыдились собственных завираний. Но мы жили в атмосфере расслабленности, создаваемой общим согласием (молчаливым, как поневоле вынуждает ситуация полной ироничности), что наша цель - попросту сочинить пародию на чужую логику.

Однако все было не так. В те бессчетные часы работы, которые каждый из нас посвящал подготовке к общим коллоквиумам (посвящал с чистой совестью, убеждая себя, что всего-навсего подбирает шарики в игре пародийных бус), мозг наш тихой сапой приучался комбинировать, сопоставлять, связывать что угодно с другим чем угодно, а для того, чтоб автоматизировать этот процесс, мозг вырабатывал себе привычки. Думаю, что так в определенный момент уничтожаются различия между привычкой притворяться, что веруешь - и привычкой верить.

/.../ Может, благодаря тому, что я постоянно соприкасался с Лией и с ребенком, из всей нашей троицы я был наименее затронут этим процессом. Я был убежден в том, что владею ситуацией, я чувствовал себя как тогда во время камланья в Бразилии с музыкальной палочкой - агогоном: на стороне тех, кто порождает эмоции, а не тех, кто им подвергается. Насчет Диоталлеви тогда я ничего не понимал, и сейчас только понял, что Диоталлеви переиначивал свое тело, приспосабливаясь мыслить по-одержимому. Что же касается Бельбо, то Бельбо переиначивал уже не тело, а свое сознание. Я приучался - Диоталлеви разрушался - Бельбо совращался.

И все мы постепенно утрачивали тот интеллектуальный свет, который дает возможность отграничивать подобное от тождественного, метафору от вещи. Утрачивали ту таинственную и блистательную мыслительную способность, которая позволяет нам говорить, что кто-то «озверел», но не думать при этом, что у него выросли клыки и когти. Больной же, говоря «озверел», видит перед собой нечто лающее, хрюкающее, ревущее.

Будь мы не в таком возбуждении, конечно, заметили бы состояние Диоталлеви. Оно началось примерно в конце весны - начале лета. Он выглядел похудевшим, но не нервно-подтянутым, как бывает смотрится человек, пролазавший недели три по горным кручам. Его нежная кожа альбиноса приобрела желтоватый оттенок. Если бы мы это и заметили - решили бы, что это из-за того, что он просидел отпуск над своими раввинскими свитками. Но мы ничего не заметили. Думали о другом.

Именно в тот период нам удалось наконец привести к общему знаменателю и деятельность групп, не имеющих отношения к бэконианскому крылу.

К примеру, современная масонология полагает, что баварские иллюминаты, ставившие своей целью уничтожение наций и дестабилизацию государств, повлияли основополагающим образом и на анархизм Бакунина, и на самый марксизм. Какая детскость. Иллюминаты были провокаторами, которых заслали к тевтонам бэкониане. Маркс и Энгельс, начиная знаменитый Манифест 48-го года более чем красноречивой фразой «Призрак бродит по Европе...», имели в виду совсем не их. Вы задумайтесь лучше, откуда эта готическая символика? Коммунистический манифест с саркастической издевкой намекает на погоню за призрачным Великим Планом, будоражащим историю Европы вот уже которое столетие! Всем, кто гонится за Планом, как бэконианам, так и тамплиерам, Маркс предлагает альтернативный вариант.

Маркс был евреем, и вполне возможно, отправлялся от комплекса идей геронских или сафедских раввинов. Но распространив свое мировоззрение на весь богоизбранный народ, он дал мировоззрению захватить себя настолько сильно, что у него отождествился Шекинах (народ, рассеянный по Царству) с пролетариатом. Так Маркс предал упования своих вдохновителей, извратил основные тенденции иудейского мессианизма. И таким путем пришел к следующему: храмовники всех стран, соединяйтесь. Все карты рабочим. Кто был ничем, тот станет всем. Какую еще историческую базу надо подводить под коммунизм?

- Хорошо, - говорил на это Бельбо, - но и у бэкониан наблюдаются отдельные трудности, вы не находите? Некоторые из них стартуют на всех парах, навстречу сциентистской мечте, и залетают в безвыходные тупики. Загляните в конец династии. Эйнштейн, Ферми и вся компания, те кто ищут разгадку тайны в сердце микрокосма, что они изобрели? Ошибку. Вместо теллурической энергии, чистой, природной, наукоемкой, они открыли энергию атома, грязную, опасную и технически громоздкую...

- Пространство-время, заблуждение Запада, - вторил Диоталлеви.

- И утрата Центра. Вакцины, пенициллин как карикатурная подмена эликсира долгожительства, - поддакивал я.

- Ошибался и другой тамплиер, Фрейд, - продолжал Бельбо. - Вместо того чтобы исследовать катакомбы физической подпочвы, он копается в колодцах психического подсознания, как будто бы эту тематику не исследовали до него алхимики, да так, что полнее не придумаешь.

- Но это же ты, - обрушился на него Диоталлеви, - настаиваешь на том, чтоб печатать доктора Вагнера. По мне, психоанализ, это только для невротиков.

- Да, а пенис - это только фаллический символ, - подытожил я. - Послушайте, господа, не теряйте драгоценного времени. Мы ведь еще не знаем, куда пристроить как павликиан, так и иерусалимитян.

Но еще до того как мы начали подбираться к разрешению этих нелегких вопросов, перед нами встало новое препятствие в лице группировки, которая вроде бы не имела отношения к тридцати шести невидимым, однако вступила в игру на довольно раннем этапе и повредила программы остальных команд, внеся ощутимый элемент беспорядка. Я имею в виду иезуитов.

88

Барон фон Гунд, Шевалье Рамзай, ... и многие другие, основавшие ступени этих ритуалов, работали по инструкциям генерала иезуитов... Тамплиерство и есть иезуитство.

Письмо Мадам Блаватской от Чарльза Сотрана
32 ∴ А и Р. R. 94 ∴ Мемфис К. R. ✠ К. Кадош, М. М. 104 Eng. и прочая и прочая, Члена тайного Английского Братства Розенкрейцеров, а также прочих секретных обществ, 11.1.1877; в: *Isis Unveiled*, 1877, II, p. 390
/.../

89

В лоне наигустейших сумерек возникает сообщество новых существ, знающих друг друга не видясь, понимающих друг друга не объясняясь, помогающих друг другу не дружась... Это сообщество заимствует от иезуитов слепое подчинение, от масонства - испытания и внешний церемониал, от тамплиеров - тягу к подземельям и невообразимую смелость... Что суть все деяния графа Сен-Жермена, как не подражание Постэлю, у которого была мания состаривать свой возраст?

Маркиз де Люше, *Изыскание о секте иллюминатов*
Marquis de Luchet, *Essai sur la secte des illuminés*, Paris, 1789, V et XII
/.../

90

Невозможно найти в настоящем масонском кодексе другого Бога, кроме Мани. Это бог масона-каббалиста, старинных розенкрейцеров. Бог масонов-мартинистов... С другой стороны, все непотребства, приписываемые тамплиерам, в точности те же самые, что и непотребства, приписываемые манихеям.

Аббат Баррюэль, *Воспоминания, полезные для истории якобинства*
Abbé Barruel, *Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme*
Hamburg, 1798, 2, 13

Стратегия иезуитов стала нам совершенно понятна, когда мы открыли отца Баррюэля. Этот святой отец в 1797-98 годах, в качестве реакции на французскую революцию, выпустил свои знаменитые «Воспоминания, полезные для истории якобинства», самый настоящий роман-фельетон, сюжет которого начинается, вот так совпадение, именно тамплиерами. После костра, на котором погиб Молэ, храмовники, оказывается, переформировались в подпольную секту, целью которой было уничтожение монархии и папства и установление всемирной республики. В восемнадцатом веке они подчинили себе франкмасонство, сделали масонство своим орудием. В 1763 году была создана литературная академия, в которой участвовали Вольтер, Тюрго, Кондорсе, Дидро и Д'Аламбер, встречавшиеся в доме барона Гольбаха, там они до того доконспирировались, что в 1776 году произвели на свет якобинцев. Якобинцы, разумеется, были и остались марионетками в руках опытных закулисных дел мастеров, баварских иллюминатов - цареубийц от рождения.

Не мытьем, так катаньем. Расщепив масонство на две части при помощи Рамзая, иезуиты теперь снова его объединили, чтобы жахнуть прямо в лоб.

Книга Баррюэля кое-какое впечатление по себе оставила. Не случайно в Национальном архиве во Франции хранятся по меньшей мере две полицейских сводки о подпольных сектах, заказанные Наполеоном. Эти рапорты подписаны неким Шарлем де Беркхаймом, который, как обычно делают в секретных службах, черпал тайные сведения из широко опубликованных материалов - и не нашел ничего лучшего, как передрать для первого рапорта - книгу маркиза Люше, а для второго - книгу Баррюэля.

Разоблачения о хитрых иллюминатах и секретном Совете Неведомых Верховников, способных поработить мир, до того леденили кровь и действовали на воображение, что Наполеон ни секунды не колебался: он решил войти в их число. Потребовав, чтоб его брата Жозефа назначили Великим Магистром Великого Востока, он и сам, по свидетельствам ряда источников, вступает в контакт с масонством, а по свидетельству еще некоторых - становится значительным лицом в ордене. Непонятно только в каком. Возможно, на всякий случай во всех сразу.

Что было известно Наполеону - это нам неизвестно, но не будем забывать, что он провел довольно много времени в Египте и кто знает с какими мудрецами имел возможность беседовать в тени пирамид. Как бы то ни было, каждому ребенку понятно, что знаменитые сорок столетий, глядящих на него с высоты пирамид - прозрачный намек на герметическую традицию.

Известно ему должно было быть достаточно много, поскольку в 1806 году он созывает ассамблею французских евреев. Официальный предлог - самый банальный: ограничить ростовщичество, заручиться поддержкой израэлитов как нацменьшинства, раздобыть новые инвестиции... Но это не объясняет, с какой стати Наполеону понадобилось называть ассамблею Великим Синедрионом - не для того ли чтобы символизировать идею директории Верховников, более или менее Неведомых? На самом же деле хитроумный корсиканец хотел вычислить представителей иерусалимского крыла; как минимум цель его была - собрать в единое место потерявших друг друга конспираторов.

- Не случайно в 1808 году войска маршала Нея стоят в Томаре. Чувствуете связь?

- Мы только и делаем что чувствуем связи.

- В тот момент Наполеон, намереваясь победить Англию, фактически контролирует все европейские центры, а через посредство французских евреев - и иерусалимскую ветвь. Кого ему еще не хватает?

- Павликиан.

- Вот то-то же. А мы-то не можем понять, куда скрываются все это время павликиане! Вот Наполеон нам и поможет. Он пошел ловить павликиан туда, где они водятся: в Россию!

Веками замкнутые в славянском ареале, болгарские павликиане естественным образом реорганизовались, составив собой, под разнообразными наименованиями, русские мистические секты. Один из самых влиятельных советников Александра Первого, князь Голицын, был связан с мартинистскими организациями. И кого еще мы находим в России, за двенадцать лет до нашествия Наполеона, в качестве полномочного посла Савойского дома, с миссией установления контактов с мистиками Санкт-Петербурга? Де Местра!

В тот период он уже отошел от любых организаций иллюминатского толка, в его представлении они составляли нечто единое с иллюминатами - просветителями, ответственными за кровавую баню Французской Революции. И говорил очень часто, почти текстуально цитируя Баррюэля, о сатаническом союзе, нацеленном на завоевание мира. Скорее всего имелся в виду Наполеон. Поэтому если наш великий реакционер предлагал свои услуги для обольщения мартинистских группировок, это скорее всего потому, что он почувствовал, что они, хоть и вдохновляясь теми же источниками, что французское и немецкое неотамплиерство, на самом деле являлись носителями исконного духа, не развращенного Западом: духа павликианства.

Однако план, задуманный Местром, кажется, так и не был реализован. В 1816 году иезуитов выгнали из Санкт-Петербурга и де Местр возвратился в Турин.

- Хорошо, - сказал, выслушав это, Диоталлеви. - Мы обнаружили павликиан. Теперь уберем из нашей схемы Наполеона, который, как мы догадываемся, так и не осуществил свою программу, иначе бы с острова Святой Елены он одним щелчком мог бы испепелить своих сажателей. Что же дальше произошло между всеми этими персонажами? Их столько, что впору рехнуться.

- Из них самих половина точно рехнулась, - сказал Бельбо.

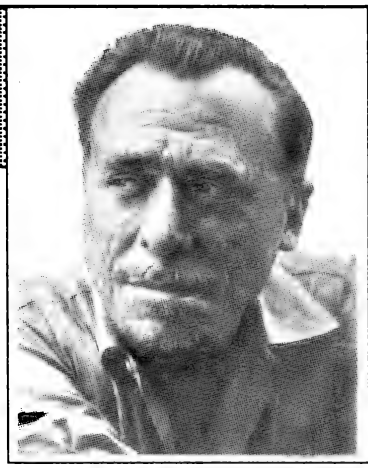
(*Окончание следует*)

В редакцию журнала «Иностранная литература» поступило от издательства «Бомпиани», держателя прав на публикацию произведений Умберто Эко, следующее заявление:

«До нас дошли сведения о существовании незаконного издания романа Умберто Эко «Маятник Фуко», выпущенного на русском языке неким издательством, для нас абсолютно неизвестным и никогда не вступавшим в контакт с нами.

Как праводержатели литературной собственности на произведения Умберто Эко мы передаем дело в компетенцию судебных органов, а в данный момент пользуемся случаем заявить, что единственный перевод, санкционированный автором и нами, — это перевод Елены Костюкович, а единственный орган, приобретший права на публикацию романа «Маятник Фуко» — это журнал «Иностранная литература».

С уважением,
главный редактор издательства «Бомпиани»
Марио Андреозе,
Милан, 25 июня 1995



ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ

ДМИТРИЙ СТАХОВ
ЛИЧНЫЙ АД ЧАРЛЬЗА БУКОВСКИ

Можно ли классифицировать все сущее и мыслимое? Ответить однозначно, скорее всего, нельзя, но некоторые представители рода человеческого свято верят, что окружающие его миры поддаются аккуратной систематизации. Как и другие люди, то есть существа мифологические, существа, для которых их собственный миф дороже всего на свете, «систематизаторы» более всего ценят свою собственную убежденность. Иначе говоря — не систематизацию саму по себе, а веру в ее осуществимость. Ради достижения «классификационного счастья» они готовы принять даже недоступные человеческому мышлению принципы, положенные Хорхе Луисом Борхесом в основу «одной китайской энциклопедии», в которой говорится, что «животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих, как в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой на верблюжьей шерсти, м) прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами».

Если же кому-то взбредет в голову классифицировать писателей, то Чарльз Буковски с необходимостью будет отнесен как минимум к двум категориям. К категории «А» — тех, кто умер 10 марта 1994 года, и к категории «Б», инфернально определенной самим Буковски: «У каждого человека свой личный ад, и не один, но я по этой части обошел всех на три корпуса».

Со всеми прочими его характеристиками вполне можно запутаться. Так, в одном из источников утверждается, что Буковски родился в 1920 году в Германии, в Соединенные Штаты был привезен родителями в трехлетнем возрасте и что отец его был молочником. В другом указывается тот же год, признается наличие в жилах Чарльза немецкой крови (его мать была немкой), но отмечается, что отцом будущего писателя был солдат армии США, и отрицается факт пересечения океана в столь нежном возрасте. В третьем мы найдем упоминание, что будто бы прозу Буковски начал писать аж в 30-е годы, но впервые опубликовался как поэт лишь в конце 50-х. Четвертый, называя Буковски «поэтом бутылки» и признавая, что это — самоназвание одного из самых скандальных, брутальных, пастозно-сексуальных писателей Америки, подчеркивает, что до 35 лет Буковски вообще не писал. Он, занимаясь всем понемногу (в основном пьянствуя, перебиваясь с хлеба на воду на случайных заработках, сотрудничая в сомнительных, полуподпольных журнальчиках, будучи готовым почти на все за относительно небольшую и на все за плату приличную. «За пятьсот долларов я из Берта Рейнольдса лесбиянку сделаю!» — обещает издателю лирический герой, читай — сам Буковски, в жутковатом рассказе «Маджа Туруп» из сборника «Юг без признаков Севера»), накапливал силы, чтобы в пятидесятые годы взорвать поэтический мир своими творениями, прочтя которые Сартр и Жене дуэтом провозгласили: «Это лучший поэт Америки!»

Возможно ли вообще найти что-либо общее в многочисленных публикациях о Чарльзе Буковски?

Пожалуй, да.

Во всех мы найдем, что, во-первых, Буковски плохо относился к Европе как некоему аморфному образованию, породившему то ли его самого, то ли одного из его родителей, но при этом боготворил Луи-Фердинана Селина. Во-вторых, не любил политику, всю жизнь старался держаться подальше от любых объединений, групп и партий. В-третьих, юношеские психические травмы, полученные вследствие хронического воспа-

ления сальных желез, оказали значительное влияние на его творчество. В-четвертых, все источники отмечают еще одну особенность Буковски: он был пьяница и бабник. В-пятых, в Америке отношение к нему было и остается прохладным, хотя в Европе, столь Буковски презираемой, он пользовался огромным успехом, многократно возросшим после его смерти.

Продолжать вряд ли стоит. По большому счету, такими «общностями» лучше пренебречь. И чтобы не потакать ползучему псевдофрейдизму, претендующему на «теорию всех и вся». И потому, что среди писателей пьянство и повышенная любовь к противоположному (иногда к собственному) полу вещь более чем обыденная. И потому, что в наше время отвращение к политике просто признак хорошего тона. И потому, что боготворением Селина и неприязнью к Европе заражены многие американцы (что является их личным делом и отнюдь не предполагает у них таланта писателя). И потому, что успех вдали от родных берегов, пожалуй, слишком часто сочетается с неуспехом дома.

Даже его эгоцентризм, то, что Буковски основой своего творчества сделал свою собственную жизнь, может характеризовать его лишь количественно. Ведь, согласитесь, неэгоцентричный писатель обречен, даже при наличии у него выдающихся талантов, на жалкое прозябание, а тем, кто своей жизни посвятил многие-многие тома не самой плохой прозы, имя легион.

Буковски, таким образом, как бы ускользает.

Маргинал. Человек, отказавшийся служить во время войны в армии вовсе не из пацифистских убеждений или из-за симпатий к нацистам (в юности его самым близким другом одно время был сын русских эмигрантов, убежденный сторонник теории расовой исключительности), а потому, что не выносил запаха чужих грязных носков. Однако...

Однако вряд ли, за исключением того же Жана Жене, у кого-либо из писателей нашего столетия эгоцентризм соседствовал с такой же безжалостностью к самому себе, как у Буковски. Его «пастозность-сексуальность-брутальность» также удивительным образом сочеталась со своеобразной наивностью, верой в возможность вырваться за пределы алкогольно-угарного круга. «...Но, может быть, станет легче, если все мы осознаем, что, быть может, каждый из нас изредка да бывал по отношению к кому-нибудь чумой, только мы об этом не знали. Черт побери, это страшная мысль, но скорей всего верная, и, возможно, она поможет нам выстоять под напором чумы. Идеального человека не существует. Все мы страдаем всевозможными видами безумия и непотребства, о которых сами не имеем понятия, зато о них имеют понятие все остальные. Так разве удержишь нас в рамках?» («Заметки по поводу чумы», сборник «Истории обыкновенного безумия», перевод В. Когана.) О его, возможно чисто рефлекторном, стремлении хоть как-то вписаться в более или менее привычные рамки свидетельствует другая цитата:

«ТЫ ВСЕ ЕЩЕ РАБОТАЕШЬ НА ПОЧТЕ? — спросил он, семеня рядом.

К СОЖАЛЕНИЮ, ДА.

ЛУЧШЕ ТЕБЕ ОТТУДА УЙТИ. ГИБЛОЕ МЕСТО. ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.

СОГЛАСЕН. НО, ВИДИШЬ ЛИ, Я НИЧЕГО НЕ УМЕЮ ДЕЛАТЬ, У МЕНЯ НЕТ НИКАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.

ТЫ ВЕЛИКИЙ ПОЭТ, СТАРИНА.

ВЕЛИКИЕ ПОЭТЫ УМИРАЮТ В ДЫМЯЩИХСЯ ГОРШКАХ С ДЕРЬМОМ.

НО ТЫ ПОЛУЧИЛ ШИРОКОЕ ПРИЗНАНИЕ В СРЕДЕ ВСЕХ ЭТИХ ЛЕВЫХ, НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ МОЖЕТ ТЕБЕ ПОМОЧЬ?

левых? этот тип явно спятил. мы семенили дальше.

ДА, Я ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ. СРЕДИ МОИХ СОСЛУЖИВЦЕВ НА ПОЧТЕ. Я ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ СКАНДАЛИСТ И АЛКАШ.

МОЖЕТ, ТЕБЕ ДОБИТЬСЯ СУБСИДИИ?

Я УЖЕ ПРОБОВАЛ. В ПРОШЛОМ ГОДУ. НА КАФЕДРЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. В ОТВЕТ МНЕ ПРИСЛАЛИ СТАНДАРТНЫЙ ОТКАЗ.

НО В ЭТОЙ СТРАНЕ КАЖДЫЙ ОСЕЛ ЖИВЕТ НА СУБСИДИЮ!» («Великие поэты умирают в дымящихся горшках с дерьмом»)

Буковски, однажды обжегшись, больше не пытался себя продавать. Он, не захотев уподобляться «ослам», дождался того момента, когда покупатели выстроились в очередь перед его дверью. Но и тогда он пустил их не сразу. Помариновал. Наверное, у него в холодильнике еще оставалось пиво, на столе — дешевое крепленое вино, на стуле напротив — соблазнительная особа или же нечто, как в рассказе «Насилуют! Насилуют!»:

«Она приникла своими губами к моим. Рот у нее напоминал мокрый резиновый пылесос. Высунулся толстый язык. Я присосался к нему. Потом я задрал ей платье. У нее чудесная толстая жопа. Много жопы. Огромные синие трусы с дырочкой на левом боку. Мы стояли перед большим зеркалом. Я ухватился за эту толстую жопу, а потом сунул язык в этот рот-пылесос. Наши языки вертелись, как сумасшедшие змеи. Впереди у меня выпирало нечто большое.

Слабоумный сынок стоял посреди комнаты, смотрел на нас и ухмылялся».

Любопытно, что в наиболее влиятельных американских журналах марта прошлого года не нашлось места для извещения о смерти Буковски, а «New Yorker» лишь в августе поместил крохотную заметку, причем посвященную не самому Буковски, а его изданному посмертно роману «Pulp», по жанру, что совершенно не характерно для всего его творчества, — детективу. Интонация похлопывания по плечу: почитайте, ребята. Возможно, там никому не внове «эрекции, эякуляции, эксгибиции и основные истории обыкно-

венного безумия». Возможно также, что Буковски остался на боковом (но вовсе не обязательно ведущем в тупик!) пути. Локомотив и вагончики понеслись дальше, туда, где все упорядочено, где на все наброшен покров благопристойности, где нет места прямой во всех смыслах речи и прямым, импульсивным действиям. Возможно, сейчас время лакировки, и герои, делающие из пивной бутылки «розочку», чтобы вскрыть себе вены, мало кому интересны. Вокруг и так много плохого. Своеобразная «бритва нового Оккама» отсекает негатив.

Кстати, и фильм «Barfly» (в главных ролях Микки Рурк и Фей Данауэй) по сценарию Буковски вышел в прокат в обойме с другими фильмами на подобную тематику, что подтверждает расхожую мысль о своеобычной «сериальности американского менталитета» и о потакании оному, в том числе со стороны Голливуда: в обществе назрела напряженность в системе школьного образования? — а вот вам целый сонм фильмов на эту тему; проблемы с адаптацией психически, с точки зрения всех прочих, неполноценных? — и это пожалуйста; проблемы с нацменьшинствами? — да ради Бога! После заполнения соответствующих ячеек извольте переходить к следующим. Правда, Марко Феррери, подчиняясь собственным ритмам, поставил «Истории обыкновенного безумия» с Орнеллой Мути, но ведь то в Италии...

Удивительно, что в России Чарльза Буковски начали печатать совсем недавно — всего три года назад. Альманах «Стрелец», журналы «Огонек» и «Искусство кино». Вот, пожалуй, и все. Кто-то вроде бы готовит сразу целую книгу, но когда она выйдет и выйдет ли вообще — большой вопрос.

Удивительно потому, что в ряду таких выдающихся «русских» писателей, как Хемингуэй и Борхес, и для Буковски есть свое место. Конечно, пенные постмодернистские завихрения растеклись бурным потоком, но всему же должен быть предел, господа! Восприятие его прозы, если уж честно, прекрасно ложится на наши реалии. Как бы через собственный опыт. То, что не транслируется, вполне можно опустить. Аргументам, что, мол, чужая жизнь, что, мол, другие берега, следует противопоставить непреложный, как лом, факт: а что, все живущие и пишущие здесь — свои?

Буковски прожил не такую короткую жизнь. Хоть и всячески убивал себя. Вероятно, скрытая воля к жизни оказалась сильнее воли к смерти. Скорее, его толкала пружина творчества, когда-то, в молодости, в пору неудач и разочарований, сжавшаяся до предела. Прожив долгие годы на дне, он тем не менее не превратился в человека дна. Как не превратился в морализатора и учителя жизни. При кажущейся простоте, нашедшей выражение в лапидарном стиле, его опыт практически не транслируется. Для того чтобы его воспринять и расширить, отнюдь не достаточно напиваться до чертиков, иметь неприятности с властями, попадать в кутузку. Возможно, что людей дна значительно больше, чем кажется на первый взгляд. Просто многие плавающие на поверхности умело мимикрируют. Однако и опустившись на дно, якобы за опытом жизни, практически невозможно подняться кверху Чарльзом Буковски.

Сила этого писателя — в эстетическом освоении того пространства жизни, которое на первый взгляд напрочь отрицает любую эстетику. Даже эстетику безобразного. Буковски же не только остался человеком в им же самим созданных нечеловеческих условиях. Он, грубый и ранимый, жестокий и подчас сентиментальный, к концу жизни разбогатевший, ставший иконой для подражателей и эпигонов, сохранивший по отношению к себе самому иронию, по отношению к окружающему — уничтожающий сарказм, сумел и стать и остаться писателем. Пишущим про такие простые вещи, как жизнь и смерть.

Рискну предположить, что судьба его прозы в России будет трудной. И почему-то кажется — судьба настоящей литературы печальна. Чарльз Буковски — настоящий писатель. Силлогизм!..

АЛЕКСАНДР ГЕНИС
УРОКИ ПЛАМЕННОГО РАВНОДУШИЯ

Название фильма «Barfly» нельзя толком перевести на русский. Что-то вроде — «завсегдатай баров». Однако беда в том, что этот верный перевод вызывает неверные ассоциации — «в шумном платье муаровом», «черная роза», «фея из бара». В «Барфлае» имеются в виду другие бары. Пьют там не «Аи», а кукурузное виски, ходят не в муаре, а в драной майке, и назвать этих «бабочек из баров» правильнее было бы алкашами. Но и это неточно, потому что в фильме пьют все-таки из рюмок и не политуру.

Вышедший в 1987 году, этот фильм сперва вызвал оживленные и противоречивые толки на Каннском фестивале, а потом и в самой Америке, где картину окружила легенда, которую можно назвать и дурной славой.

Дело в том, что автором сценария, главным героем, да и причиной появления фильма стал писатель со скандальной репутацией — Чарльз Буковски. Русский читатель его не знал хотя бы потому, что Буковски писал на нецензурном языке и занимал в американских литературных кругах то же место, что Лимонов — в эмигрантских.

Буковски, которому к моменту съемок фильма исполнилось 67 лет, был самой яркой лич-

ностью в американской литературной богеме, которую он же подробно и со вкусом описывал. Так, в одной новелле Буковски рассказывает о жизни и смерти лос-анджелесской газеты с неприличным названием, которая, занимая крайне радикальную политическую и литературную позицию, должна была всколыхнуть общественное мнение. Наборщица в этой газете за 60-часовую рабочую неделю получала 35 долларов. Остальные служили даром, из-за чего им приходилось спать на полу и вставлять в ботинки картонные подметки. Сам Буковски занимал привилегированное положение в газете — ему платили по 10 долларов за колонку. Колонки эти, кстати, стали потом знаменитыми. Они назывались «Заметки старого козла», и из-за них газету оштрафовали на тысячу долларов.

Буковски провел всю жизнь между алкоголизмом и случайным заработком, написал двадцать книг стихов и прозы и стал одним из самых знаменитых американских писателей за пределами Америки. Его книги со странной избирательностью становились бестселлерами во Франции, в Германии (где продано более двух миллионов экземпляров произведений Буковски), в Бразилии, в Италии, но не в США.

«Барфлай» — кинематографическая версия собрания сочинений Буковски, квинтэссенция его творчества, его нелицеприятный портрет, который он же сам и написал.

Случилось это так. Французский режиссер-нонконформист и поклонник Буковски Барбье Шредер еще в 79 году позвонил писателю и предложил сделать вместе фильм. Тот ответил: «Fuck you» (непереводимая игра слов). Следующие восемь лет ушли на то, чтобы Буковски изменил свое мнение, а режиссер нашел деньги. Сам фильм снимали всего 32 дня, и получился он необычным, интересным и адекватным.

В «Барфлае» есть сюжет, хотя и крайне незатейливый. Молодой, полностью опустившийся пропойца и писатель Генри. (Его блестяще играет Микки Рурк, актер опять-таки популярный за пределами Америки, особенно во Франции.) Генри проводит всю жизнь в непотребном лос-анджелесском баре «Золотой рог». Там он потешает посетителей за рюмку виски и постоянно дерется с барменом, олицетворяющим настоящего мужчину из голливудского боевика. В баре Генри встречается с такой же опустившейся алкоголичкой Вандой. (Ее играет ослепительная красавица Фей Данауэй, мужественно решившаяся на обезобразивший ее грим, который тем не менее обезобразить ее не смог.) Начинается странная, ленивая любовь двух героев, в которую вмешиваются привходящие обстоятельства. Одно из них — красивая и богатая девушка, редактор журнала, которая влюбляется в прозу Генри и в него самого. Впрочем, к финалу все остается на своих местах. Редакторша изгоняется из мира Генри в свой роскошный особняк, а герои возвращаются к привычной жизни «завсегдатаев баров».

В пересказе содержание фильма выглядит наивно. Отчасти так оно и есть. Противопоставление опустившихся, но внутренне чистых пропойц богатым и потому лицемерным хозяевам жизни — история, конечно, банальная. Но не в ней суть. Авторы добились, чего хотели: показать дно общества. Сделано это при помощи даже не реалистических, а натуралистических приемов. Попадая в «Золотой рог», зритель погружается в подлинную атмосферу алкогольного безумия. Люди у стойки — настоящие: и в том смысле, что они абсолютно правдоподобны, и в том, что они играют самих себя. Шредер рассказывал, что статистов они собрали на улице вокруг бара, выбранного для внутренних съемок. Никому из них не пришлось шить специальных лохмотьев, их не надо было обучать алкогольной этике. Единственное, что от них требовалось, — удержаться от пьянства во время съемок, но и это было немало. Один из статистов, не выдержав нескольких часов абстиненции, впал в кому, и его увезла машина «скорой помощи».

Конечно, русский зритель глядит на лос-анджелесских алкашей с просветленной улыбкой понимания. Все они как будто пришли из домашнего фотоальбома, из нашей литературной классики, да и из собственного опыта. Как не узнать злобную «женщину трудной судьбы», не расстающуюся с кружкой пива, или молчаливого старика, твердо знающего, что в его положении единственная надежда на даровую выпивку — бесконечное терпение. Один из персонажей не может из-за похмельной дрожи донести рюмку до рта и пользуется описанным у Гиляровского приспособлением: обвязывает правую руку полотенцем, перекидывает его через шею и подтягивает другой рукой, как на блоке, стопку к лицу.

Короче, в «Золотом роге» мы встречаемся с обычными и для такого места героями: проститутки, сутенеры, алкоголики, попрошайки, бродяги. Не так уж редко они появляются в искусстве — примерно такой же набор в горьковском «На дне». Необычны тут не герои, а отношение к ним. Авторы фильма их не осуждают и не жалеют, они им завидуют.

Зависть к подонкам общества — основная пружина фильма, главная тема и смысл его. Генри и Ванда не просто положительные герои, они — пророки дна, передовой отряд свободного человечества. Буковски так сформулировал кредо своих героев: «Они ищут освобождения от невыносимо жестких границ, в которых проходит жизнь большинства. Жизнь эта кажется им страшней преисподней: счет за дом, счет за машину, счет за страховку. С девяти до пяти, с понедельника по пятницу — непрекращающееся омерзение повседневного существования. Генри и Ванда отказываются принять смерть вместо жизни». И в центре фильма — их отважное безумие. Точно так же вел себя и сам автор: «93 процента того, что происходит в фильме, случилось на самом деле. Завсегдатаем бара я стал потому, что мне не нравилось то, что я видел с девяти до пяти. Я не хотел стать обычным служащим — выплачивать взносы по закладной и смотреть телевизор. Я был напуган, и бар стал тем местом, где я мог спрятаться от общего потока жизни».

Тема, поднятая Буковски, с такой железной регулярностью возникает в истории культуры,

что кажется ее непременным компонентом. Бродяга — вечный герой культуры: мудрец, алкоголик, нищий, философ, мститель, люмпен, «униженный и оскорбленный», «проклятьем заклейменный». На сцену он является в разных масках — киник Диоген, «благородный дикарь» Руссо, Чиполлино, Макар Чудра, Чарли Чаплин, Веничка Ерофеев, — но с одним лозунгом: противостоять обществу, любому обществу!

Как только устанавливается критерий приличия, появляются люди, усматривающие смысл жизни в нарушении этого критерия. Как только большинство приходит к общему согласию относительно того, что считать нормальной жизнью, тут же образуется презираемое меньшинство, изгои общества, которые считают эту норму адом.

В чем же, собственно говоря, прелесть той жизни, которую ведут герои фильма, прежде всего главный из них — Генри?

Ну, он нигде не работает, что уже приятно. Потом, он писатель, как явствует из сюжета — талантливый. Жизнь его проходит в пьяной праздности. Мало?

Немного. Если вспомнить, что за свое безделье он платит сполна. Генри в исполнении Рурка ужасен — он покрыт коростой, грязен, даже вонюч (каким-то образом в фильме передан запах). Он живет в чудовищной нищете. Он всегда готов к унижениям. Да и пьянство его особого свойства. Это не то веселое опьянение в дружеской компании, которое обещает грациозную игру остроумия и фантазии. И даже не тот тяжелый хмель, от которого опытный алкаш проваливается в безмолвную тьму. Генри пьет как бы из долга, ровно столько, чтобы никогда не быть трезвым, чтобы оправдать свой статус горького пропойцы. Не надо только думать, что виски помогает ему творить — чушь. Пить — это функция его личности. Он пьет, чтобы не было «с девяти до пяти», чтобы ненароком не провалиться в норму, в ту преисподнюю, о которой предупреждал Буковски. Все мы знаем таких людей. Их выдает особая развинченная походка, которую замечательно изображает Рурк. Так — выставив вперед и в сторону руки, оттопырив зад, шаркая и сгибаясь — ходят люди, которые никогда в жизни не торопятся. Куда бы они ни шли, им ничего не стоит в любую секунду повернуть обратно. Выпить — единственное, к чему они всегда готовы. Только не надо думать, что алкоголь — цель их жизни. Не надо путать их вечную жажду с похмельной. Спиртное — лишь способ жизни, оправдание ее. Чтобы научиться так ходить, нужно приобрести несгибаемую веру в случай. Если вы привыкли просыпаться утром не дома, а там, где заснули, если вы уверены, что при всех обстоятельствах трезвым не заснете, если все в мире вас интересует и не интересует в равной степени, то, может быть, у вас появится такая походка, какой передвигается по экрану Микки Рурк.

Буковски назвал такой стиль жизни «отважным безумием». В этом определении есть некая доля мелодраматической романтики. В фильме скотский быт героев якобы оправдывает их неожиданно вспыхнувшая любовь. На самом деле вялая связь Генри с Вандой мало похожа на историю Ромео и Джульетты из «Золотого рога».

В том мире, где они живут, эмоции всегда притуплены безразличием. У них ведь ничего нет, в том числе и друг друга. Не владеть — значит не мешать, а любовь — всегда вмешательство.

Все заповеди Генри — не иметь, не быть, не состоять. Именно так, придя устраиваться работать на фабрику, он отвечает на анкету: «нет» в графе «образование», «нет» в графе «домашний телефон», «нет» в графе «пол». И все-таки безупречный джентльмен Шредер и красавица Фей Данауэй смотрят на эту полупьяную амебу так, как будто есть у Генри—Буковски нечто такое, чего нет у них.

Что это?

Свобода? «Нивочтонепогруженность» Венички Ерофеева?

Независимость от обстоятельств, от целей, от средств, от причин и следствий?

У Генри—Буковски нет ничего — денег, вещей, убеждений, веры. Нет даже цепей, которые можно было бы потерять. Не поэтому ли он писатель?

Правда, писательство Буковски и его экранного прототипа необычно. Текст и повседневное существование тут взаимозаменяемы. Генри не замечает разницы между описанным и прожитым днем. Авторский персонаж сливается с автором, литература — с жизнью: драка в баре и описание драки в баре полностью совпадают. Произведением искусства становится жизнь автора. Или, что то же самое, художник делает свою жизнь произведением искусства.

Плод такого предельного натурализма — идеальное тождество героя с автором. Поэтому и бродяги из «Барфлая» — настоящие. Они не нагружены сверхзадачей. Они ничего не изображают, потому что они — не образы.

В отличие от Чиполлино или Макара Чудры Генри из «Золотого рога» не выражает мысль о несправедливом общественном устройстве. Нет такого общественного устройства, которое покажется ему справедливым. Ему хорошо там, где он есть, — за стойкой гнусного бара, с рюмкой мерзкого виски, в ожидании кровавой драки. Настоящая свобода подразумевает и свободу от перемен, от какого-то другого будущего, от будущего вообще.

Мы всегда вглядываемся в фигуру бродяги в поисках поучения. Он должен нам сказать, как жить, чтобы не зависеть от прихоти судьбы или начальника, как не делить свою биографию на вчера, сегодня и завтра, как вообще обходиться без часов, домов, денег, любви, жалости, угрызений совести, разочарований, надежд. Беззаботный бродяга должен научить нас счастью. Чарльз Буковски выполняет эту задачу наполовину: он показывает, как жить так, чтобы не чувствовать себя несчастным.

ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ

Перевод с английского

Жизнь в техасском публичном доме

Я вышел из автобуса в техасском городке, было холодно, у меня был запор, и кто их там разберет, комната большая, чистая, всего за 5 долларов в неделю да с камином, и только я стащил одежду, как в комнату вбегает старик негр и начинает шуровать в камине длинной кочергой. Дров в камине не было, и я не мог понять, что он там делает своей кочергой. Потом он оглянулся на меня, схватился за ширинку и произвел такой звук: иссссс, иссссс! Я подумал, ладно, почему-то он принял меня за петуха, но, поскольку я не петух, помочь ему ничем не могу. Ладно, подумал я, таков уж мир, так уж он устроен. Негр сделал пару кругов с кочергой и вышел.

Тогда я залез в постель. От автобусов у меня всегда делается запор и бессонница, хотя и без автобусов тоже.

Словом, негр с кочергой убежал, а я вытянулся на кровати и подумал, денька через два, может, и похезаю.

Дверь опять открылась, и входит правильно налаженное существо, женщина, становится на колени и начинает мыть пол, моет пол и задом шевелит, шевелит, шевелит.

— Хорошую девушку не надо? — спросила она меня.

— Нет. Устал как черт. Только что с автобуса. Мне одно нужно — поспать.

— А потом знаешь как хорошо спится? И всего пять долларов.

— Устал очень.

— Хорошая, здоровая девушка.

— Где она?

— Это я.

Она встала и повернулась ко мне лицом.

— Извини, я правда очень устал.

— Всего два доллара.

— Нет, извини.

Она вышла. Через несколько минут я услышал голос мужчины.

— Это что же, ты никого не могла ему подложить? Мы сдали ему нашу лучшую комнату всего за пятерку. И ты не смогла никого подложить ему?

— Бруно, я старалась! Ей-Богу, Бруно, старалась!

— Сука паршивая!

Я узнал звук. Не пощечина. Хороший сутенер следит, чтобы лицо не распухло. Бьет по щеке ладонью, ближе к мочке, подальше от губ и глаза. У Бруно, наверно, большая конюшня. Звук был определенно от удара кулаком по лицу. Она закричала, стукнулась о стену, и братец Бруно вмазал ей еще раз на встречном движении. Она летела от кулака к стене и обратно, а я вытянулся на кровати и думал: да, иногда жизнь становится интересной, но я *не очень* хочу все это слышать. Если бы я знал, чем дело кончится, я бы ей не отказал.

Потом я уснул.

Утром встал, оделся. Понятно, что оделся. Но в сортир сходить не смог. Вышел на улицу и стал искать фотостудию. Зашел в первую же.

— Слушаю вас. Вы хотите сфотографироваться?

Она была рыжая, хорошенькая и улыбалась мне.

— С таким лицом, как у меня, для чего фотографироваться? Я ищу Глорию Уэстхевен.

— Я Глория Уэстхевен, — сказала она и, закинув ногу на ногу, подтянула юбку. Я подумал: человеку умереть надо, чтобы попасть в рай.

— Что с вами? — спросил я. — Вы не Глория Уэстхевен. С Глорией Уэстхевен я познакомился в автобусе, по дороге из Лос-Анджелеса.

— А у *нее* что есть?

— Ну, я слышал, что ее мать держит фотостудию. Я хочу ее найти. В автобусе кое-что произошло.

— Хотите сказать — в автобусе ничего не произошло?

— Я с ней познакомился. Когда она выходила, у нее были слезы на глазах. Я проехал до Нового Орлеана, а потом на автобусе вернулся сюда. До сих пор ни одна женщина из-за меня не плакала.

— Может, она плакала из-за чего-то другого.

— Я тоже так думал, пока соседи по автобусу не стали меня ругать.

— И кроме того, что у ее матери фотостудия, вы ничего не знаете?

— Кроме этого, ничего.

— Ладно, слушайте. Я знакома с редактором главной здешней газеты.

— Это меня не удивляет, — ответил я, глядя на ее ноги.

— Знаете что, оставьте мне ваши фамилию и адрес. Я расскажу ему по телефону эту историю, только мы ее изменим. Вы познакомились в самолете, ясно? Любовь в воздухе, вы расстались и тоскуете, ясно? И прилетели обратно из Нового Орлеана — знаете только, что у ее матери фотостудия. Поняли? Завтра утром это будет в колонке М... К... . Хорошо?

— Хорошо. — Я в последний раз взглянул на ее ноги и вышел. Она уже набирала номер.

Вот я во втором или третьем по величине городе Техаса, и город — мой. Я отправился в ближайший бар...

Для этого времени дня народу в баре было очень много. Я сел на единственный свободный табурет.

Нет, свободных было два — по обе стороны от здоровенного парня. Лет двадцати пяти, метр девяносто с лишним и килограммов сто двадцать без тары. Я сел на соседний табурет и заказал пиво. Выпил и заказал другое.

— Такое питье мне нравится, — сказал здоровый. — А эти хмыри только сидят и нянчатся целый час с одним стаканом. Мне нравится, как ты держишься, незнакомец. Что поделываешь и из каких ты краев?

— Из Калифорнии, — сказал я, — и ничего не делаю.

— Чего-нибудь задумал?

— Нет, ничего. Так, болтаюсь.

Я выпил половину второго стакана.

— Ты мне нравишься, незнакомец, — сказал здоровый, — и я скажу тебе одну вещь по секрету. Только тихо скажу — парень я, правда, здоровый, но, похоже, мы тут в меньшинстве.

— Валяй, — сказал я, допивая второй стакан.

Он шепнул мне на ухо:

— Техасцы — вшивота.

Я оглянулся и осторожно кивнул: да.

Кулак его еще описывал дугу, а я уже лежал под столиком, одним из тех, которые обслуживались по вечерам официанткой. Я выполз из-под него, обтер рот платком, посмотрел, как надо мной смеется весь бар, и вышел...

В гостиницу меня не пустили. Под дверью лежала газета, а дверь была чуть приотворена.

— Эй, пустите меня.

— Кто такой?

— Я из сто второго номера. Уплатил вперед за неделю. Буковски фамилия.

— Ты не в ботинки обут?

— В ботинки? Какие ботинки?

— Патрульные.

— Патрульные? Какие патрульные?

— Ладно, заходи, — сказал он...

Через каких-нибудь десять минут я уже лежал в постели, окруженный сетями. Вокруг всей кровати — а она была большая и как бы с крышей — висела сетка. Я задернул ее и лег, как судак. Чувство было чудное, но по тому, как шли дела, я решил, что чудное чувство в моем положении — еще не самое плохое. И словно этого было мало, в дверь вставили ключ и дверь открыли. На этот раз — приземистая негритянка с довольно добрым лицом и неописуемой ширины задом.

И вот эта добрая толстая черная девка раздвигает мои чудные сети и говорит:

— Пора менять белье, золотко.

Я говорю:

— Да я только вчера въехал.

— Золотко, мы тут белье меняем не по твоему расписанию. А ну-ка подвинь свою розовую попку и не мешай мне дело делать.

— Ага, — сказал я и выскочил из постели совершенно голый. На нее это, кажется, не произвело впечатления.

— Ох и большая у тебя кровать, золотко, — сказала она. — У тебя самая лучшая комната и кровать в нашей гостинице.

— Видно, мне повезло.

Она расстелила свои простыни и показала мне весь свой зад. Показала весь свой зад, а потом повернулась и сказала:

— Ну вот, золотко, постелено. Что-нибудь еще?

— Хорошо бы литров десять — двенадцать пива.

— Я принесу тебе. Только надо денег:

Я дал ей денег и подумал: плакали мои деньги. Потом затянул чудную сетку и решил заспать все это. Но толстая черная девка вернулась, я раздвинул сеть, мы сели и начали пить пиво и разговаривать.

— Расскажи о себе, — попросил я.

Она засмеялась и рассказала. Конечно, жизнь у нее была нелегкая. Не знаю, сколько времени мы пили пиво. В конце концов она забралась в постель и порадовала меня, как мало кто в жизни...

Проснувшись на другое утро, я вышел на улицу и купил газету. Все как есть в колонке местного знаменитого журналиста. Названо мое имя. Чарльз Буковски, романист, журналист, путешественник. Мы познакомились в небе, красивая дама и я. И она приземлилась в Техасе, а я улетел в Новый Орлеан по заданию газеты. Но прилетел обратно, милая дама поселилась в моей душе. Знаю только, что ее мать держит фотостудию.

Я вернулся в гостиницу, добыл бутылку виски и литров пять пива и наконец *опростался* — какой восторг! Наверно, подействовала статья.

Снова забрался в сеть. Потом позвонил телефон. Звонили через коммутатор. Я взял трубку.

— Вам звонят, мистер Буковски. Это редактор ... . Желаете говорить?

— Да-да, — сказал я, — алло.

— Вы Чарльз Буковски?

— Да.

— Как вас занесло в такое место?

— Что вы хотите сказать? Здесь очень приветливые люди.

— Это самый скверный публичный дом в городе. Мы уже пятнадцать лет пытаемся его прикрыть. Что привело вас туда?

— Было холодно. Я зашел в первое попавшееся место. Приехал на автобусе, было холодно.

— Вы прилетели самолетом. Помните?

— Помню.

— Хорошо. Я имею адрес дамы. Сказать вам?

— Хорошо, скажите, если вы не против. А если не хочется, то Бог с ним.

— Все-таки не могу понять, что вы делаете в таком месте.

— Ну ладно, вы — вы редактор самой большой городской газеты, вы говорите со мной по телефону, а я живу в техасском публичном доме. Знаете, давайте плюнем на все это. Дама плакала или вроде того; у меня это засело в голове. Следующим автобусом я отсюда уезжаю.

— Подождите!

— Чего подождать?

— Я дам вам ее адрес. Она прочла статью. Она читала между строк. Она мне позвонила. Она хочет вас видеть. Я не сказал, где вы живете. Мы, техасцы, гостеприимный народ.

— Ага, был я вечером у вас в баре. Убедился.

— Так вы и пьете?

— Не просто пью, я пьяница.

— Не уверен, что надо давать вам адрес вашей дамы.

— Да пошло это все в жопу, — сказал я и повесил трубку.

Телефон зазвонил снова.

— Мистер Буковски, вам звонят, это редактор ... .

— Соедините.

— Слушайте, мистер Буковски, нам нужно продолжение этой истории. Масса читателей заинтригована.

— Скажите вашему автору, чтобы употребил фантазию.

— Разрешите узнать, чем вы занимаетесь для пропитания?

— Я ничем не занимаюсь.

— Просто разъезжаете на автобусах и доводите до слез молодых дам?

— Такое не каждому дано.

— Слушайте, я решил рискнуть. Я дам вам ее адрес. Сбегайте к ней, повидайтесь.

— А может, это я рискую.

Он дал мне адрес. — Объяснить вам, как найти дорогу?

— Не стоит. Публичный дом нашел, найду и ее.

— Что-то в вас мне не совсем нравится, — сказал он.
— Плюньте. Если барышня приветливая, я вам отзвоню.
Я повесил трубку...

Дом был маленький, кирпичный. Открыла мне старуха.
— Я ищу Чарльза Буковски, — сказал я ей. — То есть, простите, я ищу некую Глорию Уэстхевен.
— Я ее мать. Вы человек из аэроплана?
— Я человек из автобуса.
— Глория прочла статью. Она сразу поняла, что это вы.
— Отлично. И как мы поступим?
— Ах, входите же.
Я вошел же.
— Глория, — крикнула старуха.
Вышла Глория. Выглядела она хорошо, до сих пор. Очередная рыжая цветущая техаска.
— Заходите, пожалуйста, — сказала она. — Мама, извини нас.
Она провела меня в свою спальню, но дверь оставила открытой. Мы оба сели, вдалеке друг от друга.
— Чем вы занимаетесь? — спросила она.
— Я писатель.
— Как мило! Где вы печатались?
— Я не печатался.
— Тогда вы в каком-то смысле ненастоящий писатель?
— Вы правы. И живу в публичном доме.
— Что?
— Я сказал, вы правы, я ненастоящий писатель.
— Нет, я о том, что вы потом сказали.
— Я живу в публичном доме.
— Вы всегда живете в публичных домах?
— Нет.
— А почему вы не на фронте?
— Психиатр не пропустил.
— Вы шутите.
— Я рад, что я не на фронте.
— Вы не хотите сражаться?
— Нет.
— Они бомбили Перл-Харбор.
— Я слышал.
— Вы не хотите сражаться против Адольфа Гитлера?
— Не очень. Лучше, если этим займутся другие.
— Вы трус.
— Да, трус, и не в том дело, что я не особенно хочу убивать людей, просто я не люблю спать в казармах, и чтобы вокруг храпели, а потом меня будил измученный сухостоем идиот с трубой, и не люблю носить говенное хаки кусачее: у меня чувствительная кожа.
— Я рада, что у вас хоть это чувствительное.
— Я тоже рад, только жаль, что это — кожа.
— Может быть, вам стоило бы писать кожей.
— Может быть, вам стоило бы писать писькой.
— Вы гнусный. И трус. Кто-то должен остановить фашистские орды. Я помолвлена с лейтенантом флота, и, будь он сейчас здесь, он бы вам показал.
— Наверно, показал бы, и я бы стал еще гнуснее.
— По крайней мере, научил бы вас быть джентльменом в присутствии дам.
— Наверно, вы правы. А если бы я убил Муссолини, я бы стал джентльменом?
— Конечно.
— Я сейчас же запишусь.
— Вас же забраковали. Помните?
— Помню.
Мы долго сидели молча. Потом я сказал:
— Слушайте, можно задать вам один вопрос?
— Задайте, — сказала она.
— Почему вы попросили меня выйти с вами из автобуса? И почему заплакали, когда я не вышел?
— Ну, из-за вашего лица. Знаете, вы немного уродливы.

— Да, я знаю.

— Да, оно уродливое и какое-то трагическое. Мне жаль было расставаться с этим «трагическим». Мне стало жаль вас, и я заплакала. Почему у вас такое трагическое лицо?

— Ох, мать честная, — сказал я и встал. И вышел.

Я пошел прямо в публичный дом. Швейцар узнал меня.

— Эге, боец, где тебя разукрасили?

— Да тут, из-за Техаса.

— Из-за Техаса? Так ты был за Техас или против?

— Конечно, за.

— Умнеешь, боец.

— Да, я знаю.

Я поднялся к себе, снял трубку и попросил соединить меня с редактором газеты.

— Друг мой, это Буковски.

— Вы встретились со своей дамой?

— Я встретился с дамой.

— И как это было?

— Чудесно. Просто чудесно. Провел, наверно, час в наслаждениях. Скажите вашему автору.

Я повесил трубку.

Потом спустился на улицу и отыскал тот бар. Там ничего не изменилось. Здоровый парень сидел все так же, слева и справа — свободные табуреты. Я сел и заказал два пива. Первое выпил залпом. Потом половину второго стакана.

— Я тебя помню, — сказал он, — что там с тобой было?

— Кожа. Чувствительная.

— Ты меня помнишь? — спросил он.

— Я тебя помню.

— Я думал, ты больше не придешь.

— Пришел. Давай сыграем в одну игру.

— Мы, техасцы, в игры не играем, незнакомец.

— Ну?

— Ты все равно думаешь, что техасцы — вшивота?

— Кое-кто из них.

И я снова очутился под столом. Я вылез из-под него, поднялся на ноги и вышел. Вернулся в публичный дом. На другой день в газете написали, что роман не получился. Я улетел в Новый Орлеан. Я собрал барахло и пошел на автобусную станцию. Приехал в Новый Орлеан, снял нормальную комнату и стал сидеть. Недели две я хранил вырезки из газеты, потом выкинул. А вы бы не так поступили?

Звездный Мальчик среди бифштексов

снова пошла у меня полоса неудач, и в этот раз я нервничал — из-за того, что слишком много пил вина; глаза вытаращены, слабый; и так подавлен, что не мог перекантоваться где-нибудь экспедитором или кладовщиком, как обычно — устроиться не мог. тогда я отправился на мясокомбинат и вошел в контору.

я тебя раньше не видел? спросил конторский.

нет, соврал я.

я был здесь года 2 или 3 назад, заполнил все бумажки, прошел медосмотр и так далее, и меня повели вниз, на 4 этажа под землю; становилось все холоднее и холоднее, и полы покрывала кровяная патина — зеленые полы, зеленые стены. мне объяснили мою работу: нажмешь кнопку, и через проем в стене доносится шум, словно сшиблись на футбольном поле две команды в шлемах или слон свалился со слонихи, а потом появляется что-то мертвое, большое, кровавое, и он показал мне: берешь его и забрасываешь на грузовик, а потом нажимаешь кнопку, и подается второй, — и он ушел. когда он ушел, я снял спецовку, стальную каску, ботинки (мне выдали на 3 размера меньше), поднялся по лестнице и вон оттуда. теперь вернулся, приперло.

староват ты для этой работы.

хочу подкачаться. ищу тяжелую работу, настоящую тяжелую работу, соврал я.

а справишься?

у меня железный характер. я выступал на ринге. дрался с самыми лучшими.

да ну?

да.

хм, по лицу судя, тебе крепко доставалось.

на лицо не смотри. руки у меня были быстрые и сейчас быстрые. приходилось и подставляться, чтоб людям было на что посмотреть.

я за боксом слежу. а имени твоего не помню.

я под другим работал, Звездный Мальчик.

Звездный Мальчик? не помню Звездного Мальчика.

я выступал в Южной Америке, в Африке, в Европе, на островах. дрался в маленьких городках. потому у меня и перерывы в стаже — не люблю писать «боксер», люди думают, вру или хвастаюсь. оставляю пропуски, и черт с ними.

ладно, приходи на медицинское обследование. завтра в 9.30 утра, и поставим тебя на работу. говоришь, тебе нужна тяжелая?

ну, если у вас есть другая...

нет, сейчас нет. знаешь, на вид тебе лет пятьдесят. может, зря я тебя беру. мы тут не любим возиться с людьми понапрасну.

я не люди — я Звездный Мальчик.

ну давай, мальчик, засмеялся он, мы найдем тебе РАБОТУ!

мне не понравилось, как он это сказал.

двумя днями позже я пришел в проходную — деревянную лачугу — и показал старику бумажку с моей фамилией: Генри Чарльз Буковски-младший, и он послал меня на погрузочную платформу: обратиться к Тёрману. я пошел туда. там на деревянной скамье сидели люди и глядели на меня, как будто я гомосексуалист или иду в плавках с гульфиком.

я ответил пренебрежительным, насколько сумел, взглядом и прохрипел на манер шпаны:

мне к Тёрману. где он?

кто-то показал.

Тёрман?

ну?

я у тебя работаю.

ну?

ага.

он поглядел на меня.

где твои ботинки?

ботинки?

нету, сказал я.

он вытащил мне из-под лавки пару — старых, жестких, задубелых. я надел: все та же история: на 3 размера меньше. пальцы стиснуты, согнуты.

потом он выдал мне окровавленную спецовку и стальную каску. я стоял и ждал, пока он закурит — или, если грамотно, — пока он закуривал. небрежным и мужественным взмахом руки он отбросил спичку.

пошли!

все они были негры и, пока я шел к ним, смотрели на меня прямо как ЧЕРНЫЕ МУСУЛЬМАНЕ. росту во мне — метр восемьдесят с лишним, и все они были выше меня, а если не выше, то в 2 или 3 раза шире.

Чарли! заорал Тёрман.

Чарли, подумал я. Чарли, тезка, это хорошо.

я уже потел в своей каске.

покажи ему РАБОТУ!!

черт подери, ах, черт подери, куда подевались приятные праздные ночи? почему на моем месте не Уолтер Уинчелл, который исповедует Американский Образ Жизни? не я ли был одним из самых блестящих студентов на отделении антропологии? что же случилось?

Чарли отвел меня на платформу и поставил перед пустым грузовиком в полквартала длиной.

жди здесь.

потом несколько ЧЕРНЫХ МУСУЛЬМАН прибежали с тачками, покрашенными белой краской, коржавой и пузырчатой, словно в белила подмешали куриное дерьмо. на каждой тачке громоздились окорока, плававшие в жидкой, водянистой крови. нет, они не плавали в крови, они в ней сидели как свинцовые, как пушечные ядра, как смерть.

один из черных запрыгнул в кузов позади меня, а остальные начали бросать в меня окороками, и я ловил их и бросал тому, что сзади, а он поворачивался и бросал тому, что в кузове. окорока летели быстро, БЫСТРО, и были тяжелые, и делались все тяжелей. не успевал я кинуть один окорок и повернуться, как ко мне уже летел другой. я понял, что они хотят загнать меня. и вскоре уже потел, потел, словно насадка от душа, и болела спина, болели запястья, болели плечи, все болело, исходило последней

невозможной каплей, дряблой, хилой. я уже едва видел, едва мог заставить себя поймать еще один окорок и бросить, еще один и бросить. я был залит кровью и всё ловил, ловил тяжелый, мягкий, мертвый ШМЯК руками, окорок чуть пружинит, как женский зад, и у меня нет сил сказать, выговорить, эй, вы что, ОСАТАНЕЛИ, ребята? окорока летят, и я кружусь, в каске, прибитый к месту, как человек на кресте, а они подбегают с тачками окороков, окороков, окороков, наконец тачки пустые, и я стою качаясь, вдыхая желтый электрический свет. это была ночь в аду. ну, я всегда любил ночную работу.

пошли!

меня отвели в другую комнату. высоко в воздухе, через большой проем в дальней стене — полбыка, а может, и целый, да, если вспомнить, целый, со всеми четырьмя ногами, выплывает из проема на крюке, только что убитый, и останавливается надо мной, висит прямо надо мной.

его сейчас убили, убили дурака. как они там отличают быка от человека? как они поймут, что я не бык?

ДАВАЙ — ПРОВОДИ ЕГО!

проводить?

ну да — ТАНЦУЙ С НИМ!

что?

у, черт! ДЖОРДЖ, поди сюда!

Джордж зашел под мертвого быка, схватил его. РАЗ. он побежал вперед. ДВА. он побежал назад. ТРИ. он побежал вперед, дальше. бык двигался почти горизонтально. кто-то нажал кнопку, и он взял быка. взял быка для мясных рынков мира. взял для капризных, отдохнувших, глупых, болтливых домохозяек мира, чтобы в 2 часа дня в домашних платьях они затягивались сигаретами, испачканными красным, и ничего почти не чувствовали.

меня поставили под следующего быка.

РАЗ.

ДВА.

ТРИ.

он у меня. его мертвые кости на моих живых костях, его мертвое мясо на моем живом мясе, и на меня навалилось это мясо, эта тяжесть, и я подумал об операх Вагнера, я подумал о холодном пиве, я подумал о мягкой бабенке, скрестившей ноги на кушетке напротив меня. и в руке у меня стакан, и я медленно и бесповоротно вдвигаюсь в порожнее сознание ее тела, и Чарли заорал ПОВЕСЬ ЕЕ В ГРУЗОВИКЕ!

я пошел к грузовику. из страха перед поражением, воспитанного в американских школьных дворах, я не смел уронить тушу на землю, это будет значить, что я трус, а не мужчина и не заслуживаю ничего, кроме насмешек и побоев, — в Америке ты должен быть победителем, другого пути нет, ты учишься драться за просто так, не спрашивай, — вдобавок, если уроню тушу, мне придется ее поднимать. вдобавок она испачкается. я не хочу ее испачкать, а вернее — они не хотят, чтобы она испачкалась.

я вошел в грузовик.

ВЕШАЙ!

крюк, свисавший с потолка, был туп, как большой палец без ногтя. ты опускаешь круп быка и задираешь перед, ты насаживаешь перед на крюк снова и снова, но крюк не входит. ЗАДРЫГА! МАТЬ!!! сплошная щетина и сало, тугое, тугое.

ДАВАЙ! ДАВАЙ!

я напрягся из последних сил, и крюк вошел, изумительное зрелище, чудо, крюк зацепил ее, и туша висела сама по себе, ушла с моего плеча, висела для домашних халатов и сплетен в мясной лавке.

ШЕВЕЛИСЬ! 130-килограммовый негр, наглый, спокойный, безжалостный, вошел в фургон, разом нацепил тушу, поглядел на меня.

у нас тут без перекуров!

ладно, трефовый.

я вышел перед ним. меня ждал очередной бык. после каждого я твердо знал, что еще одного не донесу, но повторял себе

еще одного

только одного

и

бросаю.

на

хер.

они ждали, что я брошу, я видел глаза, улыбки, когда они думали, что я не смотрю. я не хотел отдавать им победу. я пошел за следующим быком. последний бросок в большой проигранной игре, уделанный игрок, я шел за мясом.

прошло два часа, и кто-то заорал ПЕРЕРЫВ.

вытерпел. десять минут отдыха, кофе, и они ни за что не заставят меня бросить. подъехал обеденный фургон, и я пошел туда за ними. я видел в ночной темноте пар, поднимавшийся над кофе; я видел пышки и сигареты, кексы и сандвичи под электрическими лампами.

ЭЙ, ТЫ!

это был Чарли. Чарли, мой тезка.

что, Чарли?

пока не сел есть, залезай вон в тот грузовик и отгони в 18-й бокс. это был грузовик, который мы только что нагрузили, в полквартала длиной. а 18-й бокс — на той стороне двора.

я кое-как открыл дверь и забрался в кабину. сиденье было кожаное и мягкое, на нем было так приятно, что меня тут же сморил бы сон, если бы я не сопротивлялся. я не умел водить грузовик. я поглядел вниз и увидел чуть не десяток рычагов, тормозов, педалей и всякой дряни, я повернул ключ и ухитрился завести мотор. повозился с педалями, рычагами скоростей, и грузовик ожил, тронулся. я повел его через двор к 18-му боксу, думая об одном: пока я вернусь, обеденный фургон уедет. для меня это было трагедией, настоящей трагедией. я поставил грузовик, выключил зажигание и посидел там с минуту, всем телом вбирая доброту кожаного сиденья. потом открыл дверь и хотел выйти. нога не нашла подножку или что там должно быть, и я полетел на землю, в кровавой спецовке и чертовой каске, как подстреленный, не ушибся — или ничего не почувствовал. когда встал, увидел, как выезжает из ворот на улицу обеденный фургон. а они шли обратно к платформе, смеялись и закуривали.

я снял ботинки, я снял спецовку, я снял стальную каску и пошел к деревянной проходной. я швырнул спецовку, каску и ботинки через прилавок. старик посмотрел на меня:

что? бросаешь такую ХОРОШУЮ работу?

скажи, чтобы послали мне чек за 2 часа, а нет — пусть подавятся!

я зашел в мексиканский бар на другой стороне улицы, выпил пива и поехал на автобусе домой. американский школьный двор победил меня снова.

Рождение, жизнь и смерть левой газетки

Сперва было несколько встреч в доме у Джо Хайнса, но я обычно приходил туда пьяный и поэтому мало что помню о рождении левой газетки «Наш королек». Мне только потом рассказали, как это было, вернее, как я себя там вел.

Хайнс: Ты сказал, что разгонишь всю шайку и начнешь с того, который в инвалидном кресле. Потом ты стал орать, и люди стали уходить. Кого-то ты ударил по голове бутылкой.

Черри (жена Хайнса): Ты не желал уходить, ты выпил 0,7 виски и все время говорил, что отдерешь меня у книжного шкафа.

— Отодрал?

— Нет.

— Ага, тогда — в следующий раз.

Хайнс: Слушай, Буковски, мы хотим организоваться, а ты приходишь и только все портишь. В жизни не видел такого склочного пьяницы!

— Ладно, я ухожу. Хрен с вами. Кому нужны газеты?

— Нет, мы хотим, чтобы ты писал нам. Мы считаем, что ты лучший писатель в Лос-Анджелесе.

Я поднял бокал.

— Оскорбляете, свиньи! Я не затем пришел, чтобы меня оскорбляли!

— Хорошо, может быть, лучший в Калифорнии.

— Слыхали? Продолжаешь оскорблять?

— В общем, мы хотим, чтобы ты делал колонку.

— Я поэт.

— Поэзия, проза — какая разница?

— Поэт говорит много и за короткое время; прозаик говорит слишком мало и слишком долго.

— Нам нужна твоя колонка в газете.

— Налей мне, и ты нанял.

Хайнс налил. И нанял. Я допил и отправился в свою трущобу, размышляя о том, какую совершаю ошибку. Мне скоро пятьдесят — и связался с этими волосатыми, бородатыми недорослями. *Клёво*, папаша, ох, *клёво*! Война — говно. Война — ад. Барай-

тесь, не сражайтесь. Все это я знаю уже пятьдесят лет. Меня это уже не возбуждает. Да, и еще — *дурь*, трава. *Клёво*, старичок!

Дома я нашел еще пол-литра, выпил, потом четыре банки пива и сел писать первую статью. Про то, как схлестнулся в Филадельфии с восьмипудовой проституткой. Хорошая получилась статья. Я исправил опечатки, подрочил и лег спать...

Газета родилась на нижнем этаже двухэтажного дома, который снимал Хайнс. Там были придурковатые энтузиасты, и дело было новое, и все были возбуждены, кроме меня. Я все искал, с кем бы там переспать, но все они выглядели одинаково и *вели себя* одинаково — всем было по девятнадцать лет, все русые, узкозадые, плоскогрудые, деловитые, боевитые и безотчетно самодовольные. Когда бы я ни протянул к ним пьяную лапу, они неизменно оставались холодны. Неизменно.

— Слушай, дедуля, пусть у нас тут *поднимается* только северовьетнамский флаг!

— А-а, все равно она у тебя, наверно, рыбой пахнет!

— Ах ты грязный козел! Какой же ты... отвратительный!

И уходили, тряся восхитительными яблочками ягодиц, а в руке унося — вместо моей красивой пурпурной головки — какую-нибудь молодежную заметку о том, что полицейские шмонают ребят на Сансет-Стрипе и отбирают у них леденцы. А я, величайший поэт после Одена, должен свистеть в кулак...

Газета чересчур разрослась. Или же Черри заволновалась из-за того, что я валяюсь на кушетке пьяный и пялюсь на ее пятилетнюю дочь. Совсем стало скверно, когда дочь пристрастилась сидеть у меня на коленях, и ерзать, и, заглядывая мне в лицо, говорить: «Я люблю тебя, Буковски. Поговори со мной. Можно я принесу тебе еще пива, Буковски?»

— Возвращайся скорее, моя хорошая!

Черри: Слушай, Буковски, старый потаскун...

— Черри, дети меня любят. Ничего не могу поделать.

Девочка Заза прибежала с пивом, взобралась ко мне на колени. Я открыл банку.

— Я люблю тебя, Буковски, расскажи мне сказку.

— Хорошо, птичка. Жили-были старик со старухой и миленькая девочка, и однажды они заблудились в лесу...

Черри: Слушай, старый ты потаскун...

— Э-э, Черри, у тебя и впрямь грязное воображение!

Черри убежала наверх искать Хайнса, который сидел в сортире.

— Джо, Джо, нам надо переводить отсюда редакцию! Серьезно говорю!

Они отыскали пустой дом неподалеку, двухэтажный, и однажды ночью, попивая портвейн, я светил фонариком, а Джо, открыв телефонный шкаф на стене дома, переключал провода, чтобы поставить отводные трубки и не платить за них. В это же примерно время другая левая газетка, единственная, кроме нас, в Лос-Анджелесе, обвинила Джо в том, что он украл у них копию списка подписчиков. Я, конечно, знал, что у Джо есть совесть, мораль, идеалы, — из-за них-то он и ушел из крупной ежедневной газеты. Из-за них ушел и из той левой. Джо был натуральный Христос. Это точно.

— Не тряси фонарь, — сказал он...

Утром в комнате у меня зазвонил телефон. Это был мой друг Монго, Гигант Вечного Кайфа.

— Хэнк?

— Да?

— Вчера вечером заходила Черри.

— Да?

— Со списком подписчиков. Очень нервничала. Просила его спрятать. Сказала, Дженсен идет по следу. Я спрятал его в подвале, под рисунками Карлика Джимми, теми, тушью, что он перед смертью сделал.

— Натянул ее?

— Зачем? Там одни кости. Она бы меня ребрами исколола.

— Карлика Джимми ты дернул, а он весил всего сорок пять кило.

— У него была душа.

— Да?

— Да.

Я повесил трубку...

Следующие четыре или пять номеров «Нашего королька» выходили с шапками: «МЫ ЛЮБИМ «СВОБОДНУЮ ПРЕССУ ЛА.», «АХ, МЫ ЛЮБИМ «СВОБОДНУЮ ПРЕССУ ЛА.», «ЛЮБИМ, ЛЮБИМ, ЛЮБИМ «СВОБОДНУЮ ПРЕССУ ЛА.»

Еще бы не любить. Украли у них список подписчиков.

Однажды вечером Дженсен и Джо обедали вместе. После Джо сказал мне, что теперь «все в порядке». Не знаю, кто там кого натянул или что происходило под столом. Не интересовался.

А вскоре я выяснил, что, помимо волосатых и бородатых, у меня есть и другие читатели...

Новое Федеральное здание остеклонело торчит над Лос-Анджелесом как взбесившийся бокал; в нем кафкианские анфилады комнат, и у владельца каждой — персонососальная секретарша; все кормятся друг от друга и тихо возятся в тепле и уюте, как черви в яблоке. Я заплатил сорок пять центов за полчаса стоянки, вернее, получил квитанцию на эту сумму и вошел в вестибюль с монументальной росписью, какую бы мог сделать Диего Ривера, если бы ему ампутировали девять десятых разума: американские солдаты и индейцы улыбаются налево и направо и хотят выглядеть благородно, всё — в какашечно-желтом, рвотно-зеленом и сопливо-голубом.

Меня вызвали в кадры. Я знал, что не для повышения. Забрали у меня письмо и сорок пять минут мариновали на жесткой скамейке. Это их обычная метода под названием «мы знаем, что у тебя говно в кишечнике, а у нас нет». К счастью, по прошлому опыту я уже знал эти дешевые номера и, чтобы отвлечься, стал смотреть на всех проходивших девушек и воображать, как они задирают ноги в койке или берут в рот. Вскоре между ногами у меня образовалось нечто громадное... — ну, громадное по моим масштабам, — так что пришлось смотреть в пол.

Наконец меня пригласила войти очень черная нарядная негритянка, вполне изысканная, но и не совсем как бы оторвавшаяся от корней; улыбкой она дала понять мне, что сейчас мне вдуют, но одновременно намекнула, что и сама не прочь бы поднести мне на блюдечке. Это меня утешило. Хотя и абстрактно.

И я вошел.

— Садитесь.

Человек за столом. Обычный говнюк. Я сел.

— Мистер Буковски?

— Да.

Он назвался. Мне это было без надобности.

Он откинулся на спинку, уставился на меня.

Конечно, он ожидал увидеть кого-то помоложе и поинтереснее, кого-то более дерзкого, более интеллигентного и развращенного... А я был просто старый, усталый, скучный, с похмелья. Он — седоватый, вальяжный, если вам понятно, о какого рода вальяжности я говорю. Никогда не выкапывал свеклу с сезонниками, не попадал раз пятнадцать — двадцать в вытрезвитель. И лимоны не собирал с шести утра без рубашки, потому что к полудню будет сорок пять в тени. Только бедные знают смысл жизни; богатым и благополучным приходится гадать о нем. Чудно: мне на ум пришли китайцы. Русские размякли; теперь, наверно, только китайцы знают смысл — не размякли, в земле ковыряясь. Хотя вообще-то политических взглядов у меня нет, все это тоже туфта: история нас всех поимела, а меня раньше времени — достала допекла, задолбала, смылила.

— Мистер Буковски?

— Да?

— Видите ли... наш информатор...

— Продолжайте.

— ... написал нам, что вы не женаты на матери вашего ребенка.

Тут я вообразил, как он украшает рождественскую елку с бокалом в руке.

— Это верно. Я не женат на матери моего ребенка; ему четыре года.

— Вы его поддерживаете материально?

— Да.

— В каком размере?

— Я вам не скажу.

Он опять откинулся на спинку.

— Вы должны сознавать, что служащий государственного учреждения должен придерживаться определенных норм.

Не чувствуя за собой *никакой* вины, я не ответил.

Я выжидал.

О, где вы, ребята? Кафка, где ты? Лорка, расстрелянный на проселке, где ты? Хемингуэй, который жаловался, что за ним следит ЦРУ, и никто ему не верил, кроме меня...

Потом вальяжный, отдохнувший, не собиравший свеклу повернулся, залез в лакированный шкафчик позади и вытащил шесть или семь экземпляров «Нашего королька». Он кинул их на стол как вонючие, поганые, червивые какашки. Он постучал по ним не собиравшей цитрусов рукой.

— Мы имеем основания полагать, что автором этой колонки — «Заметки старого козла» — являетесь вы.

— Да.

— Что вы можете сказать об этих статьях?

— Ничего.

— И это вы называете *журналистикой*?

— Лучше писать не умею.

— У меня растут два сына, сейчас изучают журналистику в лучших колледжах, и Я НАДЕЮСЬ...

Он постучал по листкам, по этим вонючим листкам нефабричной, немозолистой рукой с колечком и сказал:

— Я надеюсь, что мои сыновья никогда не будут писать, как ВЫ!

— Не будут, — пообещал я.

— Мистер Буковски, я полагаю, наша беседа окончена.

— Угу, — сказал я. Я закурил сигарету, встал, почесал пивное брюхо и вышел.

Вторая беседа произошла раньше, чем я ожидал. Я трудился — как всегда, усердно — на своем паршивом рабочем месте, и вдруг из динамика загрохотало: «Генри Чарльз Буковски, зайдите в кабинет начальника смены!»

Я прервал свою важную работу, взял увольнительную у своего попки и отправился в кабинет. Секретарь Начальника, старая седая квашня, окинул меня взглядом.

— Это вы Чарльз Буковски? — спросил он с нескрываемым разочарованием.

— Да, друг.

— Следуйте за мной, пожалуйста.

Я последовал. Здание было большое. Мы спустились на несколько этажей, прошли по длинному коридору, попали в большую темную комнату, которая вела в другую большую темную комнату. За столом метров в двадцать пять длиной в дальнем конце сидели двое. Они сидели под одинокой лампой. А у ближнего конца стоял стул, для меня.

— Можете войти, — сказал секретарь. И слинял.

Я вошел. Оба встали. На троих — одна лампочка, темень. Я почему-то подумал о разных убийствах и похищениях.

Потом подумал: мы в Америке, старик, Гитлер умер. Умер ли?

— Буковски?

— Да.

Оба пожали мне руку.

— Садитесь.

Клёво, старичок.

— Это мистер... из Вашингтона, — сказал другой, местный главнокомандующий мудозвон.

Я не ответил. Лампа была красивая. Из человечьей кожи?

Бремя беседы взял на себя господин Вашингтон. У него был портфель, порядком набитый бумажками.

— Итак, мистер Буковски?

— Да?

— Вам сорок восемь лет, и вы одиннадцать лет состоите на службе у правительства Соединенных Штатов.

— Да.

— Вы были женаты на вашей первой жене два с половиной года, развелись и женились на вашей нынешней жене — когда? Назовите, пожалуйста, дату.

— Даты нет. Не женился.

— У вас есть ребенок?

— Да.

— Сколько ему лет?

— Четыре года.

— Вы *не* женаты?

— Материальную помощь ребенку оказываете?

— Да.

— В каком размере?

— В обычном.

Он откинулся на спинку. Мы сидели и молчали минуты четыре или пять.

Затем возникла пачка экземпляров полуподпольного «Королька».

— Эти статьи пишете вы? «Заметки старого козла»? — спросил господин Вашингтон.

— Я.

Он передал экземпляр господину Лос-Анджелесу.

— Вы это видели?

— Нет, нет, я не видел.

Над моей колонкой был изображен ходячий член на ножках, громадный, ГРОМАДНЫЙ И НА НОЖКАХ. А история была о том, как я вдул моему другу по ошибке, по пьянке, приняв его за какую-то свою подружку. Потом две недели не мог выжить его из моей квартиры. Это была чистая правда.

— И это вы называете *журналистикой*? — спросил господин Вашингтон.

— Ничего про журналистику не знаю. Но история мне показалась смешной. Вам она не показалась забавной?

— А эта... эта иллюстрация наверху?

— Член на ножках?

— Да.

— Не я его рисовал.

— Значит, к отбору иллюстраций вы не причастны?

— Газету верстают во вторник вечером.

— И по вечерам во вторник вас там нет?

— По вторникам мне полагается быть здесь.

Они помолчали, полистали «Наш королек», полюбовались на мои статейки.

— Знаете, — сказал господин Вашингтон, снова постучав по «Корольку», — у вас не было бы никаких сложностей, если бы вы продолжали писать *стихи*, но коль скоро вы занялись *вот этим*...

Он опять постучал по «Нашему корольку».

Я выждал две минуты и тридцать секунд. Потом спросил:

— Надо ли нам рассматривать почтовое начальство как новых литературных критиков?

— Нет, нет, что вы, — сказал господин Вашингтон, — мы не об этом говорим.

Я сидел и молчал.

— От почтовых служащих ожидают соблюдения определенных норм. На вас направлено Внимание Общественности. Вы должны служить примером примерного поведения.

— Мне кажется, — сказал я, — что вы ограничиваете мою свободу слова, угрожая лишением работы. Американский Союз гражданских свобод может этим заинтересоваться.

— Тем не менее мы предпочитаем, чтобы вы больше не писали этих статей.

— Джентльмены, в жизни каждого человека наступает минута, когда он должен решить: стоять ему или спасаться бегством. Я решил стоять.

Молчим.

Ждем.

Ждем.

Шелест «Наших корольков». Затем господин Вашингтон:

— Мистер Буковски?

— Да?

— Вы еще будете писать статьи о министерстве почт?

Я написал о них всего одну и, по-моему, скорее юмористическую, чем ругательную, хотя, может быть, у меня просто мозги набекрень.

На этот раз я заставил их подождать, потом ответил:

— Не буду, если вы меня к этому не вынудите.

Тут стали выжидать уже они. Допрос этот напоминал шахматную партию, когда ты ждешь, чтобы ошибся противник, сунулся не туда своими пешками, конями, слонами, ферзем, королем, мозгами. (А тем временем — пока вы это читаете — моя проклятая работа говорит мне «до свидания». Клёво, старичок. Шлите доллары на пиво и венки в фонд реабилитации Чарльза Буковски.)

Господин Вашингтон встал.

Господин Лос-Анджелес встал.

Господин Чарльз Буковски встал.

Господин Вашингтон сказал:

— Я полагаю, наша беседа окончена.

Мы все стали пожимать руки, как обалдевшие от зноя змеи.

Господин Вашингтон сказал:

— Но пока что не бросайтесь ни с каких мостов...

(Странно, мне это и в голову не приходило.)

— ...подобного случая у нас не было уже десять лет.

(Десять лет? Кто был этот последний несчастный?)

— Так что? — спросил я.

— Мистер Буковски, — сказал господин Лос-Анджелес, — возвращайтесь на рабочее место.

Я провел немало тревожных минут, блуждая в поисках выхода из этого подзем-

ного кафкианского лабиринта. Когда я наконец добрался до места, мои недоразвитые коллеги (и порядочные мерзавцы, между прочим) зачирикали вокруг:

— Где это ты был, малыш?

— Чего им было надо, папаша?

— Разложил там еще одну черненькую, озорник?

Я ответил им Молчанием. Кое-чему учишься у нашего дорогого Дяди Сэма.

Они все чирикали, и зубоскалили, и вертели пальчиками в своих мыслительных жопках. Перепугались не на шутку. Я был Крепкий Старикан, и если меня смогли обратать, то и любого из них обратают.

— Хотели назначить меня министром почт, — сказал я.

— И чем кончилось, папашка?

— Я сказал им, чтобы встали на чем сидят.

Мимо прошел бригадир, и они оказали ему знаки почтения, я же, Буковски, зажег сигару, небрежно швырнул спичку на пол и уставился в потолок, словно меня посетила большая чудесная мысль. Чистый понт: в голове у меня было пусто; хотелось только виски стакан да шесть или семь холодного пива...

Подтирочная газетка как будто разрасталась и переехала на другую улицу. Но мне всегда было противно носить туда материал, потому что все говнились и выдрючивались и вообще были так себе, надо сказать. Ничего не меняется. История Человекозверя — очень медленная. Они были не лучше тех засранцев, которых я встретил в 39 или 40 году в лос-анджелесской студенческой газете, — надутые дундуки, кропавшие свои глупые тухлые статейки, не снимая маленьких журналистских шляпок. Такие важные, что никого вокруг себя не видели. Газетчики всегда были самой паршивой породой; у тех, кто тампоны подбирает в сортире, души не в пример больше.

Поглядел я на этих недоделанных, вышел и больше не возвращался.

Сегодня. «Наш королек». Двадцать восемь лет спустя.

В руке у меня статья. За столом сидела Черри. У телефона — Черри. Очень важная. Говорить некогда. Или Черри не у телефона. Что-то пишет на бумажке. Говорить некогда. Все тот же вечный понт. Тридцать лет красотку не сломали. И Джо Хайнс — носится по дому, делает большое дело, бегает вверх и вниз по лестницам. У него был кабинетик наверху. Персональный конечно. В задней комнате под его присмотром какой-нибудь бедный говнючок набирал на машине Ай-би-эм очередной номер. Он платил говнючку тридцать пять долларов в неделю за шестьдесят часов работы, и говнючок был рад, отращивал бороду и красивые печальные глаза и в поте лица набирал эту паршивую третьесортную газетку. И по всем помещениям на полную громкость играли Битлы, и телефон звонил беспрестанно, и Джо Хайнс, главный редактор, беспрестанно УБЕГАЛ КУДА-ТО ПО ВАЖНОМУ ДЕЛУ. Но на следующей неделе, когда ты раскрывал газету, было непонятно, для чего он бежал. Этого там не было.

«Наш королек» жил пока что. Мои статьи по-прежнему были хорошие, но сама газета — недоносок. От нее уже несло покойником...

Каждую пятницу вечером происходила летучка. Пару раз я туда заваливался. Потом, послушав о своих скандалах, перестал ходить. Хочет жить газета — пусть живет. Я держался подальше, а писанину свою просто засовывал под дверь в конверте.

Потом мне позвонил Хайнс:

— У меня идея. Собери мне самых лучших поэтов и прозаиков, кого знаешь, и мы откроем литературное приложение.

Я собрал ему номерок. Он напечатал. И его арестовали за «непристойность». Но я повел себя красиво. Я позвонил ему:

— Хайнс?

— Да?

— Раз тебя за это арестовали, я буду писать тебе даром. Эта десятка, что ты мне платишь, пойдет в фонд защиты «Нашего королька».

— Большое спасибо, — сказал он.

Теперь он имел лучшего писателя Америки задаром...

Потом как-то вечером мне позвонила Черри.

— Почему ты не ходишь на наши собрания? Нам тебя ужасно недостает.

— Чего? Что ты несешь, Черри? Нашарилась, что ли?

— Нет, правда, Хэнк, мы все тебя любим. Пожалуйста, приходи на следующую летучку.

— Я подумаю.

— Без тебя номер мертвый.

— А со мной — дохлый.

— Ты нам нужен, старик.

— Я подумаю, Черри.

И я зашел. Подвиг меня на это сам Хайнс, сказав, что, поскольку у нас первая годовщина «Королька», вдоволь будет вина, и женщин, и жизни, и любви.

Но, явившись на взводе и ожидая увидеть парочки на полу и праздник любви, попал в трудовые будни этих созданий. Сгорбленные и унылые, они напомнили мне старушек надомниц, которым я развозил сатин на вековой давности лифтах с веревками и ручной тягой, среди крыс и вони — и эти надомные старухи, гордые полумертвые невротички, работали и работали, чтобы сделать миллионером кого-то... в Нью-Йорке, в Филадельфии или Сент-Луисе.

А *эти* в «Нашем корольке» трудились без жалованья, и между ними, сцепив руки за спиной, расхаживал Джо Хайнс, грубоватый и толстоватый, и следил, чтобы каждый (каждая) из добровольцев исполнял свой долг надлежащим образом.

— Хайнс! Хайнс, сука паршивая! — заорал я, едва вошел. — Ты тут плантацию развел, вонючий Саймон Легри! Ты визжишь о несправедливостях полиции и Вашингтона — ты самая большая, самая грязная свинья из них всех! Ты — Гитлер, помноженный на сто, ты подлый рабовладелец! Ты пишешь о зверствах, а сам их утраиваешь! Кому ты полощешь мозги, паскуда? Кем ты себя вообразил?

К счастью для Хайнса, остальные сотрудники давно ко мне привыкли, и все, что я сказал, сочли глупостью — Хайнс у них стоял за Правду.

Хайнс подошел и сунул мне в руку сшиватель для бумаг.

— Садись, — сказал он, — мы хотим увеличить тираж. Садись и пришпиливай эти зеленые рекламки к каждой газете. Мы рассылаем лишние экземпляры потенциальным подписчикам...

Поборничек Свободы Хайнс использовал приемы большого бизнеса, чтобы распространять свой поносный листок. Полная каша в мозгах.

В конце концов он не выдержал и отнял у меня сшиватель.

— Медленно работаешь.

— Пошел ты к чертовой матери. Шампанское ведрами обещали. А я тут скрепки жую...

— Эдди!

Он кликнул другого раба, со впалыми щеками, паучьими ручками, нищего. Бедняга Эдди голодал. Все голодали ради Идеи. Кроме Хайнса и его жены — эти жили в двухэтажном доме, ребенка учили в частной школе, а в Кливленде жил Папка, один из паханов в тамошней главной газете, и денег у него было больше, чем всего остального, вместе взятого.

Хайнс выгнал меня, а заодно парня с маленьким пропеллером на кепочке — Сладкого Дока Стенли, так его, кажется, звали, и Сладкого Дока подругу, и мы спокойно вышли черным ходом с одной бутылкой дешевого вина на троих. Вслед нам раздался голос Джо Хайнса:

— И чтобы я больше никогда вас не видел — но к тебе это, Буковски, не относится!

Знал, поганка, на чем его газета держится...

Потом снова нагрянула полиция. Из-за того, что напечатали фотографию влагалища. А постарался тут, как всегда, сам Хайнс. Он хотел любыми способами увеличить подписку или же погубить газету и соскочить. Но с клещами этими он управиться, похоже, не умел, и клещи сжимались все туже. Газетой интересовались только люди, работавшие за тридцать пять долларов в неделю или задаром. Однако ему удалось переспать с двумя молодыми энтузиастками, так что время тратил не совсем впустую.

— Брось ты свою паршивую работу и переходи к нам, — сказал мне Хайнс.

— На сколько?

— Сорок пять долларов в неделю. Включая твой гонорар. По средам будешь развозить газету — машина твоя, бензин оплачиваю я, плюс особые задания. С одиннадцати до семи тридцати, пятница и суббота — выходные.

— Я подумаю.

Приехал из Кливленда его отец. Мы напились у Хайнса. Хайнс и Черри совсем не обрадовались папке. А папка был не дурак выпить. Траву не употреблял. Вышить и я был не дурак. Пили всю ночь.

— От «Свободной прессы» надо избавиться так: поломать их киоски, прогнать разносчиков с улиц, расшибить башку-другую. Вот как мы делали в прежние дни. Деньги у меня есть. Найму громил, уличную сволочь. Буковски можем нанять.

— К чертовой матери! — завопил молодой Хайнс. — Слушать не желаю эту *гадость*, ты понял?

Папка спросил меня:

— А ты, Буковски, как на это смотришь?

— Я смотрю положительно. Передай мне бутылку.

— Буковски сумасшедший! — завопил Джо Хайнс.

— Но ты печатаешь его, — сказал папка.

— Он лучший писатель в Калифорнии, — объяснил молодой Хайнс.

— Лучший сумасшедший писатель в Калифорнии, — уточнил я.

— Сынок, — не унимался папка, — у меня столько денег. Я хочу поддержать твою газету. Надо только расшибить пару...

— Нет. Нет. Нет! — завопил Джо Хайнс. — Я на это не пойду!

Потом он выбежал из дома. Какой хороший человек Джо Хайнс. Он выбежал из дома. Я налил себе еще и сказал Черри, что отдеру ее возле книжного шкафа. Папка сказал: чур, я второй. Черри обругала нас, а Джо Хайнс бегал в это время со своей большой душой по улице...

Газета держалась кое-как и умудрялась выходить еженедельно. Потом начался процесс о фотографии влагалища.

Прокурор спросил Хайнса:

— Вы возражали бы против орального секса на ступенях муниципалитета?

— Нет, — ответил Джо, — но это могло бы вызвать затор на улице.

Эх, Джо, подумал я, опять ты срезался! Надо было сказать: «Я предпочел бы оральный секс *внутри* муниципалитета, где он обычно и происходит».

Когда судья спросил защитника, что означает фотография женского полового органа, защитник ответил: «Ну, он так устроен. Так уж он устроен, братец».

Процесс они, конечно, проиграли и подали апелляцию.

— Провокация, — сказал Джо Хайнс горстке репортеров, — полицейская провокация, и только.

Блестящий человек был Джо Хайнс...

Следующий наш разговор произошел по телефону.

— Буковски, я только что купил пистолет. Сто двадцать долларов. Великолепное оружие. Я намерен убить человека.

— Откуда ты говоришь?

— Из бара рядом с газетой.

— Сейчас приеду.

Когда я прибыл, он расхаживал по тротуару перед баром.

— Зайдем, — сказал он, — угощу тебя пивом.

Мы сели. Бар был полон. Хайнс говорил очень громко. Его было слышно в соседнем районе.

— *Я размажу его мозги по стене... Я прикончу ублюдка!*

— Кого это, мальчик? За что ты его хочешь убить?

Он уставился в пустоту.

— Клёво, старичок. За что ты хочешь убить ублюдка, а?

— Он е... мою жену, вот за что!

— А-а.

Он продолжал смотреть в пустоту. Это было как в кино, и даже хуже.

— Это великолепное оружие, — сказал Джо. — Вставляешь сюда обоймочку. Десять зарядов. Очередью. От ублюдка останется мокрое место!

Джо Хайнс.

Прекрасный человек с большой рыжей бородой.

Клёво, старичок.

Я его спросил:

— А как же все ваши антивоенные статьи в газете? Как с вашими призывами к любви? Куда девались?

— Да брось ты, Буковски, ты же никогда не верил в эту пацифистскую ерунду?

— Не знаю... Наверно, не совсем.

— Я предупредил его, что убью, если не отстанет, и что же? Вхожу, а он сидит на кушетке, в *моем* доме. Что бы *ты* сделал на моем месте?

— Ты превращаешь это в вопрос частной собственности, тебе понятно? Плюнь на это. Выбрось из головы. Уйди. Оставь их.

— Сам ты так поступал?

— После тридцати лет — всегда. А после сорока это дается легче. Но в молодости я сходил с ума. Первые ожоги — самые болезненные.

—*Нет, я убью этого ублюдка! Я размажу его мозги по стене!*

Нас слушал весь бар. Любовь, старичок, любовь.

Я сказал ему:

— Пошли отсюда.

Выйдя из бара, Хайнс упал на колени и завопил: душераздирающий четырехминутный вопль. Наверно, его было слышно в Детройте. Потом я поднял его и отвел к моей машине. Он схватился за дверную ручку, упал на колени и снова навел свой ру-

пор на Детройт. Он сдвинулся на Черри, бедняга. Я поднял его, усадил в машину, залез с другой стороны, поехал к бульвару Сансет, потом по бульвару направо, и на перекрестке, под красным светом, он снова дал сирену. Я закурил сигарету. В соседних машинах все повернулись на крик рыжебородого.

Я подумал, он не перестанет. Придется его оглушить.

Но когда зажегся зеленый свет, он вдруг кончил. Мы тронулись дальше. Он сидел и всхлипывал. Я не знал, что сказать. Сказать было нечего.

Я подумал: отвезу-ка его к Монго, Гиганту Вечного Кайфа. У Монго в голове полно мудни. Может, поделится с Хайнсом. Сам-то я с женщиной не жил четыре года. Все позабыл, ничего в этом не смыслю.

Закричит еще раз, подумал я, стукну по голове. Еще одного раза я не выдержу.

— Слушай! Куда мы едем?

— К Монго.

— Нет, нет! Только не к Монго! Терпеть его не могу! Он только будет глумиться! Эта сволочь не знает жалости!

Верно. У Монго были хорошие мозги, но безжалостные. Ехать к нему не имело смысла. А сам я с этим не совладаю. Мы ехали куда глаза глядят.

— Слушай, — сказал Хайнс, — у меня тут девушка. Два квартала отсюда. Подвези. Она меня понимает.

Я свернул с бульвара.

— Знаешь, — сказал я, — не убивай его.

— Почему?

— Кто, кроме тебя, станет печатать мои статейки?

Я подвез его к дому, высадил, подождал, пока ему не открыли, и уехал. Может, между ног утешится. Мне бы тоже не помешало...

При следующем разговоре Хайнс сообщил, что съехал из дому

— Я больше не мог терпеть. Представляешь, тут я ночью принял душ, собираюсь уже в койку, хочу вдохнуть в красавицу немного жизни — и что же?

— Что?

— Я вхожу, а она убегает из дому. Ну не сука?

— Слушай, Хайнс, знаю я эти дела. Я ничего не скажу о Черри — не успеешь оглянуться, как вы снова сошлись, и ты припомнишь мне все плохое, что я о ней сказал.

— Я никогда не вернусь.

— Ну, ну.

— Я решил не убивать мерзавца.

— Хорошо.

— Я вызову его на драку. По всем правилам бокса. Ринг, рефери, перчатки.

— Давай, — сказал я.

Два быка сразятся из-за коровы. Притом костлявой. Но в Америке корову часто получает проигравший. Инстинкт материнства? Бумажник толще? Член длиннее? Пес его знает...

На то время, пока он сходил с ума, Хайнс нанял вместо себя парня с трубкой и в галстуке. Но ясно было, что «Наш королек» при последнем издыхании. И всем было наплевать, кроме тех, кто трудился за тридцать пять и двадцать пять долларов в неделю или бесплатно. Эти любили газету. Она была не такая уж хорошая, но и не совсем плохая. Все-таки там была моя колонка «Заметки старого козла».

А трубка-галстук выпускал газету. Она ничуть не изменилась. Между тем до меня доходило: «Джо и Черри снова сошлись. Джо и Черри снова разошлись. Джо и Черри сошлись опять. Джо и Черри...»

Однажды в среду холодной синей ночью я вышел, чтобы купить на улице номер «Нашего королька». Я написал одну из лучших моих статей, и мне было интересно, осмелятся ли ее напечатать. В киоске лежал номер за прошлую неделю. В синем воздухе запахло дохлой кошкой: игра была кончена. Я купил дюжину пива, вернулся к себе и помянул покойницу. Я давно ждал конца и все равно оказался не готов. Я сорвал со стены плакат и кинул в мусор: «НАШ КОРОЛЕК». ЕЖНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЛОС-АНДЖЕЛЕССКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ».

Теперь правительству не о чем беспокоиться. Я снова стал примерным гражданином.

Тираж двадцать тысяч. Если бы мы довели его до шестидесяти — без семейных неприятностей, без полицейских рейдов, — мы бы уцелели. Не уцелели.

На другой день я позвонил в редакцию. Барышня плакала в трубку.

— Буковски, вчера вечером мы пытались тебя разыскать, но никто не знает, где ты живешь. Это ужасно. Все пропало. Все кончено. Телефон звонит без конца. Я тут одна. В следующий вторник вечером мы собираем редакцию — подумаем, как сохра-

нить газету. Но Хайнс все забрал — все материалы, список подписчиков и машину Ай-би-эм, хотя она ему не принадлежит. Нас обчистили. Не осталось ничего.

Какой у тебя нежный голосок, детка, какой печальный, нежный голосок, перепихнуться бы с тобой, подумал я.

— Мы думаем основать газету хиппи. Левая себя исчерпала. Приходи, пожалуйста, во вторник вечером к Лонни.

— Постараюсь, — ответил я, зная наперед, что не приду. Значит, кончились — почти два года. Всё. Полиция победила, город победил, правительство победило. Пристойность снова правит миром. Может быть, и полицейские перестанут меня штрафовать на каждом углу. И Кливер[1] перестанет слать нам записки из своего убежища. А «Лос-Анджелес таймс» можно купить где угодно. Господи Иисусе и Пресвятая Богородица, Жизнь Печальна.

Однако я дал девушке мой адрес и телефон — чем черт не шутит, авось и порезвимся на пружинах. (Харриет, ты так и не пришла.)

Пришел зато Барни Палмер, политический обозреватель. Я впустил его и открыл пиво.

Он сказал:

— Хайнс сунул дуло себе в рот и нажал на спуск.

— И что получилось?

— Осечка. Он продал пистолет.

— Мог попробовать еще раз.

— И один раз требует большого мужества.

— Ты прав. Прости. Ужасно вчера надрался.

— Рассказать, что у нас было?

— Конечно. Это ведь и мой конец.

— Ну вот, это было во вторник вечером, мы верстали газету. Там была твоя статья, слава Богу, она оказалась длинной, потому что материала у нас не хватало. Никак не могли натянуть на полосу. Явился Хайнс, в дымину пьяный. Только что опять разошелся с Черри.

— Тьфу.

— Ну да. В общем, номер не собирался. А Хайнс путался под ногами. В конце концов ушел наверх, лег и вырубился. Как только он ушел, все начало складываться. Мы успели, и оставалось еще сорок пять минут, чтобы отвезти в типографию. Я сказал, что отвезу сам. И знаешь, что произошло?

— Хайнс проснулся.

— Как ты догадался?

— Я такой.

— Ну, и он захотел сам отвезти ее в типографию. Погрузил макет в машину, но до типографии не доехал. Утром приходим — лежит от него записка, а в редакции шаром покати — ни Ай-би-эм, ни списка подписчиков, ничего...

— Я слышал. Знаешь, давай посмотрим на это так: он затеял чертову газету, он имел право ее и угробить.

— Но Ай-би-эм-то была не его. Он может попасть в переплет.

— Хайнс привык к переплетам. В переплетах он расцветает. Балдеет от них. Ты бы послушал, как он вопит.

— Но там же маленькие люди, Бук, они работали за четвертак в неделю и все отдавали газете. У них картонные подошвы. Они спали на полу.

— Маленького человека всегда опускают, Палмер. Такова уж история.

— Ты говоришь как Монго.

— Монго обычно прав, хотя он сволочь.

Мы поговорили еще немного и распрощались.

В тот вечер на работе ко мне подошел высокий негр.

— Что, брат, я слышал, ваша газета накрылась?

— Верно, брат, но где ты это слышал?

— Напечатано в «Лос-Анджелес таймс», на первой странице второй тетради. Там небось празднуют.

— Наверно, празднуют.

— Нам ваша газета нравилась. И статьи твои. Крепко заворачивал.

— Спасибо, брат.

В обеденный перерыв (10.24 вечера) я вышел и купил «Лос-Анджелес таймс». С ней отправился в бар напротив, взял на доллар пива, закурил сигару и сел за столик под лампой.

[1] Элдридж Кливер — один из руководителей «Черных пантер». (*Прим. перев.*)

«НАШ КОРОЛЕК» ДОПЕЛ СВОЮ ПЕСНЮ

«Наш королек», вторая по величине подпольная газета в Лос-Анджелесе, прекратил свое существование. Об этом сообщили во вторник ее издатели. Газета не дожила десяти недель до своей второй годовщины. Как сообщил редактор-распорядитель Майкл Энгел, кончину этого еженедельника предопределили большие долги, трудности с распространением и штраф в 1000 долларов за публикацию непристойного материала. По его словам, тираж газеты приближался к двадцати тысячам.

Однако, по мнению Энгела и других сотрудников редакции, «Наш королек» мог бы выходить и дальше; решение о закрытии газеты принял Джо Хайнс, ее 35-летний главный редактор.

В среду утром, когда сотрудники прибыли в редакцию на Мелроуз авеню, 4369, их ждало письмо от Хайнса, где, в частности, говорилось:

«Газета выполнила свою художественную задачу. В политическом же плане она никогда не была влиятельной. Материал, публикуемый нами сегодня, не лучше того, что печаталось год назад... Как художник я должен оставить работу, которая потеряла способность к развитию... хотя это — мое детище, и оно приносит мне доход».

Я допил пиво и вернулся на свой государственный пост...

Через несколько дней пришло письмо по почте:

«10.45, понедельник.

Хэнк,

сегодня утром я нашел в почтовом ящике записку от Черри Хайнс. (Я уезжал на воскресенье и вернулся только утром.) Черри пишет, что она и дети больны, живут на Дуглас-стрит, номер... и у них большие неприятности. Я не мог найти Дуглас-стрит на своей х... карте, но хотел сообщить о ее записке.

Барни».

Дня через два мне позвонили. Не женщина, охваченная страстью. Барни.

— Слушай, Джо Хайнс в городе.

— И мы с тобой тоже, — сказал я.

— Джо опять с Черри.

— Да?

— Хотят переезжать в Сан-Франциско.

— Давно пора.

— С газетой хиппи ничего не вышло.

— Ага. Извини, что не смог прийти. Напился.

— Ничего. Послушай, я тут получил задание в газете. Но как только кончу, хочу с тобой связаться.

— Зачем?

— Я нашел спонсора с пятьюдесятью тысячами.

— Пятьюдесятью?

— Да. Живые деньги. Хочет вложить. Хочет открыть новую газету.

— Держи меня в курсе, Барни. Ты всегда мне нравился. Помнишь, как мы запили у меня дома в четыре часа дня, протрепались всю ночь и отвалились только в одиннадцать утра?

— Да. Та еще ночь была! По части поддачи ты заткнешь за пояс любого молодого.

— Да.

— Значит, как только развяжусь, я тебе звоню.

— Да. Держи меня в курсе, Барни.

— Хорошо. А ты держись пока.

— Ладно.

Я пошел в сортир, прелестно после пивка просрался, потом залез в постель, подрочил и уснул.

В тот день мы говорили о Джеймсе Тэрбере

То ли удача от меня отвернулась, то ли талант мой иссяк. Это, кажется, Хаксли или кто-то из его героев сказал в «Контрапункте»: «В двадцать пять лет гением может быть каждый; в пятьдесят для этого надо потрудиться». Ну, мне было сорок девять, еще не пятьдесят — оставалось несколько месяцев. И с живописью у меня не клеилось. Недавно вышла книжечка стихов «Небо, самое большое спускалище»; четыре месяца назад я получил за нее около сотни долларов, а теперь она библиографическая редкость, стоит двадцать долларов у букинистов. У меня же и экземпляра не осталось. Друг украл, когда я был пьян. Друг?

Удача мне изменила. Меня знали Жене, Генри Миллер, Пикассо и прочие, и прочие, а я не мог устроиться даже судомоем. Попробовал в одном месте, но меня с бутылкой вытерпели только одну ночь. Одна из владелиц, большая толстая дама, возмутилась: «Да он *не умеет* мыть посуду!» Потом показала мне: сперва опускаешь посуду в одну половину раковины — там какая-то кислота, — *а потом уже* переносишь в другую, с мыльной водой. В ту же ночь меня уволили. Но я успел выпить две бутылки вина и съесть половину бараньей ноги, оставленной на столе.

В каком-то смысле ужасно — кончить свои дни нулем, но еще больнее то, что у меня была пятилетняя дочь в Сан-Франциско, единственный человек на свете, которого я любил, и она нуждалась во мне, нуждалась в туфлях и платьях, в пище, в любви, в письмах, в игрушках и, хотя бы изредка, в свиданиях со мной.

Мне пришлось поселиться у одного великого французского поэта, который жил теперь в Венисе, Калифорния, и этот поэт был двухснастным, то есть употреблял и мужчин, и женщин; и обратно. Человек он был симпатичный и блестящий, остроумный говорун. Он носил паричок, то и дело соскальзывающий, так что, пока он говорил с тобой, эту дрянь все время надо было поправлять. Он говорил на семи языках, но со мной вынужден был говорить по-английски. И на всех языках он говорил как на родном.

— А, не волнуйся, Буковски, — с улыбкой говорил он мне, — я о тебе *позабочусь*!

У него был тридцатисантиметровый член (*в спокойном состоянии*), и, когда он прибыл в Венис, некоторые передовые газетки напечатали рецензии и извещения о его поэтическом даре (одну из рецензий написал я), а некоторые газетки напечатали еще и фото великого французского поэта — голого. Росту в нем было метра полтора, а грудь и плечи заросли волосами. Эта шерсть покрывала его всего от шеи до мошонки — черная сальная вонючая масса, — и аккурат посреди фотографии висела эта чудовищная штука, толстая, головастая. Фитюлька с моржовым прибором.

Француз был одним из величайших поэтов двадцатого века. Он только одно знал: сидеть и писать свои говенные нетленные стишки. У него были два-три спонсора, они присылали ему деньги. Как не присылать (?): нетленный член, нетленные стихи. Он знал Корсо, Берроуза, Гинзберга и прочих. Знал всех этих ребят, которые жили в одном месте, появлялись вместе, вместе е...сь и творили порознь. Он даже встречал Миро и Хема, когда они шли по авеню: Миро нес боксерские перчатки Хема, и они шли к полю битвы, где Хемингуэй намеревался расквасить кому-то хавало. Ну конечно, они знали друг друга и остановились на минуту перекинуться блестящими кусочками разговорного говна.

Бессмертный французский поэт видел Берроуза у него на квартире, когда «пьяный в стельку» Берроуз ползал по полу.

— Он напоминает мне тебя, Буковски, никакого выпендрежа. Он пьет, покуда не падает под стол с мутным взглядом. А в ту ночь он ползал по ковру и не мог встать. Только поднял ко мне лицо и сказал: «Они меня нае...ли. Они меня напоили! Я подписал договор. Я продал все права на экранизацию «Голого завтрака» за пятьсот долларов. А, дьявол, ничего не вернешь!»

Берроузу, конечно, повезло — картину снимать раздумали, а пять сотен остались при нем. А я по пьяному делу продал какое-то свое говно за пятьдесят долларов сроком на два года, и оставалось терпеть еще восемнадцать месяцев. Так же нагрели Нельсона Олгрена — на «Человеке с золотой рукой» они заработали миллионы, Олгрен получил шиш. Пьян был и не прочел того, что они напечатали петитом.

Накололи меня и с правами на «Записки старого козла». Я был пьян, а они привели восемнадцатилетнюю проблядь в мини чуть не до пупка, на каблуках и в длинных чулках. Я два года с женщиной не спал. Подписал не глядя. А в нее, наверно, на грузовике можно было въезжать. Правда, я этого так и не проверил.

И вот я на мели, пятидесятилетний, невезучий, бесталанный, не могу устроиться даже продавцом газет, швейцаром, судомоем, а у французского бессмертного в доме дым коромыслом — все время стучатся в дверь молодые люди и молодые женщины. А дом какой чистый! Сортир у него выглядел так, как будто там никогда не срали. Все в белом кафеле и толстенькие пушистенькие коврики. Диваны новые, стулья новые, холодильник блестит как сумасшедший зуб, который терли щеткой, пока он не заплакал. На всем, на всем печать изысканности, безболезненной, безмятежной, неземной. И каждый знает, что сказать и как себя вести — по уставу — скромно и без шума: большие потягушки, и пососушки, и ковыряшки в разнообразных местах. Мужчины, женщины; дети допускаются. Мальчики.

И кокаин. И героин. И конопля. Азиатская. Мексиканская. Тут тихо делалось Искусство, и все приветливо улыбались, ждали, потом делали. Уходили. Потом приходили обратно.

И даже виски было, пиво и вино для таких остолопов, как я... сигары и глупость прошлого.

Бессмертный французский поэт без устали занимался этими разнообразными делами. Он вставал рано и делал разнообразные упражнения йоги, а потом вставал и смотрел на себя в большое зеркало, смахивал капельки легкого пота, а потом принимался за свои громадные муде — заботился об их долголетии, — поднимал их, поправлял, любовался и отпускал наконец: ПЛЮХ.

А я тем временем шел в ванную блевать. Выходил.

— Ты не напачкал там на полу, Буковски?

Он не спрашивал, не умираю ли я. Он беспокоился только о чистоте пола.

— Нет, Андре, я отправил всю рвоту по надлежащим каналам.

— Умница!

Потом, просто чтобы порисоваться, когда я тут хвораю у него на глазах, как последняя собака, он уходил в угол, становился на голову в своих мудацких бермудах, скрещивал ноги, смотрел на меня вверх тормашками и говорил:

— Знаешь, Буковски, если ты когда-нибудь протрезвеешь и наденешь смокинг, я тебя уверяю, стоит тебе в таком виде войти в комнату, все женщины попадают в обморок.

— Не сомневаюсь.

Потом легким полусальто он вскакивал на ноги.

— Хочешь завтракать?

— Андре, я уже тридцать два года не могу завтракать.

Потом раздавался стук в дверь, легкий и такой *деликатный* — можно было подумать, какая-то на хер синяя птица стучится крылышком, умирает, просит глоток воды.

Обычно это были два или три молодых человека с какими-то соломенными, обтруханными бородами.

Обычно мужчины, но иной раз появлялась и вполне приятная девушка, и мне было тяжело уходить, когда появлялась девушка. Но тридцать сантиметров в *покое* было у него — плюс бессмертие. Так что я всегда знал свое место.

— Слушай, Андре, голова раскалывается... Я, пожалуй, пройдусь по берегу.

— Ну что ты, Чарльз! Ей-Богу, это лишнее!

И, не успеешь дойти до двери, она уже расстегнула у Андре ширинку, а если бермуды без ширинки, так лежат уже у француза на щиколотках. И она хватает тридцать этих сантиметров, *спокойных,* посмотреть, что с ними будет, если их маленько раздразнить. И Андре уже задрал ей платье, и пальчик его шебаршится, протискивается под тугие чистые розовые трусики, отыскивая секрет дырочки. А для пальца всегда что-нибудь было: *как будто бы* новая запыхавшаяся дырочка спереди или сзади, и при его мастерстве он всегда умел прошмыгнуть, проторить дорожку кверху промеж тугого свежестираного розового и пробудить интерес в дырочке, отдыхавшей не больше восемнадцати часов.

Так что мне постоянно приходилось гулять по пляжу. Поскольку час был ранний, я был избавлен от необходимости созерцать гигантский развал человеческих отходов, стиснутых, харкающих, хрюкающих выпуклостей. От необходимости наблюдать хождение и лежание этих жутких тел, запроданных жизней — ни глаз, ни голосов, ничего, даже сознания, — просто отбросы говна, грязь на кресте.

А поутру тут было неплохо, особенно в будние дни. Все принадлежало мне, и даже склочные чайки — особенно склочные по четвергам и пятницам, когда с пляжа исчезали крошки и пакеты, — для них это было концом Жизни. Они не соображали, что в субботу и воскресенье толпы вернутся, со своими сосисками в булках и разными бутербродами. Да, думал я, может быть, чайкам еще хуже, чем мне? Может быть.

Однажды Андре пригласили выступить где-то — в Чикаго, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, в общем, где-то; он уехал, и я остался в доме один. Можно было попользоваться пишущей машинкой. Ничего хорошего из нее не вышло. У Андре она работала вполне исправно, даже удивительно было, что он такой замечательный писатель, а я нет. Казалось бы, между нами не *такая* большая разница. Но она была — он умел приставлять слово к слову. А когда я заправил белый лист в машинку, он как уселся там, так и пялился на меня. У каждого человека свой личный ад, и не один, но я по этой части обошел всех на три корпуса.

Так что я пил все больше и больше вина, все подносил своей смерти. Дня через два после отъезда Андре, утром, около половины одиннадцатого, раздался этот деликатный стук в дверь. Я сказал: одну минуту, пошел в ванную, сблевал, сполоснул рот. Эликсир. Я влез в какие-то шорты, потом надел шелковый халат Андре. Открыл дверь.

Там стояли молодой человек и девушка. Она была на высоких каблуках и в очень короткой юбке, чулки доставали ей почти до ягодиц. А он был парень как парень — в белой майке, худой, с приоткрытым ртом — и руки держал приподнятыми, словно сейчас поднимется в воздух и полетит. Девушка спросила:

— Андре?

— Нет. Я Хэнк. Чарльз. Буковски.

— Вы, наверно, шутите, Андре? — спросила она.

— Ага. Я сам шутка.

Снаружи капал дождичек. И они под ним стояли.

— В общем, заходите — промокнете.

— Нет, вы Андре! — говорит эта блядь. — Я вас *узнала*, это древнее лицо... двухсотлетнего старика!

— Ладно, ладно, — сказал я. — Заходите. Я Андре.

Они принесли две бутылки вина. Я пошел на кухню за штопором и стаканами. Налил всем троим. Я стоял, пил вино, разглядывал, как мог, ее ноги, а молодой человек вдруг расстегивает у меня ширинку и начинает сосать. Производя губами много шума. Я потрепал его по голове и спросил девушку:

— Как вас зовут?

— Венди, — сказала она, — я давно восхищаюсь вашими стихами, Андре. Я считаю, что вы сейчас один из самых больших поэтов.

А малый продолжает трудиться, чмокает и хлюпает, и голова у него прыгает, словно какая-то дурацкая безмозглая вещь.

— Один из самых больших? — спросил я. — А кто остальные?

— Ну, еще один, — сказала Венди. — Эзра Паунд.

— Эзра всегда нагонял на меня скуку, — сказал я.

— В самом деле?

— В самом деле. Слишком старается. Чересчур серьезный, чересчур ученый, а в конечном счете — унылый ремесленник.

— Почему вы подписываетесь просто «Андре»?

— Потому что мне так нравится.

А парень уже трудился изо всех сил. Я схватил его за голову, притянул к себе и дал залп.

Потом застегнулся и налил нам всем вина.

Мы сидели, разговаривали и выпивали. Не знаю, сколько это продолжалось. У Венди были красивые ноги с тонкими щиколотками, и она все время вертела ими, словно сидела на угольях или чем-то таком. Литературу они и впрямь знали. Мы говорили о всякой всячине. Шервуд Андерсон — «Уайнсбург» и так далее. Дос Пассос. Камю. Крейны; Дикки, Диккенс, Дикинсон; Бронте, Бронте, Бронте; Бальзак; Тэрбер и прочие, и прочие...

Мы прикончили обе бутылки, и я нашел еще что-то в холодильнике. Прикончили и это. А потом, не знаю. Я одурел и стал цапать ее за платье, сколько его там было. Показался край комбинации и штанишки; тогда я рванул платье сверху, рванул лифчик. Я схватил титьку. Я схватил титьку. Она была толстая. Я целовал и сосал эту штуку. Потом стал тискать так, что она закричала; когда она закричала, я заткнул ей рот поцелуем, если можно так выразиться.

Я растащил на ней платье — нейлон, нейлоновые ноги, круглые коленки. Я выдернул ее из кресла, содрал эти сопливые трусики и загнал ей по рукоятку.

— Андре, — сказала она. — О, *Андре*!

Я оглянулся: парень глядел на нас из кресла и дрочил.

Я взял ее стоя, но мы мотались по всей комнате, сшибали стулья, крушили торшеры. Раз я уложил ее на кофейный столик, но почувствовал, что ножки у него сдают под нашей тяжестью. И поднял ее снова, пока мы не расплющили окончательно этот столик.

— О Андре!

Потом она содрогнулась всем телом, и еще раз, прямо как на жертвенном алтаре. Тогда, видя, что она ослабла и не в себе, я просто загнал в нее всю штуку и замер, нацепив ее, как дурацкую рыбу на острогу. За полвека я научился кое-каким фокусам. Она была в обмороке. Потом перегнулся назад и ну долбить, долбить, долбить, так что голова у нее моталась, как у куклы, и она снова кончила, вместе со мной, и, когда мы кончили, я чуть не умер к чертям собачьим. Мы оба чуть к чертям не умерли.

Если берешь кого-то стоя, ее рост не должен сильно отличаться от твоего. Помню, я чуть не сдох один раз в детройтской гостинице. Там я тоже попробовал стоя, но получилось не очень. Я хочу сказать, что она *убрала* ноги с полу и обхватила ими меня. А это значит, что я на двух ногах держал двух людей. И это плохо. Я хотел бросить. Я держал ее на трех точках: руками за жопу и членом.

А она твердила: «Ах, какие у тебя сильные ноги! Ах, какие красивые сильные ноги!»

Что правда, то правда, в остальном-то я сплошное говно, включая мозги и все остальное. Но кто-то приделал к моему телу громадные сильные ноги. Без булды. Но от этого детройтского блядства я чуть не сдох — и упор какой-то немыслимый, да еще это возвратно-поступательное движение. Ты держишь вес двух тел. Вся нагрузка ложится на твой хребет и крестец. Занятие убийственно тяжелое. Все-таки мы оба кончили, и я ее где-то бросил. Просто скинул.

А эта, у Андре, стояла на своих ногах, так что можно было и фокусничать — винтом, с поддёвом, шибче, медленней и так далее. В общем, я ее уходил. Положение у меня было неудобное — штаны все время путались в ногах. Я просто отпустил Венди. Не знаю, куда она к черту упала, не интересовался. А когда я нагнулся подобрать штаны, этот парень подошел и сунул мне в жопу средний палец правой руки, прямой и твердый. Я заорал, обернулся и заехал ему по лицу. Он отлетел.

Потом я застегнул штаны, сел в кресло и стал пить вино и пиво, молча, еще не отойдя от злобы. А они, оправившись немного, собрались уходить.

— Покойной ночи, Андре, — сказал он.

— Покойной ночи, Андре, — сказала она.

— Не поскользнитесь на ступеньках, — сказал я. — Они скользкие, когда дождь.

— Спасибо, Андре, — сказал он.

— Мы не поскользнемся, Андре, — сказала она.

— Счастливо! — сказал я.

— Счастливо! — откликнулись они хором.

Я закрыл дверь. Черт, до чего же приятно быть бессмертным французским поэтом! Я отправился на кухню, нашел бутылку хорошего французского вина, анчоусы и оливки. Принес все это в комнату и поставил на шаткий кофейный столик.

Налил в высокий бокал вина. Потом подошел к окну с видом на мир и на океан. Океан был приятный: он занимался тем, чем занимался. Я выпил бокал, выпил второй, поел рыбок, а потом почувствовал усталость. Я разделся и залез в широкую постель Андре. Пёрнул, глядя на солнце, под шум моря.

— Спасибо тебе, Андре, — сказал я. — А все-таки ты неплохой человек.

И талант мой еще не иссяк.

Перевод ВИКТОРА ГОЛЫШЕВА

Жизнь и смерть в благотворительной палате

«Скорая помощь» была полна, но мне нашлось место наверху, и мы тронулись. Меня взяли с сильными кровавыми рвотами, и я боялся, что меня вырвет на людей внизу. Мы катили под звуки сирены. Они доносились издалека, точно это была не наша, а какая-то посторонняя сирена. Мы ехали в окружную больницу, мы все. Нищие. Объекты благотворительности. У каждого из нас испортилось что-то свое, и для некоторых эта поездка была последней. Общего у нас было то, что все мы были нищие и всем нам ничего не светило. «Скорую помощь» набили битком. Я не думал, что она вмещает столько людей.

— Боже, о Боже милостивый, — услыхал я голос негритянки снизу, — за что же МНЕ такое? МНЕ-ТО за что такое, Господи?..

Сам я не удивлялся. Я давно играл со смертью. Не то чтобы мы были хорошими друзьями, но знакомство водили давно. В этот вечер она подсела ко мне слишком близко и слишком стремительно. Предупреждения были: боль ножом втыкалась мне в живот, но я старался ее не замечать. Я думал, что меня не прошибешь и что боль — разновидность неудачи; я старался ее не замечать. Я заливал ее виски и шел работать. Работал я пьяницей. Все из-за виски; не надо было переходить с вина на виски.

Кровь из внутренностей не такого ярко-алого цвета, как, скажем, на порезанном пальце. Кровь из внутренностей темная, пурпурная, почти черная, и она воняет, воняет отвратительно. Эта животворная влага воняла хуже говна.

Подступило опять. Обычно кажется, что стоит только избавиться от пищи, и станет легче. Но сейчас это была одна иллюзия: каждый спазм приближал встречу с Мамашей Смертью.

— О Господи Боже милостивый, за что...

Кровь оказалась у меня во рту, но я ее не выплюнул. Я не знал, что делать. С верхнего яруса я бы порядком испачкал своих друзей внизу. Я держал кровь во рту и думал, как поступить. «Скорая помощь» повернула, и кровь закапала из углов рта. Что же, человек должен соблюдать приличия, даже если он умирает. Я собрался с силами, закрыл глаза и заглотнул кровь обратно. Меня замутило. Но задача была решена. Я только надеялся, что мы скоро приедем и мне не придется бороться со следующей порцией.

Я действительно не думал о смерти; единственной мыслью было: как это все неудобно, я совсем не владею ситуацией. Лишили выбора и тащат тебя куда-то.

«Скорая помощь» приехала, я оказался на столе, и меня стали спрашивать: какого я вероисповедания? где родился? не задолжал ли округу каких-нибудь $$$ с про-

шлой поездки в их больницу? когда я родился? живы ли родители? живут ли вместе? и так далее — словом, известно что. Они говорят с тобой так, будто ты в полном порядке; они не хотят замечать, что ты при смерти. И особенно не торопятся. Это успокаивает, но у них нет такой задачи, им просто надоело, им безразлично, сдохнешь ты, пернешь или улетишь. Нет, пожалуй, лучше бы ты не пердел.

Потом я оказался в лифте, потом раскрылись двери и меня вкатили в какой-то темный подвал. Поместили на кровать и оставили одного. Затем появился санитар и протянул мне маленькую белую таблетку.

— Примите, — сказал он.

Я проглотил таблетку, он дал мне стакан воды и исчез. Так хорошо ко мне давно не относились. Я лег и стал разглядывать обстановку. Восемь или десять кроватей, на каждой по американцу. На тумбочке — посудина с водой и стакан. Простыни выглядели чистыми. В палате было очень темно, совсем как в подвале большого дома. Одинокая тусклая лампочка без абажура. Рядом лежал громадный мужчина, лет пятидесяти пяти, но громадный; в основном это был жир, и тем не менее в нем чувствовалась необычная сила. Он был пристегнут к кровати. Он смотрел вверх и говорил с потолком.

— ...такой приятный малый, такой приличный малый, искал работу, ищу, говорит, работу, а я говорю: «Ты вроде малый ничего, а нам нужен кто-то у плиты, чтобы честный и умел готовить, а у тебя честный вид, парень, — я человека сразу вижу, — будешь нам с женой помогать, оставайся сколько захочешь»; он говорит: «Конечно, сэр», так и говорит, рад, видно, что получил работу; я говорю: «Ну, Марта, похоже, нашли мы хорошего парня, такой приличный парень, в кассу лазить не будет, не то что эти подонки». Ну, поехал я, закупил кур, сколько надо закупил. Марта из курицы что хочешь сделает — волшебница. «Полковнику Сандерсу» до нее далеко. Поехал и купил два десятка кур на выходные. Что надо получались выходные, куриный день, все блюда из кур. Два десятка, поехал и купил. Ну, думаю, теперь переманим всех клиентов у «Полковника Сандерса». За удачные выходные 200 долларов чистой прибыли набирается. Парень этот их даже ощипывал и разделывал с нами, это сверх своей работы. У нас-то с Мартой детей нет. Ладно, разделала Марта этих кур, сколько было, всех разделала... Девятнадцать блюд приготовили, курица из ушей полезет. А малого поставили остальное готовить — бутерброды с котлетами, бифштексы и прочее. Куры уже на огне. Какие были выходные! Вечер пятницы, суббота и воскресенье. Приятный малый, и от работы не бегает. Хороший помощник. Все шутил. Он меня называл «полковник Сандерс», а я его — сын. Полковник Сандерс и сын — прямо фирма. В субботу вечером закрылись, устали, но радуемся. Съели этих кур подчистую. Народу набилось — даже очередь стояла, никогда такого не видал. Закрыл я двери, вытащил бутылку виски получше, сидим веселимся, хоть и устали, выпиваем. Парень посуду помыл, подмел пол. Говорит: «Ну что, полковник Сандерс, во сколько мне завтра заступать?» Улыбается. Я говорю — в 6.30. Он кепку надел и ушел. «Ну до чего замечательный парень!» — говорю и к кассе иду, посчитать выручку. А там — НИЧЕГО! Правду говорю — в ней НИЧЕГО! И коробка из-под сигар — там еще за два дня выручка, — так он и коробку отыскал. Такой приличный малый... не пойму... говорил же ему, оставайся сколько захочешь, так и сказал... Два десятка... Марта знает толк в курах... А парень этот, потрох куриный, все деньги прихватил...

Потом он закричал. Я не раз слыхал, как кричат люди, но я никогда не слышал, чтобы кричали так. Он натянул ремни и стал кричать. Казалось, что ремни вот-вот лопнут. Кровать грохотала, стены гудели от крика. Он обезумел от боли. Это не был короткий крик. Это был долгий крик, он длился и длился. Потом он замолк. Мы, восемь или десять больных американцев, лежали и наслаждались тишиной.

Потом он опять заговорил.

— Такой приятный парень, сразу мне понравился. Говорю, оставайся сколько захочешь. И все шутил смешно. Хороший помощник. Я поехал, закупил двадцать кур. Двадцать кур. За хорошие выходные можно целых две сотни заработать. Приготовили двадцать кур. Меня полковником Сандерсом называл...

Я свесился с кровати; меня снова вырвало кровью.

На другой день появилась сестра и помогла мне перебраться на каталку. Меня по-прежнему рвало кровью, и я очень ослаб. Она закатила меня в лифт.

Техник встал позади своего аппарата. Они уперлись чем-то острым мне в живот и велели стоять. Я был очень слаб.

— Я ослаб, я не могу стоять.

— Стойте прямо, — сказал техник.

— Боюсь, что не смогу, — сказал я.

— Не шевелитесь.

Я почувствовал, что медленно заваливаюсь назад.

— Я падаю.

— Не надо падать, — сказал он.

— Не шевелитесь, — сказала сестра.

Я упал навзничь. Я был как резиновый. Даже не ощутил удара. Мне казалось, что я очень легкий. Вероятно, я и был легкий.

— Какого черта! — сказал техник.

Сестра помогла мне подняться. Она поставила меня у машины; в живот мне уткнулось острие.

— Не могу стоять, — сказал я. — Кажется, я умираю. Не могу стоять. Простите, не могу стоять.

И почувствовал, что падаю. Я упал навзничь.

— Простите, — сказал я.

— Бестолочь! — завопил техник. — Две пленки из-за тебя сгубил! Эти пленки денег стоят!

— Простите, — сказал я.

— Уберите его отсюда, — сказал техник.

Сестра помогла мне встать и уложила на каталку. Певчая сестра: она везла меня к лифту и напевала.

Из подвала меня перевели в большую палату, очень большую. Там умирали человек сорок. Провода от звонков были обрезаны, и толстые деревянные двери, с обеих сторон обшитые железом, скрывали нас от медсестер и врачей. На кровати подняли бортики, а меня попросили пользоваться судном; но судно мне не понравилось, особенно блевать в него кровью, и тем более срать в него. Того, кто изобретет удобное судно, врачи и сестры будут проклинать до скончания века и после.

Мне все время хотелось облегчиться, но не получалось. Оно и понятно, мне давали только молоко, а в желудке была прореха, и до очка ничего не доходило. Одна сестра предлагала мне жесткий ростбиф с полусырой морковью и картофельным полупюре, но я отказался. Я понял, что им надо освободить койку. Но как бы там ни было, а срать все равно хотелось. Странно. Я лежал там уже вторую или третью ночь и совсем ослаб. Я кое-как опустил один борт и слез с кровати. Добрался до сортира, сел. Я тужился, сидел там и тужился. Потом встал. Ничего. Только легкий бурунчик крови. Тут в голове пошла карусель, я оперся о стену рукой и выблевал еще порцию крови. Я спустил воду и вышел. На полдороге к кровати меня вырвало снова. Я упал, и вырвало еще. Я не думал, что в людях столько крови. Еще раз вырвало.

— Ты, паразит, — заорал со своей кровати какой-то старик, — утихни, дай поспать.

— Извини, друг, — сказал я и потерял сознание.

Сестра была недовольна.

— Поганец, — сказала она, — говорила же тебе не вылезать из кровати. Устроили мне ночку, недоумки е...ные!

— Сиповка, — сообщил я ей, — тебе бы в тихуанском борделе работать.

Она подняла мою голову за волосы и отвесила мне тяжелую пощечину справа, затем слева.

— Извинись! — сказала она. — Извинись!

— Ты Флоренс Найтингейл, — сказал я, — я тебя люблю.

Она отпустила мою голову и вышла из комнаты. В этой даме были истовый дух и огонь; это мне понравилось. Я повернулся, попал в собственную кровь и намочил халат. Будет знать.

Флоренс Найтингейл вернулась с другой садисткой, они посадили меня на стул и повезли его к моей кровати через всю комнату.

— Сколько от вас, чертей, шума! — сказал старик. Он был прав.

Меня положили обратно на кровать, и Флоренс запахнула борт.

— Стервец, — сказала она, — лежи тихо, а не то изуродую.

— Отсоси, — сказал я, — отсоси и ступай.

Она нагнулась и посмотрела мне в лицо. У меня очень трагическое лицо. Некоторых женщин оно привлекает. Ее большие страстные глаза смотрели в мои. Я отодвинул простыню и задрал халат. Она плюнула мне в лицо, потом ушла...

Потом появилась старшая сестра.

— Мистер Буковски, — сказала она, — мы не можем перелить вам кровь. У вас пустой кредит в банке крови.

Она улыбнулась. Ее слова означали, что мне дадут умереть.

— Ладно, — сказал я.

— Хотите повидать священника?

— Для чего?

— В вашей карте написано, что вы католик.

— Это для простоты.

— То есть?

— Когда-то был католиком. Напишешь «неверующий» — начнут приставать с вопросами.

— По нашим данным, вы католик, мистер Буковски.

— Послушайте, мне тяжело говорить. Я умираю. Хорошо, хорошо, я католик, пусть будет по-вашему.

— Мы не можем перелить вам кровь, мистер Буковски.

— Вот что, мой отец служит в этом округе. Кажется, у них есть банк крови. Лос-анджелесский окружной музей. Мистер Генри Буковски. Терпеть меня не может.

— Мы постараемся выяснить.

Я лежал наверху, а внизу они занимались моими документами. Врач не приходил, пока на четвертый день они не выяснили, что отец, который меня не переносит, хороший работящий человек, у которого умирает сын, бездельник и пьяница, и что хороший человек был донором; тут они повесили бутылку и стали ее в меня вливать. Шесть литров крови и шесть литров глюкозы, без перерыва. Сестра уже не знала, куда воткнуть иглу.

Один раз я проснулся, а надо мной стоял священник.

— Отец, — сказал я, — уйдите, пожалуйста. Я и без этого умру.

— Ты гонишь меня, сын мой?

— Да, отец.

— Ты отрекся от веры?

— Да, я отрекся от веры.

— Однажды католик — навеки католик, сын мой.

— Это вздор, отец.

Старик сосед сказал:

— Отец, отец, я хочу поговорить с вами. Поговорите со мной.

Священник отправился к нему. Я дожидался смерти. Но вы отлично знаете, что я тогда не умер, а то бы вы этого сейчас не читали...

Меня перевели в комнату, где был один черный и один белый. Белому каждый день приносили розы. Он выращивал розы и продавал их цветочным магазинам. Непосредственно в эти дни он не выращивал роз. У черного что-то лопнуло внутри — как у меня. У белого было больное сердце, совсем больное сердце. Мы лежали, а белый говорил про разведение роз, и про высадку роз, и как бы ему хотелось сигарету, и как, ох елки, ему плохо без сигарет. Меня перестало рвать кровью. Теперь я только срал кровью. Кажется, я выкарабкивался. В меня как раз ушло пол-литра крови, и они вытащили иглу.

— Притащу тебе покурить, Гарри.

— Вот спасибо, Хэнк.

Я слез с кровати.

— Дай денег.

Гарри дал мне мелочь.

— Он помрет, если закурит, — сказал Чарли. Чарли был черный.

— Да брось, Чарли, от пары сигарет еще никому не было вреда.

Я вышел из комнаты и двинулся по коридору. В вестибюле стоял автомат с сигаретами. Я купил пачку и отправился обратно. Потом Чарли, Гарри и я лежали и курили сигареты. Это было с утра. Около полудня зашел врач и наставил на Гарри машину. Машина отплевалась, пернула и зарычала.

— Курили, так? — спросил у Гарри врач.

— Да нет, доктор, честное слово, нет.

— Кто из вас купил ему сигареты?

Чарли смотрел в потолок. Я смотрел в потолок.

— Еще сигарета, и вы умрете, — сказал врач.

Потом он забрал свою машину и ушел. Как только он вышел, я достал пачку из-под подушки.

— Дай затянуться, — сказал Гарри.

— А что доктор сказал, слышал? — спросил Чарли.

— Да, — сказал я, выпуская тучу синего дыма, — что доктор сказал, слышал? «Еще сигарета, и вы умрете».

— Лучше умереть счастливым, чем жить несчастным, — сказал Гарри.

— Не хочу быть причастен к твоей смерти, Гарри, — сказал я, — передаю сигареты Чарли, а он, если захочет, тебя угостит.

Я протянул сигареты Чарли, лежавшему между нами.

— Ну-ка, Чарли, давай сюда, — сказал Гарри.
Чарли вернул сигареты мне.
— Слушай, Хэнк, дай покурить.
— Нет, Гарри.
— Умоляю, друг, сделай одолжение, один разок, всего разок.
— О черт! — сказал я.
Я бросил ему всю пачку. Дрожащими пальцами он вытащил одну штуку.
— Спичек нет. Есть у кого-нибудь спички?
— О черт! — сказал я.
Я бросил ему спички...

Вошли и заправили в меня еще бутылку. Минут через десять появился отец. С ним была Вики, пьяная настолько, что едва держалась на ногах.
— Малыш! — сказала она. — Мой малыш!
Она налетела на кровать.
Я поглядел на отца.
— Кретин, — сказал я, — зачем ты сюда ее притащил, она же пьяная.
— Не желаешь меня видеть, так? Так, малыш?
— Я предостерегал тебя от связей с подобными женщинами.
— Да у нее нет ни гроша. Ты что же, паскуда, купил ей виски, напоил ее и притащил сюда?
— Я говорил тебе, Генри, что она тебе не пара. Я говорил тебе, что это дурная женщина.
— Разлюбил меня, малыш?
— Забирай ее отсюда... ЖИВО! — велел я старику.
— Нет, я хочу, чтобы ты видел, с кем ты связался.
— Я знаю, с кем я связался. Забирай ее отсюда, а не то, Бог свидетель, сейчас вытащу эту иглу и расквашу тебе рыло!
Старик увел ее. Я повалился на подушку.
— А личико ничего, — сказал Гарри.
— Ну да, — сказал я, — ну да.
Я перестал срать кровью и получил перечень вещей, которые разрешалось есть. Мне сказали, что первая же рюмка отправит меня на тот свет. Еще мне объяснили, что надо делать операцию, а не то я умру. У нас вышел жуткий спор с врачихой-японкой насчет операции и смерти. Я сказал: «Никаких операций», и она удалилась, гневно тряся задом. Когда я выписывался, Гарри был еще жив и все нянчился со своими сигаретами.
Я шел по солнечной стороне — хотел проверить, как это будет. Было ничего. Мимо ехали машины. Тротуар был как тротуар. Я поразмышлял, сесть ли мне на городской автобус или позвонить кому-нибудь, чтобы меня забрали. Зашел позвонить в бар. Но сперва сел и покурил.
Подошел бармен, я заказал бутылку пива.
— Как дела? — спросил он.
— Нормально, — сказал я. Он отошел. Я налил пиво в стакан, порассматривал его, потом выпил половину. Кто-то кинул монету в автомат, и сделалась музыка. Жизнь показалась чуть лучше. Я докончил стакан, налил другой и подумал, стоит ли у меня теперь. Оглядел бар — женщин не было. Тогда я сделал другую неплохую вещь — взял стакан и выпил.

Перевод ВАСИЛИЯ ГОЛЫШЕВА

Политика

В Городском колледже Лос-Анджелеса, перед самой второй мировой войной, я строил из себя нациста. Я с трудом отличал Гитлера от Геркулеса и плевал на обоих. Просто сидеть на занятиях и слушать, как все эти патриоты читают проповеди о том, что мы должны примкнуть к ним и разделаться с этим зверем, было невыносимо скучно. Я решил заделаться оппозицией. Даже не потрудившись изучить труды Адольфа, я попросту изрыгал из себя все слова, казавшиеся мне маниакальными или гнусными.
Однако на самом деле никаких политических убеждений у меня не было. Таким образом я просто отстаивал собственную свободу.
Знаете, иногда, если человек не верит в то, что он делает, он может добиться

весьма интересных результатов, поскольку эмоционально никак не зациклен на Общем Деле. Было это незадолго до того, как все эти высокие блондины сформировали Бригаду имени Авраама Линкольна, дабы разогнать фашистские полчища в Испании. А потом хорошо обученные войска отстрелили им задницы. Некоторые из них пошли на это ради приключений и поездки в Испанию, но задницы им все равно отстрелили. А мне моя задница нравилась. Не столь уж многое мне в себе нравилось, но вот задница и конец нравились точно.

Я вскакивал на занятиях и принимался выкрикивать все, что в голову приходило. Как правило, это имело какое-то отношение к Высшей Расе, что мне казалось весьма забавным. Конкретно против черных и евреев я не выступал, поскольку видел, что они такие же бедняки и запутавшиеся люди, как я. Но я действительно толкал безумные речи и на занятиях, и после них, а бутылка вина, которую я держал в своем шкафчике, неплохо мне помогала. Меня удивляло, что меня слушает так много народу и при этом почти никто не подвергает мои заявления сомнению. Я попросту страдал словесным поносом и радовался тому, что в Городском колледже Лос-Анджелеса может быть так весело.

— Ты будешь баллотироваться на пост президента студенческого общества, Чинаски?

— Конечно нет, черт возьми.

Делать я ничего не хотел. Я даже не хотел ходить в спортзал. Мало того, меньше всего на свете мне хотелось ходить в спортзал, потеть, носить суспензорий и измерять, у кого длиннее конец. Я знал, что конец у меня среднего размера. Чтобы выяснить это, необязательно было ходить в спортзал.

Нам повезло. Правление колледжа решило взимать в качестве вступительного взноса два доллара. Мы решили — во всяком случае, некоторые из нас, — что это противоречит конституции, поэтому мы платить отказались. Мы объявили забастовку. Начальство разрешило нам посещать занятия, но лишило нас кое-каких привилегий, одной из которых был спортзал.

Когда наступало время занятий в спортзале, мы оставались в обычной одежде. Тренер получал распоряжение водить нас по спортплощадке сомкнутым строем. Таковой была их месть. Прекрасно. Мне не надо было ни мчаться с запотевшей задницей по беговой дорожке, ни пытаться забросить сумасшедший баскетбольный мяч в сумасшедшее кольцо.

Мы старательно маршировали, юные, переполненные мочой, переполненные безумием, сексуально озабоченные, безмандовые, на пороге войны. Чем меньше веришь в жизнь, тем меньше теряешь. Мне почти нечего было терять, мне и моей среднего размера елде.

Мы ходили строем по кругу и выдумывали похабные песенки, а добропорядочные американцы из футбольной команды грозились отхлестать нас по задницам, но почему-то так и не собрались. Возможно, потому, что мы были выше и подлее. По мне, было просто чудесно притворяться нацистом, а потом вдруг заявлять о попрании моих конституционных прав.

Иногда я все-таки нервничал. Помню, как-то раз на занятиях, после небольшого перебора вина, со слезой в каждом глазу, я сказал:

— Обещаю вам, что эта война вряд ли будет последней. Как только уничтожают одного врага, тут же каким-то образом возникает другой. Все это бессмысленно и бесконечно. Таких понятий, как хорошая война и плохая, не существует.

В другой раз с трибуны на пустыре южнее колледжа выступал коммунист. Это был очень искренний прыщавый малый в очках без оправы и в черном свитере, протертом до дыр на локтях. Я стоял и слушал в окружении нескольких своих сторонников. Одним из них был русский белоэмигрант Зиркофф, его отца или деда во время русской революции убили красные. Он показал мне мешок гнилых помидоров.

— Когда прикажешь, — сказал он мне, — мы начнем ими швыряться.

И тут мне пришло в голову, что мои сторонники не слушают оратора, а если и слушают, ни одно его слово не имеет значения. Они все решили заранее. И таким был почти весь мир. Елда среднего размера показалась вдруг не самым страшным грехом на свете.

— Зиркофф, — сказал я, — убери помидоры.

— Отвали, — сказал он, — жаль, что это не ручные гранаты.

В тот день я утратил влияние на своих сторонников и ушел, когда они принялись швырять свои гнилые помидоры.

Мне сообщили, что создается новая, Авангардная партия. Мне дали адрес в Глендейле, и в тот же вечер я туда направился. Мы сидели в подвале большого дома

со своими бутылками вина и елдами разнообразных размеров.

Там были трибуна и стол с американским флагом во всю заднюю стену. На трибуну вышел цветущего вида американский парень и предложил начать с почестей флагу, дать ему клятву верности.

Я никогда не любил давать клятву верности флагу. Это идиотизм и сплошное занудство. Мне всегда больше хотелось дать клятву верности самому себе, но раз уж мы там собрались, мы встали и наскоро пробормотали нужные слова. Потом после этого короткая пауза, и садишься с таким чувством, словно к тебе только что небезуспешно приставали с гнусными намерениями.

Цветущий американец начал говорить. Я узнал в нем толстяка, который сидел в первом ряду на занятиях по драматургии. Подобным типам я никогда не доверял. Выскочки. Гнусные выскочки. Он начал:

— Коммунистическую угрозу *необходимо* остановить. Мы собрались здесь, чтобы принять для этого меры. Мы будем принимать как законные меры, так, вероятно, и незаконные...

Дальнейшего я почти не помню. Как на коммунистическую угрозу, так и на нацистскую мне было глубоко наплевать. Мне хотелось напиться, хотелось е..., хотелось вкусно поесть, хотелось спеть песню за стаканом пива в грязном баре и выкурить сигару. Я ничего не понимал. Я был простофилей, марионеткой.

Позже мы с Зиркоффом и еще одним бывшим сторонником пошли в Вестлейк-парк, взяли напрокат лодку и попытались поймать на обед утку. Мы ухитрились в стельку напиться, утки никакой не поймали и обнаружили, что у нас не хватает денег заплатить за прокат лодки.

Мы плавали по мелкому озеру, играли пистолетом Зиркоффа в «русскую рулетку» и умудрились остаться в живых. Потом Зиркофф встал в лунном свете попойки и прострелил к чертовой матери днище лодки. Начала прибывать вода, и мы погребли к берегу. Пройдя треть пути, лодка затонула, и нам пришлось вылезать и мочить свои задницы, добираясь до берега вброд. Так что вечер прошел отлично и не был потерян...

Еще некоторое время я играл роль нациста, не питая особой любви ни к нацистам, ни к коммунистам, ни к американцам. Но я уже терял к этому интерес. Мало того, перед самым Перл-Харбором я и вовсе махнул на это дело рукой. Испарилось куда-то все былое веселье. Я считал, что скоро начнется война, а идти на войну особого желания не испытывал, как не испытывал и особого желания по религиозным или иным соображениям отказываться от несения военной службы. Все это был бред собачий. Сплошная бессмыслица. Мы с моей среднего размера елдой попали в беду.

На занятиях я сидел молча и ждал. Студенты и преподаватели меня поддразнивали. Я утратил внутренний импульс, энергию, дерзость. Я чувствовал, что от меня уже ничего не зависит. Это должно было скоро случиться. Каждая елда попала в беду.

Моя преподавательница английского, весьма милая дама с красивыми ножками, попросила меня как-то раз остаться после занятий.

— Что случилось, Чинаски? — спросила она.

— Бросил я это дело, — сказал я.

— Вы имеете в виду политику? — спросила она.

— Я имею в виду политику, — сказал я.

— Из вас вышел бы хороший моряк, — сказала она.

Я ушел...

Когда это случилось, я сидел со своим лучшим другом, морским пехотинцем, в одном из городских баров и пил пиво. По радио передавали музыку, музыка прервалась. Нам сказали, что только что бомбили Перл-Харбор. Было объявлено, что все военнослужащие должны немедленно вернуться на свои базы. Мой друг попросил меня доехать вместе с ним на автобусе до Сан-Диего, намекнув, что, возможно, я вижу его в последний раз. Он был прав.

Одиночество

Автомобиль попался Эдне на глаза, когда она шла по улице с сумкой продуктов. В боковом окошке было объявление:

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА.

Она остановилась. К окошку был чем-то приклеен большой кусок картона. Большая часть объявления была напечатана на машинке. С того места тротуара, где она стояла, Эдна его разобрать не могла. Ей видны были только большие буквы:

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА.

Это была новая, дорогая машина. Чтобы прочесть напечатанный текст, Эдна шагнула на газон:

«Мужчина 49 лет. Разведен. Желает познакомиться с женщиной, чтобы вступить в брак. Возраст от 35 до 44 лет. Люблю кинематограф и телевидение. Вкусную пищу. Бухгалтер, надежно трудоустроен. Деньги в банке. Люблю женщин, склонных к полноте».

Эдне было тридцать семь, и она была склонна к полноте. Там был номер телефона. Были там и три фотографии господина, который ищет женщину. В костюме и галстуке он казался мужчиной степенным. И еще хмурым и немного жестоким. И деревянным, подумала Эдна, деревянным.

Эдна пошла дальше, слабо улыбаясь. К тому же она чувствовала некоторое отвращение. Добравшись до своей квартиры, о мужчине она уже позабыла. Лишь через несколько часов, сидя в ванне, она вновь вспомнила о нем и на сей раз подумала, что нужно быть по-настоящему одиноким, чтобы сделать такое:

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА.

Она представила себе, как он приходит домой, обнаруживает в почтовом ящике счета за газ и телефон, как раздевается и принимает ванну, а телевизор уже включен. Потом утренняя газета. Потом в кухню, готовить. Стоит там в трусах, уставившись на сковородку. Берет еду и идет к столу, ест. Пьет кофе. Потом опять телевизор. А перед сном, быть может, навевающая одиночество банка пива. В Америке жили миллионы подобных мужчин.

Эдна вылезла из ванны, вытерлась, оделась и вышла на улицу. Машина стояла на прежнем месте. Эдна записала имя и фамилию мужчины, Джо Лайтхилл, и номер телефона. Она вновь прочла текст, напечатанный на машинке. «Кинематограф». Что за странное слово. Нынче все говорят просто «кино». «Требуется женщина». Объявление было довольно наглое. В этом он был оригинален.

Придя домой, Эдна, прежде чем набрать номер, выпила три чашки кофе. В трубке раздались четыре гудка.

— Алло! — ответил он.

— Мистер Лайтхилл?

— Да.

— Я прочла ваше объявление. На машине.

— Ах да.

— Меня зовут Эдна.

— Как дела, Эдна?

— О, у меня все в порядке. Правда, жарко. Такая погода — уже чересчур.

— Да, переносить такую жару трудновато.

— Так вот, мистер Лайтхилл...

— Зовите меня просто Джо...

— Так вот, Джо, ха-ха-ха, я чувствую себя полной идиоткой. Знаете, зачем я звоню?

— Вы прочли мое объявление?

— Я хочу спросить, ха-ха-ха, что с вами случилось? Вы что, не можете найти себе женщину?

— Кажется, не могу, Эдна. Скажите, где они?

— Женщины?

— Да.

— Вы же сами знаете — всюду.

— Где? Скажите мне. Где?

— Ну, в церкви, допустим. В церкви есть женщины.

— Церковь я не люблю.

— А-а...

— Слушайте, Эдна, может, зайдете?

— К вам, что ли?

— Ну да. У меня уютная квартира. Выпьем чего-нибудь, поболтаем. Без всякого нажима.

— Уже поздно.

— Не так уж и поздно. Слушайте, вы же прочли мое объявление. Вам наверняка интересно.

— Ну...

— Вы боитесь, только и всего. Просто боитесь.

— Нет, не боюсь.

— Тогда приходите, Эдна.

— Ну...

— Я жду.

— Хорошо. Буду через пятнадцать минут.

Он жил на последнем этаже современного жилого комплекса. Квартира семнадцать. В плавательном бассейне внизу отражались огни. Эдна постучала. Дверь открылась, и возник мистер Лайтхилл. Лысеющий со лба. Горбоносый, с торчащими из ноздрей волосами. В рубашке с расстегнутым воротом.

— Входите, Эдна...

Она вошла, и дверь за ней затворилась. На ней было синее вязаное платье. Она была без чулок, в сандалиях и курила сигарету.

— Садитесь. Сейчас принесу вам что-нибудь выпить.

Квартира была уютная. Все голубовато-серое и *очень* чистое. Она услышала, как мистер Лайтхилл, смешивая напитки, что-то мурлычет: хм-м-м-м-м, хм-м-м-м-м, хм-м-м-м-м... Казалось, что он чувствует себя непринужденно, и это ее приободрило.

Мистер Лайтхилл Джо появился с выпивкой. Он протянул Эдне стакан, а потом уселся в кресло у противоположной стены.

— Да, — сказал он, — жарко, чертовски жарко. Правда, у меня кондиционер.

— Я заметила. Это славно.

— Пейте.

— Ах да.

Эдна выпила глоток. Напиток был хороший — крепковатый, но приятный на вкус. Она смотрела, как Джо, выпивая, запрокидывает голову. На шее у него оказались глубокие морщины. А брюки сидели слишком свободно. Они казались на несколько размеров больше, чем нужно. От этого его ноги имели забавный вид.

— Какое элегантное платье, Эдна.

— Вам нравится?

— Конечно. Да и вы такая пухленькая. Оно вам идет, очень идет.

Эдна промолчала. Помолчал и Джо. Они просто сидели, смотрели друг на друга и потягивали свою выпивку.

Почему он ничего не говорит, подумала Эдна. Ведь говорить должен он. В нем и вправду есть что-то деревянное. Она допила свой стакан.

— Я принесу вам еще, — сказал Джо.

— Нет, мне правда уже пора.

— Ну подождите, — сказал он, — я принесу еще выпить. Это развяжет нам языки.

— Хорошо, но потом я ухожу.

Джо взял стаканы и удалился на кухню. Больше он ничего не мурлыкал. Потом он вошел, протянул Эдне ее стакан и вновь уселся в свое кресло у противоположной стены. На сей раз напиток был крепче.

— А знаете, — сказал он, — у меня хорошие результаты тестов по сексу.

Эдна пригубила свою выпивку и ничего не ответила.

— А у вас как с сексуальными тестами? — спросил Джо.

— Я ими ни разу не пользовалась.

— А знаете, зря, ведь так можно выяснить, кто вы и что вы.

— Вы думаете, подобные вещи надежны? Я видела их в газете. Не пользовалась ими, но видела, — сказала Эдна.

— Конечно надежны.

— Возможно, я в сексе не разбираюсь, — сказала Эдна, — возможно, поэтому я и одна.

Она отпила большой глоток.

— В конце концов мы все одиноки, — сказал Джо.

— В каком смысле?

— В том, что, как бы ни хороша была сексуальная или любовная жизнь, да и обе вместе, настает день, когда всему приходит конец.

— Это грустно, — сказала Эдна.

— Конечно. Так вот, настает день, когда всему приходит конец. Либо происходит разрыв, либо все разрешается мирно: двое живут вместе и ничего друг к другу не чувствуют. По-моему, лучше уж быть одному.

— Вы развелись с женой, Джо?

— Нет, она развелась со мной.

— Из-за чего?

— Из-за сексуальных оргий.

— Сексуальных оргий?

— Знаете, тоскливей сексуальных оргий нет ничего на свете. Эти оргии... меня охватывало какое-то безумное чувство... все эти скользящие туда и обратно члены... простите...

— Ничего.

— Все эти скользящие туда и обратно члены, сплетенные ноги, работающие пальцы, рты, все тискают друг друга, потеют и полны решимости своего добиться так или иначе.

— Я почти ничего не знаю о подобных вещах, Джо, — сказала Эдна.

— По-моему, секс без любви — ничто. Все имеет смысл, только если между участниками возникает какое-то чувство.

— То есть люди должны друг другу нравиться?

— Это помогает.

— А если они друг другу уже надоели? Если они просто вынуждены вместе жить? Экономические причины? Дети? Все такое?

— Оргиями тут не поможешь.

— А чем?

— Даже не знаю. Может, обмен...

— Обмен?

— Ну знаете, когда две пары *очень* близко знакомы и меняются партнерами. Появляется, по крайней мере, возможность для чувств. Допустим, к примеру, мне давно нравится жена Майка. Уже много месяцев. Я все время наблюдаю, как она ходит по комнате. Мне нравится ее манера держаться. Ее манера держаться вызывает у меня любопытство. Мне интересно, знаете ли, с чем эта манера связана. Я видел ее сердитой, видел пьяной и трезвой. А потом — обмен. Ты с ней в спальне, ты наконец-то ее познаешь. Возникает возможность чего-то настоящего. Конечно, в другую комнату Майк уводит твою жену. Удачи тебе, Майк, думаешь ты, надеюсь, ты не хуже меня как любовник.

— И это вправду действует?

— Ну, я не знаю... Обмен может привести к конфликтам... впоследствии. Все это необходимо обсудить... как следует обсудить, заранее. И потом, люди могут попросту мало знать, сколько бы они все это ни обсуждали...

— А вы достаточно знаете, Джо?

— Ну, эти обмены... Думаю, некоторым они подходят... может быть, многим. А мне, кажется, они не годятся. Я чересчур строгих правил.

Джо допил свой стакан. Эдна поставила свой, не допив, и встала.

— Слушайте, Джо, мне надо идти.

Джо направился к ней через комнату. В этих брюках он был похож на слона. Она увидела его большие уши. Потом он схватил ее и принялся целовать. Сквозь все выпитое пробивался скверный запах у него изо рта. Запах был просто отвратный. Часть его рта оставалась свободной. Он был силен, но сила его не была безупречной, она умоляла. Эдна отвернулась, но он все равно ее обнимал.

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА.

— Отпусти меня, Джо! Ты слишком *спешишь*! Отпусти!

— Зачем же ты, сука, пришла?

Он вновь попытался ее поцеловать, и ему это удалось. Это было ужасно. Эдна резко подняла колено. Удар пришелся в цель. Он схватился за промежность и рухнул на ковер.

— Боже, боже... зачем ты это сделала? Ты хотела меня убить...

Он принялся кататься по полу.

Ну и задница, подумала она, у него *мерзкая* задница.

Она оставила его кататься по ковру и бегом спустилась по лестнице. Воздух на улице был свежий. Она услышала, как разговаривают люди, услышала их телевизоры. Идти до ее квартиры было недалеко. Она почувствовала, что нужно еще раз принять ванну, выбралась из своего синего вязаного платья и тщательно вымылась. Потом она вылезла из ванны, насухо вытерлась и накрутила волосы на розовые бигуди. Она решила с ним больше не видеться.

Христос на роликах

Это был маленький кабинетик на третьем этаже старого здания неподалеку от дешевых притонов. Джо Мейсон, президент «Роллеруорлд инкорпорейтед», сидел за обшарпанным письменным столом, который он арендовал заодно с кабинетом. На столе, сверху и по бокам, были вырезаны надписи: «Рожденный умереть». «Одни покупают то, за что других вешают». «Дерьмовый супец». «Ненавижу любовь сильнее, чем люблю ненависть».

На единственном оставшемся стуле сидел вице-президент, Клиффорд Андервуд. Имелся там и один телефонный аппарат. Кабинет пропах мочой, однако туалет находился в сорока пяти футах дальше по коридору. Имелось и окно, выходившее в переулок, пожелтевшее окно с толстыми стеклами, которые пропускали в помещение тусклый свет. Мужчины курили сигареты и ждали.

— Когда ты велел ему прийти? — спросил Андервуд.

— В девять тридцать, — сказал Мейсон.

— Это не имеет значения.

Они ждали. Еще восемь минут. Оба закурили по новой сигарете. Раздался стук.

— Входи, — сказал Мейсон. Это был Урод Канджаки, бородатый, шесть футов шесть дюймов, триста девяносто два фунта. От Канджаки дурно попахивало. Пошел дождь. Слышно было, как под окном гремит товарняк. Это направлялись на север двадцать четыре вагона, битком набитые коммерцией. От Канджаки все еще попахивало. Он был ведущим игроком «Желтых курток», одним из лучших хоккеистов на обоих берегах Миссисипи, на расстоянии двадцати пяти ярдов от каждого берега.

— Садись, — сказал Мейсон.

— Стула нет, — сказал Канджаки.

— Сделай ему стул, Клифф.

Вице-президент неторопливо поднялся, всем своим видом показывая, что готов сию же секунду пернуть, но вместо этого подошел к окну и прислонился к дождю, который хлестал в толстое желтое стекло. Канджаки опустил обе ягодицы на стул, протянул руку и закурил «Пэлл-Мэлл». Без фильтра. Мейсон облокотился на стол.

— Ты невежественный сукин сын.

— Минутку, старина!

— Хочешь сделаться героем, сынок? Возбуждаешься, когда твое имя выкрикивают маленькие девочки с безволосыми мохнатками? Любишь цвета родного флага? Любишь ванильное мороженое? Все еще дрочишь свою крошечную пипку, засранец?

— Послушайте, Мейсон...

— Молчать! Три сотни в неделю! Я плачу тебе три сотни в неделю! Когда я нашел тебя в том баре, у тебя на очередной стакан не хватало... ты страдал белой горячкой и питался какой-то благотворительной капустной бурдой! Ты даже коньки надевать не умел! Ты был полным ничтожеством, а я сделал из тебя человека, но могу опять сделать тебя полным ничтожеством! Для тебя я — Бог. К тому же Бог, который не прощает тебе ни грехов, ни провалов!

Мейсон закрыл глаза и откинулся на спинку вращающегося стула. Он затянулся сигаретой. На нижнюю губу ему упала искорка горящего пепла, но он был слишком взбешен, чтобы обращать внимание на подобные пустяки. Он попросту позволил пеплу обжечь губу. Когда пепел догорел, он, не открывая глаз, вслушался в шум дождя. Обычно он любил слушать дождь. Особенно когда сидел в помещении, и за аренду было уплачено, и никакая женщина не сводила его с ума. Но сегодня дождь не помогал. Мейсон не только чуял запах Канджаки, он ощущал его присутствие

нутром. Канджаки был хуже поноса. Канджаки был хуже мандавошек. Мейсон открыл глаза, выпрямился и посмотрел на него. Господи, чего только не приходится терпеть, чтобы оставаться в живых.

— Малыш, — негромко сказал он, — вчера вечером ты сломал Сонни Велборну два ребра. Ты меня слышишь?

— Послушайте... — начал Канджаки.

— Не одно ребро. Нет, одного тебе мало. Два. Два ребра. Слышишь меня?

— Но...

— Слушай, засранец! Два ребра! Слышишь меня? Ты меня слышишь?

— Я вас слышу.

Мейсон положил сигарету, встал с вращающегося стула и, обойдя стол, подошел к стулу Канджаки. Внешность Канджаки, можно сказать, имел привлекательную. Канджаки, можно сказать, был красавчик. Чего никак нельзя было сказать о Мейсоне. Мейсон был стар. Сорок девять. Почти лыс. Сутул. Разведен. Четверо мальчиков. Двое из них в тюрьме. Дождь не кончался. Он мог лить еще два дня и три ночи. Река Лос-Анджелес могла прийти в возбуждение и притвориться рекой.

— Встать! — сказал Мейсон.

Канджаки встал. И тут Мейсон погрузил ему в живот левый кулак, а когда голова Канджаки поникла, он водрузил ее на место ребром правой ладони. Тогда он почувствовал себя немного лучше. Это помогло, как чашечка шоколадно-молочного «Овалтина» морозящим задницу январским утром. Он обошел стол и снова сел. Сигарету он на сей раз курить не стал. Он закурил свою пятнадцатицентовую сигару. Свою послеобеденную сигару он закурил до обеда. Вот насколько лучше он себя чувствовал. Давление. Нельзя давать этому дерьму повышаться. Его бывший шурин помер от желудочного кровотечения, потому что не знал, как отвести душу.

Канджаки снова сел. Мейсон посмотрел на него.

— Это, малыш, не спорт, а *работа*. Мы не верим в целесообразность нанесения людям *повреждений*, понятно я выражаюсь?

Канджаки сидел и вслушивался в шум дождя. Он думал о том, заведется ли его машина. В дождь он всегда заводил машину с трудом. В остальном машина была неплохая.

— Я тебя спрашиваю, малыш, понятно я выражаюсь?

— Ах, да-да...

— Два сломанных ребра. У Сонни Велборна сломано два ребра. Он наш лучший игрок.

— Постойте! Он же играет за «Ястребов». Велборн играет за «Ястребов». Как он может быть вашим лучшим игроком?

— Засранец! «Ястребы» — наша команда!

— «Ястребы» — ваша команда?

— Да, засранец. И «Ангелы», и «Койоты», и «Каннибалы», и все прочие треклятые команды в лиге — все они наша собственность, все ребята...

— Господи Иисусе...

— Какой Иисусе? Иисус тут как раз совсем ни при чем! Хотя постой, ты мне подал идею, засранец.

Мейсон повернулся на стуле к Андервуду, который все еще стоял, прислонившись к дождю.

— Это надо обмозговать, — сказал он.

— Угу, — сказал Андервуд.

— Отвлекись от своей писписьки, Клифф. Подумай об этом.

— О чем?

— Христос на роликах. Неограниченные возможности.

— Ага. Ага. Можно добавить и дьявола.

— Неплохо. Да, дьявола.

— Можно даже и крест сюда приплести.

— Крест? Нет, это слишком банально.

Мейсон вновь повернулся к Канджаки. Канджаки все еще сидел на месте. Мейсон не удивился. Окажись там хоть обезьяна, его бы и это не удивило. Слишком давно Мейсон здесь работал. Но это была не обезьяна, это был Канджаки. С Канджаки он вынужден был говорить. Обязанности, обязанности... и все за аренду, нерегулярный кусочек жопы да похороны за городом. У собак блохи, у людей неприятности.

— Канджаки, — сказал он, — с твоего позволения, я тебе кое-что растолкую. Ты слушаешь? Ты вообще-то слушать способен?

— Слушаю.

— У нас коммерческое предприятие. Мы работаем пять вечеров в неделю. Нас показывают по телевизору. Мы содержим семьи. Платим налоги. Нас, как и всех прочих, штрафуют е... копы. Мы страдаем зубной болью, бессонницей, венерическими болезнями. Нам, как и всем, надо как-то пережить рождественские и новогодние праздники, понимаешь?

— Да.

— Кое-кто из нас иногда даже впадает в уныние. Мы тоже люди. Даже я впадаю в уныние. Иногда по ночам мне хочется плакать. Мне чертовски хотелось заплакать вчера ночью, когда ты сломал Велборну два ребра...

— Он набросился на меня, мистер Мейсон.

— Канджаки, Велборн даже из левой подмышки твоей бабули волоска бы не выдернул. Он читает Сократа, Роберта Данкана и У. Х. Одена. Он в лиге уже пять лет, и физических повреждений, которые он за это время нанес, не хватит и на синяк под глазом у церковной моли...

— Он на меня напал, он размахивал клюшкой, орал...

— О Боже, — вполголоса произнес Мейсон. Он положил сигару в пепельницу. — Сынок, я же тебе говорил. Мы все — семья, большая семья. Мы не причиняем друг другу вреда. Мы заполучили самых лучших слабоумных болельщиков среди всех видов спорта. Мы собираем на свои матчи толпу величайших из ныне живущих кретинов, и они покорно кладут денежки нам в карман, уловил? Кретины высшей пробы переметнулись к нам, позабыв о профессиональной борьбе, «Я люблю Люси» и Джордже Патнеме. Мы популярны и не верим ни в злобу, ни в физическое насилие. Верно, Клифф?

— Верно, — сказал Андервуд.

— Давай покажем ему, как это делается, — сказал Мейсон.

— Давай, — сказал Андервуд.

Мейсон поднялся из-за стола и направился к Андервуду.

— Сукин сын, — сказал он, — я убью тебя. Твоя мамаша глотает собственный пердеж и болеет сифилисом мочевых путей.

— А *твоя* жрет маринованное кошачье дерьмо, — сказал Андервуд.

Он отошел от окна и двинулся к Мейсону. Мейсон замахнулся раньше. Андервуд развернулся и оперся о стол.

Мейсон обхватил левой рукой его шею, а кулаком и предплечьем правой нанес удар поверх Андервудовой головы.

— У твое сестрицы сиськи висят на жопе и болтаются в воде, когда она срет, — сказал Андервуду Мейсон. Андервуд вытянул руку назад и легонько ударил Мейсона по голове. Мейсон упал, с грохотом шмякнувшись о стену. Потом он поднялся, подошел к своему столу, сел на вращающийся стул, взял свою сигару и затянулся. Дождь продолжал лить. Андервуд вернулся на свое место и прислонился к окну.

— Когда человек работает пять вечеров в неделю, травмы он себе позволить не может, понятно, Канджаки?

— Да, сэр.

— Так вот, малыш, у нас здесь бытует одно общее правило, которое гласит... Ты слушаешь?

— Да.

— ...которое гласит: когда кто-нибудь в лиге наносит травму другому игроку, он лишается работы, он исключается из лиги, мало того, об этом сообщается всем, и он заносится в черный список всех соревнований по роликовым конькам в Америке. А может, заодно и в России, Китае и Польше. Вбил себе это в башку?

— Да.

— На первый раз мы тебя прощаем, потому что ухлопали уйму денег и времени на твою рекламу. Ты Марк Спиц нашей лиги, но если не будешь в точности выполнять наши указания, мы можем разделаться с тобой точно так же, как они могут разделаться с ним.

— Да, сэр.

— Но это не значит, что можно бездельничать. Ты должен изображать насилие, не прибегая к насилию, уловил? Фокус с зеркалами, кролик из шляпы, лапша на уши. Они любят, когда их дурачат. Они не знают правды, да и ни черта не желают знать, правда делает их несчастными. А мы делаем их счастливыми. Мы ездим на новых машинах и отправляем своих детишек в колледж, верно?

— Верно.

— Ладно, пошел ко всем чертям!

Канджаки поднялся и направился к выходу.

— И еще, малыш...

— Да?

— Принимай хотя бы изредка ванну.

— Что?

— Ну, может, дело и не в этом. Ты пользуешься достаточным количеством туалетной бумаги, когда подтираешь жопу?

— Не знаю. А какое количество достаточное?

— Тебе что, мама не говорила?

— О чем?

— Надо подтирать, пока на бумаге ничего не будет видно.

Канджаки молча стоял и смотрел на него.

— Ладно, можешь идти. И прошу тебя, запомни все, что я тебе говорил.

Канджаки ушел. Андервуд подошел к освободившемуся стулу и сел. Он достал свою послеобеденную пятнадцатицентовую сигару и закурил. Двое мужчин минут пять сидели молча. Потом зазвонил телефон. Мейсон взял трубку. Он послушал, потом сказал:

— А, группа бойскаутов номер семьсот шестьдесят три? Сколько? Конечно, конечно, мы пропустим их за полцены. В воскресенье вечером. Отгородим канатом целую секцию. Конечно, конечно. Что вы, не стоит...

Он повесил трубку.

— Засранцы, — сказал он.

Андервуд не ответил. Они сидели, слушая дождь. Дым их сигар выписывал в воздухе интересные узоры. Они сидели, курили, слушали дождь и любовались узорами в воздухе. Вновь зазвонил телефон, и Мейсон скорчил гримасу. Андервуд встал со стула, подошел к телефону и снял трубку. Была его очередь.

Перевод ВИКТОРА КОГАНА

■

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

АВСТРИЙСКИЙ СИНДРОМ

Этот «Литературный гид» представляет собой вторую часть своеобразного диптиха, начатого нашим «ирландским» номером (1995, № 2). Дело даже не в том, что обе подборки посвящены маленьким странам, породившим большую литературу, — в этом случае цикл получился бы куда более длинным. Ирландию и Австрию вполне можно назвать двумя *малыми родинами* современной литературы. Подводя итоги завершающегося века, мы хотели бы особо выделить два *творческих гена,* ирландский и австрийский, ибо именно они во многом определили ментальность и эстетику столетия, в которое нам выпало жить.

Современная литература несет на себе неистребимый отпечаток «австрийского синдрома», сложного и многосимптомного недуга, черты которого сформированы наследием Кафки, Фрейда, Витгенштейна, Рильке, Рота, Целана, всей фантастически разнообразной плеяды литераторов и мыслителей, ярчайшим сполохом озарившей закат Габсбургской империи. Всякий образованный человек конца XX века (и уж во всяком случае читатель «ИЛ»), сам о том не подозревая, — немножко австриец, и наш «Гид», ретроспективно представляющий одну из самых заслуженных литератур современности, — еще одно напоминание об этом бесспорном обстоятельстве.

Д. ЗАТОНСКИЙ

«Эта гротескная Австрия...»

Немцы не любят разговоров об австрийской литературе. Иной лишь раздраженно пожмет плечами, а иной и буркнет: какая, дескать, литература, если нет у нее ни своего языка, ни от прочих решительно отличающейся традиции? Оно вроде бы и верно: бранденбургский крестьянин вряд ли скорее договорится со шварцвальдским земляком, чем с иностранцем из Нижней Австрии; а что до традиции, то не случайно же в самом центре Вены друг в друга глядятся бронзовые Гёте и Шиллер?

Вообще, если брать за основу то, что ныне именуют «ментальностью», граница между *немецким и австрийским* с государственной не совпадет. Мой добрый знакомый, профессор из Южной Германии, рассказывал, что учился не в Гёттингене или Гамбурге, а в Вене, ибо терпеть не может «всех этих скучных северян».

А все-таки никому и в голову не придет отрицать существование литературы, например, американской, хотя и язык у нее с английской почти общий, и корневая система культурной самобытности весьма неглубока. Во всяком случае, по масштабам европейским.

Правда, все же отыскались немцы, охотно признававшие австрийскую художественную самобытность. То были гэдээровские филологи. Но их готовность «поступиться принципами» способна скорее насторожить, нежели убедить: слишком уж явственно проглядывал здесь расчет что ни на есть прагматический. Коль скоро мыслимо отделить от общегерманского русла австрийскую словесность, то что мешает поступить аналогичным образом и со словесностью ГДР?

За сорок с лишним лет обособленного существования последняя и правда стала иной, но не столько, однако, *как литература*, сколько как служанка политики и идеологии. Слов нет, это повлияло на нее и как на литературу, а все же совсем подругому, чем существование внутри Габсбургской монархии, а затем и среди ее обломков повлияло на литературу австрийскую.

И вот что еще примечательно: хотя именно в XIX веке Германия и Австрия превратились в две *отдельные* державы (в 1866 г. они даже вели между собою войну), на протяжении всего этого столетия никто и не заикнулся об австрийской литературной особости. Уже в начале XX века Стефан Цвейг писал: «Многие из нас (а о себе самом могу сказать это с полной определенностью) никогда не понимали, что это значит, когда нас именуют «австрийскими писателями»[1].

Но думается, если бы тогда (а не в годы второй мировой войны, на страницах мемуарной книги «Вчераший мир») Цвейг сказал нечто противоположное, то есть объявил себя писателем *австрийским*, это никого особенно не покоробило бы. Дело в том, что немецкую литературу XIX века не могло бы пошатнуть австрийское «отступничество». Разумеется, «потеря» Грильпарцера или Штифтера показалась бы досадной, однако она легко перекрывалась величием Гёте, славою иенских и хайдельбергских романтиков, весомостью прозы Теодора Фонтане. К тому же в первом десятилетии нашего столетия Берлин начинал было соперничать с Парижем в качестве мировой столицы изящных искусств, да и Мюнхен принимался дышать Парижу в затылок. Роль Вены или Праги выглядела на этом фоне достаточно бледной; по крайней мере, в силу ряда специфически австрийских причин (может быть, важнейшую из них Ханс Вайгель определил как «бегство от величия»[2]) малоприметной. А то, что отплясывало там на поверхности, не без основания воспринималось как «веселый Апокалипсис»[3], более того, как некая пена. Словом, роль центральноевропейских столиц не была своевременно замечена и оценена. Следовательно, и конкуренции с их стороны нечего было опасаться.

Франца Кафку, Роберта Музиля, Германа Броха, даже Йозефа Рота по-настоящему открыли лишь после второй мировой войны. Хотя Рот широко издавался и в межвоенное двадцатилетие, в нем видели тогда лишь искусного беллетриста. А Музиля, Кафку, Броха вообще не знал никто, кроме узкого круга ценителей. Даже в 50-е годы. «Литературное приложение к «Таймс» назвало Музиля «наименее известным из великих писателей нашего века».

---

[1] *S.Zweig.* Vom «österreichischen» Dichter — «Literarische Echo», № 17 (1914 — 1915), Hf. 5, S.263.

[2] *См.книгу: H.Weigel.* Flücht von der Größe. Gratz-Wien-Köln, 1978.

[3] Определение, принадлежащее Г. Броху.

Нынче все изменилось. Нет, не в том смысле, будто великими австрийцами повсеместно зачитываются, будто стали они этакими «властителями дум». Каждый из них (особенно Кафка в 50-е годы) удостоился своего посмертного «звездного часа». Но затем не удалился, как водится, в некую почетную полутень, а остался на литературном олимпе, осиянный таинственным в некотором роде светом удивленного внимания и безоговорочного признания.

Литературная мода, как и вообще всякая мода, капризна, изменчива. Чем были Лион Фейхтвангер, Генрих Манн, Бернгард Келлерман некогда и чем являются ныне? Или Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Грэм Грин? Трое последних — в 50 — 70-е годы чуть ли не самые популярные в мире авторы, конкурировавшие с профессиональными мастерами бестселлера вроде Стаута или Чейза. А сегодня? «Общество, которое он знал, начало распадаться, — писал Флобер о Бальзаке. — Теперь нужны другие песни»[1]. Это же можно сказать сегодня о Хемингуэе и Фейхтвангере.

Что же до австрийцев — упомянутых и неупомянутых, таких, как Рильке, Гофмансталь, Хорват, Гютерсло, Додерер, Канетти, Зайко, наконец Бернхард, то их время вроде бы не уходило. Можно, правда, указать и на одно знаменательное исключение — Стефана Цвейга, некогда прославленного, сегодня полузабытого. Но оно — как и всякое исключение — лишь подтверждает правило.

Так что признать сегодня, что австрийская литература существует, значило бы непростительно обеднить литературу немецкую. Конечно, последнюю даже в 50 — 70-е годы украшали достойнейшие имена: Герман Казак, Ханс-Хенни Янн, Эрнст Юнгер, Генрих Бёлль, Ханс Эрих Носсак, Зигфрид Ленц, Криста Вольф, Хайнер Мюллер и т.д. и т.п. Но не постигла ли уже большинство из них участь Хемингуэя? Пожалуй, лишь два принадлежащих XX веку немецких имени остаются, я бы сказал, нетленными — Герман Гессе и Томас Манн. Так что «жертвовать» Кафкой, Музилем, Брохом, Ротом страсть как не хочется. И это даже можно понять...

***

Но отчего же не стареют по преимуществу австрийцы? Роберт Музиль как-то писал: «Эта гротескная Австрия... — не что иное, как наиболее явственный пример новейшего мира»[2]. Суждение, казалось бы, странное, неожиданное: ведь писатель имел в виду Австро-венгерскую монархию — одну из двух последних «средневековых» империй Европы, музейный тысячелетний реликт. Еще в начале прошлого века хранитель реликта император Франц так наставлял своего сына-эпилептика: «Ничего не смещай в основах государственного здания»[3]. Какой же это «явственный пример новейшего мира»?

В романе Музиля «Человек без свойств» один из героев, простоватый генерал Штумм, с удивлением обнаружил, «что идеи непрестанно перебегают туда и обратно»[4], хотя в нормальных условиях делать им это никак не положено. Но ведь условия-то ненормальны! В Австрии последних лет правления Франца Иосифа, неудержимо скатывавшейся к мировой войне, полным ходом идет процесс *испарения идеологий.* Убеждения и верования превращались не более чем в *форму* выражения прагматических интересов. В этом смысле большинство персонажей романа — чистые «профессионалы», как бы действующие и мыслящие себе вопреки: один — литератор среди коммерсантов и коммерсант среди литераторов, другой — либерал среди аристократов и аристократ среди либералов, третий — штатский среди военных и военный среди штатских. Они воистину странные личности, сидящие между стульев, обладающие множеством разноречивых «характеров», сочетающие несочетаемое. А главный герой Ульрих — и вовсе «человек без свойств», иными словами — без идеологии. Так что finita la ideologia — в сущности, центральная тема книги.

Музиль, боюсь, с такой интерпретацией не согласился бы, но лишь потому, что стоял у истоков процесса, который из более или менее периферийного (Габсбургская монархия, Российская империя) ко второй половине нашего столетия перерос в магистральный. К тому же тотальной утрате идеологий предшествовал еще и невиданный их всплеск: между 20-ми и 70-ми годами все многообразие социальных противоречий постепенно стянулось лишь к двум магнитным полюсам.

[1] *Гюстав Флобер.* О литературе, искусстве, писательском труде. Письма, статьи. В 2-х тт., М., 1984, т.1, с.138.

[2] *R.Musil.* Tagebücher, Aphorismen, Reden. Hamburg, 1955, S.226.

[3] Цит.по: H.L. Mikoletzky, Österreich. Das entscheidende 19. Jahrhundert, Wien, 1972, S.281.

[4] *Р.Музиль.* Человек без свойств. М., 1984, т.1, с.425.

Возникло «Великое противостояние» непримиримо враждебных политических систем, и эти «черные дыры» проглатывали все мировоззренческие оттенки. Все было нацелено на *тотальную* войну.

Но она не состоялась. И по причине беспредметного зависания в социальном вакууме полюса враждебных идеологий постепенно сблизились. Капиталистический Запад и социалистический Восток также мыслимо представить себе в виде двух динозавров, схватившихся друг с другом и застывших в непомерном статическом напряжении. Затянувшееся объятие неизбежно начало утрачивать первоначальную агрессивность, обернулось даже некоей «стабильностью», которой вожделели в конечном счете обе перепуганные системы. Так возникла *Суперсистема*, хоть и замкнутая на антагонизмах, но принявшаяся тем не менее сама с собою коллаборировать: США уже не могли обойтись без СССР, а СССР — без США, даже ФРГ — без ГДР, а ГДР — без ФРГ...

Еще в 1923 г. русский философ Николай Бердяев утверждал, что началась эпоха «нового Средневековья». При этом он толковал Средневековье, не как отсталость, патриархальность, а как межвременье, последовавшее за вселенским Апокалипсисом. «Мы живем, — полагал Бердяев, — во времена, аналогичные распаду античного мира»[1]. Его прогноз как будто не оправдался, ибо мир (о чем уже шла речь) вскоре и вовсе раскололся на два враждующих лагеря.

Однако незадолго до конфуза с «Великим противостоянием» итальянский семиотик Умберто Эко (он же автор бестселлера «Имя розы») вновь заговорил о Средневековье. «Средние века уже начались» — так именуется его опубликованное в 1973 г. эссе. Не важно, подхватил ли он через полстолетия бердяевскую эстафету или до всего додумался сам, важно, что опирается он на те же непременные предпосылки. «Что же нам нужно, чтобы создать хорошие Средние века, — вопрошает Эко и тут же отвечает: — Прежде всего огромная мировая империя, которая разваливается...»[2] Не обнаружив, однако, ничего подходящего, он ангажировал на эту роль США: «Что сегодня мы живем в эпоху кризиса Великой Американской империи, стало уже общим местом в историографии нашего времени»[3].

Эко ошибся, но лишь в деталях — не в принципе. Потому что империя, которой надлежало рухнуть, все-таки обнаружилась. Я имею в виду Суперсистему.

Австрийская литература вся, целиком замешана на «развале империи». Она и возникла-то как нечто специфическое лишь в начале XIX в., то есть в некотором роде явилась реакцией на наполеоновскую «отмену» Священной Римской империи германской нации, наскоро (и с ощутимыми потерями) перелицованной в империю Австрийскую. И тот самый император, что наставлял сына-эпилептика ничего не менять, из Франца II перевоплотился во Франца I.

Глухой гул пустот под державными твердями явственно прослушивается не только в трагедиях Франца Грильпарцера (недаром Александра Блока в преддверии русских революций влекла к себе его «Праматерь»), но даже в идиллиях Адальберта Штифтера, проповедника «мягкого закона». Однако некую в этом смысле *завершенность* австрийская словесность обрела лишь после 1918 г. Империя окончательно рассыпалась; ныне, по словам французского премьера Клемансо, «Австрия — это то, что осталось»[4], и ее земному существованию мог быть подведен нелицеприятный итог. Но вылился он не в анафему и не в апологию, а в попытку понять смысл тысячелетнего коловращения судеб — частных и общих, мифических и исторических.

Кафка, к примеру, отталкиваясь от интимно-личного ви́дения непосредственного своего окружения, поднимался к тем высям головокружительного виде́ния, которое охватывает все бытие целиком. «Моисей, — записал он в дневник, — не дошел до Ханаана не потому, что его жизнь была слишком короткой, а потому, что такова человеческая жизнь. Конец Моисеева Пятикнижия сходен с заключительной сценой «Воспитания чувств»[5]. Уравняв несопоставимые судьбы избранника Иеговы и жалких флоберовских персонажей, Кафка замкнул бытие на неизбежности трагикомического фарса. «Нас ожидает, — так суммировал его взгляд на перспективы человеческого сообщества немецкий философ Вальтер Беньямин, — не ад, *а лишь эта вот жизнь*»[6].

---

[1] *Nicolai Berdiajew.* Das neue Mittelalter. Betrachtungen über Schicksal Rußlands und Europas, Tübingen, 1950, S.21.

[2] *Умберто Эко.* Средние века уже начались. «ИЛ», 1994, № 4, с.260.

[3] *Умберто Эко.* Средние века уже начались. «ИЛ», 1994, № 4, с.261.

[4] Цит. по: *H.Andrics.* 50 Jahre unseres Lebens. Wien-München-Zürich, 1968, S.12.

[5] *Franz Kafka.* Tagebücher 1902—1924. Frankfurt a.M., 1976, S.340.

[6] *Walter Benjamin.* Gesammelte Schriften. Frankfurt a.M., Bd.1, S. 683.

Что же до Германа Броха, то все его завершенные художественные произведения написаны, в сущности, на одну тему, вся его эссеистика, вся публицистика посвящены ей же — *теме смены эпох.* В трилогию «Лунатики» он встроил своеобразную «космогонию» человеческих ценностей. Отправной точкой ему послужил опыт первой мировой войны и австрийской катастрофы. Но Брох пошел куда дальше — вперед и назад, — распространив свою «космогонию» на всю историю человечества. Он поделил последнюю на двухтысячелетние эпохи постепенного подъема и постепенного упадка, между которыми лежат периоды удручающего безвременья.

В самом деле, если набросать схему этой истории, то разве не явит она собою череду фанатичных поисков земного рая и кратких промежутков отрезвляющего разочарования? Что предпочтительней? Коль скоро «золотой век» — лишь прекрасная, но одновременно и опасная сказка, однозначного ответа, полагаю, не существует. Вероятно, *оба* состояния (второе из них ныне все чаще нарекают «постмодерным», а первое — «модерным») по-своему, увы, неизбежны. Ослаблять удары девятых валов судьбы способно лишь осознание неизбежности «дуализма».

Австрийским писателям оно присуще органически — по крайней мере, органичнее, чем прочим европейским. Взять хотя бы того же Броха. В романе «Смерть Вергилия» он обратился к диалектике взаимоотношений между духом и властью. На пороге могилы поэт решает сжечь свою «Энеиду», ибо там он «прославлял, а не изображал, — вот в чем состояла ошибка...»[1]. Но император Октавиан Август нуждается в Вергилиевом творении: оно призвано помочь ему в строительстве империи. Вергилий уже знает, что это занятие пустое, ибо Рим не вечен. Однако он остается римлянином, к тому же Октавиан обвиняет его в ненависти и зависти к себе, к своей державной миссии... И растерянный, обескураженный, перепуганный Вергилий — новый, приобщающийся к простой человечности человек — отдает «Энеиду» своему другу Октавиану. Она не будет сожжена...

Когда он был прав? Когда желал предать поэму огню или когда даровал ей бессмертие? И существует ли она вообще — единственная на все случаи жизни правда? Как бы насмехаясь над сомнениями поэта и в то же время их освящая, в ушах Вергилия звучит смех, звучит почти непрерывно, даже во время беседы с императором: «Где-то что-то смеялось, беззвучно и пренебрежительно. Был ли это раб? Или демоны возвещали смехом о своем возвращении?»[2]

***

Нам упорно внушали, что высокие художественные ценности — всегда результат общественного подъема, а социальный упадок ничего не в силах породить, кроме болезни духа. Советское литературоведение на этом только и стояло. Но и западное порой бывало не прочь напрямую связывать литературные революции с экономическими и политическими.

Общеизвестно, что Ренессанс — эпоха титанов, сотрясавших землю и небо, эпоха, чуть ли не уравнявшая человека с Богом. Но не странно ли, что всех чуть ли не самых прославленных ныне художников того времени вряд ли можно рассматривать как типичных выразителей ренессансных традиций? И прежде всего я имею в виду Рабле, Сервантеса и Шекспира. Скорее уж они пре- и постренессансны. «Дон Кихот» — это прежде всего осознание краха гуманистических иллюзий. Как, впрочем, и «Гамлет» или «Буря». Так что если Шекспир выглядит менее ироничным и менее разочарованным, то лишь потому, что его родина именно тогда стала владычицей морей, а родина Сервантеса ею быть перестала. Оба в равной мере уже не верят в земной рай, но Шекспир еще надеется на Англию, а Сервантес на Испанию уже не надеется.

И Рабле не надеялся на свою Францию. Правда, не потому, что разуверился в возрожденческих идеалах. Родившись на полстолетия ранее Сервантеса и на семь десятилетий ранее Шекспира, он в некотором роде еще поверял идеалы эти представлениями Средневековья (которое, кстати, не было столь ужасным, каким его у нас привычно изображали). И Рабле по-своему осмеял Ренессанс, так сказать, *наперед* — то есть как очередное заблуждение деятельных фанатиков. Словом, не как рай и не как ад, а как «эту вот жизнь».

Непосредственность связи между политическим и духовным прогрессом подтверждает как будто и эпоха Великой французской революции. Разве штурмовавшие Бастилию санкюлоты не способствовали возникновению грандиозного роман-

---

[1] *Hermann Broch.* Der Tod des Vergil. München, 1968, S.20.
[2] Ibidem, S.318.

тического движения, под знаком которого Европа развивалась чуть ли не полстолетия? Но даже советские ортодоксы были вынуждены в конце концов признать существование *двух* романтизмов. Милый их сердцу они нарекли «революционным» и зачислили по его ведомству Байрона, Шелли, Гейне, Лермонтова и многих других. А тот, что в предначертанные схемы не укладывался, заклеймили как «реакционный»: были это оба Шлегеля, Новалис, Тик, Гёльдерлин, Э.Т.А.Гофман, Вордсворт, Колридж, Э. По и т.д. и т.п.

Разумеется, между романтическими «лагерями» не было того антагонизма, какой им приписывался, — в конечном счете они составляли *одно* художественное направление, вызванное, кстати, к жизни не столько надеждой, сколько *чувством утраты*, что подтверждают и переходы из «лагеря» в «лагерь» (как правило, из «революционного» в «реакционный»), и капризная неоднозначность позиции внутри того или иного лагеря.

Впрочем, одна любопытная закономерность все же проглядывает: те романтики, которые с самого начала не были очарованы Французской революцией или в ней довольно скоро разочаровались, из перспективы лет все больше начинают выглядеть фигурами если не более крупными, то, по крайней мере, более созвучными нашему времени. Иначе говоря, живой литературный процесс в меньшей мере отторг По, нежели Шелли, Гёльдерлина, нежели Байрона, хотя все они в равной мере канонизированы. Не тем ли нам ближе Гёльдерлин или По, что им присущ тот «дуализм», о котором уже шла речь в связи с австрийцами?

Итак, революционные преобразования, смены эпох оказывают воздействие на искусство. Но нет здесь не только однозначности, но и сколько-нибудь прямой пропорциональности. «...Катаклизмы всегда давали плодотворную почву для литературы, — пишут российские историки М.Геллер и А.Некрич. — Было бы трудно вообразить себе больший катаклизм, чем войны и революции 1917 — 1922 годов»[1]. Итак, они видят в Октябрьской революции прежде всего *катаклизм*, а не процесс *созидательный*. Советская же апологетика была зациклена на «созидательности» и оттого только ею и объясняла бесспорный художественный подъем, который после революции начался. А вот Андрея Белого подъем этот несколько даже удивил: «...В самые тяжкие дни России она стала похожа на соловьиный сад, — поэтов народилось как никогда раньше: жить сил не хватает, а все запели»[2].

Разумеется, «соловьиный сад» поэтов обусловлен чувством раскрепощенности, которое породил развал империи, ярко запылавшими надеждами на построение земного рая. Но не только: вне зависимости от позитивного или негативного отношения к начавшейся смене эпох открылась возможность заглянуть, так сказать, в «машинерию» вершащегося, обозреть коловращение судеб, прикоснуться к его законам и беззакониям. Ведь когда рушится горный склон, обнажаются все породы...

Однако переворот, столь многообещающе в России зачинавшийся (сходно с австрийским, но и во всеоружии нашего своеобразия), был болезненно оборван. Виной тому и беспримерный политический произвол, и идеологическое давление новой власти, и ее цензурные запреты. Но не менее, пожалуй, существенно и то, что исчез, испарился чуть ли не основной предмет художественного исследования, а именно *имперский развал*. Ведь, в отличие от Австро-венгерской монархии, Российская империя не рассыпалась, даже не перелицевалась, а лишь обновилась, обретя молодых, беззастенчиво активных строителей.

Кажется, первым из эмигрантов, это приметивших, был публицист Николай Устрялов, издавший в 1920 г. в Харбине сборник под названием «В борьбе за Россию». Главная мысль Устрялова сводилась к тому, что русская революция оказалась национальной и корнями уходит в славянофильство, а большевики — не анархисты, напротив, они — государственники. Устрялову вторил сборник «Смена вех», появившийся год спустя в Праге; сходные идеи вдохновляли и «евразийцев». Писатель А.Н.Толстой сделал следующий шаг: воротился в Россию и, сочиняя «Петра Первого», дописывая «Хождение по мукам», активно включился в сталинское строительство империи.

Что империя у нас не сгинула, а, напротив, укрепилась, во многом обусловило характер нашего искусства 20-х годов. Были, правда, поначалу попытки подвести итог падения династии и ее государства: первая книга «Хождения по мукам», «Города и годы» К.Федина, ну и, разумеется, «Белая гвардия» М.Булгакова. Однако недостаточная удаленность от осмысляемых событий приводила к тому, что либо

---

[1] *М.Геллер, А.Некрич.* Утопия у власти. Лондон, 1989, с.209.
[2] Цит. по: *М.Шагинян.* Литературный дневник. М.-П., с.168.

само действо революции начинало застить горизонт, либо брала верх ностальгия по безвозвратно ушедшему. Что же до коловращения судеб, то литература наша сумела обратиться к нему лишь много позже, когда для тех, кто видел, огненные «мене, текел, фарес» уже проступили на стенах империи сталинской. Тогда-то и были написаны «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Котлован» и «Чевенгур» А.Платонова...

Итак, еще раз: мощи художественного творчества споспешествует не столько *созидательность* исторического процесса (не говоря уж о том, что она вообще весьма относительна!), сколько *общественный катаклизм* как таковой. Австрийской литературе в этом смысле как бы повезло: она с самого начала имела дело с судьбоносным общественным катаклизмом, к тому же еще и оказавшимся неким прообразом всеобщей судьбы. Оттого-то Музиль и сказал, что «эта гротескная Австрия... — особенно явственный пример новейшего мира», сказал, наверное, еще не догадываясь, сколь точна его мысль.

За все нужно платить, в том числе и за такую австрийскую «образцовость». В период между двумя мировыми войнами писатели только что рухнувшей монархии, казалось, не чем иным не занимались, как подведением итогов крушения. Да и во второй половине века самые среди них примерные — Додерер и Бахман, Бернхард и Хандке, Фрич и Фришмут, Леберт и Йонке — как бы не в силах отрешиться от имперской темы. Более того: преобразовавшись из «темы» в «атмосферу», она дотягивается и до Рансмайра, представителя чуть ли не младшего поколения. Впрочем, одержимость крушением империи, может быть, и не столь повсеместна в Австрии, как кажется. Просто «одержимы» ею как раз самые талантливые и самые типичные художники...

***

Но к какому же выводу приходят наши австрийцы, подводя черту под земным бытием тысячелетней империи? Выносится ли ей обвинительный или оправдательный приговор? Я уже говорил, что на этот вопрос не так-то просто ответить. Но не столько из-за разнобоя выводов, сколько по причине внутренней неоднозначности каждого из них.

В повести Томаса Бернхарда «Хождение» (1971) некий Элер рассказывает о самоубийстве гениального химика Холленштайнера: тот повесился, когда правительство отказало его институту в субсидиях. По Элеру, это история типично австрийская: «Если имеешь дело с выдающейся австрийской головой, не нужно гадать, убьет ли она себя, это только вопрос времени...» Холленштайнеровская ситуация — как бы заколдованный круг: его ведь зовут работать в разные университеты мира. Но если в Австрии ему не дают заниматься наукой, то жить он не может нигде, кроме Австрии. И неутолимая любовь-ненависть убивает его...

У Бернхарда все до предела заострено, а вот у Хаймито фон Додерера, напротив, вроде бы спущено на тормозах. «Погибшую монархию и ее многонациональное бытие, — писал он в 1946 г., — мы, по-видимому, интегрировали и лишь теперь вполне вступили во владение ее наследием. В концентрированной форме, так сказать, в скрытом виде; при этом мы избавлены от всех болезней старой великой державы»[1]. В глазах Бернхарда Австрия навсегда отравлена продуктами имперского распада, и он, логике вопреки, любит в ней свою единственную родину. Додерер же оценивает ее чуть ли не «прагматически». Многие его современники оплакивали гибель империи, тосковали по ее величию. Он — нет. Ему хватало австрийского духовного наследия, «во всей своей целостности содержащегося в Вене»[2], а от наследия имперского он решительно отрекался.

Примерно так же ощущала свое австрийство и Ингеборг Бахман, уже современница Бернхарда. В повести «Три дороги к озеру» (1969) ее героиня Элизабет так размышляет о почившей в бозе монархии: «Даже тогдашние бунтари переполошились, когда гигантская, ненавистная и в то же время обожаемая империя рухнула, исчезла как дым. Болезнью ложного патриотизма... она не заболеет; невозможно отрицать лишь одно — лично ее мораль, да, ее мораль осталась здешней...»[3] И Элизабет грезит о старой-новой Австрии, сказочной стране без войн, царстве уравновешенности и справедливости, у горных вершин которого затухает самоубийственный ритм сегодняшней нью-йоркской или парижской неприкаянности...

[1] *H.S. Doderer.* Tangenten. Tagebuch eines Schriftstellers 1940 — 1950. München, 1964, S.416.
[2] *Ibidem*, S. 364.
[3] *И. Бахман.* Три дороги к озеру. М., 1976, с. 264-265.

Итак, никакой апологии отошедшего в небытие мира, но и ни малейшей к нему фанатической ненависти. Превалирует мудрая ирония, а у Бахман — еще помноженная на щемящую элегическую грусть. Это, разумеется, относится к ней и Додереру. Но как же быть с Бернхардом? Ведь у него, как уже говорилось, все до предела заострено? Разумеется, чуть усталая снисходительность — черта специфически австрийская. Но и в бернхардовских пароксизмах упрятано немало австрийского. Более того, если подумать, то Бернхарда отличает от прочих лишь упомянутая предельная заостренность. И Австрию он видит, в сущности, такой же: если не *одновременно* живой и мертвой, то *одновременно* достойной как слепой ненависти, так и инфернальной любви.

Может быть, самый показательный в смысле австрийской неоднозначности пример — это роман Йозефа Рота «Марш Радецкого» (1932). Перед нами произведение как бы эпическое; но его автор не столько рапсод, сколько оплакивающий былое свидетель; оттого сочиненное им смахивает на реквием и одновременно — как ни странно! — на сатиру.

Там нередко присутствует высокое небо, чаще ночное, усеянное крупными, яркими, мерцающими звездами. Но присутствует оно вовсе не всегда ради оправдания жизни, неистребимой ее целесообразности. Бывает, что человек выглядит под небесами маленьким и бессильным. Тем более странно, если он — император, сухонький старичок, стоящий в ночной рубашке у открытого окна и радующийся, что вырвал у своих слуг этот миг свободы. У Рота этот тысячи раз тиражированный Франц Иосиф обескураживающе многолик: он хитер и наивен, умудрен опытом и трогательно беззащитен, особенно когда у него под носом дрожит прозрачная капля...

Монархия представлена как грандиозный, помпезный спектакль. Император — его протагонист. Как и приличествует лицедею, он, не любя войн, испытывает слабость к красочным униформам, опереточным парадам. Более всего он похож на глуповатых сказочных королей. И тем самым олицетворяет миф об «идеальном монархе». Но это и не просто миф: ведь ничто, кроме фигуры сюзерена, не объединяло случайный конгломерат габсбургских наследственных владений. И в качестве идеи, в качестве связки глуповатый сказочный король просто необходим. Он — нечто вроде символа...

Как, впрочем, и штраусовский «Марш Радецкого». Кто помнит его мелодию — молодцеватую, бравурную, — тот мгновенно уловит провоцирующее несоответствие между названием и содержанием романа. Марш — эта, по словам Рота, «Марсельеза» консерватизма» — активно включается в игру противоположностей. Когда военный оркестр исполнял его под окнами отчего дома, юному кадету Карлу Иосифу фон Тротта казалось, что на площади присутствует сама великая Австрия. Однако марш звучит и в борделе (с появлением господ офицеров его начинает наяривать пьяненький тапер), и в глазах того же Карла Иосифа это уже надругательство над Австрией...

Его дед, «герой Сольферино», много лет тому назад спас жизнь молодому императору; по-своему императора «спасает» и Карл Иосиф. Он совершает это дважды: когда выносит из борделя императорский портрет и когда командует расстреливающими толпу солдатами.

Так, балансируя между трагедией и фарсом, «Марш Радецкого» неожиданно соприкасается с гашековскими «Похождениями бравого солдата Швейка»: и там в трактире висел засиженный мухами портрет Франца Иосифа, и там, напившись до чертиков, забавлялись с девочками господа офицеры. Правда, у Рота действительность все-таки чаще берется в ином ключе: если и гротескно, то с изломом, скорее не комическим, а «демоническим». Как в том эпизоде, где венгерские офицеры, узнав об убийстве престолонаследника в Сараеве, пускаются в пляс под звуки траурного марша.

Это — уже вконец больной, бесспорно обреченный мир, но, в отличие от грохочущего раблезианским смехом Гашека, Рот о нем сожалеет, даже по нему тоскует. И сравнение с «Бравым солдатом Швейком» мне, собственно, не для того понадобилось, чтобы выпятить сходство. Просто с его помощью надежнее утверждается поразительная широта ротовской палитры: коль скоро в таком элегическом эпосе, как «Марш Радецкого», нашлось место и для карнавального смеха, тут мыслимо, тут уместно все!

Впрочем, дело не только в стиле, а может быть, даже и не столько в нем: ведь стиль в конечном счете всегда нечто производное. Дело в *типично австрийском* мировидении. Коловращение судеб, заглянуть в которое дозволяет имперский распад, по природе своей не поддается измерению с помощью взаимоисключающих

лотов. И начинает вырабатываться взгляд, исполненный своеобразной «терпимости»[1] не только по отношению к тем или иным противоречиям, к той или иной непоследовательности сущего, но и к непостоянству, несовершенству, многозначности и многоликости как всеобщему закону человеческого существования, которое ведь не рай и не ад, а лишь «эта вот жизнь».

Подобная «терпимость» (еще Штифтер именовал ее «мягким законом») особенно созвучна нашей «постиндустриальной», «постмодерной», «постисторической» эпохе — иными словами, времени, когда сложилась и рухнула Суперсистема. Вообще, старая Австрия оказалась чем-то вроде «форпоста»: что нынче стряслось со всей Европой, да и Америкой, много лет назад приключилось с ней. Потому-то Габсбургская монархия так легко накладывается на образ новейшего мира. Или образ новейшего мира накладывается на нее? Во всяком случае, и там и здесь имеет место некое состояние, наступившее *после* Апокалипсиса (имперского распада, страхов несостоявшейся термоядерной войны), состояние, характеризующееся утратой витальности, целеустремленности, веры в прогресс и непримиримости к любому инакомыслию. В определенном (но отнюдь не начисто отрицательном) смысле его можно обозначить как состояние *дезориентированности*, обусловленное гибелью всех богов.

***

Правда, между осмысляющей свой Апокалипсис австрийской словесностью и постмодернизмом есть по меньшей мере одно существенное различие: австрийская словесность какие-то (пусть и несколько иллюзорные) ориентиры все же сохранила. Лучше всего это, пожалуй, просматривается через того же Йозефа Рота. Он, как мы помним, цепляется за канувшую в небытие империю — и чем дальше, тем судорожнее: например, поддерживает притязания Габсбургов на утраченный трон. На то имелось множество причин, в том числе и чисто биографических. «Самым сильным моим переживанием была война и гибель моей родины, единственной, которая у меня когда-либо имелась: Австро-венгерской монархии»[2] — так писал Рот к своему коллеге, Отто Форсту де Баттаглиа.

Родом он был из Западной Украины, из городка Броды, что до 1918 г. входил в состав коронной земли Галиция и Лодомерия. И хотя большую часть не очень-то долгой своей жизни кочевал по европейским столицам, родными краями считал лишь эти. Но родину не только из-за того утратил, что Броды отошли по Сен-Жерменскому мирному договору к Польше. Додедеру ведь хватало и Вены, чтобы и дальше чувствовать себя австрийцем. А Рот в романе «Склеп капуцинов» (1938) твердил устами графа Хойницкого: «Душа Австрии — не центр, а периферия. Австрийская субстанция питается и непрерывно пополняется за счет коронных земель»[3]. Следовательно, если их не стало, то нет больше и Австрии.

Такой взгляд на вещи не в последнюю очередь тем объясняется, что Рот был евреем. Правда, неортодоксальным: сам называл себя «католиком с еврейскими мозгами»[4]. Евреи играли в австрийской культуре трудно переоценимую роль. Причем именно неортодоксальные, эмансипированные, цивилизованные, происходившие из состоятельных семей, порой даже обзаводившиеся дворянскими титулами. Артур Шницлер, Гуго фон Гофмансталь, Зигмунд Фрейд, Стефан Цвейг, Отто Вайнингер, Герман Брох, Якоб Вассерман, Рихард Бер-Гофман — вот лишь некоторые из наиболее известных имен. Стоит упомянуть еще и Теодора Герцля, отца сионизма.

Что же до Рота, то по цивилизованности, эмансипированности он был, естественно, вполне европейцем, но в душе оставался галицийским евреем, то есть тесно связанным со специфической *культурой местечка*. Ее очаг — пограничье двух последних средневековых империй, тот галицийско-волынский «Дикий Запад», который великолепно воссоздан в «Иове» (1930), «Марше Радецкого» (1932), «Фальшивом весе» (1937), «Левиафане» (1940).

Восточноевропейское местечко представлялось Роту единственно возможной отчизной для народа вечных париев, особенно в австрийских пределах: дряхлая

---

[1] Возможно, что слово «терпимость» не слишком годится, когда речь идет о позиции Бернхарда. Но лишь слово — не понятие, которое я в него вкладываю: ибо разве нетерпим тот, кто в равной мере ненавидит и любит? Это — трагедия, но она лишена фанатизма.

[2] Цит. по *Ott: Forst de Battaglia.* Joseph Roth. Wanderer zwischen drei Welten — «Frankfurter Hefte», 1952, Hf.6, S.443.

[3] *J. Roth.* Werke in 6 Bd. Bd.6, Köln, 1991, S.235.

[4] *J. Roth an B. Reifenberg.* Briefe 1911 — 1939. Köln-Brl.,1970, S.235.

монархия была достаточно интернациональной и достаточно снисходительной, чтобы терпеть иноверцев, к тому же как раз настолько консервативной, чтобы сохранить быт еврейских гетто. Последнее казалось Роту особенно важным, ибо был он противником как ассимиляции, так и сионизма. Войны и революции, стерев Габсбургскую монархию с лица земли, отняли у евреев и эту последнюю надежду на обретение хоть какой-то родины. Как то нередко бывает, в сознании многих из них она превратилась в миф о благословенном царстве справедливости. Рот и не верил, и верил в него, потому что чистым мифом преимущества австрийской национальной политики все-таки не были. Например, некогда один германский князь, Вильгельм II, заступился перед другим немецким князем, Францем Иосифом, за немцев, которым рескриптом последнего запрещалось служить чиновниками в Праге, если они не владели чешским языком. Видит Бог, проблемы своих народов дряхлая империя Габсбургов порой решала куда справедливее, нежели ее близкие и дальние соседи. Если даже причиной тому была старческая немочь, народам-то от этого хуже не было... Им важен был результат.

Неоспоримым он, разумеется, не был: ведь между мифом и действительностью сумели поместиться «Похождения бравого солдата Швейка» — дерзновеннейшее развенчание австрийской межнациональной идиллии. Но ведь и Гашек не без греха: порой он попредвзятее Рота, ибо уверен, что существует лишь одна правда. А ротовские ностальгические сказки и к идиллиям-то не причислишь, так они многомерны, так снисходительно-ироничны.

Одна из них зовется «Иов». Там, по словам Клаудио Магриса, одного из лучших знатоков австрийской литературы, «еврейство превращено в шифр мифической свободы...»[1]. Это история некоего Менделя Зингера, эмигрировавшего с семьей в Америку. Лишь маленького Менухима — кретина с водяночной головой — пришлось оставить. Мендель не в силах к Америке приспособиться, и жена ему выговаривает, что он стал здесь жалким и суетливым, «как русский еврей». «А я и есть русский еврей», — отвечает Мендель. А потом на него, будто на ветхозаветного Иова, обрушиваются несчастья. И когда он уже согнут в бараний рог, свершается чудо: Менухим жив, выздоровел, стал знаменитым музыкантом и разыскал отца...

Но какое отношение все это имеет к Австрии, если Мендель родом с Волыни и сам именует себя «русским евреем»? Во-первых, для Рота Галиция и Волынь — одна и та же земля, где живут те же евреи и те же украинские крестьяне. А во-вторых — и это, пожалуй, самое здесь любопытное, — Рот, и сам себе в том отчета не отдавая, как бы вышел за пределы им же очерченного круга.

Я уже говорил: его книгам чуждо не только отчаяние, но и ухмыляющееся «постмодернистское» безразличие, ибо за спиной у него стоял миф о старой Австрии, дававший силы жить и еще во что-то верить. То был, если угодно, *принцип* скорее уже эстетический, нежели идеологический. Но такой принцип — коль скоро он возник, коль скоро уже существует — мыслимо представить себе и без конкретных одежд, в данном случае австрийских. Так что вознагражденного за страдания Иова можно вообразить себе и «русским евреем».

А все же помянутый принцип стоит и впредь именовать «австрийским». Только в кавычках, указывающих, однако, не на сомнительность принадлежности, но лишь на переносность, метафоричность значения. Потому что исповедовали его, конечно, не одни лишь австрийские писатели. Но австрийские силою обстоятельств прочнее и определеннее в нем утвердились, да в XX веке чаще испытывались судьбою на прочность.

Ни для Кафки, ни для Музиля, ни для Броха австрийский миф, казалось бы, не был главной духовной опорой: первого поддерживал несгибаемый внутренний стоицизм, второго — высочайшая самодисциплина инженера и математика, третьего — врожденный рационализм и презрение ко всякому «кичу». Но опосредованно каждый из них зависел от своего видения старой Австрии (пусть даже зависимость эта зачастую оборачивалась отталкиванием), ибо даже в незадачливом ротовском Франце Иосифе было что-то от этих их черт. А может, наоборот: в Кафке или Брохе было нечто от Франца Иосифа?..

---

[1] *Claudio Magris.* Weit von wo. Verlorene Welt des Ostjudentums. Wien, 1974, S.113.

ЙОЗЕФ РОТ

Иов

РОМАН

Перевод ЮРИЯ АРХИПОВА

Часть первая

I

Много лет тому назад жил в Цухнове человек по имени Мендель Зингер. Был он благочестивым, богобоязненным и вполне обыкновенным евреем. И профессию имел не из ряда вон, а просто учил детишек. В своем доме, который весь состоял из одной просторной кухни, прививал он им знание Библии. Учительствовал с честным рвением и без особых успехов. Сотни тысяч и до него жили и учили, как он.

Незначительным, как он сам, было и бледное лицо его, которое засмолила, как водится, вместе со ртом борода-лопата. Глаза были большие, черные, неподвижные и наполовину прикрытые тяжелыми веками. На голове восседала шапочка из репса, материала, из которого шьют старомодные и дешевые галстуки. Тело торчало в довольно длинном, обыкновенном для тех мест еврейском кафтане, полы его развевались, когда Мендель Зингер семенил по улицам, и как жесткие крылья равномерно хлопали по голенищам высоких сапог.

Зингер походил на человека, у которого было мало времени и много неотложных целей. Не возникало сомнений, что жизнь его всегда была тяжела, а подчас и мучительна. Он должен был одевать и кормить жену и троих детей. (А четвертого она как раз вынашивала.) Бог снабдил его чресла плодородием, сердце равнодушием, а руки бедностью. Им не приходилось взвешивать золото и пересчитывать деньги. Тем не менее жизнь его текла себе и текла, точно маленький скудный ручеек среди неказистых берегов. Всякое утро Мендель благодарил Бога за то, что спал, что пробудился и что начался новый день. На закате солнца он молился опять. А когда всходили первые звезды, молился в третий раз. И перед тем как лечь спать, наскоро шептал молитву усталыми, но старательными губами. Снов он не видел. Совесть его была чиста. Душа невинна. Ему не в чем было раскаиваться, и он ничего не желал чрезмерно. Он любил свою жену, и ее плоть распаляла его. Со здоровым аппетитом он проглатывал свою пищу. Поколачивал за непослушание обоих своих сыновей — Иону и Шемарью. А младшенькую дочку свою Мирьям нередко баловал и ласкал. У нее были его черные волосы и его черные, неподвижные и кроткие глаза. Руки и ноги ее были нежны и тонки, как у юной газели.

Двенадцать мальчиков учил он читать и запоминать Библию. Каждый из этих двенадцати приносил ему каждую пятницу по двадцать копеек. Это и составляло весь доход Менделя Зингера. А было ему всего тридцать лет. Однако он не рассчитывал да и вряд ли мог рассчитывать на бóльшие заработки. Подрастая, ученики его уходили к другим учителям, помудрее. Жизнь год от года дорожала. А урожаи становились все меньше, морковь не родилась, яйца мельчали, картошка мерзла, суп становился все более жидким, карпы сужались, а щуки укорачивались, утки

тощали, а гуси твердели, а уж куры и вовсе были не куры, а одно сплошное несчастье.

Так говорила Дебора, жена Менделя Зингера. Была она баба из тех, кого оседлали черти. Косилась на достаток зажиточных соседей и завидовала барышам торгашей. На Менделя Зингера смотрела как на ничтожество. Она поносила его и за то, что у них много детей, и за то, что она снова беременна, и за то, что цены растут, — нередко и за плохую погоду. По пятницам она драила пол до желтизны шафранной. Ее широкие плечи вздымались и опускались в мерном ритме, ее сильные руки скребли вдоль и поперек каждую половицу, ногти вонзались в щели и выемки пола и выгребали грязь, которую она потом смывала широкой струей из ведра. Как живая ходячая гора передвигалась она по голой комнате, мазанной голубоватой известью. Снаружи за дверью проветривалась мебель — деревянная коричневая кровать, циновки, выдраенный до блеска стол, две длинные и узкие скамьи, горизонтальные доски, прибитые к двум вертикальным брусьям. Едва к окнам прикасались сумерки, Дебора зажигала свечи, вставленные в подсвечники из нейзильбера, воздевала перед лицом своим руки и молилась. Возвращался домой ее муж в черном шелке, пол навстречу ему сиял как желтое солнце, лицо его было бледнее обычного, и чернее, чем в обычные дни, чернела его борода. Он садился за стол, пел молитву, потом родители с детьми хлебали горячий суп, улыбаясь тарелкам и не роняя ни слова. Тепло поднималось по комнате от горшков, мисок и тел. Дешевые свечи в подсвечниках из нейзильбера не выдерживали и начинали клониться. Стеарин стекал на скатерть в синюю и ярко-красную клетку и застывал корочкой. Тогда открывались окна, свечи оживали и мирно догорали до конца. Дети укладывались на циновке у печи, родители сидели вдвоем, озабоченно и торжественно вглядываясь в последние голубые огоньки, вспыхивавшие и опадавшие, как фонтанчики, в углублениях подсвечников. Стеарин догорал, голубые тонкие струйки дыма тянулись из обуглившихся гнезд к потолку. «Ах!» — вздыхала жена. «Не вздыхай!» — указывал ей Мендель Зингер. Они молчали. «Давай спать, Дебора!» — распоряжался он. И они бормотали молитву.

Так наступала в конце каждой недели еврейская суббота при свечах, в молчании, в пении. Через двадцать четыре часа она растворялась в ночи, предшествовавшей веренице сереньких будней, этому надсадному хороводу. Как-то в разгар жаркого лета в четвертом часу пополудни Дебора слегла. Ее первые крики вплелись в нестройный хор двенадцати учеников. Их тут же отправили домой. Начались семидневные каникулы. У Менделя появился еще один, четвертый ребенок, мальчик. На восьмой день он был обрезан и наречен Менухимом.

У Менухима не было колыбели. Он висел в люльке из ивовых прутьев, подвешенной на четырех веревках к потолку, вроде лампады. Время от времени Мендель Зингер легко и не без ласки касался рукой люльки, и та сразу же начинала качаться. Иной раз этого было достаточно, чтобы успокоить ребенка. Но бывало и так, что ничем нельзя было унять его ор и плач. Его крик парил над голосами учащихся — первозданные ужасные звуки над святыми стихами Библии. Дебора вставала на табуретку и вынимала ребенка из люльки. Из рубашки ее выпрастывалась колоссальная белая грудь, неотвратимо приковывая к себе все внимание учеников. Казалось, Дебора кормит грудью их всех. Трое ее старших детей обступали ее и глядели с завистливым вожделением. Наступала тишина, только сладострастно чавкал младенец.

Дни вытягивались в недели, недели вырастали в месяцы, из двенадцати месяцев складывался год. Менухим все еще пил молоко своей матери, жидкое, белесое молоко. Ей не удавалось отучить его от груди. На тринадцатом месяце своей жизни он начал корчить гримасы и скулить, как звереныш, задыхаться, как от погони, и как-то по-особому пыхтеть. Его большая голова тыквой висела на тонкой шее. Его широкий лоб, будто мятый пергамент, был весь в морщинах и складках. Его ноги были кривы и безжизненны, словно две деревяшки. Его сухие ручки дергались и дрожали. Изо рта доносились странные звуки. Иногда у него случались припадки, и он почти задыхался от натуги; его вынимали тогда из люльки и трясли чуть ли не до посинения, пока он не приходил в себя. На его тощую грудку клали (в многочисленных мешочках) заваренный чай, а тонкую шею обворачивали мать-и-мачехой. «Ничего, — говорил его отец, — это все оттого, что он растет!» «Сыновья всегда в братьев матери. У моего брата такое продолжалось пять лет!» — говорила мать. «С возрастом это проходит!» — говорили другие. Так шло, пока в городе не разразилась оспа, власти предписали прививки, и врачи устремились в дома евреев. Многие прятались от них. Но Мендель Зингер, честный еврей, никогда не бегал от наказания Господня. Спокойно отнесся он и к прививке.

И однажды солнечным теплым утром комиссия двинулась по переулку Менделя Зингера. Его дом был последним в ряду еврейских домов. К нему все ближе и ближе подходили пристав с книгой учета под мышкой и доктор Шолтысик с развевающейся русой бородой на загорелом лице и пенсне в золотой оправе на багровосизом носу; широкий взмах ног в ярко-желтых кожаных гамашах, китель, небрежно накинутый по жаре на голубую рубашку, так что рукава болтались, будто еще две руки, которым тоже неймется сделать укол, — так шагал доктор Шолтысик по еврейским кварталам. Навстречу ему неслись причитания женщин и плач детей, которым не удавалось спрятаться. Ибо пристав вытаскивал женщин и детей из глубоких подвалов и с высоких чердаков, из маленьких каморок и больших корзин. Солнце палило, доктор потел. Он должен был сделать прививку ста семидесяти шести евреям, не меньше. В душе он благодарил Бога за каждого ускользнувшего или не оказавшегося на месте. Уже у четвертого из голубеньких низеньких домиков он сделал знак приставу, чтобы тот не слишком усердствовал. Чем дальше продвигался доктор, тем сильнее становились вопли. Они нарастали с каждым шагом. Вой тех, кто боялся прививки, мешался с проклятьями тех, кому ее уже сделали. Усталый, с отрешенным лицом, тяжко вздыхая, опустился доктор на скамью в доме Менделя Зингера и потребовал стакан воды. Его взгляд упал на Менухима, он поднял его жалкое тельце и сказал: «Будет эпилептиком». Страх защемил сердце отца. «У всех детей бывают судороги», — возразила мать. «Тут дело не в этом, — определил доктор. — Но, может быть, я его вылечу. В его глазах есть жизнь».

Он хотел сразу же забрать ребенка в больницу. Дебора почти согласилась. «Его вылечат даром», — сказала она. Однако Мендель был против. «Помолчи, Дебора! Никакой доктор не вылечит его, если Бог того не захочет. Что ж, ему расти среди русских детей? Не слыша слова святого? Есть молоко и мясо, да кур, жаренных на масле, все, чем кормят в больнице? Мы бедны, но душу Менухима за бесплатное лечение я не продам. В чужой больнице не вылечишься». Как герой, протянул Мендель свою тощую белую руку для укола. Но Менухима не отдал. Он положил поститься дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, чтобы склонить Бога помочь его младшему сыну. Дебора же решила отправиться на кладбище, воззвать к останкам предков, просить и их о заступничестве перед всевышним. Чтобы Менухим стал здоров и не сделался эпилептиком.

И все же с того часа прививки страх, будто чудовище, поселился в жилище Менделя Зингера, и печаль продувала сердца вечно обжигающим и жалящим ветром. Дебора могла вздыхать теперь сколько угодно, и Мендель не останавливал ее. Дольше прежнего прятала она, молясь, лицо свое в воздетых руках, будто творила собственную ночь, чтобы укрыть в ней страх, собственную тьму, чтобы отыскать в ней милость. Ибо она верила, как и сказано в Писании, что свет Господа пронизывает и потемки и доброта его освещает и черную пропасть. Однако припадки у Менухима не прекращались. Старшие дети росли себе и росли, и их здоровье рядом с несчастьем Менухима было что бельмо в глазу у Деборы. Вроде как здоровые дети вытягивают соки из хиляка. И Дебора начинала ненавидеть их громкий крик, их красные щеки, их стройность. Она ходила на кладбище и в дождь, и в зной. Билась там головой об обомшелые песчаные холмики, выросшие на останках ее праотцев. Она взывала к мертвым и, чудилось, слышала в ответ их глухие утешения. Возвращаясь домой, она вся вздрагивала от нетерпеливой надежды увидеть сына здоровым. Она совсем запустила свою службу у печи, суп ее убегал, глиняные горшки бились, кастрюли ржавели, отливающие зеленью стаканы громко лопались, керосиновая лампа покрывалась черной копотью, фитиль истаивал как сосулька, грязь многих подошв и многих недель скапливалась на досках пола, сало в горшке не возобновлялось, пуговицы с детских рубашек осыпались, как отсохшие листья в предзимье.

Как-то раз, за неделю до великих праздников (лето растворилось в дожде, а дождь уже хотел обернуться снегом), Дебора сняла с потолка люльку с сыном, закутала его в шерстяные одеяла, погрузила на дрожки кучера Самешкина и отправилась в Клущик, где жил рабби. Сиденье было положено прямо на солому и съезжало в сторону при всяком повороте коляски. Только тяжестью своего тела Деборе удавалось удерживать его на месте, а оно все норовило выскользнуть из-под нее — как живое. Узкая и петлистая дорога была в каше из красноватого ила, в котором застревали ноги пеших и колеса колясок. Дождь занавешивал поля, тушил дым над одинокими хижинами, с бесконечной и нежной настойчивостью приглаживал все, что ему ни попадалось, — и известняк, и там и тут торчавший белыми зубьями из черной земли, и распиленные бревна, валявшиеся по краям дороги, и штабеля досок, сложенных у входа на мельницу, а заодно и платок Деборы, и шерстяные

одеяла, под которыми был погребен Менухим. На него не должно было попасть ни капли. Дебора прикинула, что ехать ей еще часа четыре; и если дождь не перестанет, ей придется остановиться у какого-нибудь трактира и высушить одеяла да выпить чаю с захваченными из дома и тоже уже размягченными коржиками с маком. Господь это понял, и дождь унялся. Над проносящимися клочьями облаков показалось смутное солнце, ненадолго, на час всего, а там все снова заволокло еще глуше и беспросветнее прежнего.

Была темная ночь, когда Дебора добралась до Клущика. У дома раввина толпилось множество растерянных людей, которым требовалось его повидать. Клущик состоял из нескольких тысяч низеньких, крытых соломой и дранкой домов да чуть не с километр длиной рыночной площади, похожей на высохшее озеро, которое обступили постройки. Телеги, на нем стоявшие, напоминали останки кораблей, бессмысленно и жалко затерянных среди бескрайних пространств. Выпряженные лошади у повозок ржали, устало шлепая копытами по липкой грязи. По кругу ночной площади сновали мужчины с желтыми фонарями — кто взять с телеги забытое одеяло, кто принести позвякивающую посуду. Разместились они по окружности в тысяче маленьких домишек. Спали на топчанах рядом с кроватями хозяев — все эти слабогрудые, кривые, парализованные, сумасшедшие, идиоты, страдающие сердцем или сахарной болезнью, несущие в теле своем рак или на глазах катаракту, женщины с неплодным лоном, матери с уродцами детьми, мужчины, которым угрожала тюрьма или армия, бегуны-дезертиры, молившиеся об удаче, покинутые врачами, отвергнутые человечеством, жертвы земной справедливости, горемыки, тоскливцы, голодающие и сытые, обманщики и обманутые, все, все, все...

Дебора остановилась у клущицких родственников своего мужа. Она не спала. Всю ночь просидела у люльки Менухима в углу, рядом с печью; мрак был в комнате, мрак был в ее сердце. Она больше не осмеливалась взывать к Богу: он казался ей слишком высоким, слишком великим, слишком далеким, бесконечным за бесконечными небесами — лестница из миллионов молитв понадобилась бы ей, чтобы добраться до его подошв. Она обращалась за покровительством к умершим, к родителям, к деду Менухима, по которому он был назван, затем к праотцам евреев — к Аврааму, Исааку и Иакову, к мощам Моисея и, наконец, к праматерям. Где только возникала надежда на заступничество, туда и торопила она свои вздохи. Она стучалась в сотни могил, в сотни врат рая. Страшась не узреть завтра рабби, ибо слишком много было просящих, она молилась прежде всего о счастье оказаться среди первых, точно само выздоровление ее сына было бы в таком случае делом нетрудным. Наконец сквозь щели темных ставен она завидела первые блеклые просветы. Она тут же встала. Разожгла сухие щепки, валявшиеся у печки, поискала и нашла горшок, взяла со стола самовар, бросила в него горящие щепки, подсыпала потом угля, схватившись за обе ручки, нагнулась над самоварным чревом и стала дуть в него, так что в лицо ей с треском посыпались искры. Все это она проделала словно какой-то таинственный обряд. Скоро забулькала вода, скоро вскипел чай, семья встала и уселась пить чай из коричневых глиняных кружек. Потом Дебора вынула сына из люльки. Он завизжал. Она быстро и много раз поцеловала его, с поспешной лаской шлепая мокрыми губами по серенькому личику, сухим ручонкам, кривым ножкам, вздутому животику малыша; казалось, она колотит ребенка своим любящим материнским ртом. После этого она завернула его, завязала бантик на одеяльце и повесила куль с сыном себе на шею, чтобы руки оставались свободными. Они были нужны ей, чтобы добраться сквозь толпу до двери раввина.

С диким воем вгрызлась она в толпу ожидающих, разметав неумолимыми кулаками тех, кто послабее. Никто не мог ее удержать. Те, на кого сыпались удары и толчки ее рук, пытались было, обернувшись, ответить тем же, но застывали на месте, увидев ее лицо, опаленное болью, красную рану ее рта в клубах пара, ее крупные слезы, алмазами стекавшие по горячим щекам, ее толстые голубые вены, вздувшиеся на горле, в котором копились крики, прежде чем вырваться наружу. Дебора была как факел. С одним-единственным пронзительным криком, за которым встала жуткая тишина царства мертвых, она всем телом упала на дверь, наконец-то к ней пробившись. Правой рукой она схватилась за ручку двери, а левой забарабанила по коричневому дереву. Менухим волочился перед ней по земле.

Кто-то открыл дверь. Рабби стоял у окна, спиной к нему — черной и узкой, как полоска. Вдруг он повернулся. Дебора застыла на пороге, обеими руками протягивая сына, точно принося жертву. Она впивалась глазами в бледное пятно, которым было лицо мужчины вместе с его белой бородой. Она жаждала увидеть глаза святого, чтобы убедиться, что в них и взаправду живет могучая доброта. Но здесь, у его дома, глаза ее застилали сплошные слезы, так что мужчину перед ней

она видела словно за пеленой из влаги и соли. Он поднял руку, она вроде бы различила два сухих пальца, орудия благословения. Но совершенно внятно услышала она голос рабби, хотя то был только шепот:

— Менухим, сын Менделя, будет здоров. Таких, как он, немного будет среди сынов Израиля. Боль сделают его мудрым, уродство — добрым, горечь — милостивым, а болезнь — сильным. Глаза его узрят даль и глубь, а ушам станет внятно тонкое эхо. Уста его будут молчать, но отверзнутся для возвещения добра. Ничего не бойся и ступай домой!

— Когда же, когда он будет здоров? — прошептала Дебора.

— Много лет пройдет, — сказал рабби, — но не спрашивай меня ни о чем больше, у меня нет времени, и я ничего больше не знаю. Не оставляй сына своего, даже если он тебе в тягость. Не отпускай его от себя, он плоть твоя, как и здоровые дети. А теперь ступай!

Перед ней расступились. Щеки ее были бледны, глаза сухи, приоткрытые уста вдыхали надежду. Умиротворенная, она вернулась домой.

II

Вернувшись домой, Дебора застала мужа у печки. Без всякой радости ведал он огнем, горшком, деревянными ложками. Его прямой ум был направлен на простые, земные вещи и не выносил чуда, гнездящегося в глазах. Он лишь улыбнулся тому, как жена его поверила в рабби. Его простая душа не нуждалась в посреднике между Богом и людьми.

— Менухим будет здоров, но это будет не скоро! — С этими словами вошла в дом Дебора.

— Это будет не скоро! — недобрым эхом откликнулся Мендель.

Дебора, вздохнув, снова подвесила люльку к потолку. Наигравшись, со двора пришли трое старших детей. Они бросились к люльке, от которой за несколько дней уже отвыкли, и стали яростно раскачивать ее. Мендель Зингер обеими руками схватил за шиворот своих сыновей, Иону и Шемарью. А девочка, Мирьям, успела ускользнуть к матери. Мендель отодрал сыновей за уши. Они заревели. Он снял еще ремень со штанов и потряс им в воздухе. Кожаный ремень со свистом опустился на спины мальчиков — Мендель Зингер управлял им как частью тела, продолжением руки. Словно смерч какой-нибудь вдруг поднялся в его голове. Крики всполошившейся жены смешивались с тем шумом, что он производил, но и растворялись в нем. Стакан воды, вылитый в море.

Он уже не помнил себя. Хлестал и хлестал свищущим, крутящимся ремнем — по стенам, скамьям, столу, не зная, чему радоваться: что попал или что промахнулся. Тут наконец часы на стене пробили три раза — в это время собирались ученики. С пустым желудком — ибо он ничего не ел, — все еще с удушьем от гнева Мендель слово за словом, фразу за фразой, стал читать Библию. Детский хор светлыми голосами повторял слово за словом, фразу за фразой, впечатление было такое, будто Библию возвещают многие колокольца. Подобно колокольцам, раскачивались и тела учащихся — то вперед, то назад. А в это время над их головами почти в том же ритме раскачивалась люлька Менухима. На сей раз и сыновья Менделя присутствовали на уроке. Гнев отца рассеялся, затих, погас — поскольку они распевали псалом бойчее других. Чтобы испытать их, он вышел из комнаты. Детский хор продолжал звучать, ведомый голосами его сыновей. Он мог на них положиться.

Иона, старший, был силен как медведь, а младший, Шемарья, был хитер как лиса. Иона и двигался-то косолапо, нагнув голову, свесив руки, выпятив щеки, вечно голодный, со взлохмаченной шевелюрой, буйно выбивавшейся из-под шапки. Светлоглазый, поджарый, с остреньким профилем, засунув руки в карманы, за ним следовал вкрадчивым, чуть ли не стелющимся шагом его брат Шемарья. Между ними не возникало споров, слишком далеки они были друг от друга, раздельными были их владения и обладания, так что легко было им заключить союз. Из жестяных банок, спичечных коробков, осколков, рогов, ивовых прутьев Шемарья изготовлял всякие замечательные вещи. Ионе ничего бы не стоило смять или расколотить их своими ручищами. Однако ж он только восхищался хрупким искусством своего брата. Его черные глазки меж щек блистали искрами веселого любопытства.

Через несколько дней после возвращения Дебора решила, что люльку Менухима пора снимать с потолка. С некоей даже торжественностью она препоручила малыша старшим детям.

— Будете теперь с ним гулять! — сказала Дебора. — Устанет — понесете его

на руках. Только, ради Бога, не уроните! Святой человек сказал, что он выздоровеет. Не сделайте ему больно.

И с этого дня начались для детей их муки.

Они таскали Менухима по городу, как торбу с несчастьем, бросали его где-нибудь одного, роняли. Они с трудом выносили насмешки ровесников, бежавших за ними следом, когда они шли погулять с Менухимом. Малыша нужно было поддерживать с обеих сторон. Он не умел переставлять ноги, как это делают люди. Он ковылял на своих ножках, как на спущенных шинах, и спотыкался, падая как подкошенный. В конце концов Иона и Шемарья засунули его однажды в мешок и положили в углу. Он играл там собачьими и лошадиными катяшками и камешками гальки. Тащил все что ни попадя в рот. Обдирал известку со стен и набивал ею рот, потом кашлял до посинения. Так и валялся в своем углу как кусок дерьма. Иной раз и плакал. Тогда мальчики посылали к нему Мирьям, чтобы она его успокаивала. Хрупкая, грациозная, на подпрыгивающих тонких ножках, вся замерев от гадливого отвращения и ненависти, подходила она к своему странному брату. В нежности, с которой она разглаживала складки на его пепельном лице, было что-то убийственное. Осторожненько оглядевшись по сторонам, она ущипнула брата за ляжку. Он громко заревел, из окон повыглядывали соседи. Она скривила свое лицо в плаксивую гримасу. Все сочувствовали ей и принялись ее расспрашивать.

Однажды летом, шел как раз дождь, сорванцы вытащили Менухима из дому и сунули его в бочку, где уже с полгода собиралась дождевая вода, извивались червяки, плавали огрызки разных фруктов и заплесневелые корки хлеба. Держа его за кривые ножки, они раз десять окунули его серую широкую голову в воду. Потом, с бешено бьющимися сердцами и пылающими щеками, они вытащили его из бочки, жестоко предвкушая, что он будет мертвым. Но Менухим был жив. Он хрипел, отплевывал воду, червяков, заплесневелый хлеб, огрызки фруктов и был жив. Ничего с ним не случилось. Тогда дети, перепугавшись, молча понесли его обратно в дом. Обоих мальчиков и девочку охватил гнетущий страх перед кончиком Божьего перста, который только что слегка погрозил им. Они не разговаривали друг с другом целый день. Языки у них словно приклеились к нёбу, губы раскрывались, чтобы произнести слово, но гортань отказывалась произвести хоть какой-нибудь звук. Дождь перестал, появилось солнце, по обочинам улиц, звонко журча, потекли ручейки. Было самое время пускать бумажные кораблики и наблюдать, как они плывут навстречу отводной канаве. Но им было не до корабликов. Словно виноватые собаки, они забились в дом. Все послеобеденное время они ожидали смерти Менухима. А Менухим не умирал.

Менухим не умер, он продолжал жить, живучий калека. С тех пор лоно Деборы иссохло и стало бесплодным. Менухим был последним, неудавшимся плодом ее плоти, казалось, лоно не решалось принести еще большее несчастье. Она обнимала мужа на краткие мгновения. Они были скоротечны, как молнии, как сухие молнии на дальнем летнем горизонте. Долгими, ужасными и бессонными были ночи Деборы. Холодная стеклянная стена отделяла ее от мужа. Груди у нее начали увядать, тело раздаваться, словно в насмешку над ее бесплодием, бедра отяжелели, а ноги стали как свинцовые гири.

Однажды летом она проснулась раньше Менделя. Разбудило ее чириканье воробья на подоконнике. В ушах у нее еще стояло его щебетанье, воспоминание о приснившемся счастливом сне как голосе солнечного луча. Ранние теплые сумерки пронизывали поры и трещины деревянных подоконников, и, хотя края мебели еще расплывались в ночной темноте, глаза Деборы уже видели четко, мысль работала ясно, сердце оставалось холодным. Она бросила взгляд на спящего мужа и обнаружила у него в черной бороде седые волосы. Он покашливал во сне. Храпел. Она быстро подскочила к подслеповатому зеркалу. Кончиками холодных растопыренных пальцев она провела по жидким волосам на затылке, потом прядь за прядью подводила ко лбу и искала в них седые волосы. Ей показалось, что она нашла один-единственный седой волос, крепко, как клещами, ухватила его двумя пальцами и вырвала. Потом расстегнула перед зеркалом сорочку. Она увидела свои плоские груди, приподняла их, отпустила, провела рукой по праздному, но тем не менее округлому животу, посмотрела на сетку синих вен на бедрах и решила снова лечь в постель. Она повернулась, и ее взгляд испуганно натолкнулся на открытый глаз мужа.

— Чего ты смотришь? — вскричала она.

Он не ответил. Казалось, открытый глаз принадлежит не ему, так как сам он еще спал. Глаз открылся помимо его воли. Он сам по себе проявил любопытство. Белок глаза казался белее обычного. Зрачок был крошечный. Глаз напоминал Деборе покрытое льдом озеро с черной точкой посредине. Открыт он был всего ка-

кую-то минуту, но эта минута показалась Деборе целой вечностью. Глаз Менделя снова закрылся. Он продолжал спокойно дышать, он, без сомнения, спал. За окном над домом, под небесами раздалась трель миллионов жаворонков. В еще затененную по-утреннему комнату уже повеяло первым зноем нарождающегося дня. Скоро должно пробить шесть часов — время, когда обычно встает Мендель Зингер. Дебора не пошевельнулась. Она продолжала стоять там, где остановилась, когда повернулась к постели, оставив зеркало за спиной. Никогда она еще не стояла так, прислушиваясь, без всякой цели, нужды, любопытства, без желаний. Она ничего не ждала. Но ей казалось, что она должна ожидать наступления чего-то особенного. Все ее чувства были обострены как никогда прежде, пробудилось в ней и еще несколько неведомых доселе, новых чувств, в поддержку старых. Она видела, слышала, ощущала тысячу разных вещей. И ничегошеньки не происходило. Только вот летнее утро наступало, да жаворонки заливались в недостижимой вышине, да солнечные лучи пробивались теплом сквозь трещины в подоконнике, и широкие тени по краям мебели становились все уже и уже, и часы тикали себе да тикали и подвигались к шести часам, да слышалось дыхание мужа. Беззвучно лежали дети в углу возле плиты, видимые Деборе, но далеко, словно в другой комнате. Ничего не происходило. И все-таки ей казалось, вот-вот произойдет нечто, чему не будет конца. Бой часов прозвучал как избавление. Мендель Зингер проснулся, сел в кровати и с удивлением уставился на жену.

— Ты почему не в постели? — спросил он и принялся протирать глаза. Он откашлялся и сплюнул. Ничто в его словах и поведении не выдавало того, что левый глаз у него был недавно открыт и смотрел сам по себе. Может, он уже ничего не помнил, может, Дебора ошиблась.

С этого дня у Менделя Зингера и Деборы пропало желание. Они ложились спать, спали ночами и пробуждались по утрам как два человека одного и того же пола. Они стыдились друг друга и молчали, как в первые дни своего брака. Стыд предшествовал у них началу желания, он же и завершал их желание.

Потом они преодолели и его. Они снова стали разговаривать друг с другом, их глаза перестали избегать взгляда, в одном и том же ритме начали стареть их лица и тела, словно это были лица и тела близнецов. Лето выдалось вялое, с одышкой, почти без дождей. Дверь и окна не закрывались. Дети редко сидели дома. На улице, согреваемые солнцем, они росли быстрее.

Рос даже Менухим. Ноги у него, правда, как были, так и остались кривые, но, без сомнения, стали длиннее. Вытянулась и верхняя часть тела. Вдруг однажды утром он издал никогда не слыханный до этого резкий крик. Потом замолчал. Немного погодя он ясно и внятно произнес: «Мама».

Дебора бросилась к нему, и из ее глаз, давно уже бывших сухими, потекли слезы, горячие, обильные, крупные, соленые, скорбные и сладкие.

— Скажи «мама».

— Мама, — повторил малютка.

Десятки раз повторил он слово. Сотни раз повторила его за ним Дебора. Ее мольбы оказались не напрасны. Менухим заговорил. И это единственное слово уродца было благородным как откровение, громким как гром, теплым как любовь, милостивым как небеса, неохватным как земля, плодотворным как пашня, сладким как сладкий плод. Оно значило больше, чем здоровье здоровых детей. Оно означало, что Менухим будет сильным и большим, мудрым и добрым, о чем говорили слова благословения.

Правда, из горла Менухима не исходило больше никаких других понятных звуков. Слово это означало долгое время, что он провел в ужасном молчании, еду и питье, сон и любовь, удовольствие и боль, небо и землю. Хотя во всех случаях он говорил одно только это слово, своей матери Деборе он казался красноречивым, как пророк, и изощренным в выражениях, как поэт. Она понимала любое слово, скрывавшееся в этом его единственном.

Она перестала уделять внимание старшим детям. Она отвернулась от них. У нее был теперь один-единственный сын — Менухим.

III

Возможно, для претворения в жизнь благословениям требуется больше времени, чем проклятиям. Прошло уже десять лет после того, как Менухим выговорил свое первое и единственное слово. Произносить какое-нибудь другое слово он еще так и не научился.

Иногда, оставшись в доме одна с больным сыном, Дебора задвигала засов, садилась на пол рядом с Менухимом и пристально смотрела ему в глаза. Ей вспоминался тот ужасный летний день, когда к церкви подъехала графиня. Дебора видит открытый портал храма. Золотое сияние тысячи свечей, красочных, окруженных светом изображений, облачений троих священников, стоящих далеко, в глубине алтаря, чернобородых, с белыми воздетыми вверх руками, пробивается на ярко освещенную солнцем пыльную площадь. Дебора на третьем месяце, Менухим шевелится у нее в утробе, маленькую, хрупкую Мирьям она крепко держит за руку. Вдруг поднимается гвалт. Он перекрывает пение молящихся в церкви. Слышится чмокающий топот лошадей, вздымается облако пыли, перед церковью останавливается синий экипаж графини. Крестьянские дети ликуют. Нищие и нищенки, хромая, устремляются со ступеней навстречу карете, чтобы поцеловать у графини руки. И тут Мирьям вырывается. В мгновение ока ее и след простыл. Дебору охватывает дрожь, пробивает озноб — в жару-то. Где Мирьям? Она спрашивает у ребятишек. Графиня вышла из кареты. Дебора доходит до самой кареты. Возница с серебряными пуговицами на синей ливрее сидит так высоко, что ему сверху все видно.

— Вы не видели, тут не пробегала черненькая девочка? — спрашивает Дебора, подняв голову, ослепленная солнечным светом и сиянием, исходящим от ливреи кучера. Возница указывает левой рукой в белой перчатке на церковь. Мирьям побежала туда.

Дебора мгновение размышляет, потом бросается внутрь церкви, в гущу золотистого сияния, многоголосого пения, в рев органа. Мирьям стоит у самого входа. Дебора хватает девочку за руку, тащит за собой, сбегает по раскаленным ступеням, бежит как от пожара. Ей хочется ударить ребенка, но она боится.

Она бежит, таща за руку ребенка, до узенькой улочки. Тут она успокаивается.

— Ты ничего не скажешь об этом отцу, — говорит она, переводя дух. — Слышишь, Мирьям?

С этого дня Дебора знает, что приближается беда. Несчастье это она носит в своем чреве. Она знает и молчит. Она снова отодвигает засов, стучат в дверь, Мендель пришел.

Рано поседела у него борода. Рано отцвели и лицо, тело и руки у Деборы. Сильным и неуклюжим, как медведь, рос старший сын Иона, хитрым и проворным, как лисица, был младший, Шемарья, кокетливой и рассеянной, как газель, была сестра их Мирьям. Как она прошмыгивала по улочкам, выполняя поручения, гибкая и тоненькая, сверкающая тень, загорелое лицо, большой рот с красными губами, золотисто-желтая шаль, подвязанная под подбородком, с длинными, развевающимися как крыла концами, и пара взрослых глаз на загорелом молодом лице — такой она попадала в поле зрения офицеров гарнизона и застревала в их беззаботных, падких на услады головах. Иной из них иногда преследовал ее. О своих преследователях она узнавала лишь то, что от них могли воспринять внешние врата ее чувств: серебристое позвякивание и побрякивание шпор и оружия, доносимый ветром слабый аромат помады и мыла для бритья, резкое поблескиванье золотых пуговиц, серебряных позументов и кроваво-красных ремней из юфти. Этого было мало, и этого было достаточно. Сразу же за внешними вратами ее чувств притаилось у Мирьям любопытство — сестра молодости, провозвестница желания. В сладком, жарком страхе убегала девочка-подросток от своих преследователей. Только из желания полнее вкусить щемящее, волнующее удовольствие от страха она бежала многими минутами дольше, многими улицами дальше. Она убегала окольными путями. Чтобы появилась новая возможность убегать, Мирьям стала уходить из дома чаще, чем было нужно. На углах улиц она останавливалась и оглядывалась — чем не приманка для охотников. В этом было единственное удовольствие Мирьям. Если б даже нашелся кто-нибудь, кто бы ее понял, она бы все равно держала язык за зубами. Ибо наслаждение сильнее, пока оно остается тайным.

Не ведала еще Мирьям, в какие опасные отношения предстояло ей вступить с чужим и ужасным миром военных и сколь темны были тучи, уже начавшие собираться над головами Менделя Зингера, его жены и его детей. Ибо Иона и Шемарья были уже в том возрасте, когда по закону надлежало идти в солдаты, а по традиции своих отцов — спасаться от службы. Других юношей милостивый и заботливый Господь наделил каким-нибудь физическим недостатком, который не был особой помехой, но защищал от недоброго. Одни были кривые, другие хромали, у этого была паховая грыжа, у того беспричинно подергивались руки и ноги, у некоторых были слабые легкие, у иных слабое сердце, один плохо слышал, другой заикался, а третий был просто-напросто хиловат.

В семье же Менделя Зингера, казалось, один маленький Менухим принял на

себя все великое множество человеческих мук, которые в иной семье милосердная природа, возможно, соблаговолила бы отмерить всем ее членам. Старшие сыновья Менделя были здоровы, на теле у них нельзя было обнаружить никакого дефекта, и им пришлось мучиться, поститься и пить черный кофе да надеяться, по крайней мере, на временную сердечную слабость, хотя война с Японией уже закончилась.

И вот начались их мучения. Они не ели, не спали, головокружение, слабость и дрожь сопровождали их и днем, и ночью. Глаза у них покраснели и припухли, шеи вытянулись, головы отяжелели. Дебора снова полюбила их. Она еще раз совершила паломничество на кладбище, чтобы помолиться за старших сыновей. В этот раз она молила о ниспослании болезни на Иону и Шемарью, как прежде она вымаливала здоровье Менухиму. Военная служба вставала перед ее озабоченными глазами тяжкой горой гладкого железа и лязгающих мук. Ей виделись трупы, сплошь трупы. Высоко, весь в блеске, в вымазанных красной кровью сапогах со шпорами сидел царь и ждал принесения в жертву ее сыновей. Они отправлялись на маневры, уже одно это наполняло ее ужасом, мысль о новой войне у нее даже не возникала. Она была сердита на мужа. Кем он был, Мендель Зингер? Учитель, глупый учитель глупых детей. Она рассчитывала на другое, когда была еще девушкой. Менделю Зингеру меж тем было не легче, чем жене. В свободную субботу, в синагоге, по окончании предписанной законом молитвы за царя Мендель задумывался о ближайшем будущем своих сыновей. Они уже виделись ему в ненавистной камчатной униформе свежеиспеченных рекрутов. Они ели свинину и получали от офицеров удары хлыстом. Они носили винтовки со штыком. Он часто вздыхал без видимой причины, посреди молитвы, посреди урока, посреди молчания. Даже незнакомые люди глядели на него озабоченно. Никто никогда не спрашивал его о больном сыне, но все справлялись у него о здоровых сыновьях.

Наконец 26 марта оба брата поехали в Тарги. Оба тянули жребий. Оба оказались без изъянов, здоровыми. Обоих взяли.

Лето им еще можно было провести дома. Осенью им надлежало идти в армию. Однажды в среду они стали солдатами. В воскресенье они вернулись домой.

В воскресенье они вернулись домой с государственным бесплатным билетом в кармане. Они уже ездили за счет царя. По такому билету ездили многие из подобных им. Поезд был тихоходный. Они сидели на деревянных скамьях рядом с крестьянами. Те были навеселе и пели. Все курили черный табак, дым которого отдавал слабым запахом пота. Все рассказывали друг другу истории. Иона и Шемарья не разлучались ни на минуту. Это была их первая поездка по железной дороге. Они часто менялись местами. Каждому из них хотелось посидеть немного у окна и поглядеть на ландшафт. Мир казался Шемарье чудовищно необозримым. Ионе он казался плоским, он наводил на него скуку. Поезд ровно скользил по плоской земле, как сани по снегу. Мимо окна проплывали поля. Им махали крестьянки в пестрой одежде. Когда появлялись целые группы крестьянок, из вагона им отвечал гремящий рев крестьян. Чернявые, смущенные, озабоченные, сидели с ними рядом два еврея, оттиснутые в угол озорством пьяных.

— Мне хочется быть крестьянином, — сказал вдруг Иона.

— А мне нет, — ответил Шемарья.

— Мне хочется быть крестьянином, — повторил Иона, — быть пьяным и спать там с девочками.

— Мне хочется быть тем, кто я есть, — сказал Шемарья, — евреем, как мой отец Мендель Зингер, не солдатом, и быть трезвым.

— Я немного даже рад, что буду солдатом, — сказал Иона.

— Будут тебе и радости, и удовольствия! Я бы предпочел быть богатым и увидеть жизнь.

— Что такое жизнь?

— Жизнь, — пояснил Шемарья, — можно увидеть только в больших городах. По середине улицы ездят трамваи, все лавки огромные, как наша жандармская казарма, а витрины еще больше. Я видел на открытках. Чтобы зайти в магазин, не надо и двери, окна доходят до самых подметок.

— Эй, чего это вы такие хмурые сидите? — спросил вдруг крестьянин из угла напротив.

Иона с Шемарьей сделали вид, будто не слышали или словно вопрос относился не к ним. Притворяться глухим, когда с тобой заговаривает крестьянин, — это у них было в крови. Уже тысячу лет не выходило ничего путного, когда крестьянин спрашивал, а еврей отвечал.

— Эй, — повторил крестьянин и встал.

Иона с Шемарьей тоже встали.

— Да, вам, евреям, я говорю, — сказал крестьянин. — Вы еще ничего не пили?

— Уже пили, — проговорил Шемарья.

— Я нет, — сказал Иона.

Из внутреннего кармана тужурки крестьянин достал бутылку. Она была теплая и скользкая и больше пахла крестьянином, чем содержимым. Иона поднес ее ко рту, раскрыл свои пунцово-красные, полные губы. По обе стороны коричневой бутылки забелели его белые, сильные зубы. Иона пил не отрываясь. Он не чувствовал легкой руки брата, которая предостерегающе коснулась его рукава. Он держал бутылку обеими руками, подобно огромному младенцу. На протертых локтях сквозь тонкую ткань у него проглядывала белая рубашка. Методично, как поршень машины, поднималось и опускалось под кожей на шее адамово яблоко. Из глотки у него доносилось тихое, приглушенное клокотание. Все смотрели, как еврей пьет.

Иона был готов. Пустая бутылка вывалилась у него из рук и упала на колени брата Шемарьи. Вслед за бутылкой опустился и он, словно ему надлежало проделать тот же путь, что и ей. Крестьянин протянул руку, молча потребовав у Шемарьи возвратить ему бутылку. Потом он ласково притронулся сапогом к плечу спящего Ионы.

Они доехали до Подворека, тут им надо было выходить. До Юрков было семь верст, их предстояло братьям пройти пешком, кто знает, подвезет ли их кто-нибудь по дороге. Все ехавшие с ними в вагоне помогали поставить на ноги отяжелевшего Иону. Когда они оказались на воздухе, он сразу протрезвел.

Они отправились в путь. Стояла ночь. За молочными облаками угадывалась луна. На заснеженных полях тут и там, словно воронки кратеров, темнели пятна голой земли с неровными краями. Казалось, весна шла из леса. Иона и Шемарья быстро шагали по узкой дороге. Они слышали легкое похрустывание тонкой, хрупкой корочки льда под сапогами. Свои белые округлые узлы они несли на плече на палке. Несколько раз Шемарья пытался завязать разговор с Ионой. Иона не отвечал. Ему было стыдно, что он пил и свалился как крестьянин. В местах, где тропа сужалась настолько, что братья не могли идти рядом, Иона пропускал младшего вперед. И было бы лучше, если б Шемарья вообще шел впереди него. Где дорога снова расширялась, он замедлял шаг, надеясь, что Шемарья будет идти дальше, не дожидаясь брата. Но младший брат, казалось, боялся потерять старшего. Увидев, что Иона способен напиться допьяна, он перестал ему доверять, засомневался в рассудке старшего брата, почувствовал себя ответственным за него. Иона догадался об этом. В нем закипела глупая страшная злость. Шемарья смешной, подумал Иона. Тонкий, как привидение, он даже палку не может держать, он то и дело берет ее на плечо, того и гляди узел у него свалится в грязь. При мысли, что белый узел Шемарьи может свалиться с гладкой палки в черную грязь дороги, Иона громко рассмеялся.

— Чего ты смеешься? — спросил Шемарья.

— Над тобой смеюсь! — ответил Иона.

— У меня вообще-то больше права смеяться над тобой, — возразил Шемарья.

Они снова замолчали. Навстречу им вырастал черный еловый лес. Молчание, казалось, шло от него, а не от них самих. Время от времени непонятно откуда поднимался ветер, бездомный порыв ветра. Ивняк сонно колыхался, ветки его сухо пощелкивали, по небу бежали светлые облака.

— Все-таки мы теперь солдаты! — неожиданно проговорил Шемарья.

— Совершенно верно, — откликнулся Иона, — а кем мы были до этого? У нас с тобой нет никакой профессии. Или нам идти в учителя, как отец?

— Все лучше, чем быть солдатом! — ответил Шемарья. — Я мог бы стать коммерсантом и выйти в люди!

— Солдаты тоже люди, а вот коммерсант из меня бы не вышел, — возразил Иона.

— Ты пьян!

— Я трезв, как и ты. Я могу пить и оставаться трезвым. Я могу быть солдатом и видеть мир. Мне хотелось бы быть крестьянином. Вот что я тебе скажу, и я не пьяный...

Шемарья пожал плечами. Они продолжали свой путь. К утру они услышали пение петухов, доносящееся с отдаленных дворов.

— Это будут Юрки, — сказал Шемарья.

— Нет, это Бытук, — возразил Иона.

— Бытук так Бытук, — откликнулся Шемарья.

За следующим поворотом дороги застучала, загромыхала телега. Утро, как и ночь, было серое. Никакой разницы между солнцем и луной. Начал падать снег, мягкий, не холодный. Взлетели и закаркали вороны.

— Смотри, птицы, — проговорил Шемарья примирительным тоном, чтобы успокоить Иону.

— Вороны это! — сказал Иона. — Птицы! — с насмешкой добавил он.

— Ладно! — согласился Шемарья. — Вороны!

Это действительно оказался Бытук. Еще час, и они дошли до Юрков. Еще три часа, и они будут у себя дома.

Чем ближе дело подвигалось к полудню, тем более густой и рыхлый валил снег, словно шел он из поднимающегося солнца. Через несколько минут все кругом было белым-бело. Одиночные ветлы на обочине и рассеянные группки берез среди полей тоже стояли белые, как вата. Черными были только два молодых шагающих еврея. На них тоже навалило снегу, но на спине у них он, казалось, таял быстрее. Их длинные черные мундиры развевались на ходу. Полы хлестко, мерно бились о голенища высоких кожаных сапог. Чем гуще валил снег, тем быстрее они шли. Встречные крестьяне шли неторопливо, на согнутых ногах, они были все белые, на широких плечах снег лежал у них, как на толстых сучьях, тяжелой походкой и в то же время легко, хорошо зная снег, они шли в снегопаде как в родной стихии. Иной раз они останавливались и оглядывались на двух черных мужчин, словно на некое непривычное явление, хотя вид евреев был для них не нов. Усталые, добрались братья до дома, когда уже начало темнеть. Еще издали они услышали слившийся воедино голос детей, нараспев заучивающих урок. Он лился им навстречу лаской матери, словом отца, он нес им навстречу все их детство, он означал все, и в нем было все, что они видели, слышали, чуяли и осязали. В нем был запах горячих и пряных блюд, черно-белое мерцание, исходящее от лица и бороды отца, эхо материнских вздохов и хныканья Менухима, шепота творящего вечернюю молитву Менделя Зингера, миллионов невыразимых словом однообразных и знаменательных событий. Оба брата с одинаковым чувством восприняли мелодию, донесшуюся к ним сквозь падающий снег, когда они приближались к отцовскому дому. Сердца их бились в одном ритме. Перед ними широко распахнулась дверь, мать давно уже из окна увидела их на улице.

— Нас взяли, — сказал Иона вместо приветствия.

В комнате сразу же воцарилось ужасное молчание, хотя только что звучали голоса детей, молчание без границ, заряженное во много раз большей силой, чем помещение, ставшее его добычей, и все же родившееся из незначительного слова «взяли», произнесенного мгновение назад Ионой. Дети прервали свой урок на полуслове, которое им надо было запомнить. Мендель, вышагивавший туда и сюда по комнате, остановился, бросил взгляд в воздух, вознес руки и снова опустил их. Дебора присела на одну из табуреток, всегда стоявших возле печи, словно они давно уже ожидали случая принять на себя опечаленную мать. Мирьям, дочь, шаря рукой за спиной, задвинулась в угол, сердце у нее громко заколотилось, ей казалось, всем должно быть слышно, как оно бьется. Дети сидели на своих местах как пригвожденные. Ноги их в шерстяных чулках с перемежающимися разноцветными полосками, беспрерывно болтающиеся во время учения, безжизненно повисли под столом. Не переставая шел снег, и от мягкой белизны хлопьев сквозь окно лился в комнату и на застывшие в молчании лица бледный свет. Несколько раз треснули обуглившиеся поленья в печи да слабо скрипнули под порывом ветра дверные косяки. У двери, еще не сняв палок с плеч, еще не сняв белых узлов с палок, стояли братья, посланцы несчастья, их дети. Вдруг Дебора закричала:

— Мендель, ступай, беги, спроси у людей совета!

Мендель Зингер взялся за бороду. Молчание лопнуло, ноги детей под столом начали легонько побалтываться, братья сняли с плеча свои узлы и палки и подошли к столу.

— Что за глупость ты говоришь! — промолвил Мендель Зингер. — Куда мне идти? У кого мне просить совета? Кто поможет бедному учителю, да и чем мне можно помочь? Какую помощь ты ждешь от людей, коли нас Бог наказал?

Дебора не отвечала. Она еще немного посидела молча на табуретке. Потом она поднялась, пнула табуретку, как собаку, так, что она с грохотом отлетела от нее, схватила свою коричневую шаль, шерстяным холмиком лежавшую на полу, обмотала голову и шею, завязала бахрому сзади на шее крепким узлом — гневным движением, будто хотела задушить себя, — побагровела, встала посреди комнаты, шипя, словно переполненная кипящей водой, и вдруг плюнула, выстрелив белой слюной, как ядовитым снарядом, под ноги Менделя Зингера. И, как бы посчитав, что слабо выказала этим свое презрение, она вслед за плевком издала крик, прозвучавший похоже на «тьфу!», но ухо было не в состоянии разобраться в нем. Все остолбенели и прежде чем успели прийти в себя, она толчком руки распахнула дверь.

Сильный порыв ветра занес в комнату белые хлопья, дунул Менделю Зингеру в лицо, прошелся по свисающим со скамьи ногам детей. Затем дверь снова со стуком захлопнулась. Дебора ушла.

Она без цели бежала по улицам, по самой середине, черно-коричневым колоссом рвалась она сквозь белый снег, пока не скрылась в нем. Она запутывалась ногами в одежде, падала, с удивительной быстротой снова поднималась на ноги, бежала дальше, еще сама не зная куда, но ей казалось, что ноги уже сами несут ее к цели, которой еще не ведала голова. Сумерки опустились быстрее, чем падали хлопья снега, зажглись первые желтые огни, редкие люди, выходившие из домов, чтобы закрыть ставни, поворачивали головы и, хотя их пробирал холод, долго глядели ей вслед. Дебора бежала в сторону кладбища. Достигнув низенькой деревянной ограды, она еще раз упала. С трудом поднялась на ноги, дверь не поддавалась. Снизу нанесло снегу. Дебора налегла всем телом. Наконец она на кладбище. Над могилами выл ветер. Мертвые казались сегодня мертвее обычного. Сумерки быстро переходили в темную ночь, темную, подсвечиваемую снегом. Перед одной из первых могильных плит в первом ряду Дебора опустилась. Сжав ладони в кулак, она освободила ее от снега, будто хотела убедить себя в том, что голос ее легче дойдет до мертвого, если убрать заглушающий слой снега между ее мольбой и ухом упокоившегося. И затем из Деборы вырвался крик, прозвучавший словно из рога, в который встроено сердце. Крик этот слышен был во всем местечке, но о нем тут же забыли. Ибо никто уже не слышал тишины, последовавшей за криком. Лишь тихий, жалобный стон издавала Дебора через короткие промежутки времени, тихий, материнский стон, растворявшийся в ночи, накрываемый снегом, жалобный стон, который слышали одни лишь мертвые.

IV

В Клучиске, недалеко от родственников Менделя Зингера жил Каптурак, человек без возраста, без семьи, без друзей, ловкий, всегда очень занятой и вхожий в инстанции. Дебора прилагала все силы, чтобы получить у него помощь. Из семидесяти рублей, кои затребовал Каптурак вперед, еще до вступления в контакт со своими клиентами, у нее набиралось едва-едва двадцать пять, тайком сбереженные за долгие годы трудов и хранимые ею в прочном кожаном кошельке под одной ей известной половицей. Для материнской надежды недостающие сорок пять рублей казались меньше суммы, какая уже имелась у Деборы. Так как к надежде она добавляла годы, за которые скопила эти деньги, лишения, каким был обязан каждый нерастраченный полтинник,и много тихой, жаркой радости пересчитыванья.

Напрасно пытался втолковать ей Мендель Зингер, что Каптурак несерьезный человек, что у него жесткое сердце и голодный кошелек.

— Чего ты хочешь, Дебора, — говорил Мендель Зингер, — бедные бессильны, Бог не одаривает их золотыми камнями с неба, в лотерею они не выигрывают, и они должны покорно нести свой жребий. Одному Он дает, у другого забирает. Не знаю, за что Он нас наказывает, сначала больным Менухимом, а теперь здоровыми детьми. Ах, бедняку плохо, коли он согрешил, и если он болен, ему тоже плохо. Нужно нести свой жребий! Пусть идут сыновья в армию, они не пропадут! Нет такой силы, какая могла бы противостоять воле небес. «По Его воле гремит гром и сверкает молния, воля Его простирается над всей землей, от Него никуда не убежишь», — так написано в книге.

Однако Дебора, уперев руки в бока выше связки ржавых ключей, отвечала:

— Человек должен стараться помочь себе, и тогда Бог ему поможет. Вот как написано в Писании, Мендель! Ты знаешь наизусть всё не те слова. Написано много тысяч фраз, и ты примечаешь одни ненужные! Ты поглупел, потому что учишь детей! Ты даешь им толику своего разума, а они оставляют у тебя всю свою глупость. Учитель ты, Мендель, учитель!

Мендель Зингер не тщеславился своим умом и своей профессией. И все же речи Деборы точили его как червь, ее упреки мало-помалу подтачивали его добродушие, и в его сердце начали уже извиваться языки пламени возмущения. Он отвернулся, чтобы не смотреть в лицо жены. Ему подумалось, что он знает это ее лицо уже давно, дольше, чем со свадьбы, быть может, с детства. Долгие годы ему казалось, что оно оставалось таким же, что и в день его свадьбы. Он не видел, как исчезала пухловатость щек, сходя, словно красивая краска со стены, как натягивалась кожа возле носа, чтобы тем вольготней раздаться под подбородком, как веки над глазами покрывались сетью морщин и как чернота глаз постепенно блекла, приоб-

ретая холодный и трезвый карий оттенок, холодный, всепонимающий и безысходный. Однажды, он уже не помнил, когда это было (может, это произошло как раз в то утро, когда сам он спал и лишь один из его двух глаз спугнул Дебору у зеркала), так вот, однажды на него сошло просветление. Был это словно второй, повторный брак, на этот раз с отвращением, с горечью, со стареющей женой. Правда, она стала ему ближе, почти частью его самого, неотделимой навечно, но невыносимой, мучительной и даже вызывающей легкое отвращение. Из женщины, с которой соединяешься только в потемках, она как бы превратилась в болезнь, с которой соединен и днем и ночью, которая принадлежит тебе целиком и полностью, которую нет больше нужды делить с миром и верная враждебность которой сведет тебя в конце концов в могилу. Конечно, он был всего-навсего учитель! И отец его был учителем, дед тоже. Сам он, впрочем, не мог быть кем-нибудь иным. Значит, хуля его профессию, затрагивали саму основу его бытия и пытались вычеркнуть его из списка сущих в мире. Этому Мендель Зингер не мог не противиться.

Собственно, он был рад, что Дебора уехала. Уже сейчас, пока она собиралась в дорогу, дом был пуст. Иона с Шемарьей бродили по улицам, Мирьям сидела у соседей или шла прогуляться. Дома в полуденный час, до возвращения учеников оставались только Мендель да Менухим. Мендель похлебал сваренного им самим супа с перловкой, оставив немало в своей глиняной тарелке на долю Менухима. Он задвинул засов, чтобы малыш по привычке не подполз к двери. Потом отец пошел в угол, поднял ребенка, усадил его на колени и начал кормить.

Он любил эти тихие часы. Он с удовольствием оставался вдвоем с сыном. Иногда ему даже думалось, не лучше ли бы было, если б они с ним вообще остались одни, без матери, без братьев и сестры. После того как Менухим ложку за ложкой съел весь суп, отец посадил его на стол, сам продолжал прямо сидеть перед ним и с нежным любопытством углубился в рассматривание широкого, бледно-желтого лица с множеством морщинок на лбу, век с обилием складок и вялого двойного подбородка. Он старался разгадать, что могло сейчас происходить в этой широкой голове, сквозь глаза, как сквозь окно, заглянуть в мозг и то тихим, то громким разговором вызвать какую-нибудь ответную реакцию равнодушного мальчика. Раз за разом, десять раз он произнес имя Менухима, медленно вырисовывая своими губами в воздухе звуки, чтобы Менухим увидел их, коли уж он не мог их слышать. Но Менухим даже не пошевелился. Тогда Мендель схватил свою ложку, ударил ею по чайному стакану, и Менухим тотчас повернул голову, и маленький огонек загорелся в его больших, серых навыкате глазах. Мендель, продолжая постукивать, начал напевать песенку, выделяя ложечкой такт, и Менухим стал выказывать явное беспокойство, с некоторым трудом повернул свою большую голову и заболтал ногами.

— Мама, мама! — воскликнул он в промежутке.

Мендель встал, принес Библию в черном переплете, раскрыл ее на первой странице, поднес к лицу Менухима и затянул на мотив, каким обычно обучал своих учеников, первое предложение:

— Вначале Бог создал небо и землю.

Мгновение он подождал в надежде, что Менухим повторит за ним слова. Но в Менухиме ничто не шелохнулось. Только в глазах у него еще светился прислушивающийся свет. Тогда Мендель отложил книгу, печально взглянул на сына и монотонным голосом, нараспев продолжил:

— Послушай, Менухим, я одинок. Братья твои выросли и стали чужими, они идут в солдаты. Твоя мать обыкновенная женщина, чего же мне еще от нее требовать. Ты мой последний, младший сын, я вложил в тебя свою последнюю, самую последнюю надежду. Почему ты молчишь, Менухим? Ты настоящий мой сын! Гляди, Менухим, повторяй за мной: «Вначале Бог создал небо и землю».

С минуту Мендель подождал. Менухим не шелохнулся. Тогда Мендель снова зазвенел ложечкой по стакану. Менухим обернулся, и Мендель словно обеими руками ухватился за мгновение чуткого внимания и протяжно затянул вновь:

— Слушай меня, Менухим! Я стар, из всех детей ты у меня останешься один, Менухим! Слушай и повторяй за мной:

— Вначале Бог создал небо и землю.

Но Менухим не пошелохнулся.

Тогда Мендель с тяжким вздохом снова опустил Менухима на пол. Он отодвинул засов и подошел к входной двери ждать прихода учеников. Вслед за ним подполз Менухим и уселся на пороге. Часы на башне пробили семь раз, четыре раза глухо и три раза звонко. И тут Менухим воскликнул:

— Мама, мама!

И когда Мендель повернулся к нему, то увидел, что малыш вытянул шею, словно вдыхая продолжавший звучать перезвон колоколов.

«За что я так наказан?» — подумал Мендель. Он покопался в памяти, отыскивая какой-нибудь грех, и не нашел ни одного тяжкого.

Пришли ученики. Он возвратился с ними в дом и, пока прохаживался туда и сюда по комнате, наставляя одного, ударяя по пальцам другого и легонько толкая в бок третьего, все думал и думал: «Где же я согрешил? В чем мой грех?»

А Дебора тем временем пошла к извозчику Самешкину, чтобы спросить, не подвезет ли он ее в ближайшее время бесплатно до Клучиска.

— Да, подвезу, — отвечал Самешкин.

Он сидел на светлой скамье у печки и даже не пошевелился. Ноги у него были в серо-желтых мешках, обвязанных бечевками, и от него несло самогоном. Дебора нюхала пары, как нюхают врага. Это был опасный запах крестьян, предвестник непонятных страстей и спутник погромных настроений.

— Да, — повторил Самешкин, — вот только б дороги были получше!

— Ты же меня уже однажды подвозил осенью, тогда дороги были еще хуже.

— Я что-то не помню, ты ошибаешься, был, кажется, сухой летний день.

— Да нет, — возразила Дебора, — было это осенью, шел дождь, а я ехала к раввину.

— Видишь, — проговорил Самешкин, и обе его ноги в мешках-бахилах начали легонько покачиваться, так как скамья была высоковата, а Самешкин низковат ростом, — видишь, тогда ты ехала к раввину, было это перед вашими большими праздниками, тогда-то я и взял тебя с собой. А теперь ты едешь не к раввину!

— Я еду по одному важному делу, — сказала Дебора, — Иона с Шемарьей никогда не должны быть солдатами!

— Я тоже был солдатом, — возразил Самешкин, — семь лет, из них два года просидел в тюрьме за воровство. И украл-то мелочь!

Он довел Дебору до отчаяния. Его рассказы лишь доказывали ей, насколько он ей чужд, ей и ее сыновьям, которые не должны были воровать и сидеть в тюрьме. Ну, надо действовать быстро, решила она:

— Сколько я должна буду тебе заплатить?

— Ничего! Я не требую денег, да и ехать я не собираюсь! Сивая лошадь старая, а пегая потеряла сразу две подковы. Да к тому же если она протрусит без роздыху всего две версты, то потом жрет овес целый день. Я не хочу ее больше держать, хочу продать ее. Да и вообще, какая жизнь у извозчика!

— Иона сам сводит к кузнецу пегую лошадь, — настойчиво продолжала Дебора, — и сам заплатит за подковы.

— Ну разве что! — ответил Самешкин. — Коли уж Иона сам поведет подковывать, то ему тогда придется еще и колесо отдать подбить.

— Хорошо, — пообещала Дебора.

— Ну, так мы тогда поедем на следующей неделе!

Итак, она поехала в Клучиск к внушающему опасения Каптураку. Собственно, куда охотней она пошла бы к раввину, ибо одно-единственное слово из его святых тонких уст стоило, конечно, больше, чем протекция Каптурака. Но между Пасхой и Пятидесятницей раввин не принимал, разве что в неотложных случаях, когда дело шло о жизни и смерти. Она разыскала Каптурака в кабаке, где он сидел в окружении крестьян и евреев в углу, у окна, и писал. Его шапка лежала исподом вверх на столе, рядом с бумагами, как протянутая рука, и в ней уже собралось немало серебряных монет, притягивающих к себе взгляды всех столпившихся подле писца. Каптурак время от времени поглядывал на шапку, хотя знал, что никто бы не посмел взять оттуда хотя бы копейку. Он писал прошения, любовные письма и почтовые переводы для неграмотных (а кроме того, он мог дергать зубы и подстригать волосы).

— Мне надо обсудить с тобой одно важное дело, — сказала Дебора через головы стоящих возле писаря.

Каптурак одним движением отодвинул от себя все бумаги, заказчики расступились, он взял шапку, высыпал деньги в ладонь, затем переправил их в носовой платок и завязал его, после чего предложил Деборе сесть.

Она посмотрела в его жесткие маленькие глаза, похожие на светлые прочные роговые пуговицы.

— Моих сыновей забирают в армию! — сказала она.

— Ты бедная, — проговорил Каптурак глухим поющим голосом, словно читая по картам. — Ты не смогла скопить денег, и ни один человек не сможет тебе помочь.

— Почему это, я накопила.

— Сколько?

— Двадцать четыре рубля и семьдесят копеек. Из них один рубль я уже израсходовала, чтобы увидеть тебя.

— То есть всего двадцать три рубля!

— Двадцать три рубля и семьдесят копеек! — поправила Дебора.

Каптурак поднял правую руку, раздвинул указательный и средний пальцы и спросил:

— И двое сыновей?

— Двое, — прошептала Дебора.

— Это когда за одного-то надо давать двадцать пять!

— И мне?

— И тебе!

Они торговались с полчаса. В результате Каптурак согласился на двадцать три за одного. «Хотя бы один!» — подумала Дебора.

Но на обратном пути, пока она тряслась на телеге Самешкина, перетряхивавшей у нее все внутренности и бедную голову, положение показалось ей еще более плачевным, чем прежде. Как ей теперь разделить двух сыновей? Иона или Шемарья? — спрашивала она себя без устали. Лучше один, чем оба, говорил ей рассудок и сетовало ее сердце.

Когда она приехала домой и начала рассказывать сыновьям о решении Каптурака, Иона, старший, прервал ее словами:

— Я с удовольствием пойду в солдаты!

Дебора, дочь Мирьям, Шемарья и Мендель Зингер застыли в молчании. Наконец, поскольку Иона больше ничего не говорил, Шемарья сказал:

— Вот это брат! Хороший ты брат, Иона!

— Да нет, — возразил Иона, — я просто хочу в солдаты.

— Может, через полгода ты освободишься, — утешил отец.

— Нет, я вовсе не хочу освобождаться! Я останусь в солдатах!

Все забормотали ночную молитву. Молча разделись. Потом Мирьям в рубашке на цыпочках кокетливо подошла к лампе и задула ее. Они легли спать.

На следующее утро Иона исчез. Они искали его до полудня. Только поздно вечером его увидела Мирьям. Он скакал верхом на сивой лошади, на нем была коричневая куртка, на голове — солдатская шапка.

— Ты уже солдат? — крикнула Мирьям.

— Еще нет, — ответил Иона и остановил лошадь. — Передай привет отцу с матерью. Я у Самешкина, на время, пока не пойду служить. Скажи, что мне у вас стало трудно, но что я вас всех очень люблю!

Вслед за этими словами он взмахнул ивовым прутом, дернул узду и поскакал дальше.

С этого времени он стал конюхом у извозчика Самешкина. Он чистил скребницей лошадей, сивую и пегую, спал у них в конюшне, с наслаждением втягивал широко раздутыми ноздрями едкий запах лошадиной мочи и кислого пота. Он задавал лошадям овес, поил их из ведер водой, чинил путы, подрезал хвосты, прилаживал на хомуте новые колокольчики, заполнял корыта, заменял прелое сено на обеих подводах сухим, пил с Самешкиным самогонку, бывал пьян и спал с работницами.

Дома его оплакивали как потерянного человека, но не забывали о нем. Настало лето, жаркое и сухое. Облитые золотом вечера поздно опускались над землей. Перед домом Самешкина сидел Иона и играл на гармонике. Он был вдрызг пьян и не узнавал собственного отца, неуверенным шагом иногда проскальзывавшего мимо него, — тень, опасающуюся самой себя, отца, не устававшего удивляться, что этот вот сын произошел от его чресл.

V

Двадцатого августа у Менделя Зингера появился посыльный Каптурака, чтобы забрать с собой Шемарью. В эти дни все ожидали посыльного. А когда он объявился перед ними собственной персоной, всех их это неприятно удивило и испугало. Был это обычный мужчина обычного роста и обычного вида, в синей солдатской фуражке и с самокруткой во рту. Предложение сесть и выпить чаю он отклонил.

— Я лучше подожду на улице возле дома, — проговорил он так, что сразу стало ясно: он привык ждать на улице возле дома. Но как раз это решение посыльного еще больше разволновало семью Менделя Зингера. Под окном то и дело, словно часовой, появлялся солдат в синей фуражке, и все торопливей становились их движения. Они собирали вещи Шемарьи: костюм, молитвенный пояс, съестное на дорогу, хлебный нож. Мирьям несла все новые и новые вещи. Менухим, уже достававший головой до стола, тупо, с любопытством вытягивал шею и беспрерывно лепетал единственное слово, которое знал: «Мама». Мендель Зингер стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу. Дебора беззвучно плакала, слезы одна за другой текли у нее из глаз к искаженным болью губам. Когда собрали узел Шемарьи, то всем он показался слишком хилым, и они беспомощно оглядывали комнату, чтобы отыскать еще что-нибудь. До этого мгновения никто из них не проронил ни слова. Теперь, когда на столе лежали рядом белый узел и палка, Мендель Зингер повернулся от окна и сказал сыну:

— Не забудь побыстрее, как только сможешь, написать нам о себе.

Дебора всхлипнула, раскинула руки и обняла сына. Они прильнули друг к другу. Наконец Шемарья с усилием высвободился, подошел к сестре и звонко чмокнул ее в обе щеки. Отец благословляюще простер над ним руки и торопливо забормотал что-то невразумительное. Потом Шемарья с ужасом в глазах приблизился к уставившемуся на него Менухиму. В первый раз предстояло обнять больного ребенка, и сделать это должен был Шемарья, словно ему надлежало поцеловать не брата, а некий символ, не дающий ответа. Всем хотелось напоследок что-то сказать. Но ни у кого не находилось слов. Все знали, что прощаются навек. В лучшем случае Шемарья мог оказаться живым и невредимым за границей. В худшем же случае его поймают на границе, потом казнят, а не то его просто застрелят на месте на пограничном посту. Что сказать друг другу, когда прощаешься на всю жизнь?

Шемарья вскинул узел на плечо и толкнул ногой дверь. Он ни разу не оглянулся. В то мгновение, когда он переступал порог, он попытался забыть дом и всех домочадцев. За спиной у него еще раз прозвучал громкий крик Деборы. Дверь снова захлопнулась. Шемарья подошел к провожатому с ощущением, что мать упала в обморок.

— Лошади ждут нас сразу за рыночной площадью, — сказал человек в синей фуражке.

Когда они проходили мимо дома Самешкина, Шемарья остановился. Он окинул взглядом небольшой сад, потом глянул в открытую дверь пустой конюшни. Брата нигде не было видно. Грустные мысли оставил после себя потерянный брат, добровольно пожертвовавший собой, как все еще продолжал считать Шемарья. «Он нахал, но благородный и смелый человек», — подумал он и размеренно зашагал сбоку от посыльного.

Как и было сказано, сразу за рыночной площадью они увидели лошадей. До границы им пришлось добираться не меньше трех дней, ибо они избегали железной дороги. В пути выяснилось, что провожатый Шемарьи хорошо знает эти места. Он давал понять это без всяких вопросов со стороны Шемарьи. Он указывал на виднеющиеся вдали церкви и называл деревни, где те стояли. Он называл хутора, и поместья, и имена их владельцев. Он часто сворачивал с большака и быстро оказывался на нужных проселках. Чудилось, будто он хотел напоследок бегло показать Шемарье родину, перед тем как молодой человек покинет ее в поисках нового отечества. Он бросал в сердце Шемарьи семена тоски по родине на всю последующую жизнь.

За час до полуночи они подъехали к пограничному шинку. Ночь была тихая. Шинок стоял на отшибе, одинокий дом в ночной тиши, немой, мрачный, с закрытыми ставнями, за которыми не угадывалось никаких признаков жизни. Его окружало неумолчное стрекотание миллионов цикад — шепчущий хор ночи. Ни один другой голос не нарушал ее покоя. Окрестность была плоской, усыпанное звездами небо простирало над нею правильный темно-синий круг, который только на северо-востоке прерывался светлой полосой, как кольцо с вправленным в него камнем. Издали, с болот, с западной стороны, тянуло сыростью, веял вялый ветерок, доносивший сюда их запахи. «Чудная, по-настоящему летняя ночь!» — проговорил посыльный Каптурака. И в первый раз за всю дорогу заговорил о своем промысле.

— В такие ночи не всегда удается перебраться без трудностей. Для наших дел куда сподручней дождливая погода.

Он заронил в душу Шемарьи крупицу страха. Так как шинок, перед которым они стояли, был нем и заперт, в Шемарье не шевельнулось ни единой мысли о ка-

кой-то его роли, пока слова провожатого не напомнили ему об их намерении.

— Войдем! — проговорил он как человек, который больше не хочет оттягивать опасность. — Можешь не торопиться, нам еще придется довольно долго ждать!

Все же он подошел к окну и тихо постучал в деревянный ставень. Дверь открылась и пустила по ночной земле широкий поток желтого света. Они вошли. За стойкой, в круге света от висячей лампы, стоял шинкарь, приветствовавший их кивком головы; на полу сидели на корточках несколько мужчин и играли в кости. За столом сидел Каптурак с человеком в форме вахмистра. Никто не поднял на них глаз. Слышался стук бросаемых костей да тиканье настенных часов. Шемарья сел. Провожатый заказал выпить. Шемарья пропустил стопку водки, ему стало жарко, но от сердца у него отлегло. Как никогда, он чувствовал себя в безопасности; он знал, что переживает один из редких часов в жизни, когда судьба куется самим человеком не в меньшей мере, чем силами, кои даруют ему такую возможность.

Некоторое время спустя после того, как часы пробили полночь, прогремел выстрел, жесткий и сухой, с долго затухающим эхом. Каптурак с вахмистром поднялись. Это был условный знак, которым часовой давал знать, что офицер, обходивший ночью посты, ушел. Вахмистр исчез. Каптурак начал поторапливать с отходом. Все как-то вяло поднялись, вскинули на плечи узлы и рундуки, дверь растворилась, они по одному стали просачиваться в ночь и направились в сторону границы. Они было затянули песню, но кто-то цыкнул; это был голос Каптурака. Непонятно было, откуда он прозвучал: из передних рядов, из середины или сзади. И они молча зашагали сквозь плотное стрекотанье цикад, под темной синевой ночи. Через полчаса ходьбы голос Каптурака скомандовал: «Ложись!» Они плюхнулись на мокрую от росы землю, лежали не шевелясь, прижавшись громко стучавшими сердцами к мокрой земле — прощание сердца с родиной. Потом им приказали встать. Они подошли к неглубокому, широкому рву, слева от них мелькнул огонек, там был пограничный караульный пост. Они стали спускаться в ров. По долгу службы, не целясь, часовой выстрелил им вослед из винтовки.

— Мы на другой стороне! — прозвучал тот же голос.

В это мгновение небо на востоке высветилось. Все обернулись в сторону родины, где, казалось, еще лежала ночь, потом снова повернулись в сторону дня и чужбины.

Кто-то затянул песню, все поддержали, и так с песней они тронулись в путь. Не пел только Шемарья. Он думал о своем ближайшем будущем (было у него всего два рубля), о том, что дома наступило утро. Через два часа в доме встанет отец, забормочет молитву, откашляется, прополощет горло, подойдет к чаше, окунет в нее пальцы и начнет кропить водой. Мать станет раздувать самовар. Менухим что-то залепечет навстречу утру, Мирьям начнет вычесывать из своих черных волос застрявшие в них белые пушинки. Все это представилось глазам Шемарьи так отчетливо, как никогда не представлялось, когда он еще был дома, сам будучи частью родного утра. Он почти не слышал песни, только ноги его улавливали ритм и держали шаг.

Час спустя он увидел первый чужой город, голубой дымок из аккуратных труб, человека с желтой повязкой на рукаве, который встретил прибывших. Часы на башне пробили шесть раз.

Шесть раз пробили и настенные часы Зингера. Мендель встал, прополоскал горло, откашлялся, пробормотал молитву, Дебора уже стояла у очага и раздувала самовар, Менухим лепетал что-то непонятное в своем углу, Мирьям расчесывалась перед ослепшим зеркалом. Потом Дебора прихлебывала горячий чай, стоя все еще у очага.

— Где-то сейчас Шемарья? — проговорила она вдруг, и все подумали о нем.

— Бог поможет ему! — сказал Мендель Зингер. Так начался день.

Так начинались и следующие дни, пустые, убогие дни. «Дом без детей, — подумала Дебора. — Всех я их родила, всех выкормила грудью, и ветер унес их в разные стороны». Она оглянулась на Мирьям, она редко видела дочь дома. Один Менухим матери оставался. Он всегда вытягивал к ней руки, когда она проходила мимо его угла. А когда она его целовала, он искал ее грудь, словно грудной ребенок. С упреком думала она о благодати, которая не торопилась исполниться, и она сомневалась, что доживет до того дня, когда Менухим будет здоров.

Дом смолкал, как только умолкали голоса обучающихся мальчиков. Дом молчал и был мрачен. Снова пришла зима. Керосин экономили. Спать ложились рано. С благодарностью погружались они в благосклонную ночь. Время от времени приходили вести от Ионы. Он служил в Пскове, был в обычном своем добром здравии, с начальством ладил.

Так пробегали годы.

VI

Однажды в полдень бабьего лета в дом Менделя Зингера вошел чужеземец. Двери и окна были открыты настежь. Черные сытые мухи неподвижно сидели на залитых жарким солнцем стенах, монотонное пение учеников тихо струилось из открытых окон в белый от жары переулок. Заметив неожиданно возникшего на пороге дома незнакомца, они умолкли. Дебора поднялась со скамейки. С другой стороны переулка уже бежала Мирьям, крепко прижимая к себе слабое тельце Менухима. Мендель Зингер подошел к незнакомцу и внимательно оглядел его. Это был необыкновенный человек. На нем была огромная широкополая черная шляпа, светлые широкие штаны и крепкие желтые сапоги, поверх его ярко-зеленой рубашки развевался нестерпимо красный галстук. Не двигаясь с места, он произнес что-то на непонятном языке, наверное, поздоровался. Похоже было, что во рту он держал вишню. Из карманов пиджака торчали зеленые стебли травы. Гладкая, непомерно длинная верхняя губа медленно поднялась, будто занавесь, и открыла крепкие желтые зубы, похожие на лошадиные. Дети засмеялись, и Мендель Зингер тоже улыбнулся. Незнакомец вытащил сложенное вдоль письмо и прочитал адрес и фамилию Зингера на своем странном языке, отчего все снова засмеялись.

— Америка! — произнес наконец незнакомец и передал письмо Менделю Зингеру. Догадка осенила Менделя, и радостью засветилось лицо его.

— Шемарья, — проговорил он. Он отослал своих учеников, махнув рукой, так прогоняют мух. Они выбежали из дома. Чужестранец сел. Дебора поставила на стол чай, конфеты и лимонад. Мендель вскрыл письмо. Дебора и Мирьям тоже присели. И Зингер стал читать:

«Дорогой наш отец, милая мама, дорогая Мирьям и добрый мой Менухим!

Я не обращаюсь к Ионе, который сейчас находится в армии. Прошу вас не посылать ему прямо это письмо, а то у него будет куча неприятностей, если узнают, что он переписывается с братом, который дезертир. Поэтому я так долго молчал и не писал вам по почте, пока не выдался случай послать вам это письмо с моим добрым другом Маком. Он всех вас знает по моим рассказам, но не сможет сказать вам даже пару слов, потому что не только он сам американец, но даже его родители уже родились в Америке, к тому же он не еврей. Хотя он лучше, чем десять евреев. А теперь я начну свой рассказ с самого начала и до сего дня. Когда я перешел границу, так мне нечего было кушать, и в кармане я имел всего два рубля, но я подумал себе, что Бог мне поможет. От Триестской пароходной компании пришел на границу человек в форменной фуражке, чтобы нас забрать с собой. Нас было двенадцать человек, и у тех одиннадцати у всех были деньги, и они купили себе фальшивые паспорта и билеты на пароход, и агент компании отвез их к поезду. Я тоже пошел с ними, потому что подумал себе, что это не повредит. Пойду, думаю, на всякий случай, посмотрю, как это едут в Америку. И вот остаюсь я один вместе с агентом, и он удивляется, отчего это я не еду тоже.

«У меня нет ни копейки», — говорю я агенту. Он тут спрашивает, умею ли я читать. «Немножко, — говорю я, — но это все, что я могу».

Ну что ж, чтобы долго вас не задерживать, этот человек нашел-таки для меня работу. Какую, спросите вы? В дни, когда прибывают дезертиры, я должен был ходить на границу забирать их, покупать для них всякую всячину и уговаривать, чтоб ехали в Америку, потому что это земля обетованная. Well. Я начинаю работать и даю пятьдесят процентов со своего заработка агенту, потому что я только младший агент. Он носит вышитую золотом форменную фуражку, а у меня есть только нарукавная повязка. Проходит два месяца, и я говорю ему, что хочу иметь шестьдесят процентов, иначе я бросаю работу. Он дает шестьдесят. Короче говоря, я знакомлюсь у своего хозяина с хорошей девушкой, имя ее Вега, и теперь она ваша невестка. Ее отец дал мне немного денег, чтобы я мог начать свое дело, а у меня все не идет из головы, как те одиннадцать отправились в Америку, а я остался здесь один. Ну так что, я говорю Веге: до свидания, в пароходах я кое-что понимаю, это ж по моей части, и еду себе в Америку. И вот я здесь, два месяца назад сюда приехала Вега, мы поженились и очень счастливы. Мак имеет наши фотокарточки. На первых порах я пришивал пуговицы к штанам, потом гладил их, а потом только стал вшивать подкладку в рукава и чуть было не стал портным, как все евреи в Америке. Но тут на одной экскурсии на Лонг-Айленд я познакомился с Ма-

ком, прямо у форта Лафайетт. Когда вы уже будете здесь, я покажу вам это место. С этого времени я начал работать с ним вместе, имели кое-какой гешефт. А теперь занялись страхованием. Я страхую евреев, а он — ирландцев, кроме того, я уже застраховал пару христиан. Мак передаст вам от меня десять долларов, купите себе на них кое-что в дорогу. Потому что я скоро пришлю вам, даст Бог, билеты на пароход.

Обнимаю и целую вас всех

Ваш сын Шемарья
(здесь я зовусь Сэм)».

Когда Мендель Зингер кончил читать письмо, в комнате наступила гулкая тишина. Она смешалась с тишиной знойного летнего дня, и всем членам семьи показалось, что они слышат голос блудного сына. Нет, с ними говорил сам Шемарья, там, в далекой-далекой Америке, где сейчас, наверное, была ночь, а может быть, утро. На какое-то время все забыли про сидящего здесь же Мака. Далекий Шемарья как будто заслонил его, он исчез, как исчезает посыльный, отдав письмо. Тут американец сам напомнил о себе. Он встал и сунул руку в карман штанов, как это делает фокусник, когда собирается проделать свой лучший фокус. Он вытащил бумажник, достал из него десять долларов и фотографии, на одной из которых был изображен Шемарья, сидящий с женой своей Вегой на скамейке в парке, а на другой — он один в купальном костюме на пляже, единственное и дорогое лицо среди десятка чужих лиц и тел, теперь уже не Шемарья, а Сэм. Деньги и карточки чужестранец передал Деборе, перед этим он внимательно оглядел их всех, как бы проверяя, кто из них заслуживает большего доверия. Дебора скомкала банкноту в одной руке, а другой положила фотокарточки на стол рядом с письмом. Пока она все это проделывала, все молчали. Наконец Мендель Зингер ткнул указательным пальцем в один снимок и произнес:

— Это Шемарья!

— Шемарья! — повторили остальные, и даже Менухим, который теперь уже был выше стола, громко загукал и обратил робкий взгляд косых своих глаз на фотокарточки.

И вдруг Менделю Зингеру показалось, что чужестранец уже больше не незнакомый, чужой человек и что сам он понимает этот его странный язык.

— Расскажите что-нибудь! — сказал он Маку. И, будто поняв слова Менделя, американец раскрыл свой большой рот и принялся с веселым усердием рассказывать что-то. Как будто с большим аппетитом жевал что-то очень вкусное. Он рассказал Зингерам, что приехал в Россию для переговоров с торговцами хмелем — речь шла о строительстве пивоварен в Чикаго. Но Зингеры его не понимали. Раз уж он здесь, продолжал американец, он непременно хочет посетить Кавказ и подняться на ту самую гору Арарат, про которую он так много читал в Библии. Зингеры слушали рассказ Мака с напряженным вниманием выслеживающих добычу следопытов, пытаясь выловить из беспорядочно грохочущих звуков хоть одно знакомое слово. Сердца их затрепетали при слове «Арарат». Оно показалось им странно знакомым, но также и до ужаса исковерканным, это слово выкатилось из Мака с ужасающим опасным грохотом. Один только Мендель Зингер тихонько улыбался. Ему было приятно слышать язык, который стал языком его сына Шемарьи, и, пока Мак говорил, Мендель пытался представить себе, как выглядит его сын, когда он произносит такие же слова. И скоро ему показалось, что из весело разинутого рта чужестранца раздается голос его сына.

Американец закончил свое повествование, обошел вокруг стола и каждому пожал руку, крепко и сердечно. Менухима он быстрым движением поднял вверх, поглядел на его криво посаженную голову, тонкую шею, синеватые, безжизненные руки и кривые ноги и снова посадил его на пол с ласковым и задумчивым пренебрежением, точно хотел этим показать, что таким странным созданиям полагается сидеть на земле, а не стоять за столом. Потом быстрым широким шагом, слегка раскачиваясь и держа руки в карманах штанов, он вышел в раскрытую дверь, и вся семья вышла следом. Они приложили руки козырьком к своим глазам и глядели в залитый солнцем переулок, посреди которого шагал Мак. В конце переулка он остановился и приветственно махнул рукой.

Они еще долго стояли так, хотя Мак уже давно исчез. Они все так же держали руки перед глазами и смотрели в пыльное сияние пустой улицы. Наконец Дебора сказала: «Теперь он ушел». Тут, точно чужестранец исчез только сейчас, все вернулись в дом и, обняв друг друга за плечи, встали у стола, где лежали фотографии.

— Десять долларов, это сколько? — спросила Мирьям и принялась считать.

— Все равно сколько, — сказала Дебора, — мы на них ничего не будем покупать.

— Это почему? — возразила Мирьям. — Разве мы можем ехать в своих тряпках?

— Кто это едет и куда? — закричала мать.

— В Америку, — ответила Мирьям и улыбнулась. — Ведь Сэм сам написал.

В первый раз один из членов семьи назвал Шемарью Сэмом. Как будто Мирьям намеренно назвала брата его американским именем, чтобы придать особый вес его приглашению.

— Сэм! — воскликнул Мендель Зингер. — Кто такой Сэм?

— Да, — повторила Дебора, — кто такой Сэм?

— Сэм, — все еще улыбаясь, сказала Мирьям, — это мой брат из Америки и ваш сын!

Родители молчали.

Пронзительный голос Менухима донесся вдруг из угла, в который он забился.

— Менухим не может ехать! — сказала Дебора так тихо, точно боялась, что больной поймет ее.

— Менухим не может ехать! — так же тихо повторил Мендель Зингер.

Солнце стремительно катилось к западу. Черная тень на стене стоящего напротив дома, на которую все пристально смотрели через открытое окно, заметно удлинилась, так море во время прилива поднимается вверх, покрывая берег. Поднялся легкий ветер, и скрипнула оконная створка.

— Закрой дверь, дует! — сказала Дебора.

Мирьям подошла к двери. Прежде чем коснуться ручки, она еще немного постояла, глядя через дверной проем в ту сторону, где скрылся Мак. Потом она с громким стуком закрыла дверь и сказала:

— Ну и ветер!

Мендель подошел к окну. Он смотрел, как вечерняя тень ползла по стене. Он поднял голову и все глядел на залитую золотым светом крышу дома напротив. Долго стоял он так, за спиной его была его комната, его жена, его дочь Мирьям и больной Менухим. Он чувствовал их всех и угадывал каждое их движение. Он знал, что Дебора плачет, положив голову на стол, что Мирьям отвернула лицо свое к плите и плечи ее время от времени содрогаются, хотя она вовсе не плачет. Он знал, что жена его дожидается той минуты, когда он возьмет свой молитвенник и пойдет в молитвенный дом, чтобы прочесть вечернюю молитву, а Мирьям накинет желтую шаль и поспешит уйти к соседям. Тогда Дебора спрячет десятидолларовую банкноту, все еще зажатую в ее руке, под половицей. Он, Мендель Зингер, хорошо знал эту половицу. Стоило наступить на нее, как она своим скрипом тотчас же выдавала тайну, которая под ней скрывалась. Она напоминала ему ворчание собак, которых Самешкин держал на привязи возле своей конюшни. Он, Мендель Зингер, знал эту половицу. И чтобы не думать о черных псах Самешкина, живых воплощениях греха, внушавших ему страх, он старался не наступать на эту половицу и забывал об этом лишь иногда в пылу занятий. Сейчас, наблюдая, как золотая полоска солнца становится все меньше и скользит с конька на крышу дома и оттуда на его трубу, он впервые в жизни явственно ощутил бесшумный и коварный бег времени, таящееся в вечной смене дня и ночи, зимы и лета вероломство и однообразное течение жизни, такое монотонное, несмотря на все ее ожидаемые и неожиданные неприятности и страхи. Они селились лишь на изменчивых берегах, мимо которых медленно текла жизнь Менделя Зингера. Вот приехал человек из Америки, посмеялся, отдал письмо, доллары и фотографии Шемарьи и снова скрылся в далекой, таинственной стране. Пропали сыновья: Иона служит царю в Пскове и перестал быть Ионой. Шемарья купается у берегов океана, и зовут его уже не Шемарья. Мирьям глядит вслед американцу и тоже хочет в Америку. Только Менухим остался тем, кем он был со дня своего рождения: калекой. И он, Мендель Зингер, остался тем, кем был всегда: учителем. В узком переулке окончательно стемнело, и он тотчас же наполнился жизнью. Толстая жена стекольного мастера Хаима и девяностолетняя бабка давно умершего слесаря Йосселя Коппа вынесли из дома свои стулья и уселись у дверей, наслаждаясь вечерней свежестью. Евреи черными торопливыми тенями, бормоча мимоходом приветствия, спешили в молитвенный дом. Тут Мендель Зингер отвернулся от окна, намереваясь отправиться вслед за ними. Он прошел мимо Деборы, голова ее все так же лежала на жестком столе. Ее лицо, уже давно потерявшее для Менделя свою привлекательность, сейчас было скрыто, как бы погружено в жесткую доску стола, а темнота, постепенно наполнявшая комнату, смягчила суровость и робость Менделя. Его рука скользнула по широкой спине жены, как знакомо было ему когда-то это тело, каким чужим стало оно теперь. Она встала и сказала:

— Иди молиться!

А так как она думала о чем-то другом, голос ее звучал приглушенно, и этим голосом она повторила: «Молиться иди!»

Мирьям в своей желтой шали вышла из дома вместе с отцом и отправилась к соседям.

Шла первая неделя месяца ав[1]. После вечерней молитвы евреи собрались все вместе, чтобы встретить новолуние. А так как ночь была прохладной и приятно освежала после дневного зноя, они еще охотней, чем обычно, подчинились своим верующим душам и завету Бога, повелевшего встречать рождение молодой луны на открытом месте, над которым небо простирается шире и необъятней, чем над узкими улочками городка. И они, черные и молчаливые, беспорядочными группками торопливо вышли за околицу и, увидев далекий лес, такой же черный и молчаливый, как они сами, но навечно прикрепленный к этой земле, посмотрели на раскинувшееся над полями покрывало ночи и наконец остановились. Они смотрели на небо и искали там серебряную дугу нового светила, вновь родившегося сегодня, как в первый день своего сотворения. Они сбились в плотную кучку, раскрыли свои молитвенники, в голубоватой прозрачности ночи ярко белели страницы, а на них отчетливо выступали черные квадратные буквы. И принялись они бормотать слова приветствия луне и мерно раскачиваться, будто сотрясаясь под напором невидимой бури. Все сильнее раскачивались они, все громче молились, с воинственной отвагой бросая в далекое небо древние слова. Чужой была для них земля, на которой они стояли, враждебным лес, возвышавшийся перед ними, ненавистно тявканье собак, разбуженных ими, близкой и знакомой была только луна, появившаяся сегодня на свет, как это было на земле их отцов, да Господь, неусыпно следящий за всем и на родине, и в их изгнании.

Громким «аминь» завершили они свою молитву, подали друг другу руки и пожелали счастливого месяца, процветания своим предприятиям и здоровья больным. Они стали расходиться; поодиночке шли они домой, исчезая в переулках за низенькими дверями покосившихся домишек. Только один еврей остался, Мендель Зингер.

Его спутники распрощались с ним всего лишь несколько минут назад, но ему показалось, что он стоит здесь уже не меньше часа. Он вдохнул безмятежную тишину, сделал несколько шагов. Усталость охватила его. Ему захотелось лечь на землю, но он испытывал страх перед незнакомой этой землей и опасными гадами, наверняка притаившимися в ней. Блудный сын его Иона вспомнился ему. Сейчас Иона спит в своей казарме на сене, а может быть, в конюшне, рядом с лошадьми. Его сын Шемарья живет за океаном. Кто из них теперь дальше — Иона или Шемарья? Дома Дебора уже спрятала свои доллары, а Мирьям рассказывает сейчас соседям про посетившего их американца.

Тонкий серп луны уже разлил свой яркий серебряный свет, неотступно сопровождаемый самой яркой звездой скользил он по ночному небу. Изредка доносился лай собак, пугая Менделя. Этот лай нарушал мирный покой земли и усиливал беспокойство Менделя Зингера. Хотя он был всего в пяти минутах ходьбы от домов городка, обжитой мир евреев казался ему бесконечно далеким, невиданно одиноким был он, опасности подстерегали его, но он не мог повернуть назад. Он обратился к северу. Там мрачно дышал лес. Справа на много верст тянулись болота с возвышающимися кое-где серебряными ветлами. Слева под опаловым покрывалом лежали поля. Временами Менделю чудились доносящиеся неизвестно откуда человеческие голоса. Он слышал речи знакомых людей, и ему казалось даже, что он понимает, о чем они говорят. Тогда он вспомнил, что некогда уже слышал эти речи. Он понял, что это всего лишь их отзвук, долго хранившийся в его памяти.

Вдруг слева в хлебах что-то зашуршало, хотя ветра не было. Шорох все приближался. Теперь Менделю уже было видно, как колышутся высокие, в человеческий рост, колосья, между ними пробирался, наверное, человек или огромный зверь, чудовище. Надо было бы бежать, но Мендель не двигался, он готовился к смерти. Вот сейчас выйдет из хлебов крестьянин или солдат, обвинит Менделя в краже и убьет на месте, например, камнем. А может быть, там скрывается бродяга, убийца, преступник, который боится, что его увидят или услышат.«Пресвятой Боже!» — прошептал Мендель. Тут он услышал голоса. По полю шли двое, и это успокоило еврея, хотя он тотчас же сказал себе: а вдруг там двое убийц? Нет, то были не

[1] Месяц ав — одиннадцатый месяц еврейского календаря, соответствует июлю — августу. (*Здесь и далее — прим. ред.*)

убийцы, то была влюбленная пара. Девушка что-то говорила, мужчина смеялся. Но любовники тоже бывают опасными. Случается, что мужчины теряют голову при виде свидетеля своей любви. Вот-вот эти двое выйдут на открытое место. Мендель Зингер пересилил свое отвращение и страх перед червями земными, осторожно улегся на землю, обратив свой взгляд на хлеба. В эту минуту колосья разошлись. Первым вышел мужчина, мужчина в мундире. Это был солдат в синей фуражке и сапогах со шпорами, металл блестел и тихо позвякивал. За ним показалась желтая шаль, желтая шаль, желтая шаль. Послышался голос, голос девушки. Солдат повернулся и обнял ее за плечи, шаль распахнулась, тогда солдат обнял девушку сзади и положил руки ей на грудь, девушка так и шла в объятиях солдата.

Мендель закрыл глаза, чтобы беда миновала его в темноте. Если бы он не боялся выдать себя, он бы закрыл и уши, чтобы ничего не слышать. Но он слышал, слышал: страшные слова, серебряный звон шпор, тихое, вкрадчивое хихиканье и густой смех мужчины. Теперь он с надеждой ожидал лая собак. Только бы они громко залаяли, пусть они лают погромче! Лучше бы из хлебов вышли убийцы и забили его насмерть. Голоса стихли. Наступила тишина. Все исчезло. Ничего и не было.

Мендель Зингер быстро поднялся, огляделся по сторонам, поднял обеими руками полы своего длинного кафтана и помчался в сторону городка. Ставни на окнах были уже закрыты, но несколько женщин все еще сидели у дверей своих домов и болтали картавыми голосами. Он замедлил шаг, чтобы не привлекать к себе внимания, и пошел большими шагами, все еще держа в руках полы кафтана. Возле своего дома он остановился. Постучал в окно. Открыла Дебора.

— Где Мирьям? — спросил Мендель.

— Она еще гуляет, — ответила Дебора, — разве ее удержишь! День и ночь гуляет. И полчаса не посидит дома. Божье наказание эти дети, где это видано...

— Потише, — перебил ее Мендель. — Когда придет Мирьям, скажи ей, что я про нее спрашивал. Я сегодня не приду домой, жди меня завтра утром. Сегодня день смерти моего деда Заллеля, я буду молиться.

И он удалился, не дожидаясь ответа жены своей.

С тех пор как он вышел из молитвенного дома, прошло, должно быть, не более трех часов. Сейчас, когда он снова переступил его порог, ему показалось, будто он вернулся после многих недель отсутствия. Он нежно прикоснулся рукой к крышке своей старой подставки для молитвенника, приветствуя ее, как после долгой разлуки. Он раскрыл пюпитр и достал свою старую, тяжелую книгу в черном переплете. Руки его давно привыкли к ней, он немедленно узнал бы ее среди тысячи таких же книг. Как знакома была ему гладкая кожа переплета с благородными круглыми островками из стеарина, засохшими остатками давно сгоревших бесчисленных свечей, и нижние уголки страниц, рыхлые, пожелтевшие, засаленные, скрученные от многолетнего перелистывания влажными пальцами. Он мог мгновенно найти любую нужную ему в данный момент молитву. Все они были запечатлены в его памяти с мельчайшими деталями, присущими только им и только в этой книге, количеством строк, формой, и величиной букв, и цветом страниц.

В молельне уже смеркалось, желтоватый свет свечей на обращенной к востоку стене, рядом со шкафчиком, где хранились свитки Торы, не прогонял темноту, а как будто сам прятался в ней. В окно были видны небо и редкие звезды, а в комнате Мендель мог различить все предметы: пюпитры, стол, скамейки, обрезки бумаги на полу, светильники на стене, покрывала с золотой бахромой. Мендель Зингер зажег две свечи, прикрепил их к голому дереву пюпитра, закрыл глаза и приступил к молитве. С закрытыми глазами угадывал он, когда кончалась одна страница, и открывал механическим движением следующую. Туловище его стало постепенно ритмично раскачиваться, все его тело тоже молилось, ноги привычно шаркали по половицам, руки сжались в кулаки и, будто молот, ударяли по пюпитру, в его грудь, в книгу и воздух. На лежанке у печки спал бездомный еврей. Его вздохи сливались с монотонным пением Менделя Зингера, звучавшим как страстная молитва в жаркой пустыне, одинокая в своей близости к смерти. Свой собственный голос и дыхание спящего оглушили Менделя, прогнали все мысли и желания. Он весь отдался молитве, через него слова находили путь к небу, полым сосудом был он, рупором для молитвы. Так он молился, встречая утро.

День дохнул в окна. Свет свечей потускнел и поблек, из-за низеньких домишек уже показалось восходящее солнце. Вот оно залило красными огнями восточные окна дома. Мендель погасил свечи, спрятал книгу, открыл глаза и пошел к выходу. На улице пахло летом, высыхающим болотом и пробудившейся травой. Ставни на окнах были еще закрыты. Люди спали.

Мендель трижды постучал в дверь своего дома. Он чувствовал себя сильным и

бодрым, как будто спал долго, без сновидений. Теперь он знал, что делать. Дебора открыла ему.

— Сделай мне чай, — сказал Мендель, — а потом я тебе что-то скажу. Мирьям дома?

— Ну конечно, — отвечала Дебора, — где же ей еще быть? Ты что, думаешь, что она уже в Америке?

Самовар загудел. Дебора подышала на стакан и вытерла его до блеска. Потом Мендель и Дебора, одинаково вытянув губы и громко прихлебывая, пили чай. Вдруг Мендель отставил стакан и сказал:

— Мы едем в Америку. Менухим пусть останется здесь. Мирьям мы возьмем с собой. Несчастье посетит наш дом, если мы останемся. — Он немного помолчал и тихо добавил: — Она гуляет с казаком.

Стакан со звоном выпал из рук Деборы. Мирьям проснулась в своем углу, и Менухим беспокойно заворочался. Потом все стихло. В небе над домом запели тысячи жаворонков.

Яркий луч солнца ударил в окно, упал на натертый до блеска самовар и, как в зеркале, отразился на его круглых боках. Так начался день.

VII

В Дубно ездят на подводе Самешкина; в Москву ездят по железной дороге; в Америку ездят не только на пароходе, но еще и с документами. Чтобы их получить, надо попасть в Дубно.

Поэтому Дебора отправляется к Самешкину. Самешкин уже не сидит на скамейке у печки, Самешкина вообще нет дома. Был четверг и, значит, свиной базар, Самешкин мог вернуться лишь через час. Дебора ходит перед домиком Самешкина взад и вперед, взад и вперед ходит она и думает только об Америке.

Один доллар это больше, чем два рубля, один рубль это сто копеек, в двух рублях двести копеек, боже ж мой, сколько же копеек в одном долларе? Сколько долларов, бог даст, пришлет Шемарья еще? Благословенная страна эта Америка.

Мирьям гуляет с казаком, в России это можно, но в Америке нет казаков. Россия — страна печали, Америка — страна свободы, страна радости. Мендель больше не будет учителем, отцом богатого сына будет он.

Проходит не час и не два, только через три часа слышит Дебора стук подбитых гвоздями сапог Самешкина.

Уже вечер, но все еще стоит жара. Косые лучи солнца уже пожелтели, но оно еще не собирается уступить место ночи, очень медленно заходит сегодня солнце. Дебора потеет от жары, волнения и тысячи непривычных мыслей.

Но тут приходит Самешкин, и ей становится еще жарче. На нем тяжелая медвежья шапка, лохматая и кое-где потертая, поверх грязных холщовых штанов, заправленных в грубые сапоги, короткий полушубок. Однако он не потеет.

В ту минуту, когда Дебора увидела его, она почувствовала и его запах, а пахнет он самогоном. Придется ей с ним помучиться. Уговорить нетрезвого Самешкина это вам уже не шуточки.

По понедельникам в Дубно бывает свиной базар. Плохо, что Самешкин уже закончил там свои дела и ехать в Дубно ему теперь незачем, а подвода все-таки денег стоит.

Дебора подходит совсем близко к Самешкину и преграждает ему путь. Тот покачивается, только тяжелые его сапоги удерживают его на ногах. Счастье еще, что он не босой, думает Дебора с некоторым презрением.

Самешкин не узнает женщину, преградившую ему путь.

— К черту баб! — орет он и делает движение рукой, пытаясь не то уцепиться за нее, не то ударить.

— Это ж я! — храбро произносит Дебора. — В понедельник мы едем в Дубно!

— Бог в помощь! — кричит в ответ Самешкин. Он останавливается и опирается локтем о плечо Деборы. Она не шевелится, боясь, что он упадет.

Самешкин весит добрых семьдесят кило, и все эти семьдесят кило в его локте, а локоть этот на плече Деборы.

Еще никогда чужой мужчина не подходил к ней так близко. Ей страшно, но тут она вспоминает Мирьям и ее казака и думает о том, что она уже состарилась и что Мендель уже давно к ней не прикасался.

— Да, мой цыпленочек, — продолжает Самешкин, — в понедельник мы поедем в Дубно, а по дороге побалуемся.

— Тьфу на тебя, — говорит Дебора, — вот я пожалуюсь твоей жене, ты, может быть, пьян?

— Он не пьян, — отвечал Самешкин, — он только выпил. А зачем тебе в Дубно, если ты не хочешь спать с Самешкиным?

— Выправить документы, мы едем в Америку.

— Подвода будет стоить пятьдесят копеек, если ты не согласна, и тридцать, если ты с ним переспишь. Он сделает тебе ребеночка, и ты родишь его в Америке, подарочек от Самешкина.

Несмотря на жару, Дебору начинает бить дрожь.

И все же, немного помедлив, она говорит:

— Я не буду с тобой спать, но я плачу тебе тридцать пять копеек.

Самешкин внезапно выпрямляется и снимает свой локоть с плеча Деборы. Похоже, что он вдруг протрезвел.

— Тридцать пять копеек, — твердым голосом говорит он.

— В понедельник, в пять утра.

— В понедельник, в пять утра.

Самешкин заворачивает в свой двор, и Дебора медленно идет домой.

Солнце село. С запада налетает ветер, на горизонте собираются лиловые тучи, завтра будет дождь. Дебора думает: завтра будет дождь. Она вдруг ощущает боль в колене и приветствует ее как старого, привычного недруга. Старею, думает она. Женщины стареют быстрей, чем мужчины, Самешкину, например, столько же, сколько и ей, а то и того больше. Мирьям молода, она гуляет с казаком.

От слова «казак», которое она произнесла вслух, Деборе становится страшно. Как будто только теперь она осознала весь ужас этого проступка.

Дома она увидела дочь свою Мирьям и мужа своего Менделя. Они сидели за столом, отец и дочь, и молчали так упорно, что Дебора уже с порога поняла, как долго длится это молчание, уже привычное, устоявшееся.

— Я поговорила с Самешкиным, — прервала молчание Дебора. — В понедельник в пять утра я еду в Дубно насчет документов. Он хочет тридцать пять копеек.

А так как в ней сидит демон тщеславия, она добавляет:

— Так дешево он берет только с меня!

— Ты не можешь ехать одна, — возразил Мендель, в голосе его усталость, в сердце — страх. — Я поговорил с евреями, которые в этом кое-что понимают. Они говорят, я сам должен идти к уряднику.

— Ты — к уряднику?

Было и вправду нелегко представить себе Менделя Зингера в присутственном месте. Никогда в жизни он не говорил с урядником. Он начинал трястись, едва завидев полицейского. Он обходил за три версты людей в форме, лошадей и собак. И Мендель будет говорить с урядником?

— Мендель, оставь в покое вещи, в которых ты ничего не смыслишь и можешь только испортить, — сказала Дебора. — Я все устрою сама.

— Но все евреи, — возразил Мендель, — сказали мне, что я сам должен туда явиться.

— Ну тогда мы едем в понедельник вместе!

— А куда мы денем Менухима?

— Мирьям останется с ним!

Мендель взглянул на жену свою. Он попытался поймать ее взгляд, но она боязливо прикрыла глаза веками. Мирьям, разглядывавшая из своего угла стол, уловила взгляд отца, и сердце ее забилось сильнее. В понедельник у нее было назначено свидание. Свидание было у нее в понедельник. Каждый день в эту жаркую пору позднего лета у нее было свидание. Ее любовь расцвела поздно, среди спелых колосьев, и Мирьям старалась не думать о жатве. Она уже видела, что крестьяне готовятся к ней и точат на синих брусках свои серпы. Куда она пойдет, когда поля опустеют? Нужно ехать в Америку. Неясная мысль о свободе любви в Америке, среди высоких домов, которые могли спрятать еще лучше, чем колосья в поле, утешила ее, заставив забыть о приближении жатвы. Она уже наступила. Мирьям не могла терять время. Она любила Степана. Он останется здесь. Она любила мужчин, всех мужчин. Они налетали как ураган, их сильные руки были нежны и зажигали огонь в сердце. Мужчин звали Степан, Иван или Всеволод. В Америке мужчин было еще больше.

— Я не останусь одна дома, — сказала Мирьям, — я боюсь!

— Нет, — послышался голос Менделя, — ей нужно поставить в доме казака. Чтобы он ее охранял.

Мирьям покраснела. Ей казалось, что отец заметил это, хотя она стояла в углу, где тень. Ее покрасневшие щеки наверняка светились в темноте, лицо Мирьям пы-

лало, как красная лампа. Она прикрыла его руками и разрыдалась.

— Иди во двор! — сказала Дебора. — Уже поздно, надо закрыть ставни!

Мирьям выбралась наружу, все еще прижав руки к лицу. Она немного постояла во дворе. На небе светились звезды, такие близкие и живые, точно они только и дожидались, когда Мирьям выйдет. Их сильное золотое сияние было частью великолепного, большого, свободного мира, это были маленькие зеркальца, в которых отражалось великолепие Америки.

Она подошла к окну, заглянула внутрь, пытаясь понять по выражению лиц родителей, что они говорят. Но ничего не разобрала. Она откинула железные крючки, придерживавшие раскрытые ставни, и захлопнула обе створки, как закрывают дверцы шкафа. Это напомнило ей гроб. Она похоронила своих родителей в их маленьком домишке. Ей не было их жаль. Мендель и Дебора были похоронены. Мир лежал перед ней, большой и живой. Там жили Степан, Иван и Всеволод. Там, по ту сторону океана, была Америка с ее высокими домами и с миллионами мужчин.

Когда она вернулась в дом, Мендель Зингер, отец ее, сказал:

— Даже ставни она не может закрыть, полчаса надо ей на это!

Он крякнул, поднялся и подошел к стене, где висела маленькая керосиновая лампа, темно-синяя, покрытая копотью, прикрепленная ржавой проволокой к овальному, покрытому трещинами зеркалу, в обязанности которого входило усиливать скудный свет лампы, к тому же бесплатно. Верхний край цилиндра возвышался над головой Менделя. Напрасно пытался он задуть лампу. Он встал на цыпочки и дунул раз, другой, но фитиль запылал только еще ярче.

Тем временем Дебора зажгла небольшую желтоватую свечу и поставила ее на сложенную из кирпича плиту. Мендель Зингер, кряхтя, взобрался на кресло и задул наконец лампу. Мирьям улеглась в своем углу рядом с Менухимом. Она хотела раздеться, только когда станет совсем темно. Затаив дыхание, плотно закрыв глаза, она ждала, пока отец закончит бормотать молитву. Сквозь круглую дырочку в ставне было видно сине-золотое сияние ночи. Она разделась и потрогала свои груди. Груди болели. Ее кожа жила своей жизнью, каждый ее кусочек хранил воспоминание о твердых, больших и горячих руках мужчин. Ее обоняние тоже имело свою память, оно с мучительной верностью удерживало в себе запах мужского пота, самогона и юфти. Она слышала храп родителей и тяжелое дыхание Менухима. И вот Мирьям, в ночной рубашке, босая, с перекинутыми на грудь тяжелыми косами, концы которых касались ее колен, поднялась, отодвинула засов и вышла в ночь. Ей показалось, что вся ночь вошла в нее, все золотые звезды вобрало в себя ее дыхание, но еще больше их сияло в небе. Квакали лягушки, трещали кузнечики, небо на северо-востоке окаймляла широкая серебряная полоса, в которой, казалось, уже зарождалось утро. Мирьям вспомнила пшеничное поле, свое брачное ложе. Она обошла вокруг дома. Там, вдалеке, виднелись высокие белые стены казармы. Несколько тусклых огоньков доносили свой свет до Мирьям. Там, в большом помещении, спали Степан, Иван, и Всеволод, и еще много других мужчин.

Следующий день была пятница. Надо было все приготовить к субботе: клецки, щуку и куриный бульон. Печь принялись топить уже в шесть часов утра. Когда широкая серебряная полоса стала розовой, Мирьям проскользнула в комнату. Она так и не заснула. Через дырочку в ставне она увидела, как загорелись первые лучи солнца. Отец и мать уже заворочались во сне. Наступило утро. Прошла суббота. Воскресенье Мирьям провела на пшеничном поле, со Степаном. Потом они пошли дальше за поле, в соседнюю деревню, там Мирьям пила водку. Целый день искали ее домашние. Пусть ищут! Жизнь была так полна, а лето так коротко, скоро будет жатва. В лесу она снова спала со Степаном. Завтра, в понедельник, отец поедет в Дубно выправлять документы.

В пять часов поднялся в понедельник Мендель Зингер. Он выпил чаю, помолился, потом быстро снял молитвенные ремешки[1] и пошел к Самешкину.

— Доброе утро! — еще издалека поздоровался он. Менделю Зингеру показалось, что уже сейчас, до того, как он сел на подводу, начинаются официальные действия, а потому с Самешкиным следует вести себя, как с урядником.

— Я хочу ехать с твоей женой! — отвечал Самешкин. — Для своих лет она еще очень недурна, и грудь у нее большая.

— Поехали, — сказал Мендель.

Лошади заржали и взмахнули хвостами.

— Но! Пошли! — закричал Самешкин и щелкнул кнутом.

В одиннадцать часов пополудни приехали они в Дубно.

---

[1] Молитвенные ремешки — ремешки с изречениями из Торы, надеваются евреями во время молитвы.

Менделю велели подождать. Он прошел, держа шапку в руках, через большие ворота. Там стоял швейцар с саблей.

— Куда ты хочешь? — спросил он.

— Я хочу в Америку, куда мне идти?

— Как тебя зовут?

— Мендель Мехелович Зингер.

— Для чего ты едешь в Америку?

— Заработать денег, живу я плохо.

— Тогда иди в номер восемьдесят четыре, — сказал швейцар. — Там уже многие дожидаются.

Они сидели в большом сводчатом коридоре, выкрашенном ярко-желтой краской. Люди в синих мундирах стояли на страже у дверей. Вдоль стен тянулись коричневые скамьи, все они были заняты. Но как только входил новый посетитель, синие люди делали движение рукой, и сидевшие сдвигались плотнее, давая место новенькому. Здесь курили, плевались, лузгали тыквенные семечки и спали, похрапывая. День здесь не чувствовался. Сквозь матовое стекло расположенного далеко наверху окна можно было уловить лишь бледное отражение дня. Где-то тикали часы, но они шли как бы вне времени, в этих высоких коридорах время стояло. Иногда человек в синем мундире выкликал чье-то имя. Спящие тут же просыпались. Вызванный вставал, одергивал свое платье, пошатываясь, шел к высоким двустворчатым дверям и исчезал за одной из них, у которой вместо ручки была круглая белая нашлепка. Мендель стал думать, что ему надо сделать с этой нашлепкой, чтобы открыть дверь. Он встал. От долгого и неудобного сидения все тело затекло. Но едва только он поднялся, как человек в синем поспешил к нему.

— Сидай! — громко сказал синий человек. — Сядь!

Однако не оказалось уже места для Менделя Зингера на его скамье. Тогда он встал возле скамьи, прижался к стене, желая исчезнуть, стать таким же плоским, как она.

— Ты в номер восемьдесят четыре? — спросил синий человек.

— Да, — сказал Мендель. Он уже было решил, что его собираются сейчас же выбросить вон. Придется Деборе еще раз ехать сюда. Пятьдесят копеек да пятьдесят копеек — это будет рубль. Но синий человек не собирался выгонять Менделя из этого дома. Для него главное было, чтобы все посетители сидели на своих местах и он мог наблюдать за ними. Тот, кто встал, мог, чего доброго, и бомбу бросить.

Анархисты иногда и замаскироваться могут, подумал швейцар. Он знаком подозвал Менделя к себе, ощупал его и спросил, где его бумаги. Но так как все было в порядке, а место Менделя уже кто-то занял, человек в синем сказал:

— Эй, послушай! Видишь ту стеклянную дверь? Открой ее, номер восемьдесят четыре там.

— Что тебе тут надо? — закричал широкоплечий человек, сидевший за столом. Чиновник этот сидел прямо под портретом царя. Весь он состоял из усов, лысины, эполет и пуговиц. За своим огромным чернильным прибором из мрамора он был похож на раскрашенный бюст.

— Кто позволил тебе входить без доклада? Почему ты не представляешься? — загремел голос из-за чернильницы. Мендель Зингер низко поклонился бюсту. К такому приему он не был готов. Он согнулся, пропуская громы над своей головой. Ему хотелось стать совсем крошечным, сровняться с землей, будто в чистом поле во время грозы. Полы его длинного кафтана распахнулись, и чиновник увидел вытертые штаны Менделя Зингера и изношенные голенища его сапог. Это зрелище смягчило чиновника.

— Подойди ближе! — приказал он, и Мендель двинулся вперед вытянув шею, точно он собирался боднуть стол. Только увидав, что он стоит у края ковра, Мендель слегка приподнял голову. Чиновник улыбнулся. — Давай сюда бумаги! — сказал он.

Потом все стихло. Слышно было лишь тиканье часов. Сквозь жалюзи пробивался золотистый послеполуденный свет. Шелестели бумаги. Время от времени чиновник задумывался, глядя перед собой, и вдруг ловким движением хватал зазевавшуюся муху. Подержав ее немного в своем огромном кулаке, он осторожно разжал пальцы, оторвал ей сначала одно крылышко, потом другое, поглядел, как искалеченное насекомое ползет по столу, и вдруг сказал:

— Прошение, где прошение?

— Я писать не умею, ваше высокоблагородие! — оправдывался Мендель.

— Ах ты дурень! Я и сам знаю, что ты не умеешь писать! Я не спрашиваю, где твое свидетельство об окончании школы, мне нужно прошение. А для чего же мы

держим тут писаря? А? На первом этаже, в третьем номере, а? Для чего государство содержит писаря? Да для тебя, осел ты эдакий, потому что ты писать не умеешь. Иди-ка ты в комнату номер три, напиши прошение. Скажи, что я тебя послал. Чтобы тебя там не заставляли ждать, а немедленно приняли. Потом придешь ко мне опять. Но только завтра! А завтра после обеда можешь, пожалуй, и домой возвращаться!

Еще раз поклонился Мендель. Он попятился к двери, не осмеливаясь повернуться к чиновнику спиной. Бесконечно долгим показался ему путь от стола к двери. Ему почудилось, что он идет так уже целый час. Наконец он приблизился к двери. Тут он быстро повернулся, схватился за шишечку, повернул ее налево, потом направо, потом еще раз поклонился. И вот он снова в коридоре.

В номере третьем сидел чиновник обычный, без эполет. Это была низенькая, душная комнатенка, множество людей толпилось у стола, где сидел чиновник и писал себе да писал, нетерпеливо стукая пером о донышко чернильницы. Писал он быстро, да все никак не мог остановиться. Приходили все новые и новые люди. И все-таки он заметил Менделя.

— Ваше высокоблагородие, меня прислал господин из номера восемьдесят четыре, — сказал Мендель.

— Подойди поближе! — приказал писарь.

Менделя Зингера пропустили вперед.

— Давай рубль за печать! — сказал писарь.

Мендель вытащил из своего синего носового платка рубль. Это был твердый, блестящий, новенький рубль. Но писарь не взял монету, он ждал, что ему дадут еще хотя бы пятьдесят копеек прибавки. Но Мендель не понял этого простого желания писаря.

Тут чиновник рассвирепел.

— Разве это бумаги? — закричал он. — Это ж труха! Они разваливаются прямо в руках.

И он, как бы ненарочно, разорвал один из документов. Тот распался на две части, а писарь схватился за гуммиарабик, чтобы склеить бумагу.

Мендель Зингер задрожал.

Гуммиарабик совсем высох, и писарь плюнул в пузырек и подышал на него. Но это не помогло. Тут ему что-то пришло в голову. По нему было видно, что ему что-то пришло в голову. Он открыл ящик стола, положил туда бумаги Менделя Зингера, закрыл ящик, вырвал из блокнота небольшой клочок зеленой бумаги, приложил к нему печать, подал Менделю и сказал:

— Знаешь что? Приходи лучше завтра утром, в девять! Тут никого не будет. Мы с тобой спокойно покалякаем. А твои бумаги останутся здесь, у меня. Завтра заберешь их. Покажешь этот листок!

Мендель вышел на улицу. Там ждал Самешкин. Он сидел на камне, рядом со своими лошадьми. Солнце зашло, наступил вечер.

— Мы поедем завтра. Утром в девять часов мне велели прийти сюда снова, — сказал Мендель.

И пошел искать молитвенный дом, чтобы было где переночевать. Он купил хлеб, две луковицы, сунул их в карман, остановил по дороге какого-то еврея и спросил его, где находится молитвенный дом.

— Иди за мной, — сказал еврей.

По дороге Мендель поведал свою историю.

— У нас в молитвенном доме, — заметил еврей, — есть один человек, так он тебе может помочь в этом деле. Он уже многих отправил в Америку. Каптурака знаешь?

— Каптурака? Конечно, знаю! Это он переправил моего сына!

— А, старый клиент! — сказал Каптурак. В конце лета он сидел в Дубно и собирал клиентов, приходивших в молитвенные дома. — В тот раз ко мне приходила твоя жена. Твоего сына я помню. Как ему там живется, хорошо? У Каптурака рука счастливая.

Оказалось, что Каптурак может все уладить сам. Пока надо было заплатить по десять рублей с человека, задаток десять рублей. Десять рублей Мендель дать не мог. Но Каптурак тут же нашел выход. Он велел дать ему адрес молодого Зингера. Через четыре недели, сказал он, мы получим ответ и деньги, если сын действительно хочет, чтобы родители к нему приехали.

— Дай сюда свою зеленую бумажку, письмо из Америки и положись на меня! — продолжал Каптурак. Стоявшие вокруг евреи закивали головами. — Поезжай домой сегодня же. Через пару дней я загляну к вам. Положись на Каптурака!

Стоявшие тут же евреи повторили:

— Можешь положиться на Каптурака, он не подведет!

— Какое счастье, — сказал Мендель, — что я вас встретил!

Все пожали ему руку и пожелали счастливого возвращения. Он пошел назад на базарную площадь, где его ждал Самешкин. Самешкин как раз собирался ложиться спать.

— С евреями ладиться только черту впору! — сказал он. — Так мы все-таки едем домой!

И они поехали.

Самешкин привязал поводья к запястью, собираясь немного вздремнуть. Пока он дремал, лошади перепугались, увидев тень от огородного пугала, которое какой-то проказник вытащил с поля и поставил на краю дороги, и пустились вскачь. Подвода, казалось, летела не касаясь земли. Вот сейчас, подумал Мендель, она вспорхнет и улетит. Сердце его тоже пустилось в галоп. Ему почудилось, что оно сейчас выскочит из его груди и умчится вдаль. Самешкин вдруг громко выругался. Передние копыта лошадей еще касались дороги, но подвода уже летела в канаву, Самешкин упал на Менделя Зингера.

Они выбрались из канавы. Оглобля была сломана, одно колесо отскочило, в другом не хватало двух спиц. Придется провести ночь здесь, решили они, утром будет видно.

— Вот так начинается твое путешествие в Америку, — сказал Самешкин. — И что вы все ездите по свету! Черт носит вас с места на место. Вот мы, к примеру, живем, где родились, только если война начнется, так уж тогда поедем в Японию!

Мендель Зингер не ответил. Он сидел на обочине рядом с Самешкиным. В первый раз за свою жизнь сидел Мендель Зингер на голой земле рядом с крестьянином, и случилось это глухой ночью. Он смотрел на небо и звезды и думал: там, за ними, сам Бог. Все это Господь создал за семь дней, но если еврею вздумается поехать в Америку, так на это уйдут годы!

— Видишь, как красиво? — спросил Самешкин. — Скоро начнется жатва. Нынче год хороший. И если все пойдет так хорошо, как я думаю, осенью я куплю себе еще одну лошадку. Что-нибудь слышно о твоем сыне Ионе? Вот он в лошадях разбирается. Он-то не такой, как ты. Может, тебя твоя баба обманула?

— Все может быть, — ответил Мендель.

Он вдруг почувствовал какую-то легкость, все стало доступно для понимания, ночь освободила его от предрассудков. Он теснее прижался к Самешкину, точно тот был ему братом.

— Все может быть, — повторил он, — никчемный народ эти бабы.

Неожиданно Мендель всхлипнул. И заплакал Мендель, сидя глухой темной ночью рядом с Самешкиным.

Крестьянин прижал ладони к глазам, ему казалось, что он сам сейчас заплачет.

Немного погодя он положил руку на худые плечи Менделя и тихо сказал:

— Спи, еврей, тебе нужно выспаться!

И он еще долго сидел так, а Мендель Зингер спал, похрапывая во сне. Лягушки не умолкали до утра.

VIII

Спустя две недели к дому Менделя Зингера подкатил, поднимая тучи пыли, небольшой двухколесный экипаж, в нем сидел нежданный гость. Это был Каптурак.

Он сообщил, что бумаги уже готовы. Если через четыре недели придет из Америки ответ от Шемарьи, называемого также Сэмом, то отъезд семьи Зингеров будет обеспечен. Только это и хотел сообщить Каптурак, да еще то, что предпочел бы получить сейчас двадцать рублей задатка, а не ждать, пока придут деньги от Шемарьи.

Дебора вошла в сколоченный из гнилых досок сарай, стоявший посреди маленького двора, стянула через голову кофту, достала спрятанный на груди завязанный узлом носовой платок и отсчитала восемь рублей монетами. Потом она снова натянула кофту, вернулась в дом и сказала Каптураку:

— Тут все, что я смогла занять у соседей. Берите то, что есть.

— Ладно, раз вы мои старые клиенты, пусть будет так! — сказал Каптурак, вскочил в свой легонький желтый экипажик и тотчас же скрылся в клубах пыли.

— У Менделя Зингера был Каптурак! — говорили в городке.

— Значит, Мендель едет в Америку.

И в самом деле, путешествие Менделя Зингера в Америку уже началось. Все давали ему советы, как уберечься от морской болезни. Появилось несколько покупателей, желавших осмотреть домишко Менделя. Они предлагали за него тысячу рублей, сумма, за которую Дебора готова была отдать пять лет своей жизни.

Но Мендель Зингер сказал:

— Ты знаешь, Дебора, что Менухиму придется остаться? Где же он будет жить? Через месяц Биллес выдает свою дочь за музыканта Фогля. Пока у молодых не появится ребенок, они смогут присмотреть за Менухимом. А за это мы дадим им жилье и не возьмем с них денег.

— Так ты уже решил оставить Менухима здесь? Подожди, до нашего отъезда осталась еще пара недель, а до тех пор Господь сотворит чудо.

— Если Господь захочет сотворить чудо, — возразил Мендель, — он не станет об этом извещать. Но будем надеяться. Если мы не поедем в Америку, то с Мирьям случится несчастье. Если же мы поедем в Америку, тогда нам придется оставить Менухима здесь. Не хочешь ли ты отправить Мирьям одну в Америку? Кто знает, что она натворит в дороге и там, в Америке, если мы отправим ее одну. Менухим так болен, что помочь ему может только чудо. Если же случится чудо и он выздоровеет, тогда он тоже поедет. Хоть Америка и далеко, но она все же находится на этом свете, а не на том.

Дебора притихла. Она услышала слова рабби из Клучиска:

«Не оставляй сына своего, даже если он тебе в тягость. Не отпускай его от себя, он плоть твоя, как и здоровые дети!»

Но она не осталась с ним. Много лет, день за днем, час за часом ждала она предсказанного ей чуда. Ни мертвые на том свете, ни рабби на этом так и не помогли ей, сам Бог не хотел ей помочь. Море слез пролила она. С тех пор как родился Менухим, ночь поселилась в ее сердце, всякая радость была отравлена скорбью. Праздники стали мукой, и дни отдыха стали днями печали. Не было больше ни весны, ни лета. Все времена года превратились в зиму. Солнце всходило, но не согревало. Одна только надежда не хотела умирать.

— Он так и останется калекой, — говорили все соседи. Ведь несчастье приключилось не с ними, а тот, кто не знал горя, не верит и в чудо.

Но и тот, кто знал горе, тоже не верит в чудо. Чудеса совершались лишь в давние времена, когда евреи еще жили в Палестине. С тех пор чудес уже больше не случалось. Но разве не ходят правдивые истории о чудесах, которые совершил рабби из Клучиска? Разве не он делал слепых зрячими и исцелял парализованных? Вот, например, дочь Натана Пиченика. Что с ней было? Сумасшедшей была она, безумной. Но ее повезли в Клучиск. И рабби посмотрел на нее. И сказал он свое слово. А потом плюнул он трижды. И что вы думаете? Вернулась дочь Пиченика домой разумная, легкая и свободная.

Другие люди имеют счастье, думала Дебора. Чтобы случилось чудо, надо тоже иметь счастье. Но у детей Менделя Зингера нет счастья. Какое счастье у детей учителя?

— Если бы ты был разумным человеком, — обратилась она к Менделю, — ты бы завтра же поехал в Клучиск и спросил совета у рабби.

— Я? — спросил Мендель. — Что мне делать у твоего рабби? Ты уже была у него, так поезжай еще раз! Ты в него веришь, вот тебе он и даст совет. Ты же знаешь, не верю я в это. Чтобы говорить с Богом, еврею не нужен посредник. Господь услышит наши молитвы, если мы не будем делать неправедные дела. А будем вести себя неправедно, так он нас накажет!

— За что же карает он нас? Разве мы сделали что-то плохое? Почему же он так жесток?

— Не богохульствуй, Дебора. Оставь меня в покое, мне некогда с тобой говорить.

И Мендель углубился в чтение божественной книги.

Дебора схватила свою шаль и вышла из дома. Во дворе стояла Мирьям. Она стояла там, розовая от лучей заходящего солнца, в белом платье, отливавшем сейчас золотисто-оранжевым светом, игравшим в ее гладких черных волосах, и смотрела прямо на солнце своими большими черными широко открытыми глазами, не боясь его слепящих лучей. Красивая, подумала Дебора. Я тоже когда-то была красивой, такой же красивой, как моя дочь, и что со мной стало? Женой Менделя Зингера стала я. Мирьям красивая, гуляет с казаком. Может быть, она права.

Мирьям, казалось, не видела мать. Забыв обо всем, она сосредоточенно следи-

ла за пылающим солнечным диском, который как раз собирался скрыться за тяжелой лиловой завесой туч. Уже несколько дней эта темная масса появлялась по вечерам на западе, предвещая дождь и бурю, и снова исчезала на следующее утро. Мирьям заметила, что в то мгновение, как солнце скрывалось за тучами, на другой стороне, в кавалерийской казарме, солдаты запевали песню, пела вся сотня и все одну и ту же песню: «Полюбил я тебя за твою красоту». Служба заканчивалась, казаки встречали вечер. Мирьям вполголоса повторила две первые строчки, которые она только и знала: «Полюбил я тебя за твою красоту». Целая сотня пела про нее! Сотня мужчин для нее пела. Через полчаса она встретится с одним из них или с двумя. Иногда приходили даже трое.

Тут она увидела мать и спокойно остановилась, зная, что Дебора сама подойдет к ней. Уже много дней мать не отваживалась звать Мирьям домой. Ей казалось, что от Мирьям исходит та же угроза, которая чудилась ей в казаках, и наполняла страхом ее сердце, как будто дочь ее была теперь под охраной враждебной и дикой казармы.

Нет, Дебора не подозвала Мирьям к себе. Дебора сама подошла к Мирьям. И вот стояла она в своей старой шали, старая, некрасивая, испуганная, перед залитой солнечным светом Мирьям, прижимаясь к краю деревянного тротуара, будто следуя древнему закону, который повелевал некрасивым матерям стоять на полметра ниже своих прекрасных дочерей.

— Отец сердится, Мирьям! — сказала Дебора.

— Пусть он сердится, твой Мендель Зингер, — отвечала Мирьям.

Впервые услышала Дебора имя отца из уст одного из своих детей. На мгновение ей показалось, что с ней говорит кто-то чужой, а не дитя Менделя. Эта незнакомка, почему она называет его «отец»? Деборе захотелось повернуть назад. Наверное, она ошиблась, заговорила с чужим человеком. Она собралась было уходить.

— Подожди! — приказала Мирьям, и Дебора в первый раз заметила, как жестко звучит голос ее дочери. Железный голос, подумала Дебора. Он был похож на звон одного из этих ненавистных и страшных церковных колоколов.

— Побудь здесь, мама! — повторила Мирьям. — Брось его здесь, своего мужа, поезжай со мной в Америку. Оставь Менделя Зингера и Менухима, этого идиота, здесь.

— Я просила его поехать к рабби, но он не хочет. Я больше не поеду одна в Клучиск. Я боюсь! Один раз он уже запретил мне бросать Менухима, даже если его болезнь будет длиться много лет. Что я должна ему сказать, Мирьям? Сказать ему, что мы должны поехать ради тебя? Потому что ты, потому что ты...

— Потому что я связалась с казаками, — закончила Мирьям все так же спокойно. — Можешь сказать ему что хочешь, мне до этого нет никакого дела. В Америке я тем более буду делать все, что захочу. Я не хочу выходить замуж за такого, как Мендель Зингер, только потому, что ты за него вышла. Или, может быть, ты нашла мне лучшего мужа? А? Или ты имеешь приданое для своей дочери?

Мирьям говорила не повышая голоса, и вопросы ее не были вопросами, будто она говорила самые обычные слова, будто сообщала, сколько стоят нынче яйца и зелень. Она права, думала Дебора. Господи Боже, она права.

Всех добрых духов звала на помощь Дебора. Потому что чувствовала она правоту дочери, это она сама говорила сейчас устами своей дочери. И Дебора испугалась этих своих мыслей, как минуту назад ужаснулась она словам Мирьям. Страшные дела происходили на свете. Пение солдат едва слышно доносилось до них. Последняя красная полоска солнца еще виднелась из-за лиловых туч.

— Я должна идти, — сказала Мирьям, отходя от забора, к которому она прислонилась, разговаривая с матерью. Легко, словно белая бабочка, спорхнула она с тротуара и пошла посреди улицы быстрым, кокетливым шагом в сторону казармы, навстречу призывному пению казаков.

Шагах в пятидесяти от казармы, на маленькой тропинке между лесом и полем Самешкина ее ждал Иван.

— Мы едем в Америку, — сказала Мирьям.

— Ты меня не забудешь, — пообещал Иван. — В этот час, на закате солнца, всегда будешь думать обо мне, забудешь про других. А может, даст Бог, и я приеду к тебе, ты мне пиши. Павел будет читать мне твои письма, только много не пиши про наши с тобой дела, а то мне будет стыдно.

Он поцеловал Мирьям, крепко и долго, его поцелуи звучали в вечерней тишине как выстрелы. Чертова девка, думал он, уезжает в Америку, теперь мне придется искать другую. Такую красивую мне больше не найти, а служить еще четыре года.

Он был высокий, сильный, как медведь, и робкий. Сильные его руки дрожали, когда он прикасался к девушке. В любви он тоже был неумел, всему его научила Мирьям, чего только она не придумывала!

Они обнимались, как вчера и третьего дня, посреди поля, утопая среди плодов земли, а вокруг стояли, скрывая их, тяжелые колосья. Послушно склонились колосья, когда Мирьям и Иван опустились на землю; казалось, еще прежде, чем они это сделали, колосья уже послушно улеглись. Сегодня любовь их была бурной и краткой, будто им уже надо было торопиться. Словно Мирьям уже завтра уезжала в Америку. Разлука чувствовалась в их любви сегодня. В самом соитии они уже удалялись друг от друга, океан разделял их. Как хорошо, думала Мирьям, что не он уезжает, что не я остаюсь. Они долго лежали так, утомленные, беспомощные, молчаливые, как лежат тяжелораненые на поле боя. Тысячи мыслей блуждали в их головах. Они не заметили, как пошел наконец дождь. Дождь начался вкрадчиво и незаметно, понадобилось некоторое время, чтобы его капли набрали силу и пробили плотную золотую завесу колосьев. Внезапно на них обрушились потоки воды. Они очнулись и бросились бежать. Дождь привел их в замешательство, лишил на некоторое время ощущения реальности, преобразил все вокруг. Им показалось, что уже поздно, и они прислушались, не слышно ли звона колоколов, но услышали все усиливавшийся шорох дождя; все другие голоса ночи странно молчали. Они целовались, держась за руки, прижимаясь один к другому мокрым лицом, вода разделяла их, и они не чувствовали тела друг друга. Торопливо распрощавшись, они пошли каждый своей дорогой, и вот уже Иван окунулся в пелену дождя и сделался невидим. Никогда больше она не увидит его! Так думала Мирьям, возвращаясь домой. Наступает жатва. Крестьяне завтра всполошатся, ведь один дождь ведет за собой другой.

Она подошла к дому, постояла немного под козырьком крыши, словно за эти краткие мгновения можно было обсохнуть. Наконец она решилась войти. В комнате было темно, все уже спали. Как была, мокрая, она тихо легла, не снимая платья, и лежала так неподвижно. За окном шелестел дождь.

Все уже знали, что Мендель едет в Америку, ученики один за другим перестали посещать его уроки. В конце концов осталось всего пять мальчиков, да и те приходили нерегулярно. Бумаги Каптурак так и не привез, а Сэм все не слал билеты на пароход. Но дом Менделя Зингера уже начал разрушаться. Какой же он ветхий, думал Мендель. Он был ветхим, но мы этого не знали. Тот, кто не умеет видеть, подобен глухому, и ему приходится еще хуже, чем глухому, так написано в какой-то книге. Здесь был учителем мой дед, здесь был учителем мой отец, здесь был учителем я. И вот я еду в Америку. Моего сына Иону забрали казаки, Мирьям они тоже хотят отнять у меня. Менухим, что же будет с Менухимом? Уже вечером того дня он отправился в дом Биллеса. Это была счастливая семья, Менделю Зингеру казалось, что эта семья не заслуживала такого счастья. Все дочери уже были замужем, кроме младшей, которой он и собирался предложить свой дом, все три сына его избежали службы в армии и уехали отсюда, один в Гамбург, второй в Калифорнию, а третий в Париж. Это была веселая семья, рука Господа простиралась над ней, и она уютно устроилась в этой широкой руке. Старый Биллес никогда не унывал. Всех его сыновей обучал Мендель Зингер. Старый Биллес был учеником старого Зингера. А так как они знали друг друга уже давно, Менделю казалось, что он тоже может иметь кусочек от их счастья. Семье Биллеса, а жила она отнюдь не в достатке, предложение Менделя Зингера понравилось. Ладно, решили они, молодая пара возьмет дом и Менухима в придачу.

— Только не заставляйте его работать, — сказал Мендель Зингер. — С каждым годом ему делается все лучше и лучше. Скоро, с Божьей помощью, он будет совсем здоров. Тогда мой старший сын Шемарья приедет сам или пришлет когонибудь и заберет Менухима в Америку.

— А что слышно от Ионы? — спросил старый Биллес. Мендель уже давно ничего не слыхал о своем казаке, как он его про себя называл с некоторым пренебрежением, но не без гордости. Однако он ответил:

— Все хорошо! Он научился читать и писать, его повысили в чине. Если бы он не был евреем, кто знает, может быть, сейчас он уже был бы офицером!

Глядя на это счастливое семейство, Мендель не мог стоять вот так, с тяжелым грузом своих великих несчастий за спиной. Поэтому он выпрямил спину и сочинил себе немного счастья.

Договорились, что Мендель Зингер передаст свой дом в пользование семейству Биллес, что будет удостоверено простыми свидетелями, а не официальным чиновником, так как это стоит денег. Свидетелями будут трое или четверо хороших

евреев, чего вполне достаточно. Мендель получил в задаток тридцать рублей, так как его ученики больше не посещали занятий и деньги в доме кончились.

Спустя неделю Каптурак снова прокатил в своем легком экипаже по местечку. Все было готово: деньги, билеты на пароход, паспорта, визы, подушная подать за каждого из них и даже гонорар для Каптурака.

— Аккуратный плательщик, — сказал Каптурак. — Ваш сын Шемарья, то есть Сэм, аккуратный плательщик. Настоящий джентльмен, как говорят там у них...

До границы семью Зингер проводит Каптурак. Пароход «Нептун» отплывает через четыре недели из Бремена в Нью-Йорк.

Пришло семейство Биллес, чтобы принять имущество. Постельные принадлежности, шесть подушек, шесть простыней, шесть наволочек в красно-синюю полоску Дебора брала с собой, в доме оставались лишь соломенные тюфяки да плохонькое белье для Менухима.

Хотя Деборе особенно нечего было паковать и все свое скудное имущество она могла пересчитать на пальцах, тем не менее она ни минуты не сидела без дела. Упаковывала и снова распаковывала. Считала посуду и снова пересчитывала ее. Две тарелки разбил Менухим. Вообще он, казалось, понемногу терял свое тупое спокойствие. Он чаще, чем прежде, звал мать. Мама, единственное слово, которое он мог выговорить, повторял он много-много раз, даже когда матери не было поблизости. Он был идиотом, этот Менухим! Идиот! Легко сказать, идиот! Но кто знает, какой ураган страхов и волнений пришлось вынести душе Менухима за эти дни, его душе, которую Господь заключил в непроницаемые одежды слабоумия! Да, он испытывал страх, этот калека Менухим! Временами он без чьей-либо помощи выползал из своего угла, добирался до двери, усаживался на пороге, греясь на солнышке, как больная собака, и жмурился, глядя на прохожих, хотя видел, наверное, лишь их сапоги да штаны, чулки да юбки. Порой он вдруг хватался за фартук матери и урчал. Тогда Дебора брала его на руки, хоть он и весил уже немало. Но она все-таки брала его на руки и баюкала, напевая два-три бессвязных куплета из детской песенки, которую она давным-давно забыла, но которая всплывала в ее памяти всякий раз, как она держала на руках своего несчастного сына. Потом она снова сажала его на пол и бралась за работу, которая уже много дней заключалась в упаковке и пересчитывании вещей. Вдруг она отложила в сторону работу. Некоторое время она стояла так, с остановившимся взглядом. Ее глаза были сейчас похожи на глаза Менухима, так безжизненны были они, так беспомощно искали они где-то вдали все ускользавшую из ее головы мысль. Ее безумный взгляд упал на мешок, в который она собиралась зашить подушки. Ей пришло в голову, не спрятать ли Менухима в такой мешок? И тут же она задрожала при мысли, что чиновники на таможне станут протыкать тюки пассажиров длинными, острыми спицами. И она вновь принялась все распаковывать, решив, что остается. Ведь рабби из Клучиска сказал: «Не покидай его, как не покинула бы ты здоровое дитя!» У нее больше не было сил, чтобы верить, но понемногу ее оставляли и те силы, которые нужны человеку, чтобы сдержать отчаяние.

Казалось, будто не они, Дебора и Мендель, по доброй воле решили ехать в Америку, но будто сама Америка пришла за ними, обрушилась на них вместе с Шемарьей, Маком и Каптураком. А когда они это заметили, было уже поздно. Им уже было не спастись от Америки. Пришли бумаги, и билеты на пароход, и подушная подать.

— А что, если, — спросила как-то Дебора, — что, если Менухим вдруг выздоровеет сегодня или завтра?

Мендель только покачал головой. А потом он сказал:

— Если Менухим выздоровеет, мы возьмем его с собой!

И оба потихоньку стали ждать в надежде, что завтра или послезавтра Менухим встанет с постели здоровый, со здоровыми руками и ногами и с нормальной речью.

В воскресенье они уезжают. Но сегодня еще четверг. В последний раз стоит Дебора у своей плиты и готовит еду на субботу, халы с маком и коржики. Огонь пылает в печи, шипя и потрескивая, и дым наполняет комнату, как каждый четверг уже тридцать лет подряд. За окном идет дождь. Он гонит дым из трубы в комнату, старое, знакомое, расплывшееся пятно вновь появляется на потолке в своей первозданной свежести. Еще лет десять назад надо было залатать дыру в крыше, но теперь это сделает семейство Биллесов.

Уже собран большой коричневый чемодан, обитый по углам железными полосками, с надежным железным запором и двумя блестящими, новенькими замками из железа. Время от времени Менухим подползает к чемодану и дергает за замки.

Тогда раздается страшный треск, замки ударяют о железные обручи и долго вибрируют, никак не желая успокаиваться. А огонь потрескивает, и дым наполняет комнату.

В субботний вечер Мендель Зингер прощался со своими соседями. Они пили желтовато-зеленый самогон, который был приготовлен и пропущен через сухую губку одним евреем. Поэтому самогон был крепкий и горький. Долго прощаются они. Все желают Менделю счастья. Одни поглядывают на него с сомнением, другие с завистью. Однако все говорят, что Америка прекрасная страна. Нет для еврея ничего лучшего, как попасть в Америку.

Этой ночью Дебора встала с кровати и, заботливо прикрывая ладонью свечу, подошла к ложу Менухима. Он лежал на спине, положив тяжелую голову на свернутое в трубку серое одеяло, веки были полуоткрыты, так что виднелись белки глаз. При каждом вздохе тело его содрогалось, сонные пальцы непрерывно шевелились. Руки были прижаты к груди. Во сне лицо его было еще более бледным и дряблым, чем днем, синеватые губы полуоткрыты, в углах рта пузырилась белая пена.

Дебора потушила свет. Еще несколько секунд она посидела рядом с сыном, потом встала и направилась к кровати. Он не поправится, думала она, он никогда не поправится. Этой ночью она так и не заснула.

И вот в воскресенье в восемь часов утра прибыл посыльный от Каптурака. Это тот самый человек в синей фуражке, который когда-то переправлял Шемарью через границу. Сегодня человек в синей фуражке тоже стоит на пороге и отказывается от предложения выпить чаю. Потом он, не говоря ни слова, помогает вынести чемодан и уложить его на повозку. Повозка просторная, в ней достаточно места для четырех человек. Ноги утопают в мягком сене, подвода благоухает, как поле в конце лета. Спины лошадей, тщательно вычищенные, блестят, точно выпуклые коричневые зеркала. Широкий хомут с подвешенными к нему многочисленными серебряными колокольчиками украшает их стройные, гордые шеи. Хотя на дворе еще день, хорошо видно. как рассыпаются во все стороны искры, высекаемые их копытами.

Еще раз берет Дебора на руки Менухима. Семейство Биллесов тоже собралось здесь, окружило повозку и говорит без умолку. Мендель Зингер сидит на козлах. и Мирьям тоже уселась, опершись спиной о спину отца. Только Дебора все еще стоит у дверей, держа на руках калеку Менухима.

Внезапно она отрывает его от себя. Осторожно сажает она его на порог, так кладут в гроб покойника, встает. поднимает голову, и слезы бегут по ее щекам, блестящие слезы на беззащитном лице. Все решено. Ее сын остается, а она уезжает в Америку. Чуда не произошло.

Плача, садится она в повозку. Не видит лица людей, пожимающих ей руки. Ее глаза сейчас — два огромных, полных слез моря. Она слышит стук копыт о мостовую. Она уезжает.

Вдруг она вскрикивает, сама не понимая, что кричит, этот крик идет из ее сердца, у сердца тоже есть рот, и оно кричит. Повозка останавливается, она спрыгивает на землю легко, как молоденькая. Менухим все еще сидит на пороге. Она падает к ногам Менухима.

— Мама, мама! — лепечет он, но она не отзывается. Семейство Биллесов поднимает Дебору. Она кричит, сопротивляется и, наконец, затихает. Ее несут к повозке и укладывают на сено. Повозка быстро катит в сторону Дубно.

Спустя шесть часов все они уже сидели в поезде, в неторопливом пассажирском поезде, среди множества незнакомых людей. Поезд медленно ехал по стране, мимо лугов и полей, с которых снимали урожай. Крестьяне и крестьянки, хижины и стада приветствовали медленно катившийся поезд. Негромкая песня колес убаюкивала пассажиров. Дебора до сих пор не произнесла ни слова. Она дремала, а колеса поезда все повторяли и повторяли: «Не покидай его! Не покидай его! Не покидай его!»

Мендель Зингер молился. Он механически повторял заученную молитву, не вдумываясь в смысл слов, достаточно было одного их звука, Бог сам знал, что они значат. Так пытался Мендель заглушить свой страх перед морем, к которому он прибудет через несколько дней. Временами он бросал рассеянный взгляд на Мирьям. Она сидела напротив. рядом с человеком в синей фуражке. Мендель не замечал, как она к нему прижалась. Человек не заговаривал с ней, дожидаясь коротких минут между наступлением темноты и тем моментом, когда кондуктор зажжет крошечный газовый рожок. От этих пятнадцати минут и от ночи, когда погаснут газовые рожки, человек в синей фуражке ожидал немало приятного.

На следующее утро он равнодушно попрощался со старыми Зингерами и с

безмолвной нежностью пожал руку Мирьям. Они уже были на границе. Таможенники взяли у них паспорта. Мендель задрожал, когда выкликнули его имя. Впрочем, без всякой причины. Все было в порядке. Их пропустили.

Они снова сели в поезд, увидели другие станции, услыхали новые сигналы станционного колокола, смотрели на новые мундиры. Три дня ехали они и дважды делали пересадку. К вечеру третьего дня прибыли в Бремен. Служащий пароходной компании выкрикнул во всю глотку:

— Мендель Зингер!

Семья Зингеров выступила вперед. Служащий собрал семей девять. Он выстроил их в шеренгу, трижды пересчитал, выкликнул имена и дал каждому по номерку. Так стояли они и не знали, куда девать эти железные штучки. Служащий куда-то ушел, пообещав скоро вернуться. А девять семей, двадцать пять человек, не сдвинулись с места. Они стояли в ряд на перроне, с номерками в руках и узлами у ног. Последним слева был слишком поздно назвавший себя Мендель Зингер.

В течение всего путешествия он почти не разговаривал с женой и дочерью. Обе женщины тоже молчали. Но теперь Дебора, казалось, уже не могла вынести этого.

— Почему ты стоишь? — спросила она.

— Все стоят, — ответил Мендель.

— Почему ты не спросишь людей?

— Никто не спрашивает.

— Чего мы ждем?

— Я не знаю, чего мы ждем.

— Как ты думаешь, можно мне сесть на чемодан?

— Садись на чемодан.

Но в то мгновение, когда Дебора расправляла свои юбки, собираясь сесть, вдруг появился служащий пароходной компании и сообщил на русском, польском, немецком и идиш, что сейчас он отведет все девять семей в порт и разместит их там на ночь в бараке и что завтра в семь утра пароход «Нептун» снимется с якоря. И вот они расположились в бараке, в Бремерхафене, даже во сне судорожно сжимая в кулаках свои номерки. От храпа двадцати пяти человек и от тех движений, которые они производили, ворочаясь на своих жестких ложах, вздрагивали потолочные балки и тихо покачивались маленькие желтые электрические лампочки. Им не позволили сделать себе чай. И спать они пошли с пересохшим горлом. Только Мирьям получила в подарок от какого-то польского парикмахера несколько красных карамелек. Она так и уснула с красным шариком за щекой.

В пять часов Мендель проснулся. Он с трудом вылез из деревянного ящика, в котором спал, поискал воду, вышел наружу и посмотрел, где тут восток. Потом он вернулся в барак, встал в углу и принялся молиться. Он шептал про себя слова молитвы, и, пока он их шептал, страшная боль охватила его, впилась когтями в сердце и рванула его так сильно, что Мендель прервал молитву и громко застонал. Некоторые из спящих проснулись и, улыбаясь, посмотрели на еврея, который подпрыгивал и раскачивался в углу, двигаясь всем телом взад и вперед, исполняя в честь Бога странный танец.

Не успел Мендель закончить молитву, как чиновник распахнул дверь и впустил в барак морской ветер.

— Вставайте! — прокричал он несколько раз на всех языках этого мира.

Было еще рано, когда они вступили на корабль. Им позволили заглянуть в салоны первого и второго класса, а потом всех затолкнули на среднюю палубу. Мендель Зингер не двинулся с места. Он стоял на верхней ступеньке узкой железной лесенки. За спиной его были порт, земля, континент, родина, прошлое. Слева сияло солнце. Голубым было небо. Белым был пароход. Зеленой была вода. Подошел матрос и приказал Менделю Зингеру спуститься с лестницы. В ответ он только махнул рукой. Он был спокоен, в сердце его не было страха. Он бросил рассеянный взгляд на море, безбрежность колышущихся волн вливала утешение в его сердце. Море было вечно. И понял Мендель, что сам Господь создал его. Он изверг его из своего тайного неисчерпаемого источника. И теперь оно колыхалось посреди земной тверди. Глубоко на дне его лежал свернувшись Левиафан, священная рыба, от которой в Судный день будут вкушать праведники и благочестивые. «Нептун» звался корабль, на палубе которого стоял Мендель. Это был большой корабль. Но по сравнению с Левиафаном и с морем, с небом и мудростью Предвечного корабль был совсем крошечным. Нет, Мендель не чувствовал страха. Он успокоил матроса, он, маленький чернявый еврей на громадном корабле, в громадном и вечном океане. Он еще раз повернулся и пробормотал благословение, которое следует читать

на море. Он повернулся и бросил в зеленые волны слова благословения: «Хвала тебе, Предвечный, благословен будь, Господь наш, создавший море и разделивший сушу морем!»

В этот момент оглушительно завыла сирена. Застучали в трюме машины. И воздух, и корабль, и люди содрогнулись. Одно только небо было все таким же тихим и синим, синим и тихим.

IX

На четырнадцатый день путешествия, когда наступил вечер, вспыхнули огромные огненные шары плавучего маяка.

— Сейчас, — сказал, обращаясь к Менделю Зингеру, еврей, уже дважды совершивший такое путешествие, — появится статуя Свободы. Она имеет в высоту сто пятьдесят один метр, внутри полая, и на нее можно подниматься. Вокруг головы у нее корона из лучей, в правой руке факел. Но самое интересное в ней то, что факел этот горит всю ночь, но никогда не сгорает до конца. А все потому, что она освещается электричеством. Вот какие чудеса делают в Америке.

Утром пятнадцатого дня они высадились на берег. Дебора, Мирьям и Мендель стояли тесно прижавшись друг к другу, так как они боялись потеряться в толпе.

Тут подошли люди в мундирах, и, хотя у них не было сабель, Менделю они казались довольно опасными. На некоторых из них были белоснежные одежды, отчего они были похожи на жандармов и ангелов одновременно. Это, наверное, американские казаки, подумал Мендель Зингер и поглядел на дочь свою Мирьям.

Их выкликали в алфавитном порядке, каждый подходил к своему багажу, но никто не протыкал багаж острыми спицами. Надо было все-таки взять с собой Менухима, подумала Дебора.

Вдруг очутился перед ними Шемарья.

Все трое одинаково испуганно взглянули на него.

Они снова увидели свой старый домик, прежнего Шемарью и Шемарью нового, называемого теперь Сэмом.

Они увидели одновременно Шемарью и Сэма, как будто Сэм заслонил собой Шемарью, однако сам он был как бы прозрачным.

Это был их Шемарья, но в то же время это был и Сэм.

Их было двое. Один носил черную шапочку, черный костюм и высокие сапоги, и черный пушок еще только начал пробиваться на его щеках.

Другой был облачен в светло-серый пиджак, белоснежную фуражку-капитанку, широкие желтые брюки, яркую рубашку из зеленого шелка, и лицо его было гладким, как шикарный полированный мрамор.

Этот другой очень походил на Мака.

Один говорил своим прежним голосом — они различали лишь голос, но не слова.

Другой шлепнул своей сильной рукой отца по плечу и произнес — только в этот момент они услышали слова: «Halloh, old chap!»[1] — и не поняли ничего.

Первый был Шемарьей, второй Сэмом.

Сначала Сэм поцеловал отца, потом мать и Мирьям. От Сэма пахло мылом для бритья, подснежниками и немного карболкой. Этот запах наводил на мысль о саде и госпитале одновременно.

Потихоньку они пару раз напомнили себе, что Сэм и есть Шемарья, и только после этого выразили свою радость.

— Все остальные, — сказал Сэм, — отправятся в карантин, а вы нет! Это устроил Мак. Два его кузена служат здесь.

Спустя полчаса пришел Мак.

Он выглядел точно так же, как в тот день, когда он появился в их местечке, огромный, шумный, со своей непонятной, раскатистой речью и карманами, разбухшими от сладкого печенья, которое он тотчас же стал всем раздавать и есть сам. Ярко-красный галстук, как знамя, развевался на его груди.

— Вам все же придется пойти в карантин, — заявил Мак. Оказывается, он слегка прихвастнул. Его кузены действительно работали в порту, но только не здесь, а в таможне. — Я вас провожу. Положитесь на меня!

И действительно, все обошлось. Мак громко объявил чиновникам, что Мирьям его невеста, а Мендель и Дебора ее родители.

---

[1] Привет, старина (*англ.*)

Каждый день ровно в три часа Мак подходил к решетке карантина. Хотя это не разрешалось, он протягивал руку сквозь проволоку и здоровался со всеми. Через четыре дня ему удалось освободить семейство Зингеров. Как ему удалось это сделать, он никому не сказал. Одной из особенностей Мака было то, что он с воодушевлением разглагольствовал о том, что выдумал сам, и обходил молчанием то, что происходило на самом деле.

Он настоял, чтобы они, прежде чем отправиться домой, как следует посмотрели Америку. Мендель Зингер, Дебора и Мирьям погрузились на принадлежащую его фирме тележку и поехали.

Был ясный и жаркий день. Мендель и Дебора сидели лицом к кучеру, напротив поместились Мирьям, Мак и Сэм. Тяжелый экипаж с оглушительным грохотом катился по улицам, и Менделю Зингеру показалось, что от этого грохота вот-вот разрушатся на веки вечные и камни, и асфальт, и поколеблются фундаменты домов. Кожаное сиденье под Менделем нагрелось, как жаркая печка. И хотя они старались держаться в густой тени от высоких стен, зной лился сквозь старую черную ермолку из репса прямо на голову Менделя, проникал в мозг, и мозг плавился от этого влажного, липкого, нестерпимого жара. Со дня приезда он почти совсем не спал, очень мало ел и совсем мало пил. Он носил тяжелые сапоги с резиновыми галошами, как привык дома, и ноги его горели огнем. Судорожно сжимал он между коленями свой зонтик с деревянной ручкой, к которой страшно было притронуться, словно она была из раскаленного железа. Перед глазами Менделя висела густая пелена, состоявшая из сажи, пыли и зноя. Он вспомнил пустыню, по которой его предки блуждали сорок лет. Но, сказал он себе, они по крайней мере ходили пешком. Сумасшедшая скорость, с которой они мчались сейчас, хотя и поднимала ветер, но он был горячим, как огненное дыхание пустыни. Он обжигал, но не приносил прохладу. Это был даже и не ветер, так как из него доносился шум и крик, это был рассеянный в воздухе шум. В нем заключались и пронзительные звуки сотен невидимых колоколов, и страшный металлический грохот трамваев, громкие клики труб и жалобный скрежет рельсов на уличных перекрестках, оглушительный голос Мака, рассказывавшего своим пассажирам об Америке, и невнятный говор толпы вокруг; в нем был и неприятно раскатистый смех незнакомца, сидевшего за спиной Менделя, нескончаемые рассказы Сэма, обращенные к отцу, рассказы, смысла которых Мендель не понимал, но в ответ на которые непрестанно кивал головой, сохраняя на губах испуганную и в то же время приветливую улыбку, железным обручем стягивавшую его рот. Даже если бы у него хватило мужества сохранять серьезность, как того требовало его положение, он все равно не смог бы убрать эту улыбку. У него не было сил это сделать. Мускулы на лице словно окаменели. Ему хотелось расплакаться, как малое дитя. Он вдыхал острый запах смолы от размякшего асфальта, сухой и резкий запах пыли, прогорклую вонь, доносившуюся из канав и торговавших сыром магазинов, едкий запах лука, сладковатый бензиновый чад от автомобилей, гнилой болотный запах рыбных садков, аромат ландышей и хлороформа, исходивший от его сына. Все эти запахи смешались в один, горячий и острый, хлеставший ему в лицо вместе с шумом, от которого у него трещала голова. И скоро он уже перестал слушать, видеть и обонять, но все так же улыбался и кивал головой. Америка надвинулась на него, смяла и уничтожила. Через несколько минут ему стало дурно. Он очнулся в какой-то столовой, куда его в спешке перенесли. В круглом, увитом сотней крошечных лампочек зеркале он увидел свою седую бороду и острый нос, и в первое мгновение ему показалось, что и борода, и нос принадлежат другому человеку. Лишь увидев сгрудившихся вокруг него родственников, понял он, что это он сам. Ему было немного стыдно. С некоторым усилием разомкнул он губы и попросил прощения у своего сына. Мак схватил его руку и пожал ее, как будто он поздравлял Менделя Зингера с удачным фокусом или с выигранным пари. И на губы старика снова легла железная печать улыбки, непонятная сила вновь дернула его голову так, что казалось, будто Мендель кивает одобрительно. И увидел он Мирьям в желтой шали на черных растрепанных волосах, со следами сажи на бледных щеках и с длинной соломинкой в зубах. Дебора молча сидела в овальном кресле без спинки, ноздри ее трепетали, грудь тяжело колыхалась. Казалось, она вот-вот рухнет на пол.

Что мне до этих людей? Зачем они здесь? — думал Мендель. Зачем мне эта Америка? Зачем мне этот сын, и дочь, и жена, и этот Мак? Неужели это я, Мендель Зингер? И это моя семья? Где же Мендель Зингер? И где сын мой Менухим? Ему казалось, что из него вырвали душу, оторвали ее от тела и так придется ему жить дальше. Ему казалось, что настоящий Мендель Зингер остался в Цухнове вместе с Менухимом. И пока его губы кривились в улыбке и голова приветливо кивала,

сердце его медленно одевалось в ледяной панцирь, стук его был похож на стук железного молота по ледяному стеклу. Он остался совсем один: Мендель Зингер приехал в Америку.

Часть вторая

X

Несколько сот лет назад предок Менделя Зингера переселился, вероятно, из Испании в Волынь. Судьба его была более счастливой, более обыденной, во всяком случае, куда менее значительной, чем судьба его потомка, а потому мы не знаем, много или мало лет понадобилось ему, чтобы обжиться в чужой стране. Что же касается Менделя Зингера, то нам известно, что через несколько месяцев он чувствовал себя в Америке как дома.

Более того, он понял Америку! Он уже знал, что old chap по-американски значит отец, а old fool[1] — мать, или наоборот. Он уже знал нескольких деловых людей из Бовери, с которыми имел дела его сын, знал Эссекс-стрит, где он жил, и Хоустон-стрит, на которой находился магазин его сына, его сына Сэма. Он знал, что Сэм уже был настоящий American boy[2], что надо говорить гуд бай, и хау ду ю ду, и плиз, если ты воспитанный человек, что коммерсант с Гранд-стрит вправе требовать уважения и даже может жить на Ривер, на той самой Ривер, куда страстно желал переселиться Шемарья. Ему объяснили, что Америка это God's own country, то есть что это земля обетованная, какой некогда была Палестина, и что Нью-Йорк — the wonder city, город чудес, как в прежние времена Иерусалим. Чтение молитв здесь называлось сервис, но так называлась и благотворительность. Маленький сын Сэма, появившийся на свет ровно через неделю после приезда деда, носит имя Маклинкольн. Через несколько лет, а время в Америке летит незаметно, он станет college boy[3]. My dear boy[4], называет малыша невестка. Как ни странно, ее по-прежнему зовут Вега. Она светловолосая и нежная, с голубыми глазами, в которых Менделю Зингеру видится больше доброты, чем ума. Ну и что же? Глупая так глупая. Женщине ум ни к чему. Да поможет ей Бог, аминь! Между двенадцатью и двумя здесь завтракают, а обедают между шестью и восемью. Но Мендель на это не обращает внимания. Он ест в три часа пополудни и вечером в десять, как дома, хотя, когда он садится ужинать, дома уже, наверное, день или раннее утро, кто знает. Олрайт значит здесь: согласен, а вместо «да!» они говорят «йес!». Если же хотят пожелать чего-нибудь хорошего, то желают не счастья или здоровья, а процветания. Уже в ближайшем будущем Сэм собирается переехать на новую квартиру, на Ривер, и там будет гостиная. Граммофон он уже имеет, Мирьям иногда одалживает его у невестки и бережно, как больного ребенка, несет его по улице. Граммофон умеет играть вальсы и «кол-нидру». Сэм моется дважды в день, а костюм, который он иногда надевает по вечерам, называется смокинг. Дебора уже десять раз была в кино и три раза в театре. У нее теперь есть шелковое платье, темно-серое, Сэм подарил. И она носит на шее длинную золотую цепочку и похожа на одну из тех жен греха, о которых рассказывают священные книги. Мирьям работает продавщицей в магазине у Сэма. Она приходит домой за полночь и уходит на работу утром в семь. Говорит: «Добрый вечер, отец! Доброе утро, отец!» — и ни слова больше. То здесь, то там слышит Мендель Зингер разговоры, которые доносятся до его ушей, подобно реке, несущей свои воды мимо старца, стоящего на берегу. Разговоры о том, что Мак гуляет с Мирьям, ходит с ней на танцы, и купаться, и заниматься спортом. О, Мендель Зингер знает, что Мак не еврей, казаки тоже не евреи, ну ничего, время еще есть, Господь поможет, подождем. Дебора и Мирьям живут сейчас дружно. В доме мир. Мать и дочь часто шепчутся о чем-то по ночам, но Мендель притворяется, что спит. Ему это нетрудно. Он спит в кухне, а жена и дочь в их единственной комнате. В Америке тоже не все живут во дворцах. Они живут в бельэтаже, и это еще счастье! Ведь они могли бы жить, например, на втором, на третьем, а то и на четвертом этаже! Лестница здесь неровная, грязная и темная. Приходится даже днем зажигать спички, а то не видно ступенек. В подъезде пахнет затхлостью, сыростью и кошками. Но все равно нужно каждый вечер

[1] Старый дурак (*англ.*).
[2] Американец (*англ.*).
[3] Школьник (*англ.*).
[4] Мой дорогой мальчик (*англ.*).

раскладывать по углам отраву для мышей и осколки стекла, смешанные с мукой. Дебора каждую неделю скребет и скоблит пол, но он никогда не бывает таким золотисто-шафрановым, как дома. В чем тут дело? Или Дебора уже не так сильна? Или обленилась? А может, постарела? Все половицы скрипят, когда Мендель ходит по комнате. И не разберешь, где теперь Дебора прячет деньги. Десять долларов в неделю дает им Сэм. Но Дебора все равно сердится. Что поделаешь, женщина, и иногда бес вселяется в нее. Имеет добрую, кроткую невестку, но ей все не нравится. Твердит, что Вега утопает в роскоши. Когда Мендель слышит такие разговоры, он говорит:

— Дебора! Успокойся! Будь довольна своими детьми! Или ты еще недостаточно постарела, чтобы молчать? Может, тебя мучает то, что ты уже не можешь упрекнуть меня в том, что я мало зарабатываю? Что тебе не за что меня ругать? Шемарья вызвал нас сюда, чтобы мы состарились и умерли возле него. Его жена почитает нас, как полагается хорошей невестке. Чего ты еще хочешь, Дебора?

Но она не знала, чего ей не хватает. Возможно, она рассчитывала найти в Америке огромный новый мир, в котором могла бы забыть свою прежнюю жизнь и Менухима. Но эта Америка вовсе не была каким-то новым миром. Здесь было больше евреев, чем в Клучиске. Зачем тогда надо было ехать за океан, чтобы снова попасть в Клучиск, куда можно было спокойно доехать в повозке Самешкина? Их окна выходили на темный и мрачный двор, где устраивали потасовки кошки, крысы и дети. В три часа пополудни приходилось, даже весной, зажигать керосиновую лампу. В доме не было электричества, и собственного граммофона у них пока тоже не было. Дома Дебора по крайней мере видела свет и солнце. Хотя, конечно, она иногда ходила с невесткой в кино и уже два раза каталась в подземке. Мирьям теперь важная барышня, шляпка, шелковые чулки. Хорошая стала девочка, деньги сама зарабатывает. Мак гуляет с ней, но уж лучше Мак, чем казаки. Он хороший друг Шемарьи. Правда, нельзя понять ни слова из его нескончаемых речей, но к этому можно привыкнуть. Он умнее, чем десять евреев, и к тому же не потребует приданого. В конце концов, здесь совсем другой мир. Американский Мак, это вам не русский Мак. Но денег Деборе не хватало и здесь. Жизнь дорожала на глазах, а она все так же копила деньги, под заветной половицей лежали уже восемнадцать с половиной долларов. Морковь стала мелкой, яйца пустыми, картошка мороженой, суп водянистым, карпы тощими, а щуки маленькими, утки худыми, гуси жесткими, а куры — так вообще смотреть не на что.

Нет, она не могла сказать точно, чего ей не хватало, Менухима не хватало ей. Ночью и днем, сидя в кино или делая покупки, занимаясь уборкой или готовя обед, она слышала его голос. Он звал: «Мама! Мама!» Сейчас он, должно быть, забыл это единственное слово, которое умел произносить. Она слышала, как чужие дети звали своих матерей и те откликались, ни одна мать не бросила свое дитя по доброй воле. Не надо им было ехать в Америку. Но ведь всегда можно вернуться домой!

— Мендель, — часто говорила она, — может быть, вернемся назад, посмотрим, как там Менухим?

— А деньги, а дорога, а жить на что? Ты думаешь, что Шемарья сможет дать нам столько денег? Он, конечно, хороший сын, но он же не Вандербильт. Такая уж наша судьба. Подождем немного! С Менухимом мы увидимся здесь, если ему суждено выздороветь.

Однако мысль об отъезде прочно засела в голове Менделя Зингера и не покидала его ни на минуту. Однажды, когда он зашел в магазин своего сына (в конторе сидел он за стеклянной дверью и смотрел на входящих и выходящих покупателей, потихоньку благословляя каждого входящего), он обратился к Шемарье:

— О Менухиме так ничего и не слышно. В последнем письме Биллес не написал о нем ни слова. Как ты считаешь, не поехать ли мне туда, чтобы повидаться с ним?

Шемарья, называемый также Сэмом, был настоящий американец, он сказал:

— Отец, это непрактично. Если бы можно было переправить сюда Менухима, он бы здесь моментально выздоровел. Медицина в Америке лучшая в мире, как раз недавно я прочитал об этом в газете. Таких больных здесь лечат впрыскиваниями, пара уколов, и человек здоров! Но так как его невозможно сюда переправить, нашего бедного Менухима, зачем расходовать деньги? Я не хочу сказать, что это совсем невозможно! Но как раз сейчас мы, я и Мак, собираемся открыть очень большое дело, и каждая копейка у нас на счету, так что давай пока не будем об этом говорить! Подожди еще пару недель! Между нами говоря, мы с Маком сейчас занимаемся спекуляцией с местами для застройки. Вот только что по нашему заказу снесли старый дом на Деланси-стрит. И ты знаешь, отец, снести дом почти так же

дорого, как и построить. Но грех жаловаться! Дела идут в гору! Страшно вспомнить, как мы начинали с этой страховкой! Лестница вверх, лестница вниз! Зато теперь мы имеем свое дело, можно даже сказать: магазин! Теперь ко мне самому приходят страховые агенты. Я смотрю на них и думаю себе: в этом я кое-что понимаю — и вышвыриваю их вон, своими руками, всех!

Мендель Зингер никак не мог понять, почему Сэм выгонял агентов и отчего он был так доволен этим. Сэм это понял и сказал:

— Не хочешь ли позавтракать со мной, отец?

Он сделал вид, будто забыл, что отец ел только дома. Ему нравилось при каждом удобном случае подчеркивать, как далеко отошел он от обычаев своей родины, поэтому он хлопнул себя по лбу, как Мак, и произнес:

— Ах да! Я совсем забыл! Но, надеюсь, от банана ты, отец, не откажешься! — и приказал принести для отца банан. — Да, кстати, о Мирьям, — вдруг произнес он во время еды. — Девочка старается. Здесь в магазине она самая красивая. Если бы она служила у чужих людей, ей бы давно предложили место манекенщицы. Но я не хочу, чтобы моя сестра была манекеном для чужих платьев. И Мак этого тоже не хочет!

Он сделал паузу, ожидая, не скажет ли отец что-нибудь про Мака. Но Мендель Зингер молчал. Он не был недоверчив, да и последние слова Сэма почти не слышал, мысли его были заняты детьми. Он восхищался ими, в особенности Шемарьей. Какой он умный, как быстро соображает, как бегло говорит по-английски, как ловко нажимает на кнопки звонков, как кричит на рассыльных, настоящий босс.

Он прошел в отдел, где продавались рубашки и галстуки, чтобы повидаться с дочерью.

— Здравствуй, отец! — воскликнула она, не отрываясь от работы. Здесь она обращалась с ним почтительно, не то что дома. Возможно, она не любила его, но ведь в книгах не написано: «Люби отца своего и мать!» Там написано: «Чти отца своего и мать!» Он кивнул ей и вышел. Он пошел домой. На душе его было спокойно. Он шел посреди улицы, здороваясь с соседями и любуясь детьми. На нем была все та же шапочка из черного репса, тот же полудлинный кафтан и высокие сапоги. Но полы кафтана уже не хлопали стремительно, как птичьи крылья, по грубым кожаным голенищам. Потому что в Америке, где все спешили, Мендель Зингер наконец научился ходить медленно.

И так шел он по жизни навстречу старости, от утренней молитвы к вечерней, от завтрака к ужину, от пробуждения ко сну. После полудня, в тот час, когда дома к нему приходили его ученики, он ложился на софу, набитую жестким конским волосом, и засыпал на часок, и видел во сне Менухима. Потом читал газету. Потом шел в лавку семейства Сковроннек, где раздавались музыка и пение и где торговали граммофонами, пластинками к ним, нотами и сборниками псалмов. Там собирались все старики этого квартала. Они разговаривали о политике и рассказывали привезенные с родины анекдоты. Иногда, если магазин был уже закрыт, они приходили в гостиную Сковроннеков и наскоро прочитывали вечернюю молитву.

Возвращаясь домой, Мендель, который всегда старался делать это как можно медленней, предавался фантазиям. Он представлял себе, что дома его уже ждет письмо, а в письме приятные новости. Во-первых: что Менухим совершенно здоров и к нему вернулся разум; во-вторых: что из-за какой-то несерьезной болезни Иона оставил военную службу и собирается приехать в Америку. Мендель Зингер знал, что письмо еще не пришло. Но он как бы давал письму шанс, делал все, чтобы не отпугнуть его, чтобы оно пришло. С бьющимся сердцем он нажимал на кнопку звонка. Но в ту минуту, когда перед ним появлялась Дебора, сердцебиение утихало. Письма не было. Но однажды, таким же вечером, как, например, сегодня... В один из дней, возвращаясь кружным путем домой, он увидел на углу мальчика-подростка, который издалека показался ему знакомым. Мальчик стоял, прислонившись к воротам дома, и плакал. Мендель услышал жалобное всхлипывание, хотя и негромкое, оно донеслось до Менделя, стоявшего на противоположной стороне улицы. Как знаком был ему этот звук. Он остановился, собираясь подойти к мальчику, расспросить, утешить его. Он зашагал быстрее. Рыдания стали громче, и вдруг Мендель остановился посреди улицы. В вечерней тени, отбрасываемой домом, у ворот которого примостился ребенок, ему показалось, что это Менухим, его фигура, его поза. Ну да, вот так же съежившись сидел Менухим на пороге их дома в Цухнове и всхлипывал. Мендель сделал еще несколько шагов. Но тут мальчик шмыгнул в дом. Мендель подошел к воротам. Но темный подъезд уже поглотил детскую фигурку. Еще медленней, чем обычно, возвращался домой Мендель.

Но не Дебора открыла дверь на его нетерпеливый звонок, а сын его Сэм. Мен-

дель нерешительно стоял на пороге. И хотя он ждал только ошеломляюще радостной вести, все же в нем шевельнулся страх перед возможным несчастьем, ведь сердце его так привыкло к несчастьям, что он, хотя и долго готовил себя к счастью, все-таки испугался. Разве может к такому человеку, как я, прийти неожиданная радость, думал он. Все неожиданное несет зло, добро подкрадывается незаметно.

Но голос Шемарьи вскоре успокоил его.

— Входи же! — сказал Сэм. Он взял отца за руку и ввел в комнату. Дебора зажгла две лампы. Его невестка Вега, Мирьям и Мак сидели за столом. Этот дом показался Менделю чужим и незнакомым. Обе одинаково сделанные лампы были похожи на близнецов и освещали они скорее не комнату, а друг друга. Казалось, что они подмигивают друг другу, одна лампа другой, и это развеселило Менделя.

— Садись, отец! — сказал Сэм. Мендель остался безучастным, он опасался, что сейчас ему расскажут одну из тех американских историй, над которыми потешался весь мир, но в которых он не находил ничего смешного. Что же они задумали? — пытался угадать он. Наверное, они хотят подарить мне граммофон. Или решили отпраздновать годовщину свадьбы. Он уселся поудобнее. Все молчали. Потом Сэм заговорил, это выглядело так, будто он зажег в комнате третью лампу.

— Отец, мы одним разом заработали пятнадцать тысяч долларов.

Мендель встал и пожал всем присутствующим руку. Наконец он подошел к Маку. Ему Мендель сказал:

— Очень вам благодарен.

Сэм тотчас перевел эти три слова на английский. Тогда Мак тоже встал и обнял Менделя. А потом он принялся говорить и все никак не мог остановиться. В этот вечер, кроме Мака, уже никто не сказал ни слова. Дебора все подсчитывала, сколько это будет в рублях, и никак не могла сосчитать. Вега мечтала о новой мебели в новой квартире, и особенно о рояле. Ее сын непременно будет брать уроки музыки. Мендель вспоминал о родине и надеялся съездить туда. Мирьям слушала Мака и старалась понять, что он говорит. Сэм размышлял, стоит ли вкладывать все деньги в магазин. И только Мак ни о чем не думал, ни о чем не волновался и не строил планов. Он говорил все, что приходило в голову. На следующий день они поехали в Атлантик-Сити.

— Чудесная природа! — сказала Дебора. Мендель же видел всего лишь воду. И вспоминал ту сумасшедшую ночь, когда они с Самешкиным лежали в придорожной канаве. И снова слышал стрекот кузнечиков и кваканье лягушек.

— У нас дома, — сказал он вдруг, — земля такая же обширная, как в Америке океан. — Это получилось как-то само.

— Ты слышишь, что говорит отец? — заметила Дебора. — Стареет!

Да, да, подумал Мендель, старею.

Когда они вернулись домой, в двери, в прорези для почты, торчал толстый, разбухший конверт с письмом, почтальон так и не смог протолкнуть его внутрь.

— Смотри-ка, — сказал, нагибаясь, Мендель, — письмо, хорошее письмо. Пришло счастье. Хвала Богу, одно счастье ведет за собой другое. Господь теперь не оставит нас.

Письмо было от Биллесов. И это действительно было хорошее письмо. В нем сообщалось, что Менухим вдруг начал говорить.

«Доктор Шолтысик осматривал его, — писало семейство Биллес, — и не мог в это поверить. Теперь Менухима хотят отправить в Петербург, большие люди хотят поломать себе над этим случаем голову. Однажды, дело было в четверг после полудня, он был дома один, и печка топилась, как и в каждый четверг, вдруг из нее выпало горящее полено, и теперь весь пол обгорелый, и стены придется белить. А это стоит хороших денег. И вот Менухим выбежал на улицу, так как он уже совсем хорошо ходит и бегает, и закричал: «Пожар!» И с этого дня он начал говорить и знает уже пару слов.

Жаль только, что это случилось через неделю после отъезда Ионы. Потому что ваш Иона приезжал сюда в отпуск, он стал настоящим солдатом, но он не знал, что вы уехали в Америку. Он тоже вам здесь пишет, на другой стороне».

Мендель перевернул листок и прочитал:

«Дорогой отец, дорогая мама, брат и сестра!

Значит, вы в Америке, это известие меня как громом поразило. Хотя я, конечно, сам виноват, потому что никогда вам не писал или, кажется мне, все-таки один раз послал вам письмо, но все равно, как я уже сказал, эта новость меня как громом поразила. Но не расстраивайтесь. Мне живется хорошо. Все ко мне добры, и я со всеми добр. А в особенности с лошадьми. Я могу скакать как самый настоящий казак, и на скаку поднимать с земли зубами носовой

платок. Такие вещи мне нравятся, и военная служба тоже. Я останусь здесь и после того, как выйдет мой срок. Здесь ты обут, одет, накормлен, сверху тебе дают приказ, что делать, здесь не надо думать самому. Не знаю, поймете ли вы то, что я пишу. Может быть, вам это трудно понять. В конюшне тепло, и лошадей я люблю. Если кто-нибудь из вас сюда приедет, так мы сможем увидеться. Мой капитан сказал, если я и дальше буду таким хорошим солдатом, можно будет подать прошение царю, я хочу сказать, Его Императорскому Высокоблагородию, чтобы он простил моему брату его дезертирство. Это было бы для меня самой большой радостью, тогда я бы смог еще раз в этой жизни увидеть Шемарью, ведь мы как-никак вместе выросли.

Самешкин шлет вам привет, ему живется хорошо.

Здесь говорят, что будет война. Если она и вправду начнется, то вы будьте готовы к моей смерти, как я сам готов к этому, ведь я солдат.

Поэтому я обнимаю вас на всякий случай и на прощанье. Но вы все-таки не расстраивайтесь, может быть, я и не умру.

Ваш сын Иона».

Мендель Зингер отложил в сторону письмо и, увидев, что Дебора плачет, впервые за много лет взял ее руки в свои. Он отвел ее руки от заплаканного лица и сказал почти торжественно:

— Теперь ты видишь, Дебора, Господь помог нам. Возьми свою шаль, спустись вниз и принеси бутылку медовой настойки.

Они сидели за столом, и пили настойку из чайных стаканов, и смотрели друг на друга, и мысли у них были одинаковые.

— Рабби был прав, — сказала Дебора. И в памяти ее всплыли слова, так долго дремавшие в ней: «Боль сделает его мудрым, уродство — добрым, горечь — милостивым, а болезнь — сильным».

— Ты мне этого никогда не рассказывала, — заметил Мендель.

— Я забыла.

— Надо было с Ионой тоже поехать в Клучиск. Лошадей он любит больше, чем нас.

— Он еще молодой, — утешила его Дебора. — Может быть, это и хорошо, что он любит лошадей. — И, так как она никогда не упускала случая позлить его, добавила: — Любовь к лошадям, это у него не от тебя.

— Нет, — ответил Мендель и добродушно улыбнулся.

Теперь он часто думал о возвращении домой. Наверное, скоро можно будет привезти Менухима в Америку. Он зажег свечу, погасил лампу и сказал:

— Иди спать, Дебора! Когда вернется Мирьям, я покажу ей письмо. Сегодня спать не буду.

Он достал из чемодана свой старый молитвенник, привычно согревавший руку, одним движением раскрыл его и принялся петь псалмы, один за другим. Это пела его душа. Он познал милость Божию и радость.

И над ним распростерлась большая, широкая и добрая рука Господа. Оберегаемый ею, он пел в ее честь один псалом за другим. Пламя свечи трепетало под легким, но упорным дуновением, которое производило раскачивавшееся взад и вперед тело Менделя. Ноги его отбивали такт, следуя стихам псалма. Его сердце ликовало, а тело приплясывало.

XI

И заботы впервые оставили дом Менделя Зингера. Они сжились с ним, как ненавистная родня. Ему уже исполнилось пятьдесят девять лет. И целых пятьдесят восемь лет он был знаком с ними. Заботы покинули его, смерть приближалась. Его борода поседела, глаза ослабели. Спина его сгорбилась, и руки дрожали. Сон его стал легким, а ночи длинными. Довольство он носил, как платье с чужого плеча. Его сын поселился в квартале для богатых, но Мендель остался в своем переулке, в старой квартире с голубым светом керосиновых ламп, рядом с бедняками, кошками и мышами. Он был набожным, богобоязненным и неприметным, самый обычный еврей. Некоторые уважали его, другие вовсе не замечали. Днем он навещал своих немногих старых друзей: Менкеса, торговавшего фруктами, Сковроннека, хозяина музыкального магазина, Роттенберга, переписчика Библии, Грошеля, сапожника. Раз в неделю приходили его дети, его внук и Мак. Но ему нечего было им сказать. Они рассказывали всякие истории про театр, жизнь общества и политику. Он слушал, потом засыпал. Когда Дебора будила его, он просыпался.

— Я не спал! — уверял он.

Мак засмеялся. Сэм улыбнулся. Мирьям о чем-то шепталась с Деборой. Мендель немного посидел и снова задремал. И тотчас же увидел сон: ему снились родина и всякие вещи, про которые он узнал только здесь, в Америке: театр, акробаты, танцовщицы в золотых и пурпуровых одеждах, президент Соединенных Штатов, Белый дом, миллиардер Вандербильт и Менухим, Менухим. Маленький калека появлялся то среди золота и пурпура певиц, то под бледными лучами Белого дома, похожий на жалкое серое пятно. Мендель был уже стар, чтобы видеть все эти вещи наяву. Он верил своим детям на слово, что Америка благословенная страна, что Нью-Йорк город чудес, а английский язык самый красивый в мире. Американцы были здоровыми, американки — красивыми, спорт — важным делом, время — дорогим, бедность — пороком, богатство — заслугой, добродетель — половиной успеха, а вера в себя — успехом. Танцы гигиеничны, роликовые коньки необходимы, благотворительность — вложение капитала, анархизм — преступление, забастовщики — враги народа, подстрекатели — союзники дьявола, современные машины — благословение Господне, а Эдисон — величайший гений. Скоро люди будут летать, как птицы, плавать, как рыбы, видеть будущее, подобно пророкам, жить в вечном мире и полном согласии и строить небоскребы до звезд. Мир будет прекрасен, думал Мендель, мой внук будет счастлив! Он все это увидит! Но к его восхищению будущим примешивалась тоска по России, и успокаивала его только мысль, что задолго до всех этих достижений живых он уже будет мертв. Он и сам не знал почему, но это его успокаивало. Он был уже слишком стар для нового и слаб для побед. Одна только надежда и жила в нем: увидеть Менухима. Он думал, Сэм или Мак поедут за ним и привезут сюда. А может быть, это сделает Дебора.

Стояло лето. Насекомые в квартире Менделя Зингера неудержимо размножались, хотя маленькие колесики на ножках кроватей день и ночь стояли в банках с керосином и Дебора с помощью куриных перышек обмазала скипидаром все щели в мебели. Клопы длинными стройными рядами спускались по стенам, маршировали по потолку, с кровожадным коварством дожидаясь наступления сумерек, чтобы броситься на спящих. Блохи выскакивали из черных прорех между дощатыми половицами и забирались в платье, подушки и одеяла. Ночи были тяжкими и душными. Из открытых окон время от времени доносились отдаленный гул незнакомых поездов, непродолжительное ритмичное громыханье далекого, занятого своими делами мира и смрадные испарения от близлежащих домов, куч мусора и открытой канализации. Кошки дрались, выли бездомные собаки, плакали младенцы, а над головой Менделя Зингера шаркали шаги бодрствующих, гулко раздавалось чиханье простуженных, слышалась мучительная зевота утомленных. Мендель Зингер зажигал свечу в зеленой бутылке, стоявшую рядом с кроватью, и подходил к окну. Там он видел багровый отсвет деятельной американской ночи, бурлившей где-то далеко, и правильную серебряную тень от прожектора, который, казалось, в отчаянии искал в ночном небе Бога. И еще Мендель видел звезды, несколько жалких звездочек, расколотые кусочки созвездий. Менделю вспоминались звездные ночи на родине, глубокая синева просторного неба, мягко закругленный серп луны, угрюмый шелест сосен в лесу, голоса кузнечиков и лягушек. Ему представлялось, что вот он сейчас в чем стоит выйдет из этого дома и пойдет все дальше и дальше, сквозь ночь, пока не очутится под открытым небом и не услышит кваканье лягушек, стрекот кузнечиков и жалобный плач Менухима. Здесь, в Америке, этот плач сливался с другими голосами, на которых пела и говорила его родина, с пением цикад и кваканьем лягушек. Между нами лежит океан, думал Мендель. Надо плыть сначала на одном корабле, потом на другом, потом еще ехать двадцать дней и ночей. И тогда наконец он окажется дома, рядом с Менухимом.

Дети уговаривали его переехать в другой квартал. Но он боялся. Он не хотел искушать судьбу. Теперь, когда все пошло хорошо, важно было не накликать на себя гнев Господень. Разве ему когда-нибудь жилось лучше, чем сейчас? Зачем же переезжать? Какой в этом прок? Те несколько лет, что ему осталось прожить, он мог провести и в компании с насекомыми.

Он отвернулся от окна. Дебора спала. Прежде она спала здесь, в комнате, вместе с Мирьям. Но теперь Мирьям живет у брата. Или у Мака, потихоньку сказал сам себе Мендель. Дебора спала спокойно, с широкой улыбкой на расплывшемся лице. Что мне до нее? — подумал Мендель. Для чего мы живем вместе? Наша страсть прошла, наши дети выросли и обеспечены, зачем она мне? Чтобы есть то, что она приготовит! В книгах написано: нехорошо, когда человек один. Поэтому мы и живем вместе. Они уже так давно жили вместе, теперь остается только ждать, кто из них умрет первым. Может быть, я, подумал Мендель. Она здоровая да и забот почти никаких не имеет. Но все так же прячет деньги где-то под половицей. Не знает она,

что это грех. Пусть себе прячет! Свеча в горлышке бутылки совсем догорела. Ночь прошла. Первые звуки утра раздаются задолго до того, как появляется солнце. Где-то со скрипом открываются двери, слышатся гулкие шаги на лестничной клетке, небо становится светло-серым, и от земли поднимается желтоватый туман: пыль и сера из канав. Дебора просыпается, кряхтит и говорит:

— Будет дождь! Из канавы вонь идет, закрой окна!

Так начинаются все летние дни. После обеда Мендель не может заснуть. Он выходит на площадку, где играют дети. Наслаждается пением изредка прилетающих дроздов, долго сидит на скамейке и чертит концом зонтика на песке странные линии. Струя воды, льющаяся из длинного резинового шланга на лужайку, веет в лицо Менделя Зингера прохладой, и он засыпает. Ему снятся театр, акробаты в золоте и пурпуре, Белый дом, президент Соединенных Штатов, миллиардер Вандербильт и Менухим.

Однажды днем приходит Мак. Он говорит (Мирьям сопровождает его и переводит сказанное), что в конце июля или в августе они собираются поехать в Россию и забрать Менухима.

Мендель догадывается, почему Мак хочет ехать в Россию. Наверное, он хочет жениться на Мирьям и готов для семьи Зингеров на все.

Когда я умру, думает Мендель, Мак женится на Мирьям. Они ждут моей смерти. Но мне не к спеху. Я дождусь Менухима.

Сейчас июнь, жаркий и особенно длинный месяц. Когда же наконец наступит июль?

В конце июля Мак заказывает себе билет на пароход. Пишется письмо семейству Биллес. Мендель заходит в лавку Сковроннеков и рассказывает друзьям, что его младший сын скоро тоже приедет в Америку.

В лавке Сковроннеков собралось больше людей, чем это бывает обычно, в другие дни. У всех в руках газеты. В Европе, оказывается, началась война.

Теперь Мак не поедет в Россию. Менухим не приедет в Америку. Война началась.

Только вчера покинули заботы дом Менделя Зингера! Они ушли, и тут началась война.

Иона был на войне, а Менухим — в России.

Дважды в неделю по вечерам Сэм и Мирьям, Вега и Мак приходили навестить Менделя Зингера. Они старались скрыть от старика свою уверенность в том, что Иону, скорее всего, ожидает смерть и что жизнь Менухима в опасности. Они как будто верили, что в их силах перевести устремленный в Европу взгляд Менделя на свои успехи и свое счастье. Они словно бы пытались встать между Менделем Зингером и войной. И пока он так думал и, казалось, слушал их речи и соглашался с их предположением, что Иона, скорее всего, сидит при какой-нибудь канцелярии, а Менухим, благодаря своей болезни, находится в полной безопасности в одном из госпиталей Петербурга, он представлял себе, как Иона падает с лошади и повисает на колючей проволоке, о которой так подробно писали военные корреспонденты. И он видел, как горит его дом в Цухнове, а Менухим лежит в углу и горит вместе с домом. Время от времени он решался вставить в разговор пару слов.

— Год назад, — говорил Мендель, — когда пришло письмо, нужно было мне самому поехать и забрать Менухима.

Они не знали, что на это ответить. Уже несколько раз Мендель произносил эти слова, и всякий раз после этого наступало молчание. Этими словами старик как будто задувал лампу, и в комнате становилось темно, и они уже не знали, куда им смотреть. Они замолкали надолго, потом вставали и уходили.

А Мендель Зингер запирал за ними дверь, отправлял Дебору спать, зажигал свечу и принимался петь псалмы. Он пел их в добрые минуты своей жизни и в недобрые дни. Он пел их, когда возносил благодарность небу и когда боялся его гнева. Его движения при этом всегда были одинаковы, и только по его голосу внимательный слушатель мог бы понять, исполнен ли праведник Мендель благодарности или охвачен страхом.

В эти ночи он сотрясался от страха, как трясется под ветром хрупкое деревце. Тревога звучала в его голосе, чужим голосом пел он свои псалмы. Но вот псалмы кончились. Он закрыл книгу, поднес ее к губам, поцеловал и погасил свечу. Но спокойствие не приходило к нему. Мало, говорил он себе, слишком мало сделал я. Часто его пугала мысль, что единственное его оружие — пение псалмов — бессильно против страшного урагана, в котором погибали Иона и Менухим. Пушки сильны, думал он, огонь свиреп, мои дети пропадут, и это моя вина, моя вина! А я тут пою псалмы. Это не поможет! Не поможет!

XII

Все люди, собиравшиеся в послеобеденное время у Сковроннеков, чтобы обсудить последние новости, готовы были спорить, что Америка останется нейтральной, но утверждавшие это проиграли. Стояла осень. В семь утра проснулся Мендель Зингер. В восемь он уже вышел на улицу. Снег пока еще был белым и пушистым, как у него дома, в Цухнове. Но только здесь он быстро таял. В Америке он лежал только ночью. Уже на заре под ногами торопливых мальчишек-газетчиков он превращался в месиво. Мендель Зингер подождал, пока не подбежал один из них. Он купил газету и снова вернулся в дом. Горела голубоватая керосиновая лампа. Она освещала утро, сумрачное, как ночь. Мендель Зингер развернул газету, пухлую, липкую и влажную, от нее пахло, как от его лампы. Сообщения с театра военных действий он перечитывал по два, три, четыре раза. Его особое внимание привлекло сообщение, что в плен было взято за одну операцию пятнадцать тысяч немцев и что русские вновь предприняли наступление в районе Буковины. Но одного этого ему было мало. Он снял очки, протер их, снова надел и прочитал военные сводки еще раз. Его глаза просеивали газетные строчки. Не появятся ли вдруг имена Сэм Зингер, Менухим, Иона?

— Что нового пишут в газетах? — спросила Дебора сегодня точно так же, как делала это каждое утро.

— Ничего нового! — ответил Мендель. — Русские побеждают, немцев снова взяли в плен.

Они замолчали. На спиртовке кипел чайник. Он пел почти так же, как самовар у них на родине. Только чай имел совсем другой вкус, он был затхлым, этот американский чай в пакетиках из папиросной бумаги.

— Даже чаю здесь как следует не попьешь! — сказал Мендель и сам удивился, что говорит о таких мелочах. Может быть, он хотел сказать что-то другое? В мире было так много важных вещей, а он, Мендель, жаловался на чай. Русские побеждали, немцы попадали в плен, и только о Сэме ничего не было слышно, и о Менухиме тоже.

Уже две недели прошло, как Мендель написал письмо. Из Красного Креста сообщили, что Иона пропал без вести. Он, наверное, погиб, думала про себя Дебора. Мендель тоже так думал. Но вслух они долго спорили о том, что значат слова «пропал без вести», и как будто это совершенно исключало возможность смерти, всякий раз сходились на том, что «пропал без вести» означает взят в плен, или дезертировал, или лежит раненый в плену.

Непонятно только, почему так долго нет писем от Сэма? Наверное, он где-нибудь в далеком походе или находится на каком-нибудь «переформировании», слово, смысл и значение которого долго и подробно обсуждались на послеполуденных сборищах у Сковроннека. Об этом нельзя говорить вслух, думал Мендель, но Сэму не надо было идти в армию.

Но вторую половину этого предложения он, сам того не заметив, произнес вслух, и Дебора услышала его.

— Что ты в этом понимаешь, Мендель? — возразила она. Все аргументы в пользу участия Сэма в американской войне Дебора слышала от своей дочери Мирьям. — Америка — это тебе не Россия. Америка наша родина. Каждый порядочный человек обязан сражаться за свою родину. Мак тоже пошел на войну, разве мог Сэм оставаться дома? К тому же, слава Богу, он сидит в штабе полка. А там люди не погибают. Ведь если погибнут все высшие офицеры, то нельзя будет победить. А Сэм, слава Богу, находится рядом с высшими офицерами.

— Одного сына я уже отдал царю, может быть, хватит?

— Царь — это одно, а Америка — совсем другое!

Мендель не стал спорить. Все это он уже слыхал. Он вспомнил тот день, когда оба они, Мак и Сэм, ушли на войну. Они пели американскую песню, прямо посреди улицы. А вечером у Сковроннеков все говорили, что Сэм, чтоб он только был здоров, солдат хоть куда.

Может, и правда Америка нам родина, идти на войну — это наш долг, трусость — позор, а при штабе полка не умирают. Но я все ж таки его отец, думал Мендель, нужно было сказать свое слово. Останься, Сэм, вот что надо было ему сказать. Много лет дожидался я того часа, когда мне достанется хоть крупинка счастья, и вот Иона в солдатах, кто знает, где теперь Менухим, у тебя же есть жена, ребенок, свое дело, останься, Сэм! Может быть, тогда он бы и остался.

Мендель встал и по привычке подошел к окну. Как раз напротив, на первом этаже, было видно разбитое, закрытое коричневыми листами картона окно Лемелей. Внизу была лавка колбасника с написанной на древнееврейском белыми,

заляпанными грязью буквами по блекло-синему фону вывеской. Сын Леммелей тоже пошел на войну. Все семейство Леммелей посещало вечернюю школу и учило английский язык. По вечерам они шли в школу с тетрадями в руках, как малые дети. Может, так и надо. Наверное, Менделю и Деборе тоже надо было ходить в школу. Ведь Америка была теперь их родиной.

Снег все еще падал, медленно, пухлыми, влажными хлопьями. Евреи с раскачивающимися над их головами черными зонтиками уже прогуливались взад и вперед по улице. Их становилось все больше, они шли посреди улицы, и остатки белого снега таяли под их ногами. Казалось, они, чтобы угодить городским властям, будут прохаживаться здесь до тех пор, пока не исчезнет весь снег. Из своего окна Мендель не видел неба, но знал, что оно покрыто тучами. Во всех окнах был виден желтовато-красный свет ламп. Темным было небо. Темны были все комнаты.

Вскоре то там, то здесь стали открываться окна, соседки вывешивали красные и белые простыни и раскладывали на подоконниках желтоватые, обшитые кожей подушки без наволочек. Вся улица сразу весело запестрела. Соседки громко здоровались друг с другом. Из комнат доносились позвякивание тарелок и детский крик. Можно было подумать, что наступил мир, если бы не разносившийся на всю улицу из лавки Сковроннеков грохот военных маршей.

Когда же будет воскресенье, думал Мендель. Прежде он жил от субботы до субботы, теперь же от одного воскресенья до другого. В воскресенье приходили гости: Мирьям, Вега и внук. Они приносили письма от Сэма или просто какие-нибудь новости. Они знали все, так как читали все газеты, какие были. Теперь они вместе вели дело. Все шло хорошо, они много работали, копили деньги и ждали возвращения Сэма.

Иногда Мирьям приводила с собой господина Глюка, первого управляющего. Она ходила с Глюком на танцы и ходила с ним купаться.

Новый казак! — думал Мендель, но ничего не говорил ей.

— Как жаль, что я не могу пойти на фронт! — вздыхал мистер Глюк. — Тяжелый порок сердца — это все, что я унаследовал от моего покойного отца.

Мендель смотрел на розовые щеки Глюка, маленькие карие глазки и кокетливые пушистые усики, усы теперь были не в моде, но он ими гордился. Сейчас Глюк сидел между Мирьям и Вегой. Как-то раз, когда Мендель вдруг посреди разговора встал из-за стола, ему показалось, что правая рука мистера Глюка лежит на колене Веги, а левой он поглаживает бедро Мирьям. Мендель вышел на улицу и стал прогуливаться перед домом, дожидаясь ухода гостей.

— Ты ведешь себя как настоящий русский еврей, — заметила Дебора, когда он вернулся в дом.

— Так я и есть русский еврей, — ответил Мендель.

Однажды в начале февраля, в обычный будний день, когда Мендель и Дебора обедали, пришла Мирьям.

— Здравствуй, мама! — сказала она, а потом добавила: — Здравствуй, отец! — и остановилась на пороге.

Дебора выпустила из рук ложку и отодвинула тарелку. Мендель посмотрел на женщин. Он сразу понял, что случилось что-то необычайное. Мирьям пришла в будний день, в то время, когда она должна была быть на работе. Сердце его громко забилось. Но он все же был спокоен. Ему показалось, что он когда-то уже видел это, что он хорошо помнил эту сцену. Мирьям стояла вот так в своем черном плаще и молчала. Дебора тогда тоже отодвинула от себя тарелку, вот она стоит посреди стола. А на улице мягкими хлопьями медленно падает снег. Лампа мерцает желтоватым светом, и свет этот такой же густой и маслянистый, как запах керосина. Она пытается пересилить бледный свет хмурого зимнего дня, окутавший всю комнату светло-серым покрывалом. Этот свет Мендель Зингер помнит очень хорошо. Эту сцену он видел в своих снах. И он знает, что за этим последует. Все, все знает Мендель, как будто все уже миновало, и боль давным-давно превратилась в печаль. Мендель совершенно спокоен.

В комнате совсем тихо. Мирьям не произносит ни слова, словно в надежде, что отец или мать своими вопросами избавят ее от необходимости самой начинать разговор. Она стоит и молчит. Никто из них не двигается с места.

Наконец Мендель встает и произносит:

— Горе пришло в дом!

Мирьям говорит:

— Мак вернулся, привез часы Сэма и его последний привет.

Дебора сидит, будто ничего не произошло, спокойно сидит в кресле. Ее глаза сухи и пусты, как два куска темного стекла. Она сидит лицом к окну, и кажется,

будто она считает снежинки. Тихо. Слышно монотонное тиканье часов.

Вдруг Дебора начинает медленно, очень медленно, неверными движениями рвать на себе волосы. Она выдергивает одну прядь за другой, и они ползут по ее бледному и неподвижному, как разбухшая гипсовая маска, лицу. Она рвет одну прядь за другой почти с той же скоростью, с какой за окном падают снежинки. Вот уже в ее волосах показались два, нет, три белых островка голой кожи и крохотные капельки красной крови. Все точно оцепенели. Лишь тикают часы, падает снег да Дебора рвет на себе волосы.

Мирьям падает на колени, зарывается головой в колени Деборы и замирает. Лицо Деборы все так же неподвижно. Ее руки выдергивают волосы, сначала одна, потом другая. Эти руки похожи на белесых, мясистых пятилапых хищников, пожирателей волос. Мендель стоит, скрестив руки на спинке кресла.

Но вот Дебора принимается петь. Она поет низким, мужским голосом, и кажется, будто где-то спрятался невидимый певец. Этот странный голос поет старинную еврейскую песню без слов, страшную колыбельную, плач по умершим детям.

Мирьям встает, поправляет шляпу, подходит к двери и впускает Мака.

В форме он еще выше, чем в гражданском. На вытянутых руках, как на тарелках, лежат часы, бумажник и портмоне Сэма.

Все эти вещи Мак осторожно кладет на стол, рядом с Деборой. Он стоит и смотрит, как она вырывает себе волосы, потом подходит к Менделю, кладет свои огромные руки ему на плечи и беззвучно плачет. Слезы бегут по щекам и падают на мундир.

Тихо. Отзвучала песня Деборы, тикают часы, вечер неудержимо надвигается на город. Лампа горит уже не желтым, а белым светом, темен город за окнами, и не видно уже снежинок.

Вдруг из груди Деборы вырывается громкий крик. Он звучит как последний аккорд той мелодии, что она пела, резкий звук лопнувшей струны.

Дебора валится с кресла и застывает на полу как ворох смятого тряпья.

Мак рывком распахивает дверь и выбегает из комнаты. Из раскрытой двери тянет холодом.

Через минуту он возвращается в сопровождении доктора, маленького, проворного человечка с седыми волосами.

Мирьям все так же стоит возле кресла.

Мак и доктор переносят Дебору на кровать.

Доктор садится на край кровати и произносит:

— Умерла.

И наш Менухим тоже умер, один, среди чужих людей, думает Мендель Зингер.

XIII

Круглых семеро суток сидел Мендель Зингер на табуретке возле платяного шкафа и, не отрываясь, глядел на окно, стекла которого в знак траура занавешивал кусок белого полотна и в котором день и ночь горела одна из двух синих ламп. Прокатилось ровно семь дней, как большие, черные, неторопливые обручи, без начала и конца, круглые, как скорбь. Поочередно приходили соседи — Менкес, Сковроннек, Роттенберг и Грошель — и приносили Менделю Зингеру сваренные вкрутую яйца и рогалики с начинкой из яиц, круглые кушанья, без начала и конца, круглые, как семь дней траура.

Мендель обменивался с навещавшими его парой-другой слов. Он почти не замечал их прихода и ухода. Круглые сутки дверь его квартиры не запиралась, стояла с отодвинутым, ненужным засовом. Кому хотелось зайти, тот заходил, кому хотелось выйти, тот выходил. То один, то другой пытался завязать с ним разговор, но Мендель Зингер как воды в рот набрал. Он разговаривал со своей мертвой женой, и окружавшие его другие живые вещи вторили его словам. «Тебе-то хорошо, Дебора! — сказал он ей. — Жаль только, что ты не оставила после себя сына, мне приходится самому творить заупокойную молитву, но я скоро умру, и оплакать нас будет некому. Ветер развеял нас, как две мелкие пылинки. Мы потухли с тобой, как две маленькие искорки. Я сеял в твое лоно семя, оно рождало детей, смерть забрала их всех. В безысходной нужде, бессмысленно протекала твоя жизнь. В молодые годы я наслаждался твоей плотью, в старости я пренебрегал ею. Может, в этом был наш грех. Раз уж любовь не согревала нас, а был между нами холод привычки, то все вокруг нас умирало, все чахло и превращалось в прах. Тебе-то хорошо, Дебора. Господь Бог пожалел тебя. Ты умерла, и тебя похоронили. Меня Он не

жалеет. Ибо я мертв и живу. Он Господин наш, Он знает, что делает. Если можешь, помолись за меня, чтобы меня вычеркнули из Книги Живых.

Погляди, Дебора, ко мне приходят соседи, чтобы утешить меня. Но хотя их много и все они напрягают свои мозги, слов утешения у них не находится. Еще бьется мое сердце, еще видят мои глаза, еще двигаются мои члены, еще носят меня мои ноги. Я ем и пью, молюсь и дышу. Но кровь моя стынет, руки обессилели, сердце опустело. Я уже больше не Мендель Зингер, я то, что осталось от Менделя Зингера. Америка убила нас. Америка — отечество, но смертоносное отечество. То, что у нас было день, здесь ночь. То, что у нас было жизнью, здесь смерть. Сын, которого у нас звали Шемарьей, здесь стал зваться Сэмом. Похоронили тебя, Дебора, в Америке, меня, Менделя Зингера, тоже похоронят в Америке».

Утром восьмого дня, когда Мендель поднялся из своей скорби, пришла сноха Вега в сопровождении мистера Глюка.

— Мистер Зингер, — сказал мистер Глюк, — внизу стоит машина. Вы должны немедленно ехать с нами, с Мирьям что-то случилось.

— Хорошо, — равнодушно ответил Мендель, словно ему сообщили о том, что в его комнате нужно клеить обои. — Хорошо, подайте мне мое пальто.

Мендель вдел обессилевшие руки в рукава пальто и пошел вниз по ступенькам. Мистер Глюк нетерпеливо усадил его в машину. Они ехали не проронив ни слова. Мендель не спрашивал, что случилось с Мирьям. «Вероятно, она тоже умерла, — подумал он спокойно. — Мак убил ее из ревности».

В первый раз он перешагнул порог дома умершего сына. Его ввели в одну из комнат. Здесь на широкой белой кровати лежала Мирьям. Ее поблескивающие иссиня-черные волосы разметались по белым подушкам. Ее пунцовое лицо пылало жаром, черные глаза были окружены широкими, круглыми, красными кругами, кругами пожара были окружены глаза Мирьям. Подле нее сидела медсестра, в углу стоял Мак, большой и недвижный, как предмет мебели.

— Пришел Мендель Зингер, — воскликнула Мирьям. Она протянула к отцу руку и засмеялась. Смех ее длился несколько минут. Он звенел как звонкий непрерывный сигнал на вокзалах, так, словно тысячами латунных молоточков ударяли по тысяче хрустальных бокалов. Неожиданно смех оборвался. Секунду стояла тишина. Потом Мирьям начала всхлипывать. Она отодвинула одеяло, ее обнаженные ноги дергались, ступни быстро и мерно ударяли по мягкой постели, а сжатые кулаки в том же ритме метались по воздуху. Сиделка крепко держала Мирьям, и та стала спокойней.

— Здравствуй, Мендель Зингер! — сказала Мирьям. — Ты мой отец, я могу сказать тебе об этом. Я люблю Мака, который стоит тут, но я его обманула. Я спала с мистером Глюком, да, с мистером Глюком! Глюк — мое счастье, Мак — мой Мак. Мендель Зингер мне тоже нравится, и если ты хочешь... — Здесь медсестра прикрыла ей губы ладонью, и Мирьям умолкла.

Мендель Зингер все еще стоял у двери, а Мак продолжал стоять в углу. Оба мужчины неотрывно глядели один на другого. Так как они не могли объясниться словами, то разговаривали друг с другом глазами. «Она сумасшедшая, — говорили глаза Менделя Зингера глазам Мака. — Она не смогла жить без мужчин, она сумасшедшая».

Вошла Вега и сказала:

— Мы позвали врача. Он должен быть с минуты на минуту. Со вчерашнего дня Мирьям говорит Бог весть что. Она пошла на прогулку с Маком и, когда они возвратились, начала вести себя непонятно. С минуты на минуту должен прийти врач.

Пришел доктор. Он был немец и смог объясниться с Менделем.

— Мы поместим ее в лечебницу, — сказал доктор. — К сожалению, вашей дочери нужна лечебница. Погодите секунду, я успокою ее.

Мак все еще стоял в комнате.

— Вы не подержите ее? — попросил доктор. Своими большими руками Мак стал держать ее. Доктор воткнул ей в бедро шприц. — Скоро она успокоится! — сказал он.

Приехала санитарная машина, в комнату вошли двое санитаров с носилками. Мирьям спала. Ее привязали к носилкам. Мендель, Мак и Вега поехали следом за санитарной машиной.

— Этого тебе не довелось пережить, — поведал Мендель своей жене Деборе, пока они ехали. — Мне это предстоит еще, но я давно знаю об этом. С того вечера, когда увидел Мирьям с казаками на поле, я уже знал это. В нее вселился бес. Помолись за нас, Дебора, чтобы он вышел из нее.

И вот Мендель сидит в приемной лечебницы, окруженный другими ожидающими; подле них стояли маленькие столики с вазами, полными желтых летних цветов, и ажурные подставки со стопками всевозможных иллюстрированных журналов. Но ни один из ожидающих не нюхал цветов, ни один из них не листал журнала. Поначалу Мендель подумал, что все люди, сидевшие, как и он, в приемной, сумасшедшие, и он, как и все они, тоже сумасшедший. Потом через широкую дверь с отсвечивающим стеклом, отделявшую приемную от побеленного коридора, он увидел, как там попарно проводили людей, одетых в халаты в синюю полоску. Сначала женщин, затем мужчин, и иногда один из больных обращал дикое, перекошенное, рассеянное, злое лицо в сторону застекленной двери, ведущей в комнату ожидания. Все ожидающие пугались, только Мендель оставался спокойным. Да, ему казалось странным, что на ожидающих не было тех же халатов в синюю полоску, как, впрочем, и на нем самом.

Он сидел в широком кожаном кресле, кепку из черного шелкового репса он водрузил на колено, верный спутник зонт стоял возле кресла. Мендель попеременно бросал взгляд то на соседей, то на стеклянную дверь, то на журналы, на сумасшедших, которые все еще тянулись по коридору — их вели мыться, — то на золотые цветы в вазах. Это был желтый первоцвет, Мендель вспомнил, что дома он часто видел их на зеленых лугах. Цветы были с родины. Ему было приятно вспомнить о ней. Там были эти луга и эти цветы! Там был дорогой сердцу покой, там были дорогая сердцу молодость и родная нищета. Летом небо было совсем голубое, солнце нестерпимо палило, хлеба стояли желтые, мухи отливали зеленым и жарко жужжали, а в вышине под голубыми небесами не переставая журчали жаворонки. Глядя на первоцвет, Мендель Зингер забыл о том, что умерла Дебора, погиб Сэм, Мирьям сошла с ума, а Иона пропал без вести. Казалось, он только что потерял родину, а в ней Менухима, самого верного из всех умерших, самого далекого и самого близкого из всех умерших. Останься мы там, подумал Мендель, ничегошеньки бы не случилось! Прав был Иона, Иона — самый глупый из моих детей! Любил он лошадей, водку, девочек, а теперь вот пропал без вести! Иона, я больше никогда тебя не увижу, я не смогу сказать тебе, что ты был прав, собираясь пойти в казаки. «Чего вы все мечетесь по белу свету? — сказал Самешкин. — Дьявол ведет вас!» Он был крестьянин, этот Самешкин, мудрый крестьянин. Мендель не хотел уезжать. Дебора, Мирьям, Шемарья — вот они хотели уехать, поездить по разным странам. Надо было остаться, любить лошадей, пить водку, спать на лугах, пускать Мирьям гулять с казаками и любить Менухима.

Я что, спятил, пронеслось в голове Менделя, раз так думаю? Разве думает старый еврей о таких вещах? Бог спутал мои мысли, дьявол думает за меня, как он же говорит устами моей дочери Мирьям.

Пришел доктор, отвел Менделя в угол и сказал ему тихо:

— Возьмите себя в руки, ваша дочь очень больна. Сейчас много таких случаев, понимаете, война и несчастье кругом, мы живем в плохое время. Медицина пока не знает, как лечить болезнь. Один из ваших сыновей, извините, эпилептик, как я слышал, такое бывает в одной семье. Мы, врачи, называем это дегенеративным психозом. Может, это и так. Но может оказаться и болезнь, которую мы, врачи, называем dementia, dementia praecox, но даже названия болезни ненадежны. Это один из редких случаев, какие мы не можем лечить. Вы ведь набожный человек, мистер Зингер? Господь Бог может помочь. Только прилежно молите Господа. Впрочем, вы не хотите ли еще раз взглянуть на вашу дочь? Идемте!

Зазвенели ключи в связке, с жестким стуком захлопнулась какая-то дверь, и Мендель пошел по длинному коридору мимо белых дверей с черными номерами, словно мимо поставленных на торец гробов. Еще раз прозвенела связка ключей в руках у сиделки, и один из гробов раскрылся, там лежала Мирьям и спала, возле нее стояли Мак и Вега.

— Теперь нам нужно идти, — сказал доктор.

— Отвезите меня сразу домой, на мою улицу, — велел Мендель.

Голос его прозвучал так жестко, что все испугались и поглядели на него. Вид его вроде не изменился. Однако это был другой Мендель. Одет он был так же, как в Цухнове и как все время в Америке. В высоких сапогах, в укороченном кафтане, в кепке из шелкового репса. Что же его так изменило? Почему он показался всем более высоким и статным? Почему от его лица исходил такой бледный и ужасный блеск? Казалось, он стал выше самого Мака. «Ее величество боль, — подумал доктор, — вошла в старого еврея».

— Однажды, — начал Мендель в машине. — Сэм сказал мне, что медицина в Америке — лучшая в мире. И вот она не может помочь. Бог может помочь! —

говорит доктор. Скажи, Вега, ты хоть раз видела, чтобы Бог помог какому-то Менделю Зингеру? Бог может помочь!

— Теперь ты будешь жить у нас, — всхлипывая, проговорила Вега.

— Я не буду у вас жить, детка, — ответил Мендель, — ты выйдешь замуж, ты не должна быть без мужа, твой ребенок не должен быть без отца. Я старый еврей, Вега, скоро я умру. Послушай, Вега! Мак был другом Шемарьи, Мирьям он любил, я знаю, он не еврей, но ты должна пойти замуж за него, а не за мистера Глюка! Ты слышишь, Вега? Тебя удивляет, Вега, что я так говорю? Не удивляйся, я не сумасшедший. Стар я стал, видел гибель нескольких миров, наконец поумнел. Все годы до этого я был глупым учителем. Теперь я знаю, что говорю.

Они приехали. Менделю помогли выбраться из машины, ввели его в комнату. Мак и Вега постояли в ней немного, не зная что делать.

Мендель уселся на табуретку возле шкафа и сказал Веге:

— Не забудь, что я тебе говорил. Теперь идите, дети мои.

Они ушли. Мендель подошел к окну и проследил за тем, как они садились в машину. Ему подумалось, что он должен благословить их как детей, которые отправляются в очень трудную или в очень счастливую дорогу. Я их больше никогда не увижу, подумал он потом, и благословлять я их не буду. Мое благословение могло бы стать для них проклятьем, их встреча со мной — принести вред. Он чувствовал себя легко, да, легче чем когда-либо за все прожитые годы. Он порвал все связи. Ему пришло в голову, что он уже много лет был одинок. Одиноким он почувствовал себя с того времени, когда у них с женой пропало наслаждение друг другом. Один он был, один. Возле него были жена и дети и мешали ему нести свою боль. Они лежали на его ранах как бесполезные пластыри, которые не лечат, а только закрывают их. Теперь он наконец с торжеством наслаждался своей скорбью. Оставалось только порвать еще одну связь. Он принялся за дело.

Он пошел на кухню, сложил на открытой плите очага газеты и настроганные из лучин стружки и разжег их. Когда огонь достаточно разгорелся, Мендель уверенным шагом подошел к шкафу и извлек оттуда мешочек из красного бархата, в котором лежали его ремешки и накидка для молитвы и молитвенники. Он представил себе, как будут гореть эти предметы. Острые, голубоватые, прожорливые языки пламени охватят желтоватого оттенка ткань накидки из чистой овечьей шерсти и уничтожат ее. Сверкающая окантовка из серебряных нитей будет медленно обугливаться, загибаясь в мелкие, раскаленные докрасна спирали. Огонь легко скатает в трубочки листы книг, превратит их в серебристо-серый пепел, а черные буквы за считанные секунды окрасит в кроваво-красный цвет. Кожаные углы переплетов отгибаются, оттопыриваются, как странного вида уши, которыми книги слушают, что кричит им Мендель вослед в мгновения их огненной смерти. Ужасную песнь он им выкликивает вослед.

— Кончено, кончено, кончено с Менделем Зингером, — выкликивает он и топает в такт сапогами, так что гудят половицы и начинают стучать горшки на стене. «У него нет сына, у него нет дочери, у него нет жены, у него нет родины, у него нет денег. Бог говорит: я наказал Менделя Зингера. За что Он, Бог, наказывает его? Почему не Леммеля, мясника? Почему Он не наказывает Сковроннека? Почему Он не наказывает Менкеса? Только Менделя Он наказывает! Менделю — смерть, Менделю — сумасшествие, Менделю — голод, все дары Божьи — Менделю. Кончено, кончено, кончено с Менделем Зингером».

Так стоял Мендель перед открытым огнем, крича во все горло и топая ногами. Он держал в руках мешочек из красного бархата, но в огонь его не бросал. Несколько раз он высоко поднимал его, но руки снова опускали мешочек вниз. В сердце его был гнев на Бога, но в мышцах еще сидел страх перед Господом. Пятьдесят лет день за днем разворачивали эти руки молитвенную накидку и снова складывали ее, разворачивали молитвенные ремешки и перехватывали ими голову и левую руку, раскрывали этот молитвенник, перелистывали его страница за страницей и снова захлопывали. И вот руки отказывались повиноваться гневу Менделя. Только рот, который так часто произносил молитвы, не отказывался. Только ноги, которые часто припрыгивали в честь Господа при аллилуйе, топали в такт гневной песни Менделя.

Соседи услышали эти крики и топанье Менделя и увидели, как сквозь трещины и зазоры в его двери на лестничную площадку стал просачиваться серовато-синий дым; они постучали к нему и попросили его открыть им. Но он их не слышал. Глаза его затуманил чад от огня, а в ушах звенело его великое прискорбное ликованье. Соседи уже собирались позвать полицию, но тут один из них сказал: «Позовем-ка его друзей! Они сидят у Сковроннека. Может, им удастся образумить беднягу».

Когда пришли друзья, Мендель действительно успокоился. Он отодвинул засов и впустил их по очереди, как они всегда привыкли заходить к нему в комнату: Менкеса, Сковроннека, Роттенберга и Грошеля. Они заставили Менделя сесть на кровать, уселись сами — кто с ним на кровати, кто рядом, — и Менкес сказал: «Что с тобой, Мендель? Почему ты развел огонь, почему ты хочешь поджечь дом?»

— Я хочу сжечь больше чем один дом и больше чем одного человека. Вы удивитесь, если я скажу вам, что́ я на самом деле собирался сжечь. Вы удивитесь и скажете: «Мендель тоже сошел с ума, как и его дочь». Но уверяю вас, я не сумасшедший. Я был сумасшедшим больше шестидесяти лет, сегодня — нет.

— Так скажи нам, что ты хочешь сжечь?

— Бога я хочу сжечь!

Все четверо пришедших одновременно издали крик. Все они не были такими набожными и богобоязненными, каким всегда был Мендель. Все четверо уже довольно долго жили в Америке, работали в субботу, все помыслы их сводились к деньгам, и мирской прах уже успел плотным, толстым серым слоем лечь на их древнюю веру. Многие обычаи они забыли, кое-какие законы нарушали, грешили и головой, и плотью. Но Бог еще жил в их сердцах. И когда они услышали богохульство Менделя, их словно схватили за обнаженное сердце острыми пальцами.

— Не богохульствуй, Мендель, — сказал после долгого молчания Сковроннек. — Ты знаешь лучше меня, так как больше моего учился, что кара Божья имеет тайный смысл. Мы не знаем, за что он нас наказывает.

— А я знаю, Сковроннек, — возразил Мендель. — Бог жесток, и, чем больше ему повинуешься, тем строже он относится к тебе. Он всесильнее всесильных, ногтем своего мизинца Он может покончить с ними, но Он не делает этого. Он охотно уничтожает лишь слабых. Слабость человека возбуждает в нем силу, а послушание будит злобу. Он громадный, жестокий исправник. Если ты следуешь законам, то Он говорит, что ты следовал им сугубо к своей выгоде. А если ты нарушишь всего одну-единственную заповедь, то Он напустит на тебя сотню кар. Захочешь его подкупить, Он привлечет тебя к суду. Обойдешься с ним честно, Он будет с нетерпением ждать подкупа. Во всей России не сыщешь более злого исправника!

— Вспомни, Мендель, — начал Роттенберг, — вспомни Иова. С ним случилось подобное тому, что и с тобой. Он сидел на голой земле, голова его была посыпана пеплом, а раны причиняли ему такую боль, что он катался по земле, подобно раненому зверю. И он богохульствовал. А оказалось, что это было всего лишь испытание. Что мы знаем, Мендель, о том, что деется на небесах? Может, пришел к Богу злой человек и сказал ему, как некогда: «Нужно искусить праведного». И Господь ответил: «Что ж, попытайся искусить Менделя, раба моего».

— И вот видишь, — вступил Грошель, — твой упрек был несправедлив. Потому что Иов, когда Бог начал его испытывать, был не слабый, а сильный. Ты тоже, Мендель, не был слабым! У твоего сына имелся торговый дом, универсальный магазин, год от году он становился все богаче и богаче. Твой сын Менухим чуть было не выздоровел, еще немного, и он тоже приехал бы в Америку. Ты был здоров, жена твоя была здорова, дочь была красивая, и вскоре ты нашел бы ей мужа!

— Почему ты разрываешь мне сердце, Грошель? — возразил Мендель. — Почему ты перечисляешь все, что было, сейчас, когда ничего уже больше нет? Мои раны еще не зарубцевались, а ты снова бередишь их.

— Он прав, — в один голос проговорили трое других.

И начал Роттенберг:

— Я знаю, Мендель, твое сердце разбито. Но оттого, что мы можем говорить с тобой обо всем, и оттого, что ты знаешь, что мы, словно братья, разделяем твое горе, разве ты будешь серчать на нас, если я попрошу тебя подумать о Менухиме? Дорогой Мендель, может, ты пытался нарушить планы Бога, так как оставил Менухима? На твою долю выпал больной сын, и вы относились к нему так, словно он был плохим сыном.

Воцарилась тишина. Мендель долго ничего не говорил. Когда он снова заговорил, то казалось, он будто и не слыхал слов Роттенберга, так как обратился к Грошелю и проговорил:

— И что же ты хочешь сказать, приведя пример Иова? Вы хоть раз видели собственными глазами настоящие чудеса? Чудеса, о каких говорится в конце «Книги Иова»? Что, мой сын Шемарья должен восстать из братской могилы во Франции? Пропавший без вести сын мой Иона — воскреснуть? Дочь моя Мирьям должна вдруг возвратиться из сумасшедшего дома здоровой? А возвратясь домой, она еще

и сможет найти себе мужа и спокойно жить дальше, как женщина, которая никогда не была сумасшедшей? Жена моя Дебора должна встать из могилы, холм над которой еще не успел просохнуть? Сын мой Менухим должен среди войны приехать сюда из России, при условии, что он еще жив? Ибо неверно, — и тут Мендель снова обратился к Роттенбергу, — что я злонамеренно отвернулся от Менухима и что хотел наказать его. Нам пришлось уехать по другой причине, из-за дочери, которая начала любиться с казаками — с казаками! А почему Менухим был больной? Уже сама его болезнь явилась знаком того, что Бог сердит на меня, и это был первый из ударов, которых я не заслужил.

— Хотя Бог может все, — вступил самый рассудительный из них, Менкес, — но можно предположить, что самых больших чудес Он уже не совершает, потому что мир их больше не заслуживает. И если бы даже Бог захотел сделать для тебя исключение, то этому бы воспрепятствовали грехи других. Ибо другие недостойны видеть чудо, совершаемое для праведного, и поэтому Лоту пришлось отправиться в дальний путь, а Содом и Гоморра погибли, не увидев чуда с Лотом. Ныне же земля заселена повсюду — и даже если ты куда-то уедешь, то газеты сообщат о том, что́ с тобой происходит. Так что Богу в наши дни приходится совершать лишь средние чудеса. Но они, хвала Его имени, достаточно велики! Жена твоя Дебора ожить не может, сын твой Шемарья ожить не может. Но Менухим, вероятно, жив, и после войны ты сможешь увидеть его. Твой сын Иона, может, в плену, и после войны ты сможешь увидеть его. Твоя дочь может выздороветь, путаницу в мыслях у нее устранят, она может стать красивее прежнего, и она получит мужа и будет рожать тебе внуков. Да и внук есть у тебя, сын Шемарьи. Собери всю любовь, какую ты питал доныне ко всем своим детям, и обрати ее на этого внука! И ты найдешь утешение.

— Между мной и моим внуком, — ответил Мендель, — разорваны узы, потому что мертв Шемарья, мой сын и отец моего внука. Моя сноха Вега выйдет замуж за другого, у моего внука будет новый отец, отцом которого я не являюсь. Дом моего сына — не мой дом. Мне нечего там искать. Присутствие мое там принесет несчастье, а моя любовь навлечет проклятье, подобно тому как одинокое дерево, стоящее в чистом поле, притягивает молнию. Что же касается Мирьям, то доктор сам сказал мне, что медицина не может лечить ее болезнь. Иона, скорее всего, умер, а Менухим был больным, хотя дело у него и шло на поправку. Посреди России в такую ужасную войну он определенно погибнет. Нет, друзья мои! Я одинок и хочу остаться одиноким. Все годы я любил Бога, а Он меня ненавидел. Все годы я боялся Его, теперь Он мне больше ничего не сможет сделать. Все стрелы из Его колчана уже попали в меня. Он может меня только убить. Но для этого Он слишком жесток. Я буду жить, жить, жить.

— Но власть Его, — возразил Грошель, — и в этом мире, и в мире ином. Горе будет тебе, Мендель, когда ты умрешь!

Тут Мендель громко рассмеялся и сказал:

— Я не боюсь преисподней, кожа моя уже обгорела, члены мои уже парализованы, а злые духи — друзья мне. Я уже отстрадал всеми муками ада. Дьявол добрее Бога. Поскольку он не столь всесилен, он не может быть таким жестоким. Страха я не испытываю, друзья мои!

При этих словах друзья его умолкли. Но им не хотелось оставлять Менделя одного, и они сидели и молчали. Самый молодой из них, Грошель, спустился вниз, чтобы сказать женам друзей и своей жене, что мужья сегодня к вечеру домой не придут. Он привел с собой в квартиру Менделя Зингера еще пятерых евреев, чтобы их было десятеро и они могли сотворить вечернюю молитву. Они начали молиться, но Мендель Зингер в молитве участия не принимал. Он недвижно сидел на кровати. Он не сотворил даже заупокойной, и Менкес сделал это за него. Посторонних пятеро мужчин ушли. А четверо друзей оставались всю ночь. Одна из двух синих ламп все еще горела на остатке фитиля и последней капле масла на плоском дне. Царила тишина. То тот, то другой засыпал на своем месте, всхрапывал, просыпался от собственного шума и снова начинал дремать.

Не спал один лишь Мендель. Широко раскрыв глаза, он глядел на окно, за которым плотная темнота ночи начала наконец разжижаться, потом стала серой, потом беловатой. Из внутренностей часов прозвучало шесть ударов. Один за другим проснулись все друзья. Не сговариваясь, они взяли Менделя под руки и свели вниз. Они привели его в заднюю комнату Сковроннеков и уложили на диван.

Тут он заснул.

XIV

С этого утра Мендель Зингер остался у Сковроннеков. Небогатую обстановку друзья продали, оставили только постельные принадлежности и мешочек из красного бархата со святыми предметами, которые Мендель едва не сжег. К мешочку Мендель больше не прикасался. Посеревший, пропыленный, висел он в задней комнате Сковроннеков на крепком гвозде. Мендель Зингер больше не молился. Правда, иногда его звали, если не хватало десятого человека, чтобы довести число молящихся до положенной цифры. Потом он стал требовать за свое присутствие плату. Иногда за небольшое вознаграждение он давал тому или иному свои молитвенные ремешки. Про него рассказывали, что он зачастил в итальянский квартал, чтобы поесть свинины и рассердить Бога. Люди, среди которых он жил, в борьбе, какую повел Мендель против небес, встали на его сторону. Хотя они были верующими, им пришлось признать правоту еврея. Иегова обошелся с ним слишком сурово.

В мире еще бушевала война. Кроме Сэма, сына Менделя, в живых оставались все жители квартала, которые отправились на фронт. Молодой Леммель стал офицером и счастливо отделался, потеряв левую руку. Он приехал на побывку и стал героем квартала. Он дал всем евреям право считать Америку родиной. Он остался на этапе, наводить окончательный лоск на свежее пополнение. Сколь ни велика была разница между молодым Леммелем и старым Зингером, евреи квартала усматривали между ними определенную близость. Казалось, будто евреи считали, что Мендель и Леммель поделили меж собой всю меру несчастья, отмеренную на всех. Мендель потерял куда больше, чем одну левую руку! Если Леммель сражался с немцами, то Мендель — с неземными силами. И хотя они были убеждены, что с головой у старого стало не совсем все в порядке, однако евреи не могли не примешивать к своему сочувствию почтения и благоговения перед святостью безумия. Мендель Зингер был, несомненно, избранный. Он жил среди других, чьи наполненные изнурительным трудом будни не омрачали никакие страхи, как достойный сожаления свидетель жестокого могущества Иеговы. Долгие годы он жил себе как и все они, на него мало обращали внимания, некоторые его и вовсе не замечали. И вот однажды он оказался ужасным образом выделен из их среды. Теперь не осталось никого, кто бы не знал его. Бóльшую часть дня он проводил на улице. Казалось, его проклятьем стало не только страдание от беспримерной беды, но и ношение знака страдания как знамени. И как страж своих собственных болей ходил он по середине улицы; все его приветствовали, иные наделяли мелочью, многие с ним заговаривали. За подаяния он не благодарил, приветствий почти не замечал, а на вопросы отвечал односложным «да» или «нет». Вставал он рано. В заднюю комнату Сковроннеков свет не проникал, так как окон в ней не было. Он чувствовал наступление утра через ставни, утро должно было проделать длинный путь, прежде чем прийти к Менделю Зингеру. Зингер начинал свой день с первыми шумами на улице. На спиртовке кипятился чай. Он запивал им хлеб и сваренное вкрутую яйцо. Он бросал робкий, но злой взгляд на висящий на стене мешочек со святыми предметами, в темно-синей тени мешочек выглядел так, словно был еще более темным ее продолжением. «Ни за что не буду творить молитву!» — говорил себе Мендель. Но ему было больно оттого, что он не молился. Боль ему причиняли собственный гнев и бессилие этого гнева. Хотя Мендель и был зол на Бога, но Он еще господствовал над миром. Ненависть столь же мало могла дать ему сил, как и набожность.

В таких и подобных размышлениях Мендель начинал свой день. Раньше, вспоминал он, пробуждение его было легким, будило его радостное ожидание молитвы и удовольствие от предвкушаемого возобновления осознаваемой близости к Богу. Из благостной неги сна он вступал в еще более таинственное, еще более теплое сияние молитвы, как в великолепный и все еще привычный зал, в котором обитал всемогущий, но улыбчивый Отец. «Доброе утро, Отец», — говорил Мендель и верил, что слышит ответ. Обман это был. Зал был великолепен и холоден, Отец был всемогущ и злобен. Кроме грома, никаких иных звуков не исходило из Его уст.

Мендель Зингер раскрывал ставень, клал нотные листы, тексты песнопений, граммофонные пластинки в узкую витрину, длинной палкой поднимал железные жалюзи. Потом он набирал полный рот воды, обрызгивал пол, брал веник и сметал в одну кучку мусор, накопившийся за прошлый день. На маленькой лопатке он относил обрывки бумаги к плите, разводил огонь и сжигал их. Потом он выходил из дому, покупал несколько газет и разносил их соседям в ближайшие дома. Он встречал мальчиков — разносчиков молока и ранних пекарей, приветствовал их и снова шел «в лавку». Вскоре приходили Сковроннеки. Они посылали его купить то

одно, то другое. Целый день слышалось: «Мендель, сбегай купи одну селедку», «Мендель, изюм еще не положен!», «Мендель, ты забыл о белье», «Мендель, сломалась лестница!», «В фонаре нет стекла», «Где штопор?» И Мендель бежал и покупал одну селедку, и клал изюм, и приносил белье, и чинил лестницу, и относил фонарь к стекольщику, и отыскивал штопор. Соседки просили его иногда побыть с малыми детьми, когда в кинотеатре менялась программа или когда приезжал новый театр. И Мендель сидел с чужими детьми и, как некогда у себя дома легким и ласковым пальцем заставлял качаться люльку с Менухимом, так качал он теперь легким и ласковым кончиком ноги колыбели с чужими младенцами, имен которых он не знал. Качая, он припевал старую, очень старую песню: «Повторяй за мной, Менухим: «Вначале Бог создал небо и землю», повторяй за мной, Менухим!»

Это было в месяце элюле[1], и пришли большие праздники. Все евреи квартала хотели устроить временную молельню в задней комнате Сковроннеков. (Потому что в синагогу они ходили с неохотой.)

— Мендель, в твоей комнате будут молиться! — сказал Сковроннек. — Что ты на это скажешь?

— Пусть молятся, — ответил Мендель.

И он смотрел, как собирались евреи, зажигали большие желтые восковые свечи со свисающими пучками фитилей. Сам он помогал каждому коммерсанту опускать жалюзи и запирать двери. Он смотрел, как все они надевали поверх одежды белые накидки, и выглядели они как трупы, вставшие, чтобы вознести хвалу Богу. Они снимали башмаки и стояли в носках. Они падали на колени и поднимались, большие желто-золотые восковые и кипенно-белые стеариновые свечи наклонялись и капали на молитвенные одежды горячими слезами, которые в мгновение ока застывали. Белые евреи сами наклонялись, как свечи, у них тоже падали слезы — на пол — и высыхали. А Мендель Зингер стоял черный и безмолвный в своей обыденной одежде, позади всех, возле двери и не двигался. Губы его были сомкнуты, а сердце — словно камень. Пение Коля Нидре поднялось, как горячий ветер. Губы Менделя Зингера оставались сомкнутыми, а сердце — как камень. Черный и безмолвный, в повседневной своей одежде, он держался позади всех неподалеку от двери. Никто не обращал на него внимания. Евреи старались не видеть его. Среди них он был чужой. То один, то другой из них вспоминал о нем и молился за него. А Мендель Зингер стоял, выпрямившись, у двери и был зол на Бога. «Все они молятся, потому что боятся себя, — подумал он. — Я же себя не боюсь. Я себя не боюсь!»

После того как все ушли, Мендель Зингер лег на свой жесткий диван. Было еще тепло от тел молившихся. В комнате еще горело сорок свечей. Загасить их он не отваживался; они не давали ему заснуть. И так он пролежал, не засыпая, всю ночь. Он придумывал беспримерные богохульства. Он представил себе, как выходит из дому и идет в итальянский квартал, покупает в ресторане свиное мясо и возвращается, чтобы съесть его в обществе беззвучно горящих свечей. Да, он развернул свой носовой платок, да, пересчитал монеты, какие у него скопились, но он не вышел из комнаты и ничего не съел. Он лежал на диване одетый, с широко раскрытыми глазами, бодрствующий и бормотал:

— Кончено, кончено, кончено с Менделем Зингером! У него нет сына, нет дочери, нет жены, нет денег, у него нет дома, у него нет Бога! Кончено, кончено, кончено с Менделем Зингером!

Золотые и голубоватые языки пламени свечей слегка затрепетали. Горячие восковые слезы с глухим звуком закапали на чаши подсвечников, на желтый песок латунных ступок, на темно-зеленое стекло бутылок. В комнате еще жило горячее дыхание молящихся. На стульях, поставленных здесь для них, еще лежали их белые молитвенные одеяния и ожидали наступления утра и продолжения молитвы. Пахло воском и обуглившимися фитилями. Мендель вышел из комнаты, открыл лавку и вышел на воздух. Стояла ясная осенняя ночь. Кругом не было ни души. Мендель начал вышагивать туда и обратно перед магазином. Послышались широкие медленные шаги полицейского. И Мендель возвратился в лавку. Он все еще старался избегать встреч с людьми в униформе.

Дни праздников прошли, наступила осень, пошли затяжные дожди. Мендель покупал селедку, подметал пол, приносил белье, чинил лестницу, искал штопор, клал изюм, ходил туда и обратно по середине улицы. За подаяния он почти не благодарил, на приветствия не отвечал, на вопросы отвечал «да» или «нет». После обеда, когда собирались люди, чтобы потолковать о политике и почитать вслух газеты, Мендель ложился на диван и засыпал. Гомон не будил его. Война его никоим боком не касалась. Пластинки с самыми новыми песнями наводили на него сон.

[1]Месяц элюль — двенадцатый месяц еврейского календаря, соответствует августу — сентябрю.

Он просыпался от наступавшей тишины, когда все уходили. После этого он недолго разговаривал со старым Сковроннеком.

— Твоя сноха выходит замуж, — сказал однажды Сковроннек.

— Совершенно верно! — отвечал Мендель.

— Но она выходит за Мака!

— Это я ей посоветовал!

— Дело идет хорошо!

— Это не мое дело.

— Мак передал нам, что хочет дать тебе денег!

— Я не хочу никаких денег!

— Спокойной ночи, Мендель!

— Спокойной ночи, Сковроннек!

Ужасными новостями запестрели газеты, которые Мендель обычно покупал каждое утро. Они появились, он против своей воли воспринимал их далекое отражение, ему не хотелось ничего знать о них. В России больше не правил царь. Хорошо, пусть царь больше не правит. Во всяком случае, об Ионе и Менухиме они, эти газеты, ничего сообщить не могли. У Сковроннека бились об заклад, что война кончится через месяц. Хорошо, пусть война заканчивается. Шемарья не возвращался. Руководство сумасшедшего дома писало, что состояние Мирьям не улучшилось. Вега принесла письмо, Сковроннек прочел его Менделю.

— Хорошо, — сказал Мендель, — Мирьям уже не выздоровеет.

Его старый черный кафтан стал отдавать на плечах в прозелень, а вдоль всей спины, как слабый отпечаток позвоночника, стал виден шов. Мендель становился все ниже и ниже ростом. Полы его сюртука все удлинялись и удлинялись и, когда Мендель шагал, стали касаться не голенища сапог, а уже почти щиколоток. Борода, покрывавшая прежде только грудь, стала теперь доходить до последних пуговиц кафтана. Козырек кепки из черного, но позеленевшего репса обмяк, стал растягиваться и, словно тряпка, висел над глазами Менделя Зингера. В сумках Мендель Зингер носил всякую всячину: коробочки, за которыми его посылали, газеты, различный инструмент, с помощью которого он чинил поврежденные предметы у Сковроннеков, мотки шпагата разного цвета, упаковочную бумагу и хлеб.

Эти грузы еще больше сгибали спину Менделя, а так как правая сумка была обычно тяжелее левой, то она оттянула правое плечо старика. Так, скособочившись и сгорбившись, и ходил он, чахлый, с согнутыми коленями и шаркая подошвами. Новости со всего света, дни недели и праздники других людей катились мимо него, как автомобили мимо дряхлого, стоящего на отшибе дома.

Однажды настал день, когда война действительно закончилась. Квартал опустел. Все пошли посмотреть на торжества по случаю мира и на возвратившиеся полки. Многие наказали Менделю последить за домом. Он ходил от квартиры к квартире, проверял дверные ручки и замки и возвращался к себе в лавку. Ему казалось, он слышит, как из неизмеримой дали доносится радостный гул всего света, хлопанье фейерверков и смех десятков тысяч людей. На него сошел тихий, мирный покой. Пальцы его теребили бороду, губы скривились в улыбку, а из его горла даже стало пробиваться короткими толчками тонюсенькое хихиканье.

— Мендель тоже устроит для себя праздник, — прошептал он и впервые подошел к одному из коричневых граммофонных ящиков. Он уже видел, как его заводили. — Одну пластинку, одну пластинку! — произнес он.

Сегодня до обеда сюда заходил вернувшийся домой солдат и принес с собой полдюжины пластинок с новыми песнями из Европы. Мендель вынул верхнюю, осторожно положил ее на аппарат, немного подумал, вспоминая, как действовать дальше, и наконец опустил иглу. Граммофон зашипел. Потом зазвучала песня. Был вечер, Мендель стоял в сумерках возле граммофона и слушал. Каждый день он слышал здесь песни, веселые и печальные, протяжные и быстрые, мрачные и светлые. Но никогда еще не звучало песни, подобной этой. Она лилась как маленький ручеек и мягко журчала, вырастала, как море, и рокотала. «Я слушаю сейчас весь белый свет, — подумал Мендель. — Как это возможно, что на такой небольшой пластинке оказался записан весь мир?» Когда вступила маленькая серебряная флейта, с этого момента не оставляя больше бархатных скрипок и обнимая их неотделимой узкой каймой, Мендель впервые за долгие годы заплакал. И тут песня закончилась. Он поставил ее еще раз, потом еще. Наконец он стал подпевать хриплым голосом и постукивать робкими пальцами по ящику граммофона.

Такая картина представилась глазам возвратившегося домой Сковроннека. Он остановил граммофон и сказал:

— Мендель, зажги лампу! Чего ты здесь играешь?

Мендель зажег лампу.

— Посмотри, Сковроннек, как называется песня.

— Это новые пластинки, — ответил Сковроннек. — Я купил их сегодня. Песня называется... — Сковроннек надел очки, поднес пластинку к лампе и прочел: — Песня называется «Песнь Менухима».

Менделем вдруг овладела слабость. Он сел и уставился на сверкающую бликами пластинку в руках Сковроннека.

— Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал Сковроннек.

— Да, — ответил Мендель.

Сковроннек еще раз повернул ручку граммофона.

— Прекрасная песня, — сказал Сковроннек, склонил голову на левое плечо и стал слушать. Постепенно лавку заполнили запоздавшие соседи. Ни один из них не произнес ни слова. Все слушали песню и качали в такт головами.

Они прослушали ее шестнадцать раз, пока не выучили наизусть.

Мендель остался в лавке один. Он тщательно запер дверь изнутри, убрал все из витрины, начал раздеваться. Каждое его движение сопровождала песня. Перед сном ему почудилось, что в голубую и серебряную мелодию начали вплетаться жалобные стоны — единственная, давно им уже не слышанная песня Менухима, его собственного Менухима.

XV

Дни становились длиннее. Утра посветлели уже настолько, что стали даже проникать через закрытые жалюзи в заднюю, лишенную окон комнату Менделя. В апреле улица просыпалась на добрый час раньше. Мендель зажег спиртовку, поставил чай, налил воды в небольшой синий умывальник, окунул лицо в тазик, вытерся кончиком полотенца, висящего на дверной ручке, открыл жалюзи, набрал полный рот воды, тщательно опрыскал комнату, рассматривая орнаменты, оставленные на пыли струйкой воды, которую он выпускал изо рта. Спиртовка зашипела; шести даже еще не пробило. Мендель подошел к двери. И тут словно сами собой открылись окна на улице. Пришла весна.

Пришла весна. Начали готовиться к Пасхе. Мендель помогал во всех домах. Он водил рубанком по доскам столов, чтобы очистить их от скверных следов еды, оставленных за целый год. Круглые, цилиндрической формы коробки, в которых слоями лежали завернутые в ярко-красную бумагу пасхальные хлебы, он расставил по белым ячейкам в витрине, а с бутылок вина из Палестины смахнул паутину, которой они покрылись, пока лежали в прохладных погребах. Он разобрал кровати соседей и по частям выносил во дворы, где теплое апрельское солнце выманивало наружу вредных насекомых и делало их легкой добычей бензина, скипидара и керосина. В листках бумаги розового и лазоревого цвета он вырезал круглые и угольные дырки, окантовывал бахромой и прикреплял кнопками к кухонным поставцам; они должны были стать искусным покрытием для посуды. В бочки и чаны он наливал до краев горячей воды, потом брал большие чугунные шары, держал их с помощью деревянных палок над огнем очага, пока они не раскалялись докрасна. Затем опускал эти шары в чаны и бочки, вода шипела, и бочки с чанами очищались, как того требовало предписание. В громадных ступах он толок мацу в муку, ссыпал ее в чистые мешки и завязывал их синими ленточками. Все это он уже делал однажды в собственном доме. Весна там наступала медленнее, чем в Америке. Мендель вспомнил о стареющем грязновато-сером снеге, скапливающемся в это время года в Цухнове по краям деревянных пешеходных настилов, о хрустальных сосульках по краям отверстий в бочках, о неожиданных тихих дождях, о далеких, откатывающихся за сосновый бор раскатах грома, ажурной изморози, появляющейся безоблачными утрами, о Менухиме, которого Мирьям упрятала в объемистую бочку, чтобы тот не путался у нее под ногами, о надежде, что наконец, наконец-то в этом году придет Мессия. Он не приходил. «Он не придет, — подумал Мендель, — нет, не придет». Пусть другие ждут его прихода. Мендель не ждал.

И все же друзьям и соседям показалось, что этой весной Мендель изменился. Они стали иногда замечать, что он вполголоса напевает песню, а то и замечали тихую улыбку в его белой бороде.

— Он впадает в детство, значит, стал стар, — сказал Грошель.

— Он все забыл, — сказал Роттенберг.

— Это радость перед смертью, — заключил Менкес.

Сковроннек, знавший его лучше других, молчал. И только однажды вечером, перед тем как лечь спать, он сказал своей жене:

— С тех пор как появились новые пластинки, наш Мендель стал другим человеком. Иногда я застаю его за тем, как он сам заводит граммофон. Что ты на это скажешь?

— Скажу на это, — нетерпеливо ответила жена Сковроннека, — что Мендель стареет и впадает в детство и скоро ни на что не будет годен. — Она уже давно была недовольна Менделем. Чем больше он старел, тем меньше у нее было сочувствия к нему. Мало-помалу она даже забыла о том, что Мендель был когда-то зажиточным человеком, и ее участие в нем, которое подпитывалось почтением (ибо она отнюдь не была сердобольной), пропало. Она уже не называла его, как вначале, мистером Зингером, а попросту Менделем, как вскоре стали его звать и все вокруг. И если прежде она давала ему поручения с известной сдержанностью, которая призвана была показать, что его покорность оказывает ей честь и одновременно служит упреком, то теперь она стала командовать им столь нетерпеливо, что сразу же было видно ее недовольство его повиновением. Хотя Мендель не был тугоухим, госпожа Сковронек, разговаривая с ним, повышала голос, словно опасаясь, что он ее не поймет, и будто хотела доказать своим криком, что Мендель выполнял ее приказания не так из-за того, что она говорила ему своим обычным голосом. Ее кричание было мерой предосторожности, и это было единственным, что задевало Менделя. Ибо он, столь болезненно униженный небом, мало обращал внимания на добродушные и пустые насмешки людей и, только когда сомневались в его способности понимать, чувствовал себя оскорбленным.

— Мендель, поворачивайтесь живее, — так начиналось каждое поручение госпожи Сковроннек.

Он приводил ее в нетерпение, казался ей слишком медлительным.

— Не кричите так, — отвечал иногда Мендель, — я слышу вас.

— Да вы не торóпитесь, у вас много времени!

— У меня времени меньше, чем у вас, госпожа Сковроннек, если верить, что я старше вас.

Госпожа Сковроннек, которая не сразу улавливала дополнительный оттенок в ответе и делаемое ей замечание и считала, что над ней насмехаются, тотчас обращалась к ближе всего стоящему к ней в лавке человеку:

— Ну что вы на это скажете? Он стареет! Наш Мендель стареет!

Она с удовольствием приписала бы ему и другие свойства, но довольствовалась упоминанием старости, кою считала пороком. Когда Сковроннек слышал такие речи, то говорил жене:

— Все мы стареем! Мне столько же лет, сколько и Менделю, — да и ты не молодеешь!

— Можешь жениться на молодой, — отвечала госпожа Сковроннек.

Она была счастлива, что наконец получала удобный повод для ссоры с мужем. И Мендель, понимавший, как будут развиваться споры, и заранее знавший, что злость госпожи Сковроннек выльется в конце в концов против мужа и его друга, дрожал за свою дружбу. Сегодня госпожа Сковроннек была настроена против Менделя Зингера по особому поводу.

— Представь себе, — сказала она мужу, — несколько дней назад у меня пропала сечка. Могу поклясться, что ее взял Мендель. А спрашиваешь его, так он-де ничего не знает об этом. Он стареет и становится словно малое дитя!

Мендель Зингер действительно взял сечку госпожи Сковроннек и спрятал ее. В тайне ото всех он уже давно готовил один большой план, последний в своей жизни. Однажды вечером ему показалось, что он сможет привести его в исполнение. Он сделал вид, что прикорнул на диване, пока соседи вели беседу у Сковроннека. На самом деле Мендель вовсе не спал. Закрыв глаза, он прислушивался, дожидаясь, пока уйдет последний из них. Затем он достал из-под валика дивана сечку, спрятал ее под кафтаном и прошмыгнул на объятую вечерними сумерками улицу. Фонари еще не были зажжены, но из некоторых окон уже лился желтый свет ламп. Мендель остановился напротив дома, в котором они жили с Деборой, и стал вглядываться в окна своей прежней квартиры. Там теперь жила молодая чета Фришей, внизу они открыли обставленное по последней моде кафе-мороженое. Вот из дома вышли молодые люди. Они закрыли кафе. У них было сегодня посещение концерта. Они были экономными, можно сказать, скупыми, прилежными и любили музыку. Отец молодого Фриша дирижировал в Ковно оркестром, игравшим на свадьбах. Сегодня давал концерт филармонический оркестр, только что приехавший из Европы. Фриш уже несколько дней только и говорил об этом. И вот они шли на концерт. Менделя они не видели. Он проскользнул на ту сторону улицы, вошел в дом, опираясь о хорошо знакомые перила, поднялся наверх и вынул из кармана все

ключи. Это были ключи соседей, которые дали их ему с наказом смотреть за своими квартирами, когда они шли в кино. Дверь он открыл без особого труда. Он задвинул засов, лег на пол и начал простукивать одну половицу за другой. Это заняло у него много времени. Он устал, дал себе немного передохнуть и снова принялся за дело. Наконец он прослушал пустоту как раз в том месте, где однажды стояла кровать Деборы. Мендель вычистил сор из щелей, с помощью сечки приподнял половицу на всех четырех углах и вынул ее. Он не ошибся, он нашел то, что искал. Мендель схватил усеянный узлами носовой платок, спрятал его в кафтан, положил половицу на прежнее место и бесшумно удалился. На лестничной клетке никого не было, его не видела ни одна душа. Сегодня он раньше обычного запер лавку, опустил ставень. Он зажег большую круглую висячую лампу и сел в отбрасываемый ею круг света. Он развязал на носовом платке узлы и пересчитал его содержимое. Дебора накопила шестьдесят семь долларов монетами и бумажками. Это было много, но недостаточно и разочаровало Менделя. Если добавить его собственные сбережения — подаяния и вознаграждения за работу в домах, то получалось ровно девяносто шесть долларов. Этого было мало.

— Значит, еще несколько месяцев! — прошептал Мендель. — Время у меня есть.

Да, время у него было, ему предстояло жить еще довольно долго. Перед ним лежал большой океан. Он должен был пересечь его еще раз. Все большое море ждало Менделя. Его ждут весь Цухнов и окрестности: казарма, сосновый бор, лягушки в болотах и стрекозы на полях. Если Менухим мертв, то он лежит на небольшом кладбище и ждет его. Мендель ляжет на покой там же. Сначала он зайдет на подворье к Самешкину, собак он больше бояться не будет, да покажите ему хоть волка из Цухнова, он и его не побоится. Несмотря на жуков и червей, жаб и зеленых кобылок, Мендель сможет лечь на сырую землю. Будут громко звонить колокола и напоминать ему о вопрошающем свете в безумных глазах Менухима. Мендель ответит: «Я воротился, дорогой Самешкин, пусть другие странствуют по свету, мой белый свет умер, я возвратился, чтобы уснуть здесь вечным сном!» На землю опустилась синяя ночь, мерцают звезды, квакают лягушки, стрекочут стрекозы.

Так засыпал сегодня Мендель, зажав в руке завязанный узлами носовой платок.

На другой день утром он вошел в квартиру Сковроннеков, положил на холодную плиту на кухне сечку и сказал:

— Вот, госпожа Сковроннек, ваша сечка нашлась!

Он уже было хотел быстро ретироваться, но тут начала госпожа Сковроннек:

— Нашлась! Нетрудно ей было найтись, коли вы ее спрятали! Впрочем, вчера вы крепко спали. Мы еще раз выходили на улицу и стучали к вам. Вы уже слышали? Фриш из кафе-мороженого хочет сказать вам что-то очень важное. Немедленно отправляйтесь к нему.

Мендель испугался. Значит, вчера его кто-то все же видел, может, кто-то другой обворовал квартиру, и теперь подозревают Менделя. Может, деньги припрятала вовсе не Дебора, а госпожа Фриш, и он украл их. У него задрожали колени.

— Позвольте, я сяду, — сказал он госпоже Сковроннек.

— Две минуты можете посидеть, — ответила она, — мне пора начинать готовить.

— Что это за важное дело? — спросил Мендель, заранее зная, что она ничего ему не скажет.

Она наслаждалась его любопытством и молчала. Потом она посчитала, что его уже пора отсылать.

— Я в чужие дела не вмешиваюсь! Идите к Фришу! — сказала она.

И Мендель пошел, решив к Фришу не ходить. Там его могло ожидать только что-то недоброе. Оно и без того придет нежданно-негаданно. Он выжидал. Но после обеда должны были прийти в гости внуки Сковроннека. Госпожа Сковроннек послала его за тремя порциями земляничного мороженого. Мендель нерешительно вошел в лавку. К счастью, мистера Фриша не было. Его жена сказала:

— Муж имеет вам сообщить что-то очень важное, обязательно зайдите после обеда!

Мендель сделал вид, что не слышал сказанного. Сердце у него бешено билось, словно собираясь вырваться из грудной клетки. Он обеими руками пытался унять его. Вне всякого сомнения, ему грозило что-то нехорошее. Он хотел сказать правду, Фриш ему бы поверил. А если б не поверил, то ему грозила тюрьма. Он умрет в тюрьме. Не в Цухнове.

Он никак не мог выйти из околотка вблизи кафе-мороженого, бродя взад и вперед мимо лавки. Он видел, как возвращается к себе молодой Фриш. Он хотел повременить немного, но ноги сами понесли его в лавку. Он открыл дверь, которая

привела в действие резкий звонок, и не нашел в себе сил закрыть ее за собой. Сигнал тревоги звучал непрерывно, и Мендель, оглушенный его громким звуком, оказался словно пойманным, связанным этим звонком и не мог стронуться с места. Мистер Фриш сам закрыл дверь. И в наступившей тишине Мендель услышал, как мистер Фриш говорит своей жене:

— Быстро содовую с малиной мистеру Зингеру!

Как давно уже Менделя не называли «мистер Зингер»! Лишь в это мгновение он понял, что долгое время его называли «Менделем» только для того, чтобы оскорбить его. «Это злая шутка Фриша, — подумал он. — Всему кварталу известно, что этот молодой человек скуп, он сам знает, что я не буду платить за малиновую воду. Я не буду ее пить».

— Спасибо, спасибо, — сказал Мендель, — я ничего не пью!

— Вы не станете нам отказывать, — с улыбкой проговорила женщина.

— Мне вы не откажете, — сказал молодой Фриш.

Он повел Менделя к одному из тонконогих чугунных столиков и усадил старика в широкое плетеное кресло. Сам он сел на обычный деревянный стул, подвинулся к Менделю и начал:

— Вчера, мистер Зингер, я был, как вы знаете, на концерте.

У Менделя упало сердце. Он откинулся назад и сделал глотательное движение, чтобы не испустить дух.

— Ну, — продолжал Фриш, — я много слышал разной музыки, но такого еще не бывало! Тридцать два музыканта, понимаете, и почти все из нашей местности. И они играли еврейские мелодии, понимаете? На душе теплеет, я плакал, вся публика плакала. В конце они сыграли «Песнь Менухима», мистер Зингер, вы знаете ее по пластинке. Прекрасная песня, не правда ли?

«Чего он хочет?» — подумал Мендель.

— Да, да, прекрасная песня.

— В антракте я иду к музыкантам. У них битком народу. Все хотят протиснуться к музыкантам. То один, то другой находит среди них друга, и я тоже, мистер Зингер, я тоже.

Фриш умолк, в лавку заходили люди, звонок громко звенел.

— Я встретил, — сказал мистер Фриш, — да пейте же вы, мистер Зингер! Я встретил своего двоюродного брата, Берковича из Ковно. Сына моего дяди. И мы расцеловались. И начали рассказывать друг другу. И вдруг Беркович говорит: «Не знаешь ли ты тут одного старого человека по имени Мендель Зингер?»

Фриш снова сделал паузу. Но Мендель Зингер не шелохнулся. Он принял к сведению, что некий Беркович справляется о старом Менделе Зингере.

— Да, — продолжил Фриш, — я отвечаю ему, что знаю одного Менделя Зингера, из Цухнова. «Это он, — сказал Беркович. — Наш капельмейстер — большой композитор, еще молодой, но гений, он автор многих сочинений, которые мы играем. Его звать Алексей Косак, он тоже из Цухнова».

— Косак? — повторил Мендель. — Моя жена — урожденная Косак. Это ее родственник!

— Да, — сказал Фриш, — и, кажется, этот Косак ищет вас. Вероятно, он хочет что-то сообщить вам. А я должен узнать у вас, хотите ли вы знать об этом. Или вы сходите к нему в гостиницу, или я напишу Берковичу и сообщу ему ваш адрес.

У Менделя одновременно отлегло от сердца и стало тяжело на душе. Он выпил малиновую воду, откинулся на спинку кресла и проговорил:

— Благодарю вас, мистер Фриш. Но это не так важно. Этот Косак расскажет мне обо всех печальных вещах, о которых я и без него знаю. А кроме того — хочу сказать вам правду: я думал уже о том, как мне с вами посоветоваться. Ведь у вашего брата агентство по продаже билетов на пароходы? Я хочу возвратиться домой, в Цухнов. Он уже теперь не в России, мир изменился. Сколько стоит сейчас билет на пароход? И какие бумаги мне нужно выправлять? Узнайте все у вашего брата, но только никому об этом не говорите.

— Я спрошу у брата, — ответил Фриш. — Но у вас столько денег явно не наберется. Да и в вашем возрасте! Может, этот Косак скажет вам что-нибудь? Может, возьмет вас с собой? Он будет в Нью-Йорке очень недолго! Дать мне Берковичу ваш адрес? Ибо сами вы, насколько я вас знаю, в гостиницу не пойдете!

— Нет, — сказал Мендель, — я не пойду туда. Напишите ему, если хотите.

Он встал.

Фриш снова насильно усадил его в кресло.

— Одну минуту, — сказал он, — мистер Зингер, я взял на концерте программу. Там есть фотография этого Косака.

Он вынул из нагрудного кармана большую программу, развернул ее и поднес к глазам Менделя.

— Красивый молодой человек, — проговорил Мендель. Он стал рассматривать фотографию. Хотя фото было потерто, бумага грязная, а портрет, казалось, разбивался на тысячи и тысячи мелких молекул, он выступал из программы перед глазами Менделя как живой. Он было хотел его сразу же отдать, но оставил в руках и стал пристально вглядываться в него. Лоб под шапкой черных волос был широким и белым, как гладкий, освещенный солнцем камень. Глаза большие и светлые. Они смотрели прямо в глаза Менделя Зингера, он не мог ускользнуть от их взгляда. «Они приносят ощущение радости и легкости», — подумал Мендель. Он видел, что в них светится ум. Они были в одно и то же время и старыми, и молодыми. Им все было ведомо, в них отражался весь мир. У Менделя Зингера было такое ощущение, что при взгляде в эти глаза он сам становился моложе, становился юношей, и ничего-то этот юноша не знал. Все ему нужно было узнавать у этих глаз. Он уже их видел, во сне, когда был маленьким мальчиком. Много лет назад, когда он начал читать Библию, такими были глаза пророков. Такие глаза были у людей, с которыми говорил сам Бог. Им ведомо все, они ничего не скрывают, в них — свет.

Долго глядел Мендель на фотографию. Потом сказал:

— Если позволите, мистер Фриш, я возьму это с собой.

И он сложил программу и вышел.

Он зашел за угол, развернул программу, поглядел на нее и снова спрятал. Ему казалось, прошло много времени с того часа, когда он вошел в кафе-мороженое. В этот промежуток вместились несколько тысяч лет, отбрасывающих свой свет глазами Косака, и годы, до наступления которых Мендель был еще таким молодым, что мог представить себе лик пророка. Он хотел повернуть назад, спросить, где находится концертный зал, в котором играла капелла, и пойти туда. Но он постеснялся и пошел в лавку Сковроннеков и рассказал, что его ищет в Америке родственник жены. Он разрешил Фришу сообщить свой адрес.

— Завтра вечером ты будешь ужинать с нами, как все годы, — сказал Сковроннек.

Это был вечер в страстную субботу — канун Пасхи. Мендель кивнул головой. Он бы предпочел остаться в своей задней комнате, он хорошо знал косые взгляды госпожи Сковроннек и ее расчетливые руки, которыми она наливала Менделю суп и накладывала рыбу. «Это будет в последний раз, — подумал он. — Через год, если считать с сегодняшнего дня, я буду в Цухнове, живой или мертвый. Лучше мертвый».

На следующий вечер он пришел первым из гостей, но за стол сел последним. Он пришел раньше, чтобы не обидеть госпожу Сковроннек, и поздно сел на свое место, чтобы показать, что считает себя самым малым среди присутствующих. И вот за столом уже сидят хозяйка, обе дочери Сковроннеков со своими мужьями и детьми, незнакомый коммивояжер по нотам и Мендель. Он сидел в конце стола, где положили гладко обструганную доску, чтобы удлинить его. Заботой Менделя стало теперь не только поддержание мира за столом, но и сохранение равновесия между собственно доской и ее искусственным продолжением. Одной рукой Мендель крепко держал конец доски, так как сюда должны были поставить тарелку или миску. Шесть белоснежных толстых свечей горело в шести серебряных подсвечниках, стоящих на белоснежной скатерти, крахмальный блеск которой отражал шесть огней. Как белые и серебряные стражи одинакового роста, стояли свечи перед Сковроннеком, хозяином, который сидел в белой накидке на белой подушке, прислонившись к другой подушке, — безгрешный царь на непогрешимом троне. Давно ли это было, когда Мендель в таком же талесе[1] таким же вот образом правил столом и праздником? Сегодня он сидел, согбенный и побитый, в своем отливающем в зелень кафтане, в самом конце стола, самый незначительный из присутствующих, озабоченный тем, чтобы не выйти за рамки скромности, — жалкая опора торжества. Уложенная стопкой маца, накрытая салфеткой, возвышалась рядом с сочной зеленью трав, темным багрянцем свеклы и яркой желтизной хрена. Перед каждым гостем лежали раскрытые книги с рассказами об исходе евреев из Египта. Сковроннек напевно начал эту легенду, все повторили его слова, догнали его и стали в один голос, хором пропевать приятную, усмехающуюся мелодию — перечисление всех чудес, которые снова и снова давали в итоге те же свойства Бога: величие, доброту, милосердие, милость к Израилю и гнев на фараона. Даже коммивояжер по нотам, не умеющий читать шрифта и не знающий обычаев, не смог не

[1] Талес — накидка, надеваемая на плечи.

поддаться очарованию мелодии, которая с каждым новым пассажем захватывала его все больше и больше, обволакивала, ласкала, и он стал в конце концов тихо подпевать, хотя и не знал ее. И даже Менделя она смягчила в его отношении к небесам, которые четыре тысячи лет тому назад одаривали радостными чудесами, и казалось, что вот-вот благодаря любви Бога ко всему народу Мендель почти примирится со своей собственной маленькой судьбой. Он, Мендель Зингер, еще не пел вместе со всеми, но уже водил взад и вперед верхней частью тела, раскачиваемого пением других. Он слышал, как поют чистыми голосами внуки Сковроннеков, и вспомнил голоса своих собственных детей. Еще он увидел беспомощного Менухима, сидящего за праздничным столом на непривычном, надставленном стуле. Во время пения только отец временами бросал быстрый взгляд на своего младшего, самого убогого сына, видел напряженный свет в его глупых глазах и чувствовал, как малыш безуспешно пытается выразить то, что в нем звучало, и петь то, что он слышал. Это был единственный вечер в году, когда Менухим, как и его братья, бывал в новом сюртуке и сорочке, белый воротничок которой своим орнаментом кирпичного цвета празднично обрамлял его вялый двойной подбородок. Когда Мендель подносил ему вина, он выпивал жадным залпом полбокала, закашливался, фыркал и кривил лицо в неудачной попытке то ли засмеяться, то ли заплакать — кто мог знать это.

Об этом думал Мендель, раскачиваясь в такт поющим. Он заметил, что они уже ушли далеко вперед, перелистнул несколько страниц и приготовился встать, чтобы освободить угол от тарелок и предотвратить тем самым худшее, если он вдруг отпустит руку. Ибо приближался момент, когда в красный бокал наливали вина и открывали дверь, чтобы впустить пророка Илию. Темно-красный бокал уже стоял наготове, отражая своим закруглением шесть огней. Госпожа Сковроннек подняла голову и кинула взгляд на Менделя. Он встал, прошаркал к двери и открыл ее. Сковроннек запел приглашение пророку войти. Мендель ждал, пока оно не закончится, так как не хотел дважды ходить туда и обратно. Потом он закрыл дверь, снова сел за стол, подпер кулаком доску стола, и пение продолжилось.

После того как Мендель сел, не прошло и минуты, как в дверь постучали. Все слышали этот стук, но подумали, что им почудилось. В этот вечер друзья сидели дома, улицы квартала были пусты. Никакого гостя в этот час не ожидали. Постучал, конечно, ветер.

— Мендель, — сказала госпожа Сковроннек, — вы не так закрыли дверь.

Тут постучали еще раз, стук был четким и более долгим. Все притихли. Запах свечей, вкус вина, желтый, необычный свет и древняя мелодия столь близко подвели взрослых и детей к ожиданию чуда, что на какой-то миг у них перехватило дыхание, и они, растерявшись и побледнев, поглядели друг на друга, словно хотели спросить, не пророк ли уж действительно требует впустить его. Воцарилась тишина, никто не решался шевельнуться. Наконец зашевелился Мендель. Еще раз он подвинул тарелки на середину стола. Еще раз прошаркал к двери и открыл ее. За порогом на слабо освещенной лестничной площадке стоял высокий незнакомец. Он пожелал доброго вечера и спросил, можно ли ему войти. Сковроннек не без некоторого труда поднялся со своих подушек. Он пошел к двери, посмотрел на незнакомца и сказал: «Please!», как научился говорить в Америке. Незнакомец вошел. На нем было темное пальто, воротник поднят, шляпу он не снял, явно из благоговения перед праздником, на который попал, и потому, что все присутствующие мужчины сидели с покрытой головой.

«Это не простой человек», — подумал Сковроннек и, не говоря ни слова, стал расстегивать пальто незнакомца. Мужчина поклонился и сказал:

— Меня зовут Алексей Косак. Прошу извинить меня. Еще раз прошу прощения. Мне сказали, что сейчас у вас находится некий Мендель Зингер из Цухнова. Мне нужно поговорить с ним.

— Это я, — сказал Мендель, подошел к гостю и поднял глаза. Незнакомец был выше его на целую голову. — Господин Косак, — продолжил Мендель, — я уже слышал о вас. Вы мой родственник.

— Раздевайтесь и садитесь с нами за стол, — предложил Сковроннек.

Госпожа Сковроннек поднялась. Все подвинулись, освобождая место для гостя. Зять Сковроннеков поставил к столу еще один стул. Гость повесил пальто на гвоздь и сел напротив Менделя. Перед ним поставили бокал вина.

— Не отвлекайтесь на меня, — попросил Косак, — продолжайте молиться.

Они продолжили. Тихо и скромно сидел гость на отведенном ему месте. Мендель неотрывно наблюдал за ним. И Алексей Косак неустанно глядел на Менделя

Зингера. Так сидели они напротив друг друга, овеваемые пением сидящих рядом, но чувствуя себя как бы отдельно от них...

Обоим было приятно, что из-за присутствия других они еще не могут поговорить друг с другом. Мендель искал глаза незнакомца. Когда Косак опускал их, то старику казалось, будто он должен просить гостя снова поднять их. В этом лице все для Менделя Зингера было чужим, лишь глаза за очками без оправы были близки ему. То и дело он переводил на них свой взгляд, словно возвращаясь домой, к теплому свету в окнах родного очага, из незнакомого ландшафта узкого, бледного, молодого лица. Узкие и гладкие его губы были сомкнуты. «Будь я его отцом, то сказал бы ему: улыбнись, Алексей». Он тихо достал из кармана программу концерта, чтобы не мешать другим, развернул ее под столом и передал гостю. Тот взял ее и улыбнулся легкой, тихой улыбкой, всего на какую-то секунду.

Пение прервалось, принялись за еду. Госпожа Сковроннек подвинула гостю тарелку горячего супа, а господин Сковроннек попросил его разделить с ними трапезу. Коммивояжер по нотам завел с Косаком разговор на английском языке, в котором Мендель совершенно ничего не мог понять. Потом коммивояжер объяснил всем, что Косак — молодой гений, что будет в Нью-Йорке всего одну неделю и позволит себе прислать всем присутствующим контрамарки на концерт своего оркестра. Другие разговоры никак не завязывались. Как-то само собой получалось, что все ели торопливо, не по-праздничному, словно спешили закончить торжество; каждый второй кусок сопровождали вежливые слова гостя или хозяев. Мендель не разговаривал. В угоду госпоже Сковроннек он ел даже быстрее прочих, чтобы застолье не затянулось. Все приветствовали окончание трапезы и поспешно продолжили свое напевное перечисление чудес. Сковроннек задавал все более быстрый ритм, за которым женщины не поспевали. Когда же он перешел к псалмам, то изменил голос, темп и мелодию, и слова, которые он теперь пел, звучали столь пленительно, что даже Мендель стал в конце каждой строфы повторять «аллилуйя, аллилуйя». Он раскачивал головой, его длинная борода касалась при этом страниц книги, и было слышно тихое шуршанье, словно борода Менделя хотела принять участие в праздничной молитве, коль скоро так немногословны были его уста.

И вот вечеря стала подходить к концу. Свечи наполовину обгорели, стол уже не выглядел по-праздничному, на белой скатерти там и сям видны были пятна и остатки еды, внуки Сковроннека начали зевать. Вот подошел и конец книги. Повысив голос, Сковроннек проговорил передаваемое из поколения в поколение пожелание: «В будущем году — в Иерусалиме!» Вслед за ним все повторили его, захлопнули книги и повернулись к гостю. Теперь пришел черед и Менделя расспросить посетителя. Старик откашлялся, улыбнулся и обратился к гостю:

— Ну, господин Алексей, что вы хотите мне рассказать?

Негромким голосом Косак начал свой рассказ:

— Господин Мендель Зингер, вы уже давно получили бы от меня весть, если б я знал ваш адрес. Но после войны его никто не знал. Зять Биллеса, музыкант, умер от тифа, ваш дом в Цухнове стоял пустой, так как дочь Биллеса бежала к своим родителям, к тому времени уже перебравшимся в Дубно, а в Цухнове, в вашем доме, квартировали австрийские солдаты. И вот после войны я написал сюда моему импресарио, однако он оказался недостаточно умелым и ответил мне, что разыскать вас невозможно.

— Жаль зятя Биллеса! — проговорил Мендель, сам думая при этом о Менухиме.

— А теперь, — продолжил Косак, — у меня будет приятная для вас весть.

Мендель поднял голову.

— Я купил ваш дом у старого Биллеса, при свидетелях, согласно оценке официального учреждения. А деньги хочу заплатить вам.

— И сколько всего? — спросил Мендель.

— Триста долларов! — ответил Косак.

Мендель взялся за бороду и начал расчесывать ее широко расставленными, дрожащими пальцами.

— Благодарю вас! — сказал он.

— Что же касается вашего сына Ионы, — продолжил Косак, — то он с пятнадцатого года пропал без вести. Никто ничего не знал о нем. Ни в Петербурге, ни в Берлине, ни в Вене, ни в швейцарском Красном Кресте. Я спрашивал повсюду и просил других справляться о нем. Но вот два месяца тому назад я встретил одного молодого человека из Москвы. Он только что как беженец приехал через польскую границу, так как теперь, как вы знаете, Цухнов принадлежит Польше. И этот молодой человек был однополчанином Ионы. Он сказал мне, что однажды случайно слышал, что Иона жив и сражается в белогвардейской армии. Ну и сейчас, пожа-

луй, стало совсем трудно узнать что-нибудь о нем. Но вы не должны терять надежду.

Мендель хотел уже открыть рот, чтобы спросить о Менухиме, но его друг Сковроннек, предчувствуя вопрос Менделя и будучи уверен в печальном ответе, стараясь предотвратить в этот вечер грустные разговоры или на худой конец, если удастся, оттянуть их, опередил старика и сказал:

— Ну, господин Косак, коль уж мы имеем удовольствие видеть у себя такого большого человека, как вы, то, может быть, вы доставите нам радость и расскажете немного о себе. Как вам повезло пережить войну, революцию и все опасности?

Гость явно не ожидал этого вопроса, так как ответил не сразу. Он опустил глаза, как человек, который стыдится или должен подумать, и стал отвечать после достаточно долгого молчания:

— Ничего особенного я не пережил. В детстве я долго болел, отец мой был бедным учителем, как и господин Мендель Зингер, с чьей женой мы родственники. (Сейчас не время подробно объяснять степень родства.) Короче говоря, из-за моей болезни и потому, что мы были бедными, я оказался в большом городе, в общественном медицинском учреждении. Относились там ко мне хорошо, особенно любил меня один врач, я выздоровел, и доктор оставил меня в своем доме. Там, — в этом месте Косак понизил голос и опустил голову, словно говорил он, обращаясь к столу, и всем пришлось затаить дыхание, чтобы расслышать его слова, — там я сел однажды за пианино и по памяти сыграл песни собственного сочинения. А жена доктора написала ноты к моим песням. Война принесла мне счастье, так как я начал играть военную музыку, стал дирижером одной небольшой капеллы, все время оставался в Петербурге и несколько раз играл у царя. После революции капелла вместе со мной отправилась за границу. Несколько человек отсеялось, пришло несколько новых музыкантов, в Лондоне мы вступили в контакт с концертным агентством, и так возник мой оркестр.

Все продолжали слушать, хотя гость давно уже больше ничего не рассказывал. Однако слова его еще витали в комнате, и до того или иного они доходили только сейчас. Косак безупречно говорил на жаргоне евреев, в свой рассказ вплетал половину русских фраз, и Сковроннеки с Менделем понимали не отдельно взятые предложения, а лишь их связную совокупность. Зятья Сковроннека, приехавшие в Америку малыми детьми, понимали только половину сказанного и просили своих жен переводить рассказ на английский. Вслед за этим коммивояжер по нотам повторил биографию Косака, чтобы запомнить ее. От свечей в светильниках остались коротенькие огарки, в комнате стало темно, внуки, склонив голову к плечу, спали в креслах, но никто не делал попытки уйти, наоборот, госпожа Сковроннек принесла две новые свечи, укрепила их на огарках, и вечер тем самым начался как бы заново. Проснулось прежнее почтение госпожи Сковроннек к Менделю Зингеру. Этого гостя, большого человека, который играл у царя, носил на мизинце необычное кольцо, а на галстуке — жемчужину, был в костюме из добротной европейской ткани — она понимала в этом деле толк, так как отец у нее был торговцем сукном, — этого гостя не следовало отпускать с Менделем в заднюю комнату. К изумлению мужа, она даже сказала:

— Мистер Зингер! Хорошо, что вы пришли к нам сегодня. Обычно, — она обратилась к Косаку, — он так скромен и деликатен, что отказывается от всех моих приглашений. Однако в нашем доме он на правах старшего из детей.

Сковроннек прервал ее:

— Приготовь нам еще чаю! — И пока она вставала, он сказал Косаку: — Все мы давно уже знаем ваши песни, ведь «Песнь Менухима» — ваша?

— Да, — ответил Косак. — Это моя песня.

Казалось, что этот вопрос для него неприятен. Он бросил быстрый взгляд на Менделя Зингера и спросил его:

— Ваша жена умерла?

Мендель кивнул головой.

— Но насколько мне известно, у вас еще есть дочь?

Вместо Менделя ответил Сковроннек:

— К сожалению, она тяжело переживала смерть матери и брата Сэма и оказалась в лечебнице.

Гость вновь опустил голову. Мендель поднялся и вышел.

Он хотел спросить о Менухиме, но у него не хватило духу. Да и ответ он знал заранее. Он поставил себя на место гостя и ответил самому себе: «Менухим давно мертв. Он погиб глупо». Он запомнил эту фразу, привыкая ко всей ее горечи, чтобы в случае, если она прозвучит, оставаться спокойным. Но, чувствуя, что в глубине сердца у него еще теплится слабая надежда, он попытался убить ее. «Если б

Менухим был жив, — сказал он самому себе, — то незнакомец еще в самом начале сообщил бы мне об этом. Нет! Менухим давно мертв. Сейчас я спрошу его, чтобы положить конец глупой надежде!» Но он все не спрашивал и не спрашивал. Он решил повременить, и шумная возня госпожи Сковроннек, которая хлопотала на кухне с чайником, дала ему повод выйти из комнаты, чтобы по привычке помочь хозяйке.

Однако сегодня она отослала его обратно в комнату. Он был владельцем трехсот долларов и имел благородного родственника.

— Вам не подобает, мистер Зингер, — сказала она. — Не оставляйте вашего гостя одного!

Впрочем, она уже управилась сама. С широким подносом, заставленным стаканами с чаем, она вошла в комнату, вслед за ней и Мендель. От чая шел пар. Мендель наконец решился спросить о Менухиме. Сковроннек тоже почувствовал, что вопрос этот больше не оттянешь. Он спросит лучше сам: Мéндель, его друг, кроме горя, которое доставит ему ответ, не должен был брать на себя еще и муку задать вопрос.

— У моего друга Менделя был еще бедный больной сын по имени Менухим. Что с ним случилось?

И снова гость медлил с ответом. Он водил ложечкой по дну стакана, растер сахар и, словно желая прочесть в стакане чая ответ, глядел на светло-коричневый напиток; продолжая держать ложечку между большим и указательным пальцами, мягко двигая узкой загорелой рукой, он, как бы внезапно приняв решение, наконец ответил, неожиданно громко:

— Менухим жив!

Прозвучало это не как ответ, а как призыв. Сразу же вслед за этим ответом из груди Менделя Зингера вырывается смех. Все испугались и уставились на старика. Мендель сидит, откинувшись в кресле, трясется всем телом и смеется. Спина у него согнулась так, что он уже не может касаться спинки. Старый затылок Менделя (седые волоски на нем, курчавясь, прикрывают потертый воротник кафтана) далеко отстоит от спинки кресла. Длинная борода Менделя быстро движется, чуть ли не полощется, как белый стяг, и кажется, тоже смеется. Из груди Менделя попеременно вырываются то смешки, то гудéние. Все напуганы, Сковроннек несколько тяжеловато отрывается от пухлых подушек и, преодолевая неудобства длинной белой накидки, идет вокруг стола, подходит к Менделю, склоняется к нему и берет его руки в свои. И смех Менделя переходит в плач, он начинает всхлипывать, и слезы текут из его старых, наполовину закрытых глаз в разросшуюся бороду, теряются в диких ее зарослях, отдельные слезинки круглыми стеклянными каплями надолго зависают в волосах.

Наконец Мендель успокоился. Он прямо поглядел на Косака и переспросил:

— Менухим жив?

Гость глядит на Менделя и отвечает:

— Менухим жив, он здоров, более того, у него все благополучно!

Мендель складывает ладони вместе и сколько может поднимает их над головой, к потолку. Ему хочется встать. У него такое ощущение, что он должен сейчас встать, распрямиться, вырасти и расти все выше и выше, выше дома, и коснуться ладонями небес. Он никак не может развести сложенные вместе руки. Он бросает взгляд на Сковроннека, и старый друг знает, о чем он должен теперь спросить вместо Менделя.

— Где сейчас Менухим? — спрашивает Сковроннек.

И Алексей Косак медленно отвечает:

— Я и есть Менухим.

Все неожиданно поднимаются со своих мест, спавшие уже дети просыпаются и начинают плакать. Сам Мендель встает так резко, что за ним с громким шумом падает стул. Он идет, он спешит, он торопится, он подскакивает к Косаку — единственному человеку, который остался сидеть. Все в комнате приходят в крайнее возбуждение. Пламя свечей начинает развеваться, словно на них подуло вдруг ветром. На стенах заколыхались тени стоящих людей. Мендель опускается перед сидящим Менухимом, беспокойным ртом и развевающейся бородой ищет он руки сына, губы его целуют все, что ни попадет: колени, бедра, жилет Менухима. Потом Мендель снова встает на ноги, поднимает руки и начинает — словно он внезапно ослеп — ощупывать нетерпеливыми пальцами лицо сына. Тупые, старые пальцы скользят по волосам Менухима, гладкому, широкому лбу, холодным стеклам очков, узким сомкнутым губам. Менухим сидит спокойно, не шевелясь. Все находящиеся в комнате окружают Менухима и Менделя, дети плачут, пламя свечей колеб-

лется, тени на стене сбиваются в тяжелые, темные облака. Все словно онемели.

Наконец тишину нарушает голос Менухима.

— Встань, отец, — говорит он и поддерживает Менделя под руки, поднимает его и, как ребенка, усаживает к себе на колени. Остальные снова отходят от них. И вот Мендель сидит на коленях сына, с улыбкой по кругу обводит всех взглядом. И шепчет:

— Боль сделает его мудрым, уродство — добрым, горечь — милостивым, а болезнь — сильным.

Это слова Деборы. В ушах его еще звенит ее голос.

Сковроннек встает из-за стола, снимает талес, надевает пальто и говорит:

— Я скоро приду!

Куда пошел Сковроннек? Час еще не поздний, нет и одиннадцати, друзья еще сидят за своими столами. Он идет от одного дома к другому, заходя к Грошелю, Менкесу и Роттенбергу. Все они действительно еще сидят за столами.

— Произошло чудо! Идемте ко мне и узрите его!

Он ведет всех троих к Менделю. По пути им встречается дочь Леммеля, провожавшая своих гостей. Они рассказывают ей о Менделе и Менухиме. Молодой Фриш, совершающий со своей женой небольшую прогулку, также узнает об этой новости. Так некоторые узнают, что произошло у Сковроннеков. Внизу, у их дома, в качестве доказательства стоит автомобиль, на котором приехал Менухим. Кое-кто из соседей открыл окна и видел все это. Менкес, Грошель, Сковроннек и Роттенберг заходят в дом. Мендель встречает их и молча пожимает каждому руку.

Менкес, самый рассудительный из них, говорит слова поздравления.

— Мендель, — начал он, — мы пришли, чтобы увидеть тебя в счастье, как видели тебя в несчастье. Помнишь, как ты был подавлен? Мы утешали тебя, хотя и знали, что это бесполезно. И вот к тебе пришло чудо. Как тогда мы печалились вместе с тобой, так сегодня мы вместе с тобой радуемся. Велики чудеса, кои творит Всевечный, как ныне, так и несколько тысяч лет назад. Да святится имя Его!

Все в комнате стояли. Дочери Сковроннеков, дети, зятья и коммивояжер по нотам были уже в пальто и прощались. Друзья Менделя не садились, ибо они пришли только поздравить его. Ниже всех ростом, с согбенной спиной, в своем отливающем в зелень кафтане, Мендель стоял среди них как неприметный, переодетый царь. Ему пришлось выпрямиться, чтобы взглянуть всем в лица.

— Благодарю вас, — сказал он. — Без вашей помощи я бы не пережил этот час. Поглядите на моего сына!

Он указал на него рукой так, словно кто-либо из друзей недостаточно пристально рассматривал Менухима. Глаза их ощупали ткань костюма, шелковый галстук, жемчужину, тонкие ладони и кольцо. Потом в них читалось:

«Благородный молодой человек! Видно, что он особенный».

— У меня нет дома, — сказал Мендель сыну. — Ты приезжаешь к отцу, а я не знаю, где положить тебя спать.

— Я хочу взять тебя с собой, отец, — ответил сын. — Не знаю, можешь ли ты ехать, ведь сегодня праздник.

— Он может ехать, — сказали все в один голос.

— Я думаю, что могу поехать с тобой, — проговорил Мендель. — Много грехов я совершил, но Господь закрыл на них глаза. Я назвал Его исправником. Он закрыл уши. Он столь велик, что низость наша становится совсем малой. Я могу ехать с тобой.

Все провожали Менделя до автомобиля. Здесь и там у окон стояли соседи и соседки и наблюдали за проводами внизу. Мендель достал свои ключи, еще раз отпер лавку, прошел в заднюю комнату и снял с гвоздя мешочек из красного бархата. Он сдул с него пыль, опустил жалюзи, запер за собой лавку и отдал ключи Сковроннеку. Держа в руке мешочек, он сел в машину. Зарокотал мотор. Загорелись фары. Из одного, второго, третьего окна раздались голоса:

— До свиданья, Мендель.

Мендель Зингер взял Менкеса за рукав и сказал:

— Завтра во время молитвы ты объявишь, что я жертвую бедным триста долларов. Прощайте!

И, сидя рядом с сыном, он поехал на Сорок четвертую, на Бродвей, в отель «Астор».

XVI

Жалкий и сгорбившийся, в отливающем в зелень кафтане, держа в руке мешочек из красного бархата, вошел Мендель Зингер в холл, где взгляд его отметил электрический свет, светловолосого портье, белый бюст неизвестного бога у входа на лестницу и черного негра, который хотел взять у него мешочек. Мендель вошел в лифт и увидел себя в зеркале рядом с сыном; он закрыл глаза, так как почувствовал, что у него начинает кружиться голова. Он уже умер, он возносился в небеса, и вознесению этому не было конца. Сын взял его за руку, лифт остановился, Мендель ступил на мягкий, бесшумный ковер и зашагал по длинному коридору. Глаза он открыл, только оказавшись в номере. По привычке он сразу подошел к окну. Тут он впервые увидал вблизи американскую ночь: красноватое небо, пылающие, разбрасывающиеся искрами, сочащиеся каплями, ярко горящие красные, синие, зеленые, серебряные, золотые буквы, изображения и знаки. Он услышал шумную песнь Америки — гудки машин, гудение труб, грохотанье, звонки, визги, трески, скрипы, свистки и вой. Напротив окна, к которому прильнул Мендель, через каждые пять секунд появлялось широкое, смеющееся лицо девушки, составленное из сплошных искр и точек, с открытыми в улыбке, словно выплавленными из единого куска серебра ослепительными зубами. Прямо возле этого лица парил рубиново-красный бокал с переливающейся через край пеной, сам собой опрокидывался, выливал свое содержимое в открытый рот и удалялся, чтобы, приняв в себя новую порцию, появиться вновь, переливаясь рубиновым цветом и роняя белую пену. Это была реклама нового лимонада. Мендель с изумлением взирал на нее как на самое совершенное изображение ночного счастья и золотого здоровья. Он улыбнулся, посмотрел еще несколько раз появление и исчезновение сцены и повернулся внутрь комнаты. В ней его ждала уже разобранная белая кровать. Менухим качался в кресле-качалке.

— Я сегодня спать не буду, — сказал Мендель.

— Ложись спать, я посижу возле тебя. Ты спал в Цухнове в углу, возле плиты. Мне хорошо запомнился один день, — продолжил Менухим, сняв очки, и Мендель увидел невооруженные глаза сына, они показались ему печальными и усталыми, — мне запомнился один день, было это до обеда, солнце ярко светит, в комнате никого. Тут входишь ты, высоко поднимаешь меня, я сижу за столом, ты ударяешь ложечкой по стакану, и он звонко звенит. Это было чудесное звучанье; мне хотелось бы, я мог бы сегодня же переложить его на музыку и сыграть. Потом ты запел. Затем зазвонили колокола, очень старые, словно большие, тяжелые ложки начали ударять по гигантским стаканам.

— Дальше, дальше, — проговорил Мендель. Ему тоже хорошо запомнился этот день. Дебора как раз вышла из дома, чтобы приготовить все необходимое для поездки к Каптураку.

— Это единственное, что мне запомнилось из раннего детства! — произнес сын. — Потом наступает время, когда играет зять Биллеса, скрипач. Я думаю, он играл каждый день. Он прекращает играть, а я все слышу его игру, весь день, всю ночь.

— Дальше, дальше! — снова произнес Мендель тоном, каким он всегда подгонял своих учеников в учебе.

— Потом на долгое время — пустота! Потом я вижу однажды большой красно-голубой пожар. Я ложусь на пол. Ползу к двери. Вдруг кто-то резко поднимает меня и выталкивает из дому, я бегу. Я на улице, на другой ее стороне стоят люди. «Пожар!» — слышу я свой крик.

— Дальше, дальше! — подгоняет Мендель.

— Больше я ничего не запомнил. Потом, много лет спустя, мне рассказывали, будто я долго болел и был без сознания. Дальше в памяти осталось только время, когда я уже оказался в Петербурге: белый зал, белые постели, много детей в кроватях, играет фисгармония или орган, и я пою громким голосом под эту мелодию. Потом доктор привозит меня в экипаже к себе домой. Крупная белокурая женщина в белом платье играет на пианино. Она встает. Я подхожу к клавишам, и, когда прикасаюсь к ним, раздается звук. Неожиданно я начинаю играть песни, которые пел под орган, и все, что могу спеть.

— Дальше, дальше! — подгоняет Мендель сына.

— Пожалуй, я не смогу больше рассказать ничего, что было бы для меня более важным, чем эти несколько дней. Я помню мать. У нее было тепло и мягко, думаю, у нее был очень низкий голос, лицо у нее было большое и круглое, как целый мир.

— Дальше, дальше! — подстегивал Мендель.

— Мирьям, Иону, Шемарью я не помню. О них я услышал много позже от дочери Биллеса.

Мендель вздохнул.

— Мирьям, — повторил он. Она стояла перед ним как наяву, в золотисто-желтой шали, с иссиня-черными волосами, проворная и легконогая — ни дать ни взять молодая газель. Глаза у нее были его.

— Я был плохим отцом, — сказал Мендель. — Тебе я уделял мало внимания, ей тоже. Теперь она потеряна, помочь ей не сможет никакая медицина.

— Мы сходим к ней, — проговорил Менухим. — А я, отец, разве меня не вылечили?

«Да, Менухим прав. Человек всегда чем-нибудь недоволен, — подумал Мендель. — Только что ты пережил одно чудо, а уже хочешь увидеть еще одно. Погоди, погоди, Мендель Зингер! Погляди, во что превратился калека Менухим. Ладони у него узкие, глаза умные, щеки нежные».

— Иди спать, отец! — сказал сын. Он опустился на пол и стянул с Менделя Зингера старые сапоги. Он долго смотрел на подошвы, все в глубоких трещинах, с зубчатыми рантами, на желтый в заплатах верх, на потертые голенища, дырявые носки, обтрепанные брюки. Он раздел старика и уложил его в постель. Затем вышел из комнаты, достал из своего чемодана книгу, возвратился к отцу, сел в кресло-качалку возле кровати, зажег небольшую зеленую лампу и начал читать. Мендель сделал вид, что спит, а сам наблюдал сквозь узкую щелочку между приоткрытыми веками. Сын отложил книгу и произнес:

— Ту думаешь о Мирьям, отец! Мы съездим к ней. Я созову врачей. Ее вылечат. Она еще молодая! Спи!

Мендель закрыл глаза, но заснуть не мог. Он думал о Мирьям, прислушивался к непривычным шумам поблизости, чувствовал через закрытые веки ночные огни светлого неба. Он не спал, но ему было хорошо, он отдыхал. Так, бодрствуя, лежал он в постели и ждал наступления утра.

Сын приготовил ему ванну, одел его, усадил в машину. Они ехали долго по шумным улицам, затем город остался позади, они оказались на длинной широкой дороге, по краям которой стояли деревья с набухшими почками. Мотор гудел ровно, на ветру развевалась борода Менделя. Он молчал.

— Хочешь знать, отец, куда мы едем? — спросил сын.

— Нет, — ответил Мендель. — И не хочу знать! Куда б ты ни ехал, все будет хорошо.

И они попали в страну, где мягкий песок был желтый, безграничное море синее, а все дома белые. На террасе перед одним из этих домов за маленьким белым столиком сидел Мендель Зингер. Он прихлебывал золотисто-коричневый чай. На скрюченную спину падали лучи первого теплого солнца этого года. Черные дрозды подбирались прямо к его ногам. Поблизости, у самой террасы заливались их собратья. Морские волны мягко, размеренно накатывались на песок пляжа. На бледно-голубом небе зависло несколько белых облачков. Под этим небом Менделю легко мечталось о том, что Иона однажды объявится, а Мирьям вернется домой. «Красивее всех женщин в мире», — повторил он чьи-то слова про себя. Сам он, Мендель Зингер, дожив до преклонных лет, тихо завершит свои дни, окруженный многочисленными внуками, «пресытившись жизнью», как написано в «Книге Иова». Он почувствовал странное, запретное желание снять кепку из старенького шелкового репса и подставить солнцу свою старую голову. И впервые в своей жизни Мендель Зингер по собственной прихоти обнажил голову, как это делал только в присутственном месте да в купальне. Весенний ветерок шевелил редкие в завитках волоски на его голой голове, как некую странную хрупкую поросль.

Так приветствовал Мендель Зингер мир.

Под брезентовым покрытием террасы, словно посланный с небес снаряд, промелькнула чайка. Мендель проводил глазами ее стремительный полет и похожий на тень белый след, оставленный ею в прозрачном голубом воздухе.

Тут он услышал голос сына.

— На следующей неделе я поеду в Сан-Франциско. На обратном пути мы будем еще десять дней играть в Чикаго. Я думаю, отец, через четыре недели мы сможем поехать в Европу!

— А Мирьям?

— Еще сегодня я увижу ее, поговорю с врачами. Все будет хорошо, отец. Возможно, мы возьмем ее с собой. Возможно, в Европе она выздоровеет!

Они возвратились в отель. Мендель пошел в комнату сына. Он устал.

— Приляг на диван, поспи немного, — сказал сын. — Через два часа я снова буду здесь!

Мендель послушно лег. Он знал, куда отправляется сын. Он ехал к сестре. Он был удивительный человек, на нем покоилась благодать, он исцелит Мирьям. На небольшом подзеркальном столике он увидел большую фотографию в красно-коричневой рамке.

— Подай мне фото! — попросил он.

Он долго рассматривал снимок. На нем была изображена молодая блондинка в светлом платье, светлом, как день, она сидела в саду, по которому гулял ветер и раскачивал кусты по краям грядок. Двое детей, девочка и мальчик, стояли подле небольшого запряженного ослом рыдвана, какие заводят в иных садах как повозки для забавы.

— Благослови ее Господь! — проговорил Мендель.

Сын вышел. Отец остался лежать на диване, фотографию он бережно положил возле себя. Его усталый взгляд скользнул по комнате и дальше к окну. Со своего низкого дивана он видел зубчатый краешек безоблачного неба. Он еще раз взял в руки фотографию. Вот перед ним его сноха, жена Менухима, и вот внуки, дети Менухима. Когда он пригляделся к девочке повнимательнее, ему показалось, что он смотрит на детское фото Деборы. Дебора умерла, чужими, потусторонними глазами глядела, может быть, она на свершившееся чудо. С благодарностью вспоминал Мендель ее молодое тело, каким он некогда наслаждался, ее красные щеки, полуоткрытые глаза — узкие, притягивающие к себе огоньки, светившие в темноте любовных ночей. Деборы нет! Он встал, пододвинул к дивану кресло, поставил на него фотографию и снова лег. Медленно закрываясь, глаза его взяли с собой в сон всю радостную голубизну неба и лица новых детей. Рядом с ними из коричневого фона выступили портреты Ионы и Мирьям. Мендель погрузился в сон. И на него сошло отдохновение от тяжести счастья и величия свершившегося чуда.

■

ИЛЬЗА БРЕМ

Стихи

В то время как поэзия Рильке, Тракля, Пауля Целана, Ингеборг Бахман в той или иной мере получила известность в России, современных поэтов Австрии у нас почти не знают. Сегодня мы впервые представляем русскому читателю творчество видной современной поэтессы Ильзы Брем.

Ильза Брем родилась в 1945 году, выросла на Дунае, в австрийской провинции. Вероятно, уже тогда возникла та стихийная тяга к природе, которая отличает ее поэзию. В 1972 году Ильза Брем переехала в Вену. Первая книга ее стихов, «Отражения», вышла в 1979 году. С этого времени она получила известность сначала как поэтесса, а затем и как художница, иллюстратор и график (многие ее книги изданы с ее собственными иллюстрациями, некоторые картины приобретены музеями). Ильза Брем — автор многих стихотворных сборников, член Австрийского ПЕН-клуба. Дважды ей была присуждена престижная премия имени Теодора Кёрнера, видного поэта-романтика, погибшего в бою в годы «освободительных войн» против Наполеона.

Стихи Ильзы Брем наделены чисто женской непосредственностью. Она остро воспринимает видимый мир во всех его проявлениях — любую «каплю воды», «малый лист», который может стать «основой дома», желтый клен, осенью горящий «медовым цветом». И вместе с тем Ильза Брем находит суровые слова для осуждения людского эгоизма и черствости («никто никому не даст и спички»). Австрийский критик Пауль Виммер называет ее стихи «мятежной поэзией», особо отмечая резкий протест поэтессы против городской, машинной цивилизации. По справедливому наблюдению Виммера, лирика Ильзы Брем органически впитала в себя достижения таких поэтов, как Целан и Бахман. Многие ее стихи лаконичны, в ее короткой стихотворной строке отчетливо выделено каждое слово.

Стихотворения Ильзы Брем не раз переводились на иностранные языки, но русские читатели, как уже говорилось, впервые знакомятся с этой поэтессой. К сожалению, Дмитрий Игоревич Павлов (1930 — 1995), переводы которого мы здесь представляем, не дожил до выхода этой публикации.

Г. РАТГАУЗ

Из книги «ШАГИ НА МЕЖЕ»

Зрелое лето

Когда медовым цветом
цветет клен,
зеленью листвы
отливает крыло жука,
мы сидим у реки,
солнце греет босые ноги,

©1990, by Edition, Roetzer, Wien-Aisenstadt.

вдыхаем аромат
умирающих роз,
чуем горький
напиток смерти,
на берегу
любой камешек,
любая травинка
твердит о скором забвеньи,
мы робко смотрим
в глаза смерти,
учимся покою,
пьем вино, едим хлеб,
не утоляя ни жажды,
ни голода, — это час
безмятежности,
вести воды —
как дальнее небо
наших стремлений.
Если упустим мы
нашу мечту,
не одолеть нам
власти отчаяния.

Из книги «СЛЕДЫ ТИШИНЫ»

Речь творенья

Не хулите
ни капли вина,
ни капли воды,
не умаляйте,
не презирайте
ничего.

В самой малой раковине
зашумит море,
в последней луже
отразится небо.
Маленький лист
станет основой
моего дома.

Всемирная вина

Настали
жестокие дни.
Никто никому
не даст и спички,
чтобы тот не мог
себе посветить.

Реке кажется,
что камни

©1991, Wiener Journal Zeitschriftenverlag.

слишком спокойны,
ветру кажется,
что дерево
стоит слишком прямо,
сорнякам кажется:
цветы слишком красивы,

Коробок спичек
берегут
как зеницу ока,
чтобы лишь свой огонь
горел до неба.

Годовые кольца

От середины зеркала
ты смещаешься
к самому краю.

С каждым годом
из-под ног
ускользает почва,
но ты притворяешься
более стойким.

Теперь надо
быть храбрее,
крепче держаться
за жизнь.

Ты никого
не смеешь тревожить.

Каждый наедине
лишь со своей тенью.

Как зеркала
можно очистить от пятен,
так яснеет
твоя цель.

Страх — лишен смысла.
Река знает
свое назначенье,
свет — свой путь.

Сердцем прими
последний закал.

Даже сорняк
сияет на солнце,
и воздух даст опору,
если ты веришь ему.

Перевод Г. РАТГАУЗА

Из книги «ОТВЕТ — МОЛЧАНЬЕ»

Повеление

Когда Он,
чьего имени
я не знаю,
пишет
мои строчки,
я широко
раскрываю руки,
покуда Его слова
звучат в моем
сердце.

Мертвые деревья

Вот они стоят
посреди луга
и целят
прямо в меня.

Я помню
зеленые кроны,
теперь только ветер
играет ранами
черных деревьев.

Бессмысленной
силой
разрушен
мост к жизни.

Оборванная речь,
столбняк,
бессильно
замкнутый рот —
все это — я.

Перевод Д. ПАВЛОВА

Рисунок автора.
©1987, by Edition, Roetzer, Wien-Aisenstadt.

КРИСТОФ РАНСМАЙР

Убийство

Отрывок из романа

Перевод Н. ФЕДОРОВОЙ

Большая слава пришла к Кристофу Рансмайру семь лет назад, когда вышел в свет его роман «Последний мир», повествующий о судьбе великого Овидия, которого император Август сослал на край света, в далекую черноморскую провинцию. Причудливое переплетение времен, симфония вечности, в которой существует человек, философские раздумья о природе власти, искусстве, вымысле и реальности, о человеческой судьбе — вот что представляет собой этот замечательный роман. Его сразу же перевели на все европейские языки, вышел он и на русском (издательство «Радуга», 1993). Автор был удостоен престижных литературных премий в Австрии и Германии, а переводчик романа на русский язык Нина Федорова — Государственной премии Австрийской Республики.

Сегодня Кристоф Рансмайр считается одной из ключевых фигур в австрийской прозе. Читатели многих стран с нетерпением ждут конца нынешнего года, когда должен выйти в свет новый роман, над которым писатель работает уже целых четырнадцать лет. Сюжет, авторский замысел, жанровые особенности, даже название книги хранятся в тайне, никакой информации о новом произведении в прессу не просачивается. Однако редакции «ИЛ» повезло — специально для нашего «Литературного гида» Кристоф Рансмайр предоставил одну главу из рукописи. Предлагаем этот текст вниманию читателей. Думается, он дает некоторое представление о теме и стилистике романа, которым так долго интригуют публику.

Наследство свое Беринг ненавидел. Точно в осаде полуразвалившихся джипов, лафетов, выпотрошенных бронемашин — всю эту технику войска побросали при отступлении, а он притащил ее на Кузнечный холм, — корячилась его усадьба над крышами Моора. Окна кузни были разбиты или наглухо заколочены, а звезды трещин на стекле проклеены вощеной бумагой. Там, где и бумага поверх трещин разорвалась либо вообще отсутствовала, в темноту мастерской уже проникли ветви запущенного сада. Даже в этом саду под плодовыми деревьями — высокими грушами и грецкими орехами — тулились машины, тонули в дебрях кустарника и дикого винограда, бурые от ржавчины, никуда не годные, порою глубоко вросшие в мягкую землю; тут замшелый броневик без покрышек и без руля, там сеноворошилка, разобранные шасси двух лимузинов — и, точно сердце динозавра, водруженный на массивные деревянные козлы мотор без поршней и клапанов, черный, выпачканный смазкой и такой огромный, что он никоим образом не мог принадлежать ни одному из драндулетов под деревьями.

Молодой кузнец давно уже не находил применения проржавевшим винтам, которые не берет отвертка, карданным валам и подкрылкам с этого железного клад-

---

Публикуется по рукописи с любезного разрешения автора.

бища, а все же нет-нет да запрягал лошадь и притаскивал на вершину холма очередную рухлядь, очередную никудышную железину, как бы желая еще плотней стянуть вокруг ненавистной усадьбы кольцо железной осады и тем облегчить себе капитуляцию, расставание с Моором. На Кузнечном холме царили такие же запустенье и хаос, как и во всем прочем обозримом отсюда мире.

Однако Беринг, по рукам и ногам скованный обязанностями перед отцом и матерью, перед кузницей и хозяйством, никогда бы, наверно, не бросил свое наследство на произвол судьбы и не уехал, если б орда головорезов не вынудила его замарать кровью и сделать непригодным для жилья собственный дом; случилось это буквально через день-другой после Берингова двадцатитрехлетия. Безветренной, теплой августовской ночью Беринг, кузнец из Моора, застрелил одного из налетчиков.

Мертв? Неужели этот пьяный головорез, кинувшийся к нему из темноты, вправду истек кровью от огнестрельных ран, что во сне и наяву вновь и вновь отверзаются перед взором кузнеца: дымящиеся дыры в черном кожаном панцире на груди, два небольших рубца, превративших железного парня в мягкое, до невозможности мягкое, как бы лишенное костей существо, которое, однако, почему-то не упало, а за долю секунды вдруг выросло, потом неуклюже повернулось и рухнуло вниз по лестнице, в объятия спешивших на подмогу дружков.

Мертв? *И убил его я*? Я? Неужели преследователь, от которого всего через несколько минут после выстрелов, и наутро, и еще много дней только и оставалось что темный кровавый след бегства, капли и потеки, терявшиеся в щебне на дорожке в кузню... неужели этот алкаш, этот подонок вправду и необратимо мертв?

Каждый раз как Беринг задавал себе этот вопрос, изощряясь в бранных эпитетах по адресу безымянного ночного противника, память в итоге все время вынуждала его твердить одно и то же: *Я убил его, я его застрелил, я...*

Чужак, вооруженный цепью и обрезком стальной трубы бритоголовый горожанин, один из шести не то семи, в кровь избил его тогда около памятника мироносцу Стелламуру, гнался за ним через плац, сплошь заросший диким овсом, и по щебенчатой дорожке до самой кузницы, и по двору, за ним, смирным, незлобивым кузнецом, которому и отбиться-то от преследователей было нечем — на бегу он только выхватил из открытого ящика да швырнул через плечо горсть подковных гвоздей.

Банды головорезов прятались в развалинах обезлюдевших городов, в лабиринтах горных пещер и периодически, вот как той августовской ночью, совершали набеги на беззащитные медвежьи углы вроде Моора и соседних с ним деревушек. Когда войска были отведены из приозерной глуши в равнинные районы и эти забытые Богом дыры оказались предоставлены самим себе, любая наглая шайка, даже не имея огнестрельного оружия, могла безнаказанно творить что угодно.

Бывало, пяток-другой крестьян-свекловодов да работяг из гранитных карьеров брались за топоры и камнеметы и сообща обороняли въезд в деревню, а так бандам вовсе никакого удержу не было. Военные патрули уже охраняли одни только линии связи между равнинными комендатурами и, как правило, оставались глухи к призывам о помощи из захолустных деревушек.

Эпизодические карательные экспедиции, которые иной сердобольный генерал снаряжал к озеру или в какую-нибудь горную долину, бандитов ничуть не пугали: приметные издалека армейские колонны дня два-три тащились по деревням, ставили палатки под прикрытием разоренных хуторов, иногда в камнях хоронили убитых... Солдаты допрашивали жертв налета, составляли протокол, тут и там, демонстрируя свою непреклонную решимость, обстреливали лесной массив или ущелье, где давным-давно никого не было, — и снова уходили.

Немногочисленные армейские агенты среди местного населения обладали достаточным влиянием, чтобы пользоваться своими привилегиями, однако по условиям Ораниенбургского мира все они остались без стрелкового оружия и были слишком слабы, чтобы хоть как-то защитить от налетов вверенную им нейтральную зону.

Банды могли объявиться где угодно и тотчас же стремительно исчезнуть; они громили все, что вставало им поперек дороги, собирали денежную дань, якобы за охрану, нападали даже на общины кающихся, которые длинными вереницами тянулись через поля былых сражений и к братским могилам уничтоженных лагерей, воздвигая там памятники погибшим и часовни.

Кающиеся были защищены десятками законов военной юстиции, и, несмотря на это, бандитский сброд гонялся за ними по полям, жег их флаги и транспаранты, рвал в клочья и швырял в огонь портреты мироносца Стелламура.

В ту ночь шайка под конвоем двух мотоциклистов, словно возникнув из небытия, заявилась в Моор на угнанном в какой-то аграрной компании грузовике; в кузове было полно булыжников и бутылок с керосином. Машина громыхала по набережной и по улочкам, временами она замедляла скорость почти до черепашьей, и тогда на окна и ворота домов обрушивался шквал зажигательных снарядов. Парни в кожаной броне стояли пошатываясь вдоль бортов грузовика и с истошным улюлюканьем, под неумолкающий рев клаксона осыпáли Моор горящими бутылками. Стоптивая глухомань должна, черт побери, уразуметь, что от этого бедствия их избавит только *пожарный грошик*, охранная мзда.

В конце концов они добрались до плаца, вылезли из машины, вломились в дом моорского секретаря, выволокли орущего мужика на улицу, облили керосином и, угрожая поджечь, погнали к старой пароходной пристани. Там его привязали к якорю разбитого прогулочного катера и по дощатому настилу подтащили вместе с этой железиной прямо к воде, он уж думал: все, смерть пришла! — и кричал не своим голосом, но они вдруг отстали, бросили рыдающую жертву, словно наскучившую игрушку.

Между тем из разбитых окошек секретарского курятника, трепыхая крыльями, выскакивали во тьму куры, а избитая цепями, умирающая дворовая собака, скуля, ползла через плац.

Лишь спустя месяцы Беринг осознает, что после первого же удара, который обрушился на его голову, как раз когда он нагнулся над собакой, он думал об одной-единственной возможности спасения — о вороненом армейском пистолете, спрятанном в старой печной трубе. В тот год, когда состоялась передача имущества, отец выменял оружие у какого-то дезертира за сушеные яблоки, одежду и копченое мясо, а потом завернул бесценное и запретное для всего гражданского населения сокровище — даже хранение каралось смертью! — в промасленную тряпицу и подвесил в дымоходе.

Все это время Беринг не просто был осведомлен об отцовском секрете, но регулярно доставал пистолет из холщового свертка, разбирал, собирал снова и освоился с этим чудом механики не хуже, чем с куда более грубым кузнечным инструментом, что отцу, кстати говоря, было невдомек, узнал он об этом лишь в ту роковую августовскую ночь. Так или иначе, пистолет висел себе и висел в дымоходе, вычищенный и заряженный.

Удирая тогда от бандитов, Беринг пробежал не одну сотню метров в кромешной тьме, по дороге, усеянной выбоинами, но в памяти весь этот путь запечатлелся как один-единственный скачок из беззащитности во всемогущество обладания оружием.

Стремительно мелькает под ногами заросший травой плац, ловушки выбоин Беринг перепрыгивает — со спасительной уверенностью животного, бегущего от погони. Но мчится он не в кузницу, не в укрытие, не в нору, а за оружием, только за оружием.

Подбегая к усадьбе, к лестнице, к ступенькам на чердак, Беринг уже слышит тяжелый топот преследователя, пыхтение, пудовые башмаки его дружков. *Дальше! Вверх по лестнице!* Он задыхается, жадно ловит ртом воздух, перед глазами пляшут радужные круги — и вот наконец он у железной дверцы дымохода, резким ударом открывает задвижку, хватает болтающийся на шнурке холщовый сверток. Секунда — и промасленная тряпка летит во тьму.

Рука сжимает пистолет. В этот миг он до странности легок, прямо как пушинка. А в тайных забавах эта механическая игрушка всегда казалась тяжелой, словно кузнечный молот.

В четырех, в трех шагах, вплотную перед собой он наконец-то воочию видит преследователя, освещенного собственным своим фонарем: малый хохочет. Настиг добычу, чувствует за спиной поддержку дружков и с торжествующим воплем взмахивает цепью, только воздух свистит, — и вдруг все тонет в чудовищном грохоте.

Первый выстрел подбрасывает руку Беринга вверх, будто цепь — она с лязгом исчезает в ночи — и вправду достала его. Грохот рвет барабанные перепонки, ввинчивается в мозг, терзат болью, какой до сих пор не причинял ни один звук. Молния дульного пламени гаснет, погасла целую вечность назад, а перед ним все еще высвечено вспышкой лицо врага — разинутый рот, немое удивление.

Когда это лицо блекнет и тоже грозит погаснуть, Беринг никак не желает отпустить его во тьму — и второй раз жмет на курок. Лишь теперь оружие обретает давний вес. Рука опускается. Дрожа всем телом, он стоит в ночи.

Странно, что теперь в голове бьется одна-единственная фраза, снова и снова одна лишь эта фраза, которая стремительно опутывает его, которую он шепчет,

выкрикивает, вопит вниз, в глубину, где что-то топает прочь, что-то кидается наутек, что-то исчезает... Жизнь вокруг него, стало быть, попросту идет своим чередом, здесь шуршит, там громко топочет, еще где-то скользит почти неслышно, а он знай, как дурак, орет неизвестно кому: *Вот оно как, вот оно, значит, как, вот как...* — и не может остановиться.

Потом, непонятно когда, он видит мать — с коптящей лампой в руках она поднимается по ступенькам; слышит отца, который хватает его за плечо и надсадно кричит. Он не соображает, о чем его спрашивают. Потом внутри словно что-то рвется и хлещет вон, он не в силах удержать телесную влагу: горячая струя течет по ногам, слезы катятся по лицу, рубашка насквозь мокрая от пота; вся влага течет и каплет из него и испаряется в воздухе, который пахнет холодной смолой и совершенно заледенел. Но сам он пышет жаром, стоит, неловко привалившись к дымоходу. Просит воды.

Он безропотно позволяет отвести себя вниз, на кухню, начинает отвечать на вопросы, сам не зная, что́ говорит. Пьет и выташнивает воду. Пьет еще и еще, и опять вода выплескивается вон, прежде чем он успевает ее проглотить.

Под утро старики и их наследник впервые за много лет снова сидят вместе на кухне. Голова у отца свесилась на плечо, челюсть отвисла; струйка слюны медленно ползет из уголка рта на грудь и обрывается, когда он судорожно всхрапывает. Мать оплела руки четками и спит, полуприкрыв глаза. Печь остыла. Беринг сидит у окна, уставясь в свой железный сад, и каждый удар пульса отдается в нем колючей болью, словно кровь в сердце и в жилах выпала кристаллами и стала песком, мелким стеклянистым песком.

■

КАРЛ ЛЮБОМИРСКИЙ

«Голубой цветок на обочине...»

Поэт Карл Любомирский — потомок старинного польского аристократического рода, родился и вырос в Тироле, но уже давно живет в Италии, недалеко от Милана. Вполне типичная современная европейская судьба. Эти подробности биографии поэта знать небесполезно. Германское, славянское и романское начала живут в его стихах неразрывно. Характерный австрийский замес.

Поэта, родившегося в 1939 году, долго замалчивали, хотя печататься он начал уже в ранние 60-е. Уж очень не вписывался он в литературные тенденции того времени, в его агрессивную модернистскую эстетику, уж больно просты по форме были его стихи, состоящие порой всего из двух-трех строк, тяготеющих к раздумчивой сентенции, или всего лишь из одной двухстрочной метафоры, обладающей долгим остаточным свечением...

Первый сборник Карла Любомирского «Тишина — мера пространства» вышел в 1973 году. Но ни он, ни последующий («Я снимаю у жизни угол», 1979) не принесли поэту известности. Лишь после восторженной рецензии патриарха современной немецкой поэзии Карла Кролова в газете «Франкфуртер альгемайне» на новую книгу Любомирского, «Свет и пепел» (1982), отношение к поэту начало меняться. О нем стали все больше и больше писать литературоведы, эссеисты, в их числе такие известные, как Вернер Крафт, одна из последних книг которого называется «Австрийская поэзия. От Тракля до Любомирского». Кроме стихов, поэт пишет также прозу и пьесы.

Для Любомирского характерны, с одной стороны, дидактика и плакативный призыв, с другой — сдержанность, герметичность. Он умеет слить эти, казалось бы, несовместимые качества воедино, создавая поэзию «душевного жеста». Его короткие тексты — это своего рода знаки, символы, они не указывают на явления, они лишь намекают на них. Они делают то, на что способна только поэзия. Поэт не разрешает жизненных противоречий, не ищет формулу спасения, не мирит врагов. Поэт говорит о своих стихах, что «они — ключ к темнице, находящийся в нем самом».

Перед нами автор, предъявляющий высочайшие требования прежде всего к самому себе. Его строки — это негромкие воззвания к недостижимому, полные человеческого достоинства, горечи и надежды.

ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР

Из книг «СВЕТ И ПЕПЕЛ» и «ОТСУТСТВИЕ»

День матери

В лесу я
не сорвал фиалку
и дарю тебе
эту жизнь

© 1987 by Wiener Journal Zeitschriften-Verlag, GesmbH
© 1994 by Edition Atelier im Wiener Journal

Все будет как здесь

Все будет как здесь
но из света
там инкрустированный стол
птицы в саду
олеандр
музыка
и ты
печаль
даль
чужбина
будут как здесь
но все же
из света

Ты

Ты посеял землю во тьму
она не взошла

Мать

Одиноким
летним вечером
когда ничего не случилось
случилось
все

Через трясину глаз
мне навстречу
ехала смерть
на укрытом попоной иноходце
она улыбалась
но всхлип фиалки
был громче
серебряной песни земли
и
я проснулся

Нет
все-таки это не жизнь
все-таки это ожидание
что кто-то тебя приведет
в Его сад

Растения — руки земли
дрожат видя нас

Личное

Моя маленькая жизнь
обрела мир
мир между человеком и зверем
между травой и камнем
между Богом и богоборцем
Моя маленькая жизнь
обрела мир
это было напрасно

***
Голубой цветок на обочине
небо больше не в одиночестве

Мы

У воздуха мы отняли звуки
У недр украли руду
Ночь мы лишили тьмы
лес зверей
воду рыбы
зверя свободы
свободу смысла
камень лишили формы
травы цвета и запаха
реки сил
море жизни
горы тишины
луну чистоты
пространство величия
в этом мы
не знали покоя

Светло стало в мире
светло как в больничной палате

Силы которые хотят нашего счастья
идут издалека
и многие успокаиваются слишком рано

Перевод Е. СОКОЛОВОЙ

Эгей

На голубом алтаре
непринятая жертва
кораблей

Все мои ошибки

Все мои ошибки
диадемой
на твоем челе

На податливом теле ночи

На податливом теле ночи
пишут алмазными
пальцами звезды
твое запретное имя

я стираю его своим сердцем

Сердце

Сердце
обсидиан
дня

Перевод В. АГАФОНОВОЙ

Святая ночь

Бедные — еще беднее.
Одинокие — еще более одиноки.

Жесткие тени кладет
на рисунок ночи
рождественская звезда.

Жизнь I

Жизнь —
захватывающая молитва о... жизни.

Жизнь II

Из тьмы
сквозь тьму
во тьму.

Краков I

Здесь где мое лицо
не привлекает вниманья
где бредущим
от храма к храму
от песни к песне
неведомо чувство сомненья
где на могиле отцов
прядь волос приносят
в залог
будущего свиданья.

Краков II

Стерты ступени
к гробницам поэтов
не
королей.

Поездка в Польшу

Где-то в Польше
на рельсах
заросших травой и цветами
спит старый вагон
и во сне улыбается тихо
словно всю свою жизнь
он катал лишь одних новобрачных
лишь одних новобрачных.

Перевод В. ВЕБЕРА

ХАЙМИТО ФОН ДОДЕРЕР
Очень короткие истории

Перевод Э. ВЕНГЕРОВОЙ

Завтрак

Сегодня утром я завтракал в ванной и о чем-то задумался. Я налил чай в стакан, предназначенный для чистки зубов, и бросил два куска сахара в ванну, однако этого оказалось маловато, чтобы как следует подсластить такое количество воды.

Наш век

Моя экономка развелась с мужем, что меня вполне устраивало, поскольку у нас с этим типом был один и тот же размер воротничка. Однако ее новый приятель сообразил, что летом можно носить рубашки с расстегнутым воротом, и две мои новые шелковые, почти не надеванные бесследно исчезли в прачечной.

Любовь

Она чуть было не вцепилась мне в сердце, чтобы окрасить свои ногти в его крови, но вообще-то они уже были красными и, к счастью, внушили мне такой ужас, что я, рассыпавшись в комплиментах, вернул ей руку и сердце, в которых она мне, может, и не отказала бы.

Характеры

Если от кого попахивает псиной, то это черта характера. Однако не каждый в состоянии выдержать характер такого сорта. А те, от кого несет спиртным, отличаются в этом смысле особой чувствительностью. Такова была глубокая подоплека дискуссии, развернутой в трамвае мюнхенского маршрута номер шесть, так что кондуктор высадил обоих дискутантов у памятника Шиллеру. На улице они продолжали браниться, пока не вмешался третий, от которого так омерзительно воняло постным маслом, что они шарахнулись от него в разные стороны.

«Ура! У старухи не будет ребенка!»

Слава Богу, у этой дамы, моей соседки — ей скоро стукнет семьдесят три, — не будет ребенка. У меня прямо камень с души свалился. А то ведь я страшно перепугался. Она собиралась взять на каникулы одного из этих очаровательных голландских малышей (они у нас в Вене нарасхват), но предпочтение было, конечно, отдано тем семействам, где кто-нибудь говорит по-голландски. К счастью, прелестный мальчуган не знал ни слова по-немецки. Грозовая туча шума, сгустившаяся над рукописью моего романа, прошла стороной.

Фатум

Она была еще молода, недурна собой, она была здоровая, ядреная, жизнерадостная. Ну и что? Должна быть какая-то закавыка, иначе не получится истории. Так вот. На службе ее ценили, она пользовалась симпатией дам из числа клиентуры, ей нравилась ее работа в современном светлом, проветриваемом помещении с белыми кафельными стенами. Ну, да что говорить... Она познакомилась с молодым человеком, милый парень, вполне приличный и порядочный, и работу тоже имел постоянную. Сначала они два-три раза встречались в парке. О чем бишь я? Ах да. На третий раз он ее участливо так спрашивает, дескать, какая у вас профессия. «Работаю в общественной уборной», — говорит. А потом задумалась на некоторое время, глядя вдаль, и добавила: «На главном вокзале». «Не пойдет», — говорит он и в тот же миг покидает ее навсегда.

Путешествуйте с оглядкой!

Много лет тому назад на Швабингском почтамте — это на Леопольд-штрассе в Мюнхене — угодил я в потасовку, начавшуюся из-за какой-то ерунды, вроде бы кто-то полез к окошку без очереди, и так уж сложились обстоятельства, что без особого повода заехал я пару раз по морде одной старухе, чем-то она мне не понравилась. Три года спустя во время разборки в «Лужке» — знаете этот рынок в переулке? — меня жутко избили несколько оголтелых баб, таких в Берлине называют стервами, а в Вене — падлами. Кто-то с верхних этажей навел их на меня своим визгом. И только спустя некоторое время меня вдруг осенило, что эта ведьма, которая вопила из окна, была та самая, со Швабингского почтамта. Отсюда — вывод, что даже самый безобидный и мирный человек, путешествуя по чужим городам, не застрахован от крупных неприятностей.

Голая правда

Недавно на лестничной клетке я встретил нашу квартирную хозяйку, симпатичную, крупную, упитанную даму, совершенно нагую. «О нагота, зачем ты так прекрасна?» — воскликнул я. Однако она, явно уязвленная двусмысленностью моего замечания, поспешила в швейцарскую и оделась. Эта квартирная хозяйка — весьма ограниченная особа, с невысоким уровнем интеллекта. И как раз в силу своей посредственности она во всех случаях стремится к определенности. А иначе ей не прожить. Недалекие люди вечно стоят на страже дурацких предрассудков и не всегда при этом руководствуются дурными побуждениями. Кроме того, фрау Гавелка, наша квартирная хозяйка, шастая по лестнице нагишом, хотела, вероятно, чтобы правда наконец вышла наружу. Она, видимо, догадывалась, какой глупостью с ее стороны было упорное сокрытие истины.

Дом Квасси

Квасси строил у нас дачу (хотя деревенские девушки оскорбили его однажды своим пренебрежением). Я видел этот коттеджик, когда он еще не был готов, и не заметил ничего особенного. Двери, окна и веранда на обычных местах, все как положено. Позже я обратил внимание на несколько незаделанных отверстий. Только спустя год поднялся крик на всю деревню. Похоже, до того люди видели Квасси только выглядывающим из окна или стоящим в дверях. Они почти не обратили внимания на многочисленные дыры со всех сторон дачи. А Квасси клялся и божился, что все это вранье и что он никогда не выставлял задницу ни в одно из окон своего нового дома.

На благо семейства

Отец семейства беженцев, холерически пожимая плечами, прошествовал через пустой палисадник и вошел в трактир. В данный момент ему была необходима встряска, чтобы сосредоточить свои мысли на делах и, насколько возможно, улуч-

шить материальное положение семьи. В трактире буйствовал торговец скотом, появлявшийся в деревне только раз в месяц. Увидев искавшего сосредоточения холерика, хозяин подал ему знак в том смысле, что, дескать, не стоит огорчаться из-за всякого дерьма. Но этот сигнал не был понят адресатом, зато был замечен скотогоном. Этот последний уделил самое пристальное внимание мыслителю и всячески постарался отвлечь его от тяжелых дум. И когда глава семейства беженцев, находившийся тут исключительно ради них, после седьмой кружки пива выпустил из глотки вместе с парами углекислоты некое раздраженное бормотание, рядом с ним разбилась об стенку пивная кружка, запущенная скотогоном. Как разъяренный тарантул, холерик набросился на метателя, но привыкшие к обращению с волами руки швырнули его вслед за кружкой, а потом притянули к себе и снова швырнули, и еще раз туда и обратно; тем временем хозяин, не будучи в силах разнять сцепившихся мужчин, все еще продолжал подавать отцу семейства, с которым противник обходился как с футбольным мячом, тайные знаки. Между тем холерик возопил: «Полиция!» Тут уж хозяин решительно вмешался в ситуацию и объявил скотогону, что пора и честь знать и пусть он наконец рассчитается, как обычно, с гостем, раз уж тот доставил ему такое удовольствие. Тогда скотогон вытащил из толстого бумажника три сотенных, смял их в комок и швырнул в физиономию пьяного противника — впрочем, пьяны были все. Хозяин перестал подавать тайные знаки, но громко и открыто потребовал от скотогона, чтобы тот полностью расплатился с предоставленным в его распоряжение гостем. Скотогон швырнул еще две сотенных, а хозяин столь же откровенно объяснился с отцом семейства, проследил, как тот тщательно пересчитывает деньги и сует их в карман, а потом велел немедленно убираться прочь и выпроводил за дверь. Придя домой, отец семейства застал жену, как обычно, в хлопотах по хозяйству. «Сегодня вечером я был на высоте, — сказал он ей. Она лишь печально взглянула на него. — Все прошло как по маслу», — продолжал он, выкладывая на кухонный стол одну за другой пять сотенных. Ее глаза как-то влажно блеснули, и она сказала: «Что бы я делала без тебя!» Да, что бы она делала без меня, растроганно подумал он, тем самым достигая вершины мыслимого глубокого, искреннего цинизма.

■

«МАНУСКРИПТЫ»

Вступление и перевод Н. ВАСИЛЬЕВОЙ

Журнал, подрывающий здоровье нации

«Манускрипты» — особое явление в литературной жизни Австрии, журнал представляет собой не только самостоятельное издание, но и часть культурного феномена с территориальным центром в городе Граце, столице земли Штирия.

Это своеобразное культурное начинание родилось в 1958 году, когда группа молодых художников, архитекторов и фотографов, объединив свои усилия, добилась от городской общины передачи ей старого разрушенного кафе в городском парке (Штадтпарк) Граца. Полученное здание они перестроили, преобразовав его в культурный центр «Штадтпарк». 4 ноября 1960 года состоялось его открытие, а 9 ноября — тиражом всего 100 экземпляров — вышел первый номер журнала «Манускрипты», задуманного как литературное издание Центра, как «культурно-политический отпрыск» свободного духа «Штадтпарка». Со временем получил широкую известность также организуемый центром «Штадтпарк» ежегодный авангардный фестиваль «Штирская осень», материалы которого регулярно публикуются на страницах «Манускриптов».

Непосредственными инициаторами и создателями литературного журнала были писатель и преподаватель средней школы Альфред Коллерич и поэт-лирик Алоис Хергут. Однако уже со второго номера главным издателем журнала становится А. Коллерич, он остается им и по сей день. Гюнтер Вальдорф, выступающий с пятого номера как соиздатель, курирует оформление журнала и публикацию изобразительных работ.

«В Австрии за литературу всегда надо бороться», — заметил А. Коллерич в 1990 году в издательском обращении к читателям «Манускриптов», подводя итог их тридцатилетнего существования. Культурное противостояние было на протяжении всей истории журнала основным девизом, лейтмотивом его существования. Из этого пафоса противостояния журнал родился, и в первую очередь — из пафоса противостояния провинциализму. Вспоминая о времени создания «Манускриптов», А. Коллерич писал: «Более укоренившимися, чем деревья в городском парке, были художественные взгляды грацских жителей, вросшие в замкнутую в себе традицию, которой был чужд прорыв к модерну». Линия фронта борьбы с провинциализмом проходила для журнала, однако, не между Грацем и столицей, а между культурой и провинциализмом, как в Граце, так и в столице; свою задачу журнал видел скорее в объединении с лучшим в столице, чем в состязании с ней за первенство. «Мы боролись за то, — вспоминает А. Коллерич, — чтобы Грац находился не просто в Штирии, а также и в Европе».

Провинциализм в конкретных условиях Австрии, и Граца в частности, начала 60-х годов означал не только засилье традиционных, закосневших в мещанстве

воззрений и вкусов, отражающих своеобразный «здоровый» дух нации, защищенный от всяких вирусов художественных или литературных экспериментов (см. приводимый ниже текст Р.П. Грубера); этот провинциализм имел еще и исторические корни, политическую подоплеку, неизменно подчеркиваемую и создателями, и авторами журнала. Уже во втором номере «Манускриптов» философ Георг Яношка писал в программной статье о необходимости «восстановить духовную жизнь в Граце», и эта задача понималась участниками Центра как необходимость восстановления прерванных национал-социализмом культурных традиций, как призыв «преодолеть пропасть между модернизмом и общественностью», пропасть, зияющую в общественном сознании со времен фашизма. Именно «эта оппозиция узколобой и по-провинциальному упрямо держащейся идей фашизма публике», это стремление противостоять недальновидной местной культурной политике и «прервать беспробудный культурный сон грацской Спящей красавицы» и объединило участников центра «Штадтпарк» в единую группу. По словам издателя, «экспериментальная литература, в самом широком смысле, стала для нас средством борьбы против закосневших культурно-политических структур».

Путь преодоления провинциализма создатели «Манускриптов» видели на первых порах в подключении к традиции модерна, в открытии забытых имен. «Ощупью пробирались эти немногие первопроходцы назад к великой традиции модернизма», — вспоминал А. Коллерич. Большой заслугой журнала стало, к примеру, «возвращение на родину» австрийского дадаиста и «звукового поэта» Рауля Хаусмана, жившего с 1933 года в эмиграции в Испании.

В австрийской литературе тех лет сходную культурологическую работу проделывала существовавшая с 1958 по 1964 год так называемая «Венская группа», кружок венских писателей, которые «шли путем эстетической революции начала века и обрели при этом собственный голос», — как писал о них А. Коллерич. «Для наших первых шагов в Граце встреча и дружба с венцами были большим открытием», — подчеркивал издатель. Уже во втором номере «Манускриптов» были представлены в основном писатели «Венской группы»: Ф. Ахлайтнер, Х.К. Артман, К. Байер, Г. Рюм, которые в «ретроградной» Вене тех лет не находили достойного приюта для своих экспериментальных текстов. С первых же номеров постоянными авторами на все последующие годы становятся такие близкие к «Венской группе» и, по словам А. Коллерича, «во многом определившие структуру журнала» писатели, как Эрнст Яндль и Фридерика Майрёкер. Непосредственно участвовали в формировании журнала и широко известные ныне прозаики Эльфрида Елинек и Михаэль Шаранг, который, как и многие другие, впервые напечатал свои произведения именно в «Манускриптах».

С восьмого номера география публикаций расширяется: наряду со стихами немецких конкретных поэтов (Франца Мона, Райнхарда Дёля), произведениями штутгартской группы, объединенной вокруг известного философа Макса Бенсе, журнал предоставляет свою площадь интернациональному авангарду: от Ханса Арпа, графика, скульптора и поэта, одного из основателей кружка дадаистов в Цюрихе, до группы бразильских поэтов-авангардистов. «Мы с самого начала не устанавливали «Манускриптам» никаких границ», — отмечал Коллерич. Швейцарский писатель Петер Биксель впервые (после Швейцарии) напечатался именно в «Манускриптах», как и чешские конкретисты, как и Вацлав Гавел.

Открытие преданных забвению эстетических программ, особая культурно-историческая миссия не являлись, однако, для журнала его определяющей линией. Главную свою цель «Манускрипты» видели скорее в продолжении традиции авангарда, в пересадке его на родную почву. Поэтому с первых же дней своего существования журнал целеустремленно собирает вокруг себя экспериментирующую, критически настроенную интеллигенцию и, как свидетельствует критик М. Микснер, «печатает литературу, олицетворяющую собой анархическое сопротивление тенденции приручения духа». Уже начиная с пятого номера вокруг «Манускриптов» формируется своя группа молодых писателей, и на литературную арену со страниц этого журнала выходит новое, до сих пор совершенно неизвестное поколение грацских писателей. Очень скоро «извне» этих молодых авторов стали называть «Грацской группой». В нее вошли: Барбара Фришмут, Вольфганг Бауэр, Гюнтер Фальк, Петер Хандке, Клаус Хоффер. Эту группу не отличало тематическое или стилистическое единство, но всем ее участникам свойственно было стремление — в русле формальных и языковых экспериментов — к новым, хотя далеко не единым литературным формам и канонам. «Мы держались литературы как таковой и печатали все, что было написано нетрадиционно, вызывающе, спорно», — подчеркивал позицию журнала его издатель. И в своем стремлении стать центром экспериментальной, авангардистской литературы журнал, без сомнения, преуспел. По утверждению «Нойе цюрихер цайтунг», «из этого журнала действительно

вышло большинство самых известных сегодня авангардистских писателей Австрии». В начале семидесятых к грацским авторам» примкнули также Хельмут Айзендле, Райнхард П. Грубер, Бернхард Хюттенеггер, Герхард Рот. А позднее: Петер Ватерхоузе, Михаэль Донхаузер, Лукас Цайпек, Вальтер Гронд, Гюнтер Фрайтаг, Франц Вайнцеттель и Эрвин Айнцингер.

Пафос противостояния, бойцовский дух журнала естественно предопределили ему довольно тернистый путь, несколько раз журнал оказывался перед угрозой закрытия. Так, после публикации в одном из первых номеров конкретных стихов авторов «Венской группы» разразился скандал: сберегательный банк имени Райфайзена, один из крупнейших в Штирии, отказал журналу в дальнейшей материальной поддержке и потребовал в срочном порядке заклеить на обложке журнала упоминание его великодушного спонсорства. Но самые большие неприятности выпали на долю журнала в связи с публикацией в номерах с 13 (1965) по 25 (1969) романа представителя «Венской группы» Освальда Винера «Усовершенствование Центральной Европы». Еще до завершения публикации романа на издателя «Манускриптов» посыпались анонимные обвинения в распространении порнографии. В прокуратуре против Коллерича и соиздателя журнала Вальдорфа было начато предварительное следствие, министерство внутренних дел ввело «ограничение распространения» на 18-й номер журнала, что было равносильно его конфискации. Сам издатель «Манускриптов» объяснял этот взрыв негодования так: «Поскольку кому-то трудно понять смысл высокоинтеллектуальных, высокохудожественных текстов, то на авторов тут же сыплется град обвинений: порнографический, дегенерирующий, оскверняющий язык, антивоспитательный, разрушительный...»

Отчаянный протест в официальных столичных кругах встретил и другой акт противостояния Центра: образование в 1973 году авторского союза «Грацское собрание писателей» (бывшая фракция современной австрийской литературы в венском ПЕН-клубе), созданного как второй автономный австрийский ПЕН-клуб в противовес официальному. Грацское собрание писателей добивалось признания международного ПЕНа, но, несмотря на поддержку тогдашнего президента международного ПЕН-клуба Генриха Бёлля, в результате стойкого сопротивления своих официальных оппонентов этого признания так и не получило.

Деятельность журнала не случайно на протяжении всей его истории вызывала в оппозиционных кругах такую резкую неприязнь. Рецензент немецкого еженедельника «Цайт» в 1988 году очень точно определил общественную роль журнала: «Провокации поэтов и художников в центре «Штадтпарк» сначала не имели политического характера — только эстетический. Но, взорвав, традиционные формальные каноны, нарушив суровые заповеди реализма, не желая больше оставаться только поставщиками смысла, они что-то сдвинули с места, и это уже приобрело политическую окраску». Политическую ангажированность журнала отмечал и его давний автор, один из участников «Грацской группы» Клаус Хоффер в своей статье в журнале в 1993 году: «Особое уважение, питаемое мной к этому журналу, всегда, с самого начала было политически мотивировано, мотивировано тем, что в предпочтении, отдаваемом Коллеричем экспериментальной литературе, я всегда видел и свидетельство его политической ангажированности, его понимание и использование искусства как своеобразного способа подрывной деятельности, направленной против глубоко реакционного климата в этом городе и в этом государстве».

Другой характерной особенностью журнала, помимо пафоса противостояния, было стремление, как определяет его издатель, воссоздать «непрерывность литературного процесса». Главным издательским принципом журнала всегда оставалась его неизменная открытость. Строжайший критерий качества и обязательное условие — первая публикация. Никаких других ограничений для авторов не существовало. Журнал считал своей задачей открывать новые книги и поддерживать новых авторов, молодых и талантливых, преуспевающих и неудачливых, стремился сблизить писателей начинающих с уже получившими признание. Как отмечает Коллерич, «журнал постоянно находился в очень неприятной ситуации: оставаясь средоточием надежд для пишущих, он был в состоянии оправдать лишь очень немногие из этих надежд».

«Манускрипты» традиционно не предлагают гонораров за публикации, но они открыли и открывают многим начинающим писателям путь к издателям. Так, из тесного сотрудничества с «Манускриптами» и с центром «Штадтпарк» в 1981 году родилось новое литературное издательство «Дрошль», с которым журнал чувствует себя тесно связанным, даже сросшимся; этому издательству удалось осуществить многое из того, о чем долгие годы мечтали создатели журнала.

Вопреки всем терниям на своем пути, журнал «Манускрипты» завершает в этом году свой тридцать пятый сезон, что, без сомнения, свидетельствует о значимости этого литературного издания и о подвижничестве его постоянного издателя, подвижничестве, столь необходимом и в теперешнее довольно неблагоприятное для литературных журналов и вообще для литературы время. По выведенной Х.М. Энценсбергером универсальной «постоянной», «в каждой стране, независимо от количества жителей, существует не более 3000 серьезных читателей». Общекультурную ситуацию в Австрии А. Коллерич оценивает также довольно пессимистически. Никого уже, по его мнению, нельзя привести в восторг литературой; средний австриец вообще не очень любит читать, к тому же если речь идет о художественной литературе; да и литературные журналы как неприбыльный для книготорговли товар можно приобрести только в нескольких книжных лавках, и даже германисты (судя по подписке) проявляют к тому, что происходит в литературе, довольно слабый интерес. И все же свое обращение к читателям в самом последнем на данный момент номере 1995 года издатель журнала «Манускрипты» заканчивает весьма оптимистически: «Может быть, когда-нибудь о литературных журналах снова вспомнят и заговорят как о важном начинании и, я надеюсь, как о свидетелях противостояния тому культурному выздоровлению нации, которое всегда предшествовало австрийским катастрофам».

Предлагаем вниманию читателей подборку литературных публикаций из «Манускриптов»: программный во многом для позиции «грацских писателей» текст Р.П. Грубера, являющийся вступительной частью к еще не законченному большому прозаическому произведению; статью грацского эссеиста и критика П. Штрассера, посвященную авангардному фестивалю «Штирская осень»; два литературных текста представителей разных поколений авторов «Манускриптов»: Вольфганга Бауэра, известного австрийского драматурга, одного из старейшин «грацской группы», и Людии Мишкульниг, молодого прозаика, участницы «Студии молодых», торжественно учрежденной при центре «Штадтпарк» в конце марта этого года.

Р.П. ГРУБЕР

Р.П. ГРУБЕР РОДИЛСЯ В 1947 ГОДУ В ФОНСДОРФЕ, УЧИЛСЯ В ВЕНЕ, СМЕНИЛ НЕСКОЛЬКО ПРОФЕССИЙ, С 1977 ГОДА ЗАНИМАЕТСЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ЖИВЕТ КАК СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК В ШТАЙНЦЕ (ЗАПАДНАЯ ШТИРИЯ). ШИРОКО ИЗВЕСТЕН КАК САТИРИК И ЮМОРИСТ.

Мы те, от кого народ Граца должен быть защищен

Мы австрийцы, да,
но какие?
Мы художники, да,
но какие?
Мы литераторы, да,
но какие?
Мы музыканты, да,
но какие?
Мы архитекторы, да,
но какие?
Мы режиссеры, да,
но какие?
Мы художники, да,
но какие?

© Reinhard P. Gruber, 1988

Нас уже так много,
что народ
с трудом может оказывать нам сопротивление.

Народ чувствует себя перед нами беззащитным.
Мы проникли
абсолютно во все
средства массовой информации.
Наши картины висят во всех галереях,
наши книги выставлены во всех витринах,
наша музыка повсюду исполняется,
наши здания прямо-таки лезут в глаза,
наши фильмы не сходят с экранов телевизоров.
Наше искусство — это жало,
которым мы каждодневно жалим здоровое народное самосознание.
И это жало отравляет народ нездоровым сознанием.
Мы те,
кто не творит здорового искусства.
Мы и сами не очень-то здоровы.

Стоит ли перечислять врачей, у которых консультируется А. К.[1]?
Клиники, в которых бывает Герхард Рот?
Лекарства, которые принимает Вольфганг Бауэр?
Стоит ли сообщать о курсах лечения, рекомендованных Гюнтеру Брусу?
О несчастных случаях Харальда Нойвирта?
Стоит ли мне обнародовать данные о содержании белка и сахара у меня в крови?
Или о давлении Гюнтера Вальдорфа?

Мы те, для которых штирская осень
была придумана.
Мы существуем
за счет налогов с добропорядочных граждан.
Мы те, кто сосет из народа кровь,
пока он не рухнет в изнеможении, обессиленный, к тому же безработный.
Мы переманили политиков
на свою сторону.
Сегодня политики защищают наши творения,
покупают наши картины,
читают наши книги,
слушают нашу музыку,
смотрят наши фильмы,
живут в домах,
построенных по нашим проектам.
Они берут искусство под защиту
от народа.
Не нам, художникам, приходится защищать искусство,
это делают за нас наши политики.

[1] Имеется в виду Альфред Коллерич. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Мы потому представляем опасность для народа,
что не выступаем как «мы»,
а каждый как «я».

Были бы мы содружеством
или товариществом,
тогда другое, более многочисленное содружество народа,
другое, более многочисленное товарищество народа
силой демократии на нас бы воздействовало,
силой парламента нас бы ограничило,
силой конституции придавило,
силой закона истребило,
силой полиции сгноило в тюрьме,
если бы законы действительно творил сам народ.

Но нам не свойственно это народное «мы».
У каждого из нас совершенно разные взгляды.
Наше сознание чуждо народному,
для которого характерно только одно стремление: быть здоровым!

Народ Граца здоров как черт!
Жизнь проста и бесхитростна, как пощечина!
Согласимся же:
мы действительно те,
которых следует остерегаться!
Мы не просто вредим народу,
но мы и хотим это делать.
Непоколебимо здоровые интересы народа
неизменно задевают и уязвляют нас,
пока мы сами не решили
вступить на путь здоровья.

Но тогда, когда это случится,
когда народ,
который в конце концов
тоже имеет право дать волю своим чувствам
и вывести нас наконец на путь простой, обычной жизни,
на путь здорового самосознания —
тогда,
именно тогда,
начнем и мы бросать зажигательные бомбы,
начнем и мы требовать истребления вредителей,
начнем воспринимать всё как все,
станем большинством.

Боюсь, правда,
что мы все такие твердолобые,
такие упрямые,
что вряд ли способны переучиваться:
я боюсь, нам уже никогда не стать здоровыми,
и я боюсь,
мы и не захотим никогда
быть такими здоровыми,
как здоровое народное самосознание
в здоровом Граце.

1988, № 101/102

ПЕТЕР ШТРАССЕР

ПЕТЕР ШТРАССЕР РОДИЛСЯ В 1950 ГОДУ, ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФИЛОСОФ И ГЕРМАНИСТ, ДОЦЕНТ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ ПРИ ГРАЦСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, ЖИВЕТ В ГРАЦЕ.

Последний оплот авангарда

«Штирская осень» была так называемым авангардным фестивалем с международным реноме. Вот и расплачивается теперь за это. Renommée perdué[1], а что касается авангарда — тоже perdué. Renommée perdué, поскольку авангард perdu. Того, о чем чуткие к духу времени литературные рубрики немецких газет трубят уже давным-давно, в нашей стране как бы не существует, поскольку этого попросту не может быть в консервативной, чурающейся прогресса культурной среде: не только утрата чувства золотой середины — с этим как-то, хотя и с трудом, мы смирились, — но, что гораздо хуже, утрата посттрадиционной элитарности, генерирующей эксцентричность и, соответственно, эксклюзивность художественного и интеллектуального авангарда.

Эксклюзивность — любимое дитя хранителей эстетических ценностей старой Европы, которые, впрочем, уже вынуждены признать, что Гёте и Гёльдерлин давно стали добычей тех, кто, погрузившись в мягкое кресло, осуществляет общение с вечностью, а также жаждущих самообразования почитателей книги; эта эксклюзивность превратилась теперь в стандартный отличительный признак культурной провинции. Как тут не показаться и самому себе смешным в святой жажде возвышенного? Но может быть, вчерашний авангард — это уже старо, действительно вчерашний день? Не был ли он и вчера лишь спитой заваркой позавчерашнего дня, лишь вызывающей позой, которая, если честно, уже и тогда вызывала скуку? «Орнамент — это преступление» — здорово было сказано! Ну а исламизация грамматики по Карлу Краусу[2]: за каждую пропущенную запятую — публичная экзекуция — отсечение руки! Тогда, правда, еще можно было надеяться, что все повернется в сторону прекрасного, доброго, вечного. Но вот совсем недавно Петер Слодердийк привел несколько суровых примеров, чтобы задаться популистским вопросом: отчего такая нетерпимость?

И в самом деле, отчего? Мы ведь давно поняли, что эксцентричные номера под куполом модернизма представляют собой лишь головокружительное вращение вокруг самого себя, хотя и претендуют на достижение некоей утопической цели, но по сути своей есть не что иное, как повторение одного и того же: демонтаж, деконструкция, отречение от отреченного, разрушение уже однажды разрушенного — и все ради обнажения истины, которая каждый раз отступает под яростными атаками «обнажения» и рассеивается, как туман под порывами ветра. Отсюда заключения Слодердийка: наступила эпоха постэксклюзивности. Этим чудовищным словом он, однако, ухватывает удивительный феномен, который Йозеф Бойс, на данный момент самый модный — из умерших — художник наших дней, облек в соблазнительную и сверхрадикальную формулу: мы все художники, даже если какие-нибудь несчастные бедняки; господин N и госпожа N и не в состоянии в это поверить. Но никто не может уразуметь и следующего постэксклюзивного парадокса: с тех пор как все стали художниками, все меньшее их число за предельно короткий срок зарабатывают все большее количество денег, чтобы потом в предельно же короткий срок бесследно исчезнуть, уступив место новым суперхудожникам.

Парадокса тут, конечно, нет. Ибо утверждение, что все мы являемся художниками, есть не что иное, как несколько стыдливое толкование непреложного закона нашего бытия, который гласит: как и все в этом мире, художественная ценность любой вещи, будь то клин жира[3], ненаписанный роман или пустой нотный лист с автографом, определяется по ее меновой стоимости, вы-

[1] Реноме утрачено (*франц.*).

[2] Карл Краус (1874 — 1936) — австрийский писатель, журналист, поборник реформы языка. Издаваемый им журнал «Факел» был форумом борьбы с «речевой распущенностью», в которой Краус видел проявление коррумпированности и духовного разложения общества и распада культуры.

[3] Имеются в виду пластические композиции Й. Бойса.

© Peter Strasser, 1988

раженной в понятной каждому денежной сумме. Это сущность постэксклюзивности эпохи постмодерна: монетаризация авангарда, то есть его переорганизация на основе критерия: Cash! — с чем нам приходится сталкиваться на каждом шагу. Итак, бытие наше состоит в том, что все мы — вовлечены в сферу циркуляции капитала, поэтому все мы, художники, даже если и несет нас по самому мелководью, по самому краю денежного потока.

Но так, конечно, было не всегда; в мифические доисторические времена, то есть во времена модернизма, от которого «Штирская осень» в силу досадной несовременности своих организаторов так и не смогла эмансипироваться, художник утверждался исключительно лишь посредством медиумической причастности к божественной истине, которая к деньгам, правящим миром, была, кстати, всегда настроена негативно. Можно было умереть бедным и все-таки навеки войти в историю искусства. Сегодня такая постановка вопроса представляется скорее вызывающей раздражение политикой разграничений и предпочтений: разве не все мы виртуальные художники: акционеры, владельцы счетов, обладатели кредитных карточек, получатели пособий по безработице и социальной помощи!

Сегодня, естественно, мероприятия «Штирской осени», как, например, литературный симпозиум, могут только раздражать и сердить. Ведь как метко писал в еженедельнике «Цайт» от 28 октября 1988 года Фолькер Хаге: «Ах да, литературный симпозиум в Центре «Штадтпарк»... Рассказывать, впрочем, особенно не о чем, ни споров, ни дискуссий, ни дебатов». И далее: «Большинство приглашенных писателей откатало за три вечера свою программу как обязательную... При этом устроителям еще раз удалось заманить в Грац целый ряд интересных писателей...» Значит, пришлось ЗАМАНИВАТЬ, и ЕЩЕ РАЗ соизволили они прибыть, к примеру Кристиан Энценсбергер, Отто Ф. Вальтер, Пауль Вюр, Кристоф Рансмайр; еще раз соизволили, но больше уж вряд ли! Хаге, которому «Цайт» обязан необыкновенно тонкими статьями о произведениях сверхэлитарных авторов (к примеру, о последней книге Бото Штрауса), погрозил, на этот раз рассерженно и назидательно постэлитарным перстом: а где же шоу, на которое якобы пошли ваши денежки? Денег здесь, кстати, со зрителей не взимали. Никаких споров, никаких дискуссий, никаких дебатов; одни лишь интересные писатели, да еще первого ранга, упрямо не желавшие делать ничего другого, как читать отрывки из своих произведений, которые они, писатели, словно какие-нибудь неандертальцы, сочли значительными и самодостаточными и не сопровождали никакими комментариями.

Конечно, Хаге прав, ну кому сегодня есть до этого дело? Как ни крути, но людей теперь интересует другое. К примеру, то, что помещается в качестве издательского объявления на той же полосе «Цайт», как раз под разгромной статьей Хаге: «Среди произведений дюссельдорфского художника Йозефа Бойса есть ванна, обклеенная изнутри липким пластырем, с налипшим мусором, которая стала особым художественным объектом. О том, как по случаю веселого торжества эта ванна, помещенная в подсобном помещении одного музея, превращается в емкость для охлаждения пива и как невежды от искусства приговариваются к денежному штрафу в 165000 марок, читайте в...» Сто шестьдесят пять тысяч марок!

«Штирской осени» не мешало бы все-таки ощущать приметы времени. «Грац 1988 года: завершилась определенная эпоха, наступила усталость», — в каком-то смысле это, конечно, правда. Вольфганг Бауэр больше не швыряет пивные бутылки в битком набитый зал, Петер Хандке не отвешивает оплеухи полицейским, Х.К. Артман, скажем жестко, без всяких обиняков, уже не так и молод, а Освальд Винер теперь только кибернетическая система. Что же делать? Я предлагаю делать не больше, чем делали до сих пор, а то и меньше, а именно: взимать за все культурные мероприятия «Штирской осени» такую же входную плату, какую взимает третьеразрядный гуру, заставляющий своих клиентов в пять часов утра в какой-нибудь провинциальной дыре погружать свои чувствительные ступни в ледяную родниковую воду, а также жесточайшим образом ограничить количество мест или просто не всех впускать! Подобные постэксклюзивные приемы, без всякого сомнения, опять взбудоражат публику.

А об остальном, как и всегда, позаботится Вена, о которой сказано в «Площади героев» Томаса Бернхарда: «Изголодавшиеся писатели идут в тюрьмы и

читают заключенным свою лживую дрянь, выдавая ее за истинные произведения искусства», что все же никак не может изменить того факта, что город этот есть финансовая, а следовательно, и культурная метрополия Австрии. Там уже ни одной культурной отрыжки не дождешься, не уплатив предварительно сто шестьдесят пять тысяч марок, и этого скромной модернистской «осени» не отнять у венского круглогодичного миллиардного шоу, результаты которого ВПЕЧАТЛЯЮЩИ, или, если еще раз прибегнуть к Бернхарду:

Вена все-таки очень забавна,
забавна увлекательна забавна.

Итак, останемся, по крайней мере пребывая здесь, тем, чем мы были всегда: провинцией; а если вдруг заскучаем, то сгоняем на пару дней в Вену, где мы, если нам повезет, сможем встретить и Фолькера Хаге, ну а в наших краях, и с этим ничего не поделаешь, последний оплот авангарда все слабеет и слабеет.

1988, № 101/102

ВОЛЬФГАНГ БАУЭР

ВОЛЬФГАНГ БАУЭР РОДИЛСЯ В 1941 ГОДУ В ГРАЦЕ, ЖИВЕТ В ГРАЦЕ. В СВОЕМ ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ПРОДЕЛАЛ ЭВОЛЮЦИЮ ОТ РАННИХ ОДНОАКТНЫХ ПЬЕС В СТИЛЕ ТЕАТРА АБСУРДА ДО БОЛЕЕ ПОЗДНЕГО «МАГИЧЕСКОГО» ТЕАТРА. ПУБЛИКУЕМЫЙ ТЕКСТ — ПЕРВЫЙ АКТ ПЬЕСЫ, ПОСТАВЛЕННОЙ В ГРАЦКОМ ТЕАТРЕ В 1993 ГОДУ.

Столовая. Каприччо а-ля Габсбург

Посвящается Фифи и Норберту Шруннер

Действующие лица

Гёц Холм, актер	— **Иоганн Орт**[1]
Петра Одёр, актриса	— **Милли Штубель**
Адельхайд, хозяйка столовой	
Отто, ее помощник	— **Иоганна умалишенная**[2]
Эди Шналленберг, актер	— **кайзер Франц Иосиф**
Татьяна Интерпреску, режиссер	
Ральф Биерхоф, автор	
Статист, главный статист	— **боснийский солдат, матрос**
Костюмерша	
Актер (Гитлер)	
Хорст Шлудерман, директор театра	
Г-н Зэгман, репортер	
Пихлер, актер	— **Иоганн Штраус**

[1] Иоганн Орт — гражданское имя эрцгерцога Иоганна (Непомука) Сальватора Австрийского (1852 — 1890 ?). В звании бригадного командира участвовал в боснийском походе, в 1879 г. был произведен в фельдмаршалы. В 1887 г. за свое критическое сочинение «Муштра и воспитание» и интриги в борьбе за наследование болгарского престола был разжалован. В 1889 г. после дальнейших внутрисемейных распрей отрекся от дома Габсбургов и принял имя Иоганна Орта (Орт — название его замка у города Гмундена). В 1890 г. его корабль «Святая Маргарет», огибавший Южную Америку, затонул у мыса Горн. И. Орт также автор «Дневника по балету».

[2] Иоганна умалишенная (1479 — 1555) — королева Кастилии, супруга Филиппа Красивого Кастильского из династии Габсбургов. Ранняя смерть Филиппа Красивого (1506) стала причиной ее душевного расстройства, но, несмотря на это, она до самой своей смерти оставалась на королевском престоле.

© Wolfgang Bauer. 1993

АКТ ПЕРВЫЙ

В столовой темно. Справа в глубине, рядом с еще закрытой железными жалюзи стойкой хлопает на шквальном ветру окно. Актер **Гёц Холм**, с трудом различимый среди столов и стульев, заучивает заключительный монолог Иоганна Орта из пьесы Ральфа Биерхофа «Элементы». Он немного шепелявит. Общая темень должна создать у зрителя впечатление, что действие происходит не в столовой, а в каюте на сотрясаемом штормом корабле. На Гёце Холме — Иоганне Орте капитанский китель, он сейчас расстегнут, из бокового кармана торчит текст пьесы.

Холм. Стремился ли я к этому? Или так суждено было случиться? Не знаю... *(Оглядывается по сторонам.)* Шторм никогда не кончится... Кругом вода... но какая вода, какие валы! Валы мыса Горн... Да, я стремился к этому... к элементам! Сознайся, Иоганн Орт! Будь тем, кем ты и желал быть... *(лихорадочно, сбивчиво)* нет... нет... это не Гмунденское озеро... нет... *(смотрит в окно)* и там лежит не Гмунден... отвесные скалы встают из пены... зубец за зубцом... не мои ли это предки хладнокровно вершат кровавую месть? «Земля не только круглая?»... в чем же моя вина?.. *(тихо)*... возможно, это самое коварное самоубийство во все времена... бежать из уютных габсбургских покоев... и что теперь? Что защитит меня? Может быть, «Святая Маргарет»? Мой корабль? Мы все лишь пассажиры на корабле! Где мой палубный старшина? Эй! Старшина! *(Делает вид, что открывает дверь, снова ее закрывает.)* Вода! Кругом вода! Сила стихии!.. Мне бы следовало воспользоваться своей силой, властью... укреплять власть... мне бы следовало захватить ее... а я только играл... играл и ... что выиграл? Можно ли выиграть смерть? К чему столько сражений... к чему победа... (Истерично.)Зачем все это? Если главный враг еще впереди... мой главный враг, которого я сам себе выбрал... кто это? Ха-ха! Нет, не природная стихия! Нет, и не сильнейшая в мире армия, и не интриги при дворе... нет, это я... я! Я сам и есть тот, кто меня победит... я тот, кто здесь все разнесет на мелкие кусочки! Я тайфун, который швырнет меня на рифы... великолепный план... задуманный мной и наконец-то здесь осуществленный! Милли!! Милли, где ты? Жива ли ты еще? *(Расхаживает взад-вперед.)* Что это? Призрак? Жив я или я уже там? Кто это? Разве не Карл V? А там? Кто это парит там над морем? Мария Терезия? Это ты? Мария Антуанетта? А тут? Рудольф...[1] Рудольф, это ты? Старый друг! Вы пришли мне помочь... вы пришли свершить надо мной суд? А не все ли теперь равно?!

Из глубины сцены, пританцовывая, выходит **Петра Одёр**, исполнительница роли Милли Штубель. На ней балетное платье, обвешанное цветными лампочками. На темной сценеона кажется призраком. Петра напевает вальс.

(*Продолжает свой монолог.*) Сиси?[2] Сиси, это ты?.. перестань меня дурачить... я еще на корабле... или я на сцене? Скажи, это здесь сцена?

Одёр (*неожиданно включает свет*). Нет, старина... (*разражается смехом*) мы в столо-о-о-овой! Я тебе что, помешала, Гёци?

Холм (*уже не по роли гневно*). Никакой я тебе не Гёци... а старый добрый эрцгерцог Иоганн Сальватор, он же Иоганн Орт... я как раз только вошел в роль...

Одёр. Извини...

Холм. Этот финал, я такое играть не могу... при словах «Сознайся, Иоганн Орт!» я всего себя оплевываю...

Одёр. Потому что ты малость шепелявишь...

Холм. Пойди закрой окно... а то я тут закоченею... хотя вообще-то меня должна поглотить пучина...

Петра закрывает окно.

Одёр. Тут в столовой уже многие чего понаглотались...

Холм. Старик твой уж наверняка... если б я был директором театра и должен был бы ставить такую пьесу, я бы давно в стельку упился... он уже пришел?

---

[1] Кронпринц Рудольф (1858 — 1889) — сын австрийского императора Франца Иосифа, находившийся из-за своих либеральных взглядов в натянутых отношениях с отцом. Покончил жизнь самоубийством.

[2] Сиси — австрийская императрица Елизавета (1837 — 1898), супруга императора Франца Иосифа

саблей, но вместо брюк на нем подштанники и на ногах — тапочки. Он не обращает никакого внимания на двоих за столиком, бьет кулаком по стойке.

Шналленберг. Кофе-меланж для его императорского величества! Живо-живо!
Адельхайд *(зовет).* Отто!
Отто *(которого все это время не было видно, появляется в костюме Иоганны умалишенной).* Кофе-меланж?
Шналленберг. Ну, Отто, покажи, как это Иоганна умалишенная делает?

Отто начинает громко рыдать, наливая кофе.

Шахматы!

Отто протягивает Шналленбергу через стойку шахматы. Шналленберг берет их и останавливается перед столиком Холма.

Встать, смирно! Эрцгерцог Иоганн Сальватор... хе-хе... *(Кивает на меню Холма.)* Опять штормит, а?
Холм. Проваливай, старина!
Шналленберг *(отходит).* Буржуазная сволочь, либерал! *(Потом молча садится за столик на заднем плане и начинает расставлять фигуры. Играет сначала сам с собой).*

Адельхайд приносит кофе для Шналленберга. Появляется **Татьяна Интерпреску**. На ней мужской костюм в полоску, губы накрашены черной помадой. Ведет себя нервно, суетливо.

Адельхайд *(отчетливо).* Добрый вечер, госпожа Интерпреску!
Интерпреску. Вечер... вечер все... ах, вот ты где пропадаешь, Гёци!
Холм. Я тут уже дошел до конца, так сказать, до точки.
Интерпреску. Надо надеяца конец хорош все хорош. Разное не пить слишком много... нет слишком много микс...
Холм. В желудке все равно все перемешается.
Интерпреску. Хорош... я тоже все перемешаеца... есть два проблем, почему тебя искаю...
Холм. Гм. *(Смотрит на часы.)* Мне уже нужно переодеваться... я же еще в костюме для финала...
Интерпреску. Время хватит для это... из большой сцен боя чуть опоздание... пожарный полиц не хочет пушки дать стрелять, почему еще скандал с техничный дирретоаре...
Холм. Может, фрикадельками палить будем, слабо́?
Интерпреску. Твой это не касайца... я не хотеть твой делать плохи нервы... только говорить хочу два проблем... Проблем нумерул раз... сцен нумерул... нумерул семь, кажеца... после как кронпринц Рудольф вечером себя застрелился... ты писать страшно грустный писмо Франц Иосиф...
Шналленберг *(вставляет, не поднимая глаз от шахматной доски).* Его императорскому величеству!
Интерпреску *(продолжает, не обращая внимания).* ...ты там быть чуть слишком легко...
Холм. Легко?
Интерпреску. Понимаешь, что я сказать... ты совсем сломан... Рудольф твой враг. Рудольф твой дру-у-г... *(Смотрит на него с глупым и сверхученым видом.)* Ты потерять сразу два... ты надо быть больше грустный... хорошо бы с перо в рука в земля лечь...
Холм. Это было бы уж слишком!
Интерпреску. Это настоящий искусство... я свет совсем выключать почти... ты знаешь, я учил у Пайман... у Купфер... у Штайн[1]... я разбирай искусство...
Холм *(заглатывает остатки своего меню).* Гм.
Интерпреску. И пжалста... когда писать... «Я потрясен этим страшным ударом

[1] Клаус Пайман, род. в 1937 г. — режиссер, работал в театрах Франкфурта-на-Майне, Берлина, Штутгартта, с 1986 г. — руководитель венского «Бургтеатер». Известен как первый постанов-

судьбы...» ...тут ты надо быть аккуратно, что ты нет шепелявить...

Холм *(взбешенный).* Я шепелявлю там и тогда, когда хочу, понятно-о-с?!

Интерпреску. Я знать... только не тут в так сериозный момент... публик нет смеяца...

Холм. Это дело инсценировки, а не моей индивидуальной дикции...

Интерпреску. Хорош. Проблем нумерул два... я обсудил уже с все другий... Вчера был ауторул в репетиция... потом та-а-а-а-к меня кричал... ты знает... старый мужчин... он же писать специально с большой душа на сто лет Австрия... черт ево знает уже свой двадцатый пьес... сейчас первый раз сыграть действительно на театр... он видеть только хисторический момент... он только смотреть что правилно, что нет правилно, но... я думаю, ты его тоже сказать, что мы делать не только хистория... мы надо делать искусство... Пьес и так сухой и сериозный... стоять за меня, пжалста, я... все... весь онсамбл... он очень холерик... что для пресс не хорош... о'кей, Гёцик?

Холм *(валится на пол, цитирует).* «Его императорскому и королевскому святейшеству».

Шналленберг. То-то же. *(Над шахматной доской.)* Шах.

Холм *(сильно шепелявя).* «Я потрясен этим страшным ударом судьбы, глубоко потрясен ужасным несчастьем, постигшим всех нас, прошу покорнейше ваше высочество, а также ваше сиятельство императрицу соизволить принять мое искреннейшее глубочайшее сочувствие. Эрцгерцог Иоганн».

Шналленберг *(как бы отстукивая телеграмму шахматной фигурой).* Тра-та-та — императрица и я благодарим тебя многократно за твое сочувствие — тра-та-та — в этом ужасном несчастье — тра-та-та — которое постигло всех нас — шах-с!

Помощник режиссера *(из громкоговорителя).* Госпожа Интерпреску... Госпожу Татьяну Интерпреску срочно просят подняться на сцену к пожарной полиции... горит шляпа, дорогие друзья... впрочем, уже столько-то часов столько-то минут, господа...

Интерпреску. Так, я бежать... *(Холму.)* Земля лечь хорошо... но не шепельмовать...

Холм. Шшелаю успеха!

На сцене появляется автор, **Ральф Биерхоф**. Примерно семидесяти пяти лет. Шляпа, трость, шарф, пальто, длинные седые развевающиеся волосы. Он сразу же кидается к Интерпреску.

Биерхоф *(взволнованно).* Что я слышу? На сцене пожар?

Интерпреску. Иметь проблем с полиц, орудье на сцене!

Биерхоф *(задерживает ее тростью).* Стой! *(Он ослышался.)* Кто орудует? Нападение праворадикалов?

Интерпреску. Орудие! Слишком много огонь на сцен! Должен бежать...

Биерхоф. Ах вот что... орудия... да-да... они должны палить вовсю... это-то, уж надеюсь, не будет стилизацией, почтеннейшая...

Интерпреску поспешно уходит.

но нам с вами еще есть о чем побеседовать... *(Видит Холма.)* Ах, мой дорогой Орт... Вы здесь, и в полном капитанском облачении! Браво!

Холм *(поднимается, чтобы уйти).* Мое почтение, господин профессор.

Биерхоф. Здесь я не профессор... здесь я поэт... и его имя Ральф Биерхоф... настоящее, не псевдоним... я только что беседовал с господином директором... он рассказал мне, что вы так прониклись вашей ролью... я очень рад... очень рад... и вправду интереснейшая личность этот Иоганн Орт, а?

Холм. Н-да... Н-да... чрезвычайно глубокая...

щик П. Хандке, Т. Бернхарда, Б. Штрауса, а также своими осовремененными, часто с внесением комических элементов, постановками классики.

Гарри Купфер, род. в 1935 г. — оперный режиссер, главный режиссер в Дрездене, с 1981 г. — главный режиссер «Комишес опер» в Восточном Берлине. Известен своими нетрадиционными инсценировками.

Петер Штайн, род. в 1937г. — режиссер и руководитель театра, прославился сценическими нововведениями и попытками установления «демократической практики» руководства театром.

Биерхоф. Ну да... и не только глубокая... но и оригинальная... трудноуловимая.
Холм. Н-да... немного трудно уловить...
Биерхоф. Да? Не правда ли? Я уже имел честь видеть... Вам очень многое удается... не позволяйте только этой мужественной деве сдерживать себя... ведь вы как-никак осмелились отречься от династии Габсбургов... такая роль не каждому по плечу... ее надо в полной мере прочувствовать во всех сложных ракурсах... не просто та-а-а-к... режиссура абы как, тяп-ляп — и готово... не позволяйте только этому румынскому гермафродиту собой командовать... знаю-знаю... этим сегодняшним режиссерам главное — показать себя... у них просто гипертрофированная страсть к самоутверждению... что ж, ни пуха вам ни пера... и вперед в бушующее море, дорогой Орт... Бог даст, не пропадем... хотя...
Помощник режиссера *(из громкоговорителя).* Господин Холм, пожалуйста, в костюмерную... Господин эрцгерцог Гёц фон Холм, пожалуйста, в костюмерную...
Холм *(Биерхофу).* Смена униформ.
Биерхоф. Ах, и правда... На вас-то ведь костюм из финала... да, конечно, надо переодеваться... до свиданья... *(Обращаясь к Адельхайд.)* А у Татьяны и не поймешь, где перед, где зад...
Адельхайд. Я это тоже уже давно подозреваю, господин профессор!
Биерхоф. Никакой не профессор... говорите мне все Ральф... здесь я художник... вся моя жизнь историка была лишь преддверием к миссии художника... вы даже не представляете, чем еще в следующие тридцать лет я потрясу театральные подмостки... дайте-ка мне рюмочку чего-нибудь покрепче... я сегодня немного нервничаю... дело в том, что сейчас должен прийти журналист с немецкого радио, с которым я уже давно договаривался... кто его знает, что он за тип... *(Замечает Франца Иосифа за шахматами.)* Ах, ваше императорское величество... играете в шахматы...
Шналленберг *(не поднимая глаз, над шахматной доской).* Ты ходишь туда — я сюда, ты ходишь так — а я эдак... я туда... а ты отсюда...
Биерхоф. Что-то очень знакомое...
Шналленберг. Так это ж цитата... но откуда, господин профессор?
Биерхоф. Дайте подумать, не подсказывайте... Нестрой?[1]
Шналленберг. Тепло... очень тепло...
Биерхоф. Цукмайер?[2]
Шналленберг. Горячо... очень горячо...
Биерхоф. Хорват?[3]
Шналленберг. Правильно... «День Страшного суда», второй полицейский...
Биерхоф. Ах да... кажется, припоминаю... но ведь уже тридцать лет прошло... неплохая вещица... конец только малость надуманный... но тем не менее тот же апокалипсис, как и в моей пьесе... Вы же знаете, эта сцена у мыса Горн...
Шналленберг. Да, мне рассказывали... но я к этому времени уже сижу в своей костюмерной или здесь в шахматы играю...
Биерхоф. Значит ли это, что вы мою пьесу так до конца и не дочитали?
Шналленберг. На читках я принципиально не бываю... я играю *только мою* роль... да-да... как император... как и положено...
Биерхоф *(обращаясь к Адельхайд).* Да-да... вот так и расстаешься с иллюзиями, заглядывая за кулисы, совсем как в случае с Габсбургами...
Шналленберг. Официально рабочее время начинается в девятнадцать часов! Пьесу Хорвата я тоже знаю с чужих слов, так как играл там только первого полицейского... и об апокалипсисе в той пьесе я тоже понятия не имею, если это вас несколько утешит.
Биерхоф *(неожиданно с ужасом).* На вас же даже брюк нет?

---

[1] Иоганн Непомук Нестрой (1801 — 1862) — австрийский комедиограф и актер, беспощадный критик и пародист общественных нравов и устоев своего времени.
[2] Карл Цукмайер (1896 — 1977) — немецкий драматург, писатель, еврей по происхождению, открытый противник национал-социализма, в 1938 г. эмигрировал сначала в Швейцарию, затем — в США, с 1958 г. жил в Швейцарии.
[3] Эдён фон Хорват (1901 — 1938) — австрийский писатель, драматург, автор горьких и едких пьес-пародий на лживую и шаблонную сентиментальность идиллической жизни народа, «простых людей».

Шналленберг. Всему свой час... его императорское величество в настоящее время пока еще частное лицо... *(Смотрит на свои часы.)* Мой рабочий день только начинается.

Биерхоф. Не перебарщивайте насчет бюрократии... если вы полагаете, что в империи все было чересчур бюрократично, то вы ошибаетесь... хоть я и не монархист, но во многих отношениях люди чувствовали себя тогда гораздо свободнее, чем сегодня... Вы даже понятия не имеете, как там все происходило... все было более человечно... но клочья, разумеется, тоже во все стороны летели!

К стойке подходит **статист**. Он в костюме раненого боснийского солдата. Разорванная, перепачканная кровью форма выглядит, однако, чересчур стилизованно.

Солдат *(к Адельхайд)*. Пива.
Адельхайд. Сейчас, Джимми.
Биерхоф. Из какого полка?
Солдат. Да как его...
Биерхоф. Вы что, даже не знаете, кого вы играете?
Солдат. Я вбегаю, и меня закалывают...
Биерхоф. Кто?
Солдат. Господин Холм...
Биерхоф. А господин Холм кто?
Солдат. Актер...
Биерхоф. Я имею в виду, кто он по роли?..
Солдат. Кайзер?
Шналленберг *(возмущенно поворачивается к нему)*. Ты что, рехнулся?
Биерхоф *(статисту)*. Вон кайзер сидит...

Костюмерша подходит к Шналленбергу с брюками от военной формы.

Костюмерша. Готово, Шналли, примерь-ка... я их расставила...
Шналленберг *(растерянно над доской)*. Ну вот, теперь я уже и не знаю, чей ход... мой или не мой?
Костюмерша. Влезай!
Биерхоф *(статисту)*. По пьесе вы должны быть боснийцем... но с костюмом эта дуреха явно перестаралась...
Статист. Меня все равно тут же приканчивают...

Шналленберг долго и неумело одевается.

Биерхоф. Разумеется, тут же приканчивают! Такого глупого солдата и следует немедленно прикончить. Ты вообще-то хоть знаешь, где ты умираешь, пушечное ты мясо?!
Адельхайд. Господин профессор!..
Статист. На сцене!
Биерхоф. В Яйце[1] ты умираешь, в 1878-м... и это твоей окровавленной черепушкой завоевывает эрцгерцог Иоганн Сальватор свои фельдмаршальские эполеты... именно в Боснии... там-то и заварилась вся эта сегодняшняя каша... Эрцгерцог все это предчувствовал! Прозорливый был человек...
Шналленберг *(цитирует по бумажке письмо)*. «Покорнейше довожу до сведения Вашего Величества, что сразу же после мирного взятия Бербира в крепости был водружен австрийский штандарт и собравшиеся генералы и офицеры трижды громко крикнули в честь Вашего Величества «Ура»!»
Биерхоф *(поправляет)*. Громко *грянули* «Ура»!.. говорили тогда... превосходно, господин Шналленберг... Больше замечаний нет!
Шналленберг *(показывая на письмо)*. Но письмо я буду читать по бумажке, на-

[1] Город в Боснии, в средние века резиденция боснийских королей; до 1878 г. находился под турецким господством; в 1878 г. был занят австрийскими войсками согласно Берлинскому трактату, давшему Австро-Венгрии мандат на оккупацию Боснии и Герцеговины.

изусть не буду учить, я ведь его как раз в этот момент получаю... с вашего позволения, господин Биерхоф...

Биерхоф *(обращаясь к Адельхайд).* Меня это все-таки очень удручает... тут никто по-настоящему не знает, что он играет... а на сцене разворачивается всемирная история...

Адельхайд. Может, и во всемирной истории тоже так?

Биерхоф. Как это?

Адельхайд. Каждая большая шишка чего-то вытворяет, не очень-то понимая, что́ именно она такое творит... они всего лишь те, кто они есть... ни больше, ни меньше! А что из этого выйдет, одному Богу известно!..

Отто *(входит в костюме Иоганны умалишенной, неся несколько ящиков с пивом).* Бог помочь, господин Биерхоф! *(Плачет, как полагается по роли.)*

Биерхоф. Иоганна и ящики с пивом... это даже апокалипсичнее, чем в моей пьесе... не хватает только, чтобы еще Мария Терезия въехала сюда на роликах!

На сцене вдруг появляется **актер, одетый под Гитлера**, он закуривает сигарету. Шналленберг и костюмерша, уходя, приветствуют коллегу.

Шналленберг. Хайль тебе, козел паршивый, мой фюрер!

Гитлер. Приветствую тебя, Твое Императорское Величество Эди-маразматик. *(Потом молодцевато, повернувшись к Адельхайд.)* Чашечку крепкого коричневого со сливками плюс рюмку водки!

Биерхоф *(испуганно).* Минуточку, минуточку! Подождите! Это уж слишком! Где эта Татьяна?! Нет, номер с Гитлером в качестве острой приправы в моей пьесе не пройдет... уж мне-то за прессой гоняться незачем... я не имею никакого отношения к этим извращенным нацистским интерпретациям... ни один член императорской семьи не имел ничего общего с этими... фашистскими спекуляциями... эти юные недоумки, вечно накачанные наркотиками, полагают, что должны нести груз ответственности и за вторую мировую войну...

Гитлер. Я играю не в вашей пьесе, господин Биерхоф... я репетирую наверху, на второй сцене «Майн кампф» Табори[1]...

Биерхоф. «Майн кампф»?!

Гитлер. Да, мы — следующая премьера... Чем позволите вас угостить?

Биерхоф. Как я перепугался... Знаете ли, теперь ведь везде, в каждой новой пьесе обязательно всплывает Гитлер... ну я и подумал, что и в моей решили использовать подходящую ситуацию.

Гитлер. Два раза по маленькой, Адельхайд... *(Обращаясь к Биерхофу.)* Не берите в голову, господин Биерхоф, никто против вас ничего не замышляет... мы ведь всего-навсего в столовой...

Биерхоф. За ваше здоровье... со сценическим-то персонажем чокнуться не зазорно, а?

Гитлер. Работа такая, ничего не поделаешь.

Отто *(хихикает).* Вот, держи, Гитлер...

Адельхайд. Иоганна, помалкивай, безумная...

Появляется директор **Хорст Шлудерман** в сопровождении **репортера** саарландского[2] радио, подходят к стойке.

Шлудерман. А вот и наш гений!

Адельхайд. Добрый вечер, господин Шлудерман!

Шлудерман. Мне только стакан воды... *(Обращаясь к Биерхофу.)* Я каждого сразу предупреждаю: я не пью и не курю вот уже три недели. *(Движения его плохо координированны, лицо непроизвольно дергается.)*

Биерхоф. Это ничего... я в ваши годы тоже время от времени впадал в такие периоды святости... *(Поворачиваясь к репортеру, радостно.)* А это, как я

---

[1] Георг Табори, род. в1914 г., — английский писатель венгерского происхождения, режиссер, с 1971 г. работает в основном в ФРГ, с 1987 г. — руководитель драматического театра в Вене; пьеса "Майн кампф» написана им в 1986 году.

[2] Саарланд — на юго-западе ФРГ.

полагаю, господин с саарландского радио?

Репортер. Так точно... *(Представляется.)* Зэгман.

Биерхоф. Профессор Биерхоф. Очень приятно.

Шлудерман *(репортеру).* Я вам уже все... почти все рассказал о нашем авторе... особо хочу подчеркнуть, что мы были очень рады найти в преддверии такого знаменательного события, как столетие Австрии, столь компетентного человека, как господин Биерхоф... как я вам уже говорил, он поэт и историк в одном лице... и образ бунтовщика Иоганна Орта, отколовшегося от императорской династии, мы все считаем исключительно актуальным и будоражащим...

Репортер *(Биерхофу, указывая на Гитлера).* Да, я вижу, вы тут не ограничиваетесь только исторической чепухой, вы замахиваетесь, так сказать... и на современную эпоху, которую мы все как следует еще и не переварили...

Биерхоф. Что?!

Шлудерман. Недоразумение, господин Зэгман... *(Указывает на Гитлера.)* Джимми играет не в «Элементах»... он репетирует сейчас на второй сцене... пьесу Табори «Майн кампф».

Репортер *(разочарованно).* Ах вот как!

Шлудерман. Послушай, Адельхайдечка, ты мою жену сегодня видела?

Адельхайд. Да... она даже раньше меня здесь появилась...

Шлудерман. Правда?... А где она теперь, не знаешь?

Адельхайд. Не-а... Она в этом своем платье была с лампами...

Шлудерман. А, значит, платье готово... ну, это еще одна история... *(Зэгману.)* Вы должны знать, господин Зэгман, этот Иоганн Орт, о ком идет речь, был не только одаренный специалист в области военной науки, но и замечательный художник и композитор... а моя жена играет как раз Милли Штубель, его жену, из мелкобуржуазной среды... она танцует в поставленном им балете в уникальном для того времени светящемся платье...

Биерхоф *(перебивает).* Электрический ток как раз только что был открыт, это надо учитывать...

Репортер. В общем, мульти, так сказать, мультиталант, ха-ха-ха!

Шлудерман. Роль Петры тоже вовсе не так уж проста...

Адельхайд. Она перед репетицией тут йогой занималась!

Шлудерман. Чем-чем?

Адельхайд. Йогой... с господином Холмом...

Биерхоф. Лично я к подобным занятиям отношусь скептически...

Шлудерман. А я и не знал... надо же, детка моя, она ничего мне про йогу не говорила...

Репортер. Вот это я понимаю... это наверняка способствует более полной концентрации... так иногда погрузиться в себя, в данной профессии это далеко не лишнее...

Биерхоф неодобрительно покашливает.

Шлудерман *(отечески).* Итак, с вашего разрешения, я вас оставляю... *(Обращаясь к Адельхайд.)* *И*, пожалуйста, чтоб никакого шума, чтоб их никто не беспокоил...

Адельхайд. Слышал, Отто... Чтоб молчком...

Отто замирает в неловкой позе, Гитлер и статист тихонько исчезают. Шлудерман тоже уходит.

Биерхоф *(репортеру).* Где мы сядем?

Репортер. Вон за тот столик. *(Он достает свой магнитофон.)* Эти чертовы магнитофоны, то они работают, то не работают...

Биерхоф. Правда?

Репортер. Можете что-нибудь наговорить?

Биерхоф. А что?

Репортер. Да что угодно, только выяснить, работает или нет...

Биерхоф. То есть неважно что?

Репортер. Абсолютно неважно.

Биерхоф долго обдумывает, что сказать.

Да что угодно... Эне-бене-мы-ы-ы... коро-ова ты-ы-ы-ы-ы...

Биерхоф. Простите, но я в своей жизни еще ни разу не давал интервью... это для меня так непривычно... и какую-то ерунду мне говорить не хочется...

Репортер. Спасибо... уже не зашкаливает.

Биерхоф. Не слышал такого выражения...

Репортер. У вас здесь в Австрии так не говорят? *(Начинает запись.)* Итак... раз уж мы заговорили об Австрии... *(Подносит ему микрофон под нос.)* Австрия была ведь раньше, ну, скажем, так: несколько больше, чем сейчас?..

Биерхоф. Видите ли, Австрия имела разные географические очертания... от размеров в половину Европы до площади в ноль целых, ноль десятых...

Репортер. Вы не поняли моего вопроса...

Биерхоф. Честно говоря, не понял...

Репортер. Как вы относитесь к дворянству, как вы относитесь к монархии... *(Наигранным сочувственным тоном.)* не является ли для вас монархия чем-то таким традиционным, типично австрийским, по чему вы порой испытываете ностальгию?

Биерхоф. Я ни по чему не испытываю ностальгии. И ни к чему у меня нет особой привязанности. Видите ли, я историк, я смотрю на историю *абсолютно* беспристрастно.

Репортер. Даже и на самое недавнее прошлое?

Биерхоф. Не будем перескакивать с одного на другое. Как перед ученым история раскинулась передо мной словно легкообозримый объект. Но как поэт я извлекаю из этого конгломерированного объекта один драгоценный камушек и вновь вдыхаю в него жизнь, которой некогда он был преисполнен... в данном случае я беру характер эрцгерцога Иоганна Непомука Сальватора, Иоганна Орта, так как мне представляется, что вместе с образом этого интереснейшего и сложного человека непременно должна выйти из небытия, воскреснуть целая эпоха из австрийской истории на примере истории династии Габсбургов. Я использую эту отдельную, частную трагедию, так сказать, как искру... для воссоздания целого драматического фейерверка... уже сама внешняя канва жизни этого высоко ценимого мною человека исключительно увлекательна... сперва вундеркинд, чрезвычайно художественно одаренный... уже семилетним ребенком он рисовал так, что творцам всей этой сегодняшней мазни было бы у него чему поучиться... он и музыку сочинял... даже Иоганн Штраус восторгался его талантом... потом блистательная военная карьера... он был и весьма изобретательным интриганом, особенно когда питал определенные надежды на болгарский престол... он то стремился к нему, то совсем этого не хотел... потом был разжалован Францем Иосифом... и этого он тоже то жаждал, то страшился... он был слишком интеллигентен, чтобы сделать один-единственный выбор... потом он, разумеется, гордо отрекся от императорского дома... отказался от всех дарованных ему земельных владений и после долгих странствований получил наконец звание капитана... стал капитаном морского судоходства... и в этом звании и затонул в страшнейший шторм у мыса Горн на своем судне...

Репортер. Значит, в пьесе вы бросаете вызов дворянству?!

Биерхоф. Ни в малейшей степени. Подобные вопросы меня уже совершенно не занимают... для меня важно показать возможности одного *человека*... и именно такого, кто умел четко анализировать свою сложную натуру... он знал, что был капризен, самолюбив... он знал, что мог быть злопамятен и безжалостен... он знал, что был гениален... и куда же привело все это такого человека, несмотря на сильную волю и самое лучшее воспитание?

Репортер. К смерти, наверно?

Биерхоф *(кричит).* К элементам, недотепа вы эдакий... прошу прощения... к воде, к огню... в бурлящую стихию у мыса Горн... в то время как все остальные смиренно просиживали штаны за письменными столами и лизали кайзеру одно место!

Репортер. Вы, значит, заклятый враг монархии?

Биерхоф. Вы все время пытаетесь запихнуть меня в какую-нибудь ячейку ваше-

го шаблонного мышления... Вы, немцы, всегда видите только две возможности... за или против...

Репортер. А австрийцам — чтоб было ни то ни се...

Биерхоф *(кричит)*. Каждый человек и есть ни то ни се... существует только то, что я называю «элементами»...

Репортер. А Бог?

Биерхоф. Что значит Бог? Орт верил в искусство и ни во что больше... «Искусство, — писал он, — есть единственный путь истинного прогресса, оно составляет тот багаж, который человек взял бы с собой на тот свет, *если бы* тот свет существовал». Ну, что скажете? Не так-то все и просто, а?

Репортер. Я этого не понимаю.

Биерхоф. Я так и думал.

Репортер. Нет... это нелогично.

Помощник режиссера *(из громкоговорителя)*. Дамы и господа, начинается генеральная репетиция... все исполнители первого акта... Господин Холм, госпожа Одёр, господин Мук, госпожа Дёнхофф, господин Кратохвил, господин Кент, госпожа фон Лихтенштайн, господин Мёзе, госпожа Мёзе и все тосканские солдаты...

Биерхоф. Уже начинают! Продолжим потом!

На сцене появляется **актер Пихлер** в костюме Иоганна Штрауса. У него с собой скрипка, и он пиликает на ней какой-то вальс...

(Поспешно удаляется.) Мне надо вниз!

Репортер тоже покидает помещение. Штраус пиликает на скрипке, расхаживая по сцене.

Адельхайд. У них тут, оказытца и музыка есть... не такая, уж видно, и грустная эта ихняя пьеса...

Музыка нарастает. Вращающаяся сцена начинает поворачиваться, меняется освещение, и под звук придворных фанфар перед зрителем появляется обратная сторона декорации: опять столовая. Но теперь уже утром.

1993, № 119

ЛЮДИА МИШКУЛЬНИГ

ЛЮДИА МИШКУЛЬНИГ РОДИЛАСЬ В 1963 ГОДУ В КЛАГЕНФУРТЕ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЖИВЕТ В ВЕНЕ. УЧИЛАСЬ В ИНСТИТУТЕ МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ГРАЦЕ И ВЕНЕ, ПО ПРОФЕССИИ — ТЕАТРАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК И КИНОПРОДЮСЕР. ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ЖУРНАЛА «МАНУСКРИПТЫ» 1994 ГОДА, В ЭТОМ ЖЕ ГОДУ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ДРОШЛЬ» ВЫШЕЛ В СВЕТ ЕЕ ПЕРВЫЙ РОМАН.

Детская площадка

Рассказ

Дети обвивают, оплетают собой сооружение. Пуповиной привязывают себя к шару, и песня их алая. Сплетение это белое, юное, нежное, хрупкое, трогательное и чистое. Плоть карабкается во чреве конструкции и скользит по внешней его округлости, и в шаре постепенно устанавливается равновесие мужского и женского. Все дети вместе — одно целое, но вокруг стоят матери, которые точно знают: этот — мой. В стороне коляски, которыми они тоже в придачу

© Lydia Mischkulnig, 1994

и женского. Все дети вместе — одно целое, но вокруг стоят матери, которые точно знают: этот — мой. В стороне коляски, которыми они тоже в придачу владеют, хотя и деля это владение с произведенной на свет плотью. Звонкий крик взлетает над площадкой, и шаровидное сооружение отрывается от земли. Дети крепко вцепляются в переплетение веревок, и каждый борется за свое место; того, кто оказывается лишним, сталкивают на землю — так шар сохраняет свое равновесие.

Матери аплодируют детям, которые удержались на своем месте, впиваясь в него ногтями, все, кроме одной, стоящей в стороне, чье чадо, чей плод упал или был сброшен, и нет здесь другого закона — только воля детей, которой аплодируют матери. Стоящая в стороне возмущается, но никто ее не поддерживает. Матери сердятся на женщину за то, что та сердится. Никто не виноват, все виноваты, невинные дети. Ничего удивительного, крепче надо было держаться. Женщина не знает подходящих слов, которые бы зазвучали на языке других мам и значили бы, что и она бы так же поступила, тоже столкнула бы того, кто вдруг решил занять ее место. Но она выбрала для себя иную роль, и ей хватит воли быть вне игры, а все воспитательные теории не для нее. Коляски — это маленькие персональные передвижные креслица, это близнецы, похожие друг на друга и неразличимые, как однояйцевые, и тем не менее даже стоящая в стороне знает, какая из них — коляска ее ребенка. Женщина стоит на детской площадке, где все играют в собственников и вход на которую открыт всем, и следит за совочками и ведерками, разбросанными по песку, перепутанными, обмененными, думая при этом: мне-то волноваться нечего, наше-то все помечено, как и ребенок, если вдруг потеряется, все же отмечен печатью наследственности. Другие женщины спокойно отстаивают и отсиживают свое материнство, они горды своей печатью, представленной в песочнице, и думают уже о следующих. И они непременно воспользуются случаем, непременно поднимут формочки и отпечатают себя в потомстве еще раз. Сумчатый мешок их плоти подсказывает им, что следует торопиться, не мешкая нести эту форму домой и дать ей наполниться, что и предписывают им поджимающие сроки деторождения. Они выглядят грустными и ждут Санта-Клауса, который наполнит их телесный остов крепкими орешками, которые позднее они понесут на детскую площадку, чтобы пересадить их на общественную почву. Не сбиваясь с шага, продолжают они свой род, а сбейся они с ритма, сделай один неверный шаг в сторону, и мост тут же разрушится, а вовсе не наоборот, как считается, будто он разрушится, если целая рота промарширует в ногу. Семья шествует по мосту, за ней следом — еще одна и еще одна, сохраняя дистанцию, чтобы мост не рухнул и не похоронил детей под вечно сияющим солнцем, когда свечки на детских именинных пирогах ждут, чтобы их задули. Не сбиваясь с шага, продолжают родители на поприще воспитания дело своих родителей, поскольку метод этот испытанный и верный и поскольку о себе они забывают, выполняя свою миссию. Молодые мамы — это новая женская эмансипация, которая их, однако, по-настоящему не коснулась, и на детской площадке они имеют подтверждение того, что они — лучше других, предшественниц сегодняшних матерей, поскольку трудятся рациональнее и дают детям сосать вволю, не заботясь об атрибутах женственности — тоже своего рода формочки. Они вытаскивают груди и кладут их детям на скамейку, они с удовольствием скармливают свое молоко, ратуя за тесную близость с детьми и сильную привязанность вплоть до школы-восьмилетки, до начала которой их грудей хватит, и тогда своих насытившихся детей, шествующих по молочному ковру, они выпустят в жизнь. Женщины прозябают в стертых, старых заботах, которые они ежедневно подновляют и освежают и носят в темных мешках, в которые раньше погружали своих партнеров, добровольно, с головой уходивших в женскую непостижимость. Теперь эти женщины свили себе уютные гнездышки, которые все никак не сделаются достаточно удобными и достаточно грязными, чтобы вполне подходить их воробушкам, высыпающим песок себе на коленки и вместо вины изображающим на лице невинную улыбку. Со стыдливой гордостью смотрят женщины, как бесстыдно сыплют себе дети песок в штанишки. Плоть от плоти творение женщины отнимает у нее и ее имя, наделяя ее взамен титулом, как и любую другую из них; детская площадка состоит из мам здесь и мам там, а с другой стороны — из детских имен, повторяющихся в соответствии с модой. Мамы сидят среди мам,

кое-кто из них вяжет своему воробушку впрок чулочек-копилку, он будет готов ко всемирному дню бережливости, и его содержимое со временем будет с радостным чувством изъято, чтобы у ребенка что-то было для начала и еще маленькая игрушка в подарок, и мама при этом будет счастливо улыбаться, а ребенок принужденно отвечать: спасибо. Позднее он натянет чулок на голову, прорежет дырки для глаз и будет пугать маму или пойдет грабить банк, если мама вдруг за ним не уследит. Но пока тот маленький мирок, который мама устроила дома, постоянно в поле ее зрения, туда никому не разрешается заглядывать, поскольку это ее абсолютные владения. Мама — главнокомандующий этого маленького мира, некоронованная королева, корону она сложила с себя при зачатии, как отреклась и от своей профессии, и от всяких порывов духа, который бы только неизменно ставил под вопрос ее нынешнее существование, этот неугомонный вопрошатель, который мог бы вырвать ее из ее мира, и это было бы, вообще-то, достаточно неприятно. И в самом деле, что тут может быть приятного? Ей ведь очень уютно в этой ее спокойной стране, только не надо делать лишних движений, не надо ничего менять, а то весь мир распадется на части. Если бы она глаз, только один глаз вынула бы и посмотрела на себя, хотя бы с расстояния вытянутой руки, но она предпочитает лучше смотреть в оба, и взгляд с расстояния ей не требуется. Глаза быстро все осматривают и быстро закрываются, и в следующий раз они откроются уже только наполовину. Во имя деторождения она отказывается от индивидуальности, так она понимает материнство. Это, без сомнения, гораздо больше, чем профессия, говорит ей и ее партнер, когда приходит домой и выдает мамочке средства на домашние расходы и в конце двадцатого столетия ее больше не бьет и уже не считает своей собственностью, а видит в ней фигуру выборную и сменяемую.

Мамы делают себе практичные прически всевозможных видов — сменные рамы для стандартных лиц. Время после обеда надо как-то убивать, и вот мамочки опять на площадке, чтобы без их ведома здесь чего-нибудь не случилось. Они знают друг друга, но знают только по именам принадлежащих им детей. Имя женщин — мама, и одна мама говорит с другой мамой, разумеется, о ребенке, а дети все — одинаковые, даже если каждый из них совершенно особенный. Мамы рассказывают друг другу о привычках своих детей и, конечно, маленько приукрашивают; они сообщают друг другу о детских причудах, и каждая старается перещеголять другую и попадает поэтому в самое яблочко одинаковости, где все сплошь особенные дети, неразличимые между собой, сплошные прицельные крестики на песке. Эта площадка для игр также и для мам, и они, бывает, затягивают на досуге песенку и ласково одергивают одного маменькиного сынка, когда тот другого маменькиного сынка огреет лопаткой. Дети шагают по ступенькам развития, и их рост и речь определяют их возраст. Мамы на эту иерархическую лестницу не вступают, они и так сидят на самой верхней площадке, стараясь казаться совсем маленькими, чтобы их не заметили и им не пришлось бы взбираться по лестнице дальше, ведь вырасти они уже выросли, а дальше по доброй воле по этой лестнице никому не хочется. Мужчины среди мам — большая редкость, кое-кто из них все-таки стал жертвой равноправия и тоже оказался на детской площадке, и вот сидят здесь эти хвостатые женщины, по уши увязшие в сплетнях и пересудах, каждый рядом со своей наседкой, которую они уже не только при детях, но и в их отсутствие называют мамой. Мужчины — это папы без имен, со счастливой улыбкой подзывают они своих воробушков, и те мчатся к ним, когда заметят в руках у них какую-нибудь сладость, которую папа с удовольствием засовывает им в клювик, отказываясь от нее в пользу чада. Мама видит в нем лишь себе подобного среди себе подобных, а вовсе не существо в брюках с атрибутом другого пола. Пол растворяется в крике и в заботах. Насколько бесполым кажется папа маме, настолько и мама папе, хотя они и супруги. Она разливает яблочный сок, папа тоже получает стаканчик, выпивает его целиком, чтобы показать пример своим чадам, и делает из него колпак, как у петрушки, который он надевает на голову и произносит: «Ну, все в сборе? Можно начинать?» — и мама громко кричит: «Да», опережая детей, готовых уже повернуться к петрушке спиной. Петрушка — это кукла, а вовсе не папа, который мужчина, хоть и в таком странном виде.

Бесполость взрослых — бесполость детей, только одна еще не пустила ростки, в то время как поросли другой уже выкорчеваны: аист в клюве принес, только и всего. Дети весело прыгают на спину отцу, тот проливает сок на одежду и ругает себя, но тем больше он теперь подходит своим воробушкам и жене, чье пятно от молока на груди расплывается все более широкими кругами.

Взгляд стоящей в стороне женщины буравит эту грудь, она видит то, о чем другая знает, но как бы не замечает этого. Папа неожиданно смущается и краснеет. Не оборачиваясь, он поднимается и встает за спиной у жены, которая громко заявляет, что мамам хорошо бы иметь поменьше гонора и лучше бы ничего из себя не строить. Остальные мамы кивают и молчат в этот послеобеденный час, а дети все так же облепляют свое сооружение для лазания и беснуются на своем маленьком участке земли, опробывая свои маленькие войны, в которые они каждый раз привносят все новые, более социальные элементы. Дети окружают постороннюю женщину и спрашивают, кто она — мама или ребенок. Она спрашивает, а в чем разница, и стоящие рядом мамы слушают их разговор. Дети же в ответ только молча показывают на мам на заднем плане, которые, как пестрые обои, составляют фон детской площадки. Посторонняя не вписывается в их общий узор, ее нельзя было бы втиснуть ни в одно свободное пятнышко, лицо ее слишком упрямое, вместо образцового лица мамочки получилась бы какая-то гримаса. Женщина говорит, что она мама, но не только. Дети спрашивают, а что еще. А еще и все остальное. Дети просят ее поиграть с ними, но она по-прежнему стоит в стороне и говорит, чтобы дети шли играть в дочки-матери, и только ее голос выдает, что зеркало нацелено теперь на обои, которые накрепко приклеены к стене и не способны взглянуть на себя со стороны. Мамы и папы не могут надивиться на своих славных, ловких и послушных детишек, девочки разливают сок, мальчики пьют, и девочки бросают пустые бутылочки в корзину для мусора. После этого дети садятся рядышком, смотрят в пустоту и, чтобы чем-нибудь заняться, размышляют о том, откуда берутся дети. Пусть родители станут детьми, говорит стоящая в стороне женщина. Дети велят мамам и папам лупить друг друга по голове и лезть на сооружение. Они рассуждают об особенностях мочеиспускания своих родителей и почему они едят так вяло и без аппетита, но при этом все же постоянно толстеют. Они ругают родителей за надоедливость, никак от них не отделаешься, вечно они хнычут и хватаются за подол. Одна мама говорит, что ей надо пипи, и ребенок ведет ее за кустик, папа встает рядом и наблюдает, как это делают девочки. Ребенок объясняет ему, что все это совершенно нормально, и папе тоже расстегивает штанишки. Другая мама никак не хочет понять, что убегать с площадки никому нельзя, и вот ребенок в очередной раз мчится за мамой и радостно хватает маленькую беглянку за руку. Совсем весело становится, когда взрослые берут свои лопатки и начинают толкаться в песочнице. Детям то и дело приходится разнимать этих взрослых проказников. Они должны встревать между драчунами, срывать гольфы, которые одна мама намотала на шею своей бедной подружке. Кто-то из взрослых слушает, как дети рассказывают им историю о черном человеке, который подстерегает за углом и сыплет в глаза историями, поэтому его нельзя увидеть. Черный человек — это очень скучно, и скоро все перестают слушать и разбегаются. Но на детской площадке есть одна черная женщина, и от нее никто не убегает. Она стоит и наблюдает, к ней приближаются, но лишь на безопасное расстояние. Она не поднимает руки, только ресницы. Взрослые спрашивают, во что же еще им можно поиграть, им уже надоело залезать на шар или сидеть в песке, дети отвечают, сыграйте в дочки-матери, если хотите, вот вам куклы. Взрослые строят дома и кроватки для кукол, отвоевывая друг у друга территории. В песочнице мало места, и приходится делить жилье с соседями. Женщины понарошку рожают кукол, а дети стоят неподалеку и смотрят. Посторонняя сидит среди них и говорит, будьте внимательны. А почему ты с нами не играешь, спрашивают дочки-матери. Потому что я эту игру придумала. Взрослые слышат ее слова и выпрямляются во весь рост, так как она видит насквозь их жилища, разгадывает их уклад. Она враг и потому объединяет всех в один единый большой дом, где опять восстанавливаются в своих правах материнство и отцовство и дети снова становятся детьми, и им велено отойти подаль-

ше. На постороннюю женщину показывают пальцем и спрашивают, а где же твой ребенок? На шаре. Вот это наглость, раздается в ответ, она отвлекла наше внимание и одурачила нас. Взрослые оставляют свои дома из песка и бегут к шару, на котором совсем один восседает ребенок посторонней женщины. Они бросают в него камни, стараясь согнать вниз, и крепко держат за руки постороннюю женщину, которая рвется к ребенку и хочет спасти его. Это сооружение для наших детей, кричат взрослые-дети. Ребенок довольно ловок, он швыряет камни обратно в своих преследователей, общество его уже кое-чему научило. Дети не могут удержать взрослых, те вырываются, они уже вышли из повиновения и стаскивают чужого ребенка с шара. Угомонитесь, кричат дети и проталкиваются вперед к жертве с окровавленной головой. Они несут раненого незнакомца посторонней женщине. Потом они бросают камнями в шар и выгоняют оттуда взрослых, чтобы самим забраться на него, ведь сооружение это было построено для них, чтобы они могли развивать соответствующие их возрасту физические навыки, столь необходимые в более старшем возрасте. Взрослые отряхивают песок со своих колен и спрашивают постороннюю женщину, ведь ничего такого с ребенком не случилось? Ай-ай-ай, гладят они его по головке. И посторонняя повторяет ай-ай-ай! Но интонация другая, она произносит «ай-ай-ай» не от всего сердца. Мамы и папы хором ревут «ай-ай-ай», чтобы ее скорректировать. Это должно быть «АЙ-АЙ-АЙ», а не «ай-ай-ай». Ай-ай-ай телесно и плодовито, оно переполнено материнской гордостью и женским себялюбием, оно охраняет и заживляет раны. Их распирает от внезапного прозрения, они тычут пальцами в женщину, больше не дадим тебе здесь баламутить воду, больше не позволим вмешиваться не в свои дела, подумаешь, какая важная персона. Женщина склоняется над ребенком, берет его на руки, ходит с ним туда-сюда, потом оставляет его сидеть в песке, как не попавшую в цель стрелу.

Она приседает на корточки и снимает формочку с куличика. Формочка вся в песке, и она стряхивает его. Издали чей-то раздраженный голос кричит ей что-то вроде это наша формочка. Посторонняя возражает, она трясет головой и одновременно формочкой, показывая на надпись. На формочке стоит имя ребенка, но это же в один момент можно было написать, пока никто не видел. Это наша формочка для куличиков, и мама-боец подходит ближе, готовая сражаться за формочку, у нее в руке и совочек такого же цвета, и все, что ей принадлежит, — желтое. Но ведь надпись, показывает посторонняя. Давай сюда, говорит другая, «желтая». Но вы посмотрите, ведь это имя ребенка. Интересно, кто же из детей умеет читать, «желтая» вырывает у нее из рук формочку. Какая наглость, говорит она и читает, а надпись-то совсем свежая, не унимается она, но тут с шара слезает желтый ребенок и говорит, мама, будь умницей, отдай формочку обратно. «Желтая» мама топает в гневе ногами: как бы не так, это наше. Потом в ярости швыряет формочку в песок, ну и пожалуйста, но больше я тебе покупать ничего не буду. Посторонняя поднимает формочку и несет ее к игрушкам своего ребенка.

Отцы один за другим возвращаются с работы, они немного отдыхают после рабочего дня на многодетной зеленой площадке. Их уже поджидают вокруг песочницы и сверху на шаре. Муж посторонней тоже среди них и склоняется над песком, где сидит его ребенок. Он ожидает увидеть свою жену среди других мам и смотрит в ту сторону, опасаясь действительно найти ее там, но и она выделяет его среди других отцов, чтобы продолжить дальше жить на попечении друг друга и делить семейный бюджет. Рана сына быстро заживает, ничего страшного не произошло, и все же лучше, когда мама оказывается рядом, а не только другие мамы. Муж ищет сочувствия к своему чаду, но тут ребенок подходит к нему и показывает, что́ с ним случилось. Отец подносит губы к ране и дует. Вместе с ребенком они как бы отодвигаются на какое-то расстояние, которое отделяет их от всех. Посторонняя женщина делает несколько шагов в их сторону и уже почти готова ворваться в эту идиллическую сцену. Но она все же остается в стороне и наблюдает за ними. И пока они не окликают ее, она с ужасом думает, что составляет теперь часть общего узора тех самых обоев, более того, прекрасно в них вписывается. Ни черта она не другая, тот же песок на туфлях, прокладывающих родному чаду дорогу в жизнь.

Муж что-то бормочет себе под нос, сидя на корточках в песочнице. Когда женщина подходит к нему, он говорит, смотри — мама, говорит скорее ребенку. Женщина сползает с обоев и разрывает самолетик из газеты. Она хочет идти, а они — остаться. Мужчина удерживает ее из-за ребенка. Он поднимается с ребенком на горку и громко кричит браво, как только соскальзывает с горы вниз, а потом и ребенок следом за ним, тоже с ликующими возгласами. Мужчина стоит среди отцов. Здесь работа закончена, здесь — семья, царство успеха, они оценивающим взглядом следят за своими чадами, которые съезжают вниз и снова карабкаются вверх по лестнице, почти самостоятельно, только иногда им помогают папы.

Его руку ребенок отводит в сторону, он уже может забраться сам. Это для отца лучшая награда. Другие следуют его примеру, и ребенок становится предводителем двухлетней группы, которая съезжает вниз под караулом отцовских глаз. Папа, кричит ребенок восторженно, когда женщина окликает его по имени, чтобы позвать домой. Она теряет его из виду и решает идти домой одна. Коляски преграждают ей дорогу, но тут ребенок кричит мама, кричит так, что это разрывает ей сердце, когда она идет вперед, расталкивая коляски в стороны и тут же извиняясь за это. Ребенок бежит к ней и крепко обхватывает ее. Она не отталкивает его и сама обнимает его, тянет его за собой, но ребенок хочет, чтобы она пошла с ним назад, к шару и в песочницу. Мужчина откатывает коляски, стоящие на его пути, и догоняет женщину. Он видел, как она боролась за формочку и как сидела на скамье матерей. Теперь ему приходится кричать, чтобы перекричать кричащего ребенка. Дети машут им вслед, и цветастые обои исчезают из вида до завтра.

1994, № 125

■

ЙОРГ МАУТЕ

Венские правила хорошего тона

Перевод с немецкого И. ЛАНИНА

Как обращаться с Веной

Из каждых трех венцев третий всегда чех.
(Венская поговорка)

Вена — это город, где очень любят чужеземцев. Причем мадьяры, чехи, словаки или представители южнославянских народов в качестве иноплеменников не воспринимаются вообще: венец относится к ним как к сырому материалу, из коего под воздействием мягкого климата могут произойти полноценные венцы. Кроме того, все они — см.эпиграф данной главы, венскую телефонную книгу или просто вывески на венских улицах — все равно состоят с ним в родстве и свойстве. Так что обходится он с ними не более церемонно, чем с собственными своими земляками.

Напротив, вы, пришелец с Запада, Севера или Юга, в Вене будете признаны бесспорным чужеземцем и перед вами распахнутся ворота, двери и сердца. Ибо венцу насущно необходимы чужаки, подобные вам, ведь теперь, как и прежде, обитает он на обочине мира, а в таком положении хочется порою почувствовать, что тебя не забыли и не покинули.

Восточные пригороды Вены раскинулись на степных почвах, здесь господствует суровый климат степей; начиная же с третьего района, как якобы утверждал князь Меттерних, уже простирается Азия.

Если вы приехали в Вену на недельку, вам непременно нужно пожертвовать одним днем для экскурсии на австрийский Восток. Вы увидите просторы венгерских степей, края тарантулов и блуждающих барханов, огромное озеро содовой воды, с размахом построенные широкие заграждения, окутанные колючей проволокой, поверх которой вы сможете бросить взгляд на страны, что одним уже своим политическим строем суть неотъемлемая часть Передней Азии. Здесь вам откроется, отчего так приветливо и учтиво были вы приняты в Вене: ведь одним лишь своим присутствием вы поддержали уверенность в себе этого западного города, притулившегося с краешку Востока. Не раз и не два Вену осаждали пришедшие с Востока полчища, ибо она загораживала им путь в Европу. Не раз и не два армиям Запада приходилось вновь освобождать осажденный город. Ту же самую услугу Вена, в общем и целом, оказывает вам и теперь, то же самое вы делаете и по сю пору для Вены в малом и частном, когда вы запросто приезжаете в этот город.

Потому-то иноземцам так нетрудно любить Вену. Потому-то Вена так любит иноземцев.

В Париже, Риме или Амстердаме, пусть даже с приезжим и обойдутся вежливо, доверять ему все-таки не станут. В Вене ему доверятся инстинктивно. В Риме, Париже и Цюрихе вы так и останетесь чужаком среди своих. В Вене, напротив, вы тут же станете своим именно потому, что вы чужак.

Так что спокойно отправляйтесь в Вену.

***

Не следует, однако, почтеннейший чужестранец, впадать в заблуждение, предположив, что вы смогли бы каким бы то ни было образом воздействовать на этого столь любезного и предупредительного к вам венца в соответствии со своими представлениями и потребностями, не говоря уж о том, чтобы как-либо изменить его. Столь много иноплеменных народов и завоевателей прошло над ним, мимо него и по нему — сидя верхом на конях и верблюдах, в парадных каретах, в бронемаши-

©1975 by Amalthea-Verlag

нах и туравтобусах, — что в душе его давным-давно непреложно укоренилось суждение, по сути ошибочное, однако весьма удобное в практическом применении, а именно: единственно непреходящим в мире останется лишь он сам, все же остальное — лишь пустая греза. «Да что он знает, приезжий-то?» — крылатую эту фразу в Вене услышишь часто; однако выражает она отнюдь не насмешку, как могло бы показаться, но своего рода покорность судьбе, легкую опечаленность тем, что для пришельца так и останется непостижимым, отчего столь многое из того, что представляется ему важным, становится в Вене ничтожным, а множество ничего не значащих пустяков обретает в этом городе такую весомость — мимолетное подмигивание в самый серьезный либо внезапный налет грусти в самый безоблачный момент, брошенная вскользь учтивая фраза, не имеющая ни малейшего значения, кроме того, что именно в этой связи ей непременно надлежало прозвучать.

Трудно отделаться от впечатления, что эти мельчайшие сдвиги в иерархии ценностей, столь характерные для венской обходительности, производят на гостей нашего города определенное деморализирующее воздействие, избежать которого они могут, либо поспешно ретировавшись, но предварительно доведя себя до белого каления (что, однако, случается редко), либо без промедления покорившись ему, что, как правило, влечет за собой значительное улучшение самочувствия, если верить свидетельствам многочисленных осевших в Вене знаменитостей.

Так что примите во внимание: Вена может явить собою особенного рода опасность для возлюбленного чужеземца, ибо ей дарована способность перевоплощаться, а также могущество — усваивая, изменять все и вся по своему образу и подобию.

***

В одном из скетчей популярного в 1938 году кабаре служитель в присутственном месте — которому, как и всем канцелярским служителям венского водевиля, полагалось носить чешскую фамилию и безбожно «богемствовать» (сиречь говорить с сильным богемским акцентом, а вовсе не то, о чем подумали вы. — *Прим.перев.*), — врывался в кабинет господина столоначальнака и со всеми признаками крайнего смятения доводил до его сведения, что в город-де входят «пруссаки»[1]. И как же реагировал столоначальник? Да никак он не реагировал. «Не ажитируйте себя, Вопршалек, — ответствовал он чуть рассеянно и с легкой укоризной. — Не ажитируйте себя. Уж их-то мы деморализуем!»

***

Nota bene: Не трогайте венца. Пусть себе остается таким, как есть. Бывают в жизни вещи и похуже. А еще вернее: сами станьте венцем! Со стороны Вены при осуществлении данного намерения вы не испытаете ни малейшего противодействия.

О венской услужливости

Позволю себе вольность
быть вашим рабом.

(Почти по Нестрою)

Может статься, что, когда вы прибудете в Вену, все гостиничные номера окажутся занятыми.

Возможно также, что на время вашего пребывания в Вене все до единого билеты в театры и на концерты будут распроданы.

Весьма вероятно, что перед самым отъездом вам уже не удастся достать плацкарту к билету на «Арльбергский экспресс», сесть на который, не имея таковой на руках, вы — по непостижимым причинам — не сможете.

Было бы в корне неверно впадать от подобных известий в резиньяцию, ни в коем случае они не должны преисполнить вас истинным унынием, безропотным

[1] «Пруссаки» — испокон веков в понимании австрийцев и баварцев — все племена и народности, имеющие несчастье обитать к северу от знаменитой Границы Белых Телячьих Сосисок; помимо снобской чистоты выговора — «говорят по писаному», — «пруссаки» как таковые отличаются дубоватостью, ограниченностью, «зверской серьезностью», всеми иными весьма неприглядными качествами и главное — нежеланием соблюдать категорический императив бытия «живи сам и давай жить другим». (*Здесь и далее — прим.перев.*).

смирением и полной покорностью судьбе. Ибо если господин в окошечке с искренним сожалением заверяет вас, что в гостинице не осталось более ни одного свободного номера, если барышня в кассе клянется, что нет у нее больше ни единого, даже самого малюсенького билетика в тот или иной театр либо на тот или иной концерт, то это еще отнюдь не значит, что расположиться на ночлег вам нынче предстоит на вокзале или в собственном авто или что вечер этот вы проведете где-нибудь в пригородном кинотеатрике. И если вам, пожимая плечами, сообщат, что вот только что была продана самая распоследняя плацкарта, что вовсе не означает, что вам придется тащиться в пассажирском поезде, который двадцать пять раз остановится между Санкт-Пёльтеном и Аттнанг-Пуххаймом, причем на всех этих стоянках ни одной живой души из него не выйдет и ни одной туда не войдет. Все эти неутешительные уведомления свидетельствуют исключительно лишь о том, что дамы и господа за стеклянными окошечками раздали именно столько билетов или гостиничных номеров, сколько было в наличии. И ни о чем более. Сейчас вы поймете, какой вывод надлежит сделать из этой хитроумной дефиниции.

Если здесь вам рекомендуется не впадать в уныние, то имеется в виду, что вы не должны поддаваться отчаянию внутренне. Наружно же, напротив, вам следует не просто отчаяться, но по мере сил достичь гораздо большего. Сообразно своим актерским способностям явите собой воплощенное сокрушение, удрученность, горесть и скорбь, потрясение и подавленность. Спросите с отчаянием в голосе и безнадежностью на лице, не видит ли господин (или, соответственно, госпожа), быть может, все-таки хотя бы малейшей возможности какого-нибудь микроскопически ничтожного, уже практически невероятного, но все же мыслимого еще выхода...

В ответ на что господин из службы гостиничного размещения непременно сообщит вам адрес своей троюродной тети — и вы великолепно устроитесь в уютной комнатке, обставленной подлинным «бидермейером», с окнами на восход и завтраком.

Человек в вокзальном окошечке потолкует с проводником-кондуктором, дежурным поездной смены, начальником вокзала или же, наконец, с одним своим знакомым из министерства путей сообщения и раздобудет для вас вскорости плацкарту в «Арльбергском экспрессе», купе для некурящих, место у окна, лицом по ходу поезда.

А барышня в театральной кассе вручит вам, рыдая, свой собственный служебный пропуск.

Правда, для того чтобы достичь такого или подобного эффекта, непременно требуется некий минимум актерского дарования.

***

Nota bene: Ни один австриец не получит удовлетворения от той работы, где ему положено всего лишь выполнять свои обязанности. И только тогда она сможет доставить ему истинную радость, коли даст возможность сделать дружеское одолжение менее радивому и удачливому.

О венском наречии

Особые приметы: говорит на правильном немецком.

(Объявление венской полиции о розыске преступника)

Венского диалекта не существует.

Скорее, так: есть столько венских диалектов, сколько есть в Вене классов, сословий, профессий, районов, темпераментов и индивидуальностей. Тем самым в Вене говорят чуть более чем на полутора миллионах различных диалектов.

Стоит венцу открыть рот, как в девяти из десяти случаев все до единого присутствующие при данном событии — коль скоро сами они венцы — тотчас определят, кто он и что он собой представляет. Они не только в состоянии с достаточно высокой степенью достоверности указать профессиональную принадлежность говорящего, а заодно уж и район, в котором он проживает либо из какого он родом; заодно они сообщат, какое он получил образование, сколько он зарабатывает в

месяц, и с поистине удивительной безошибочностью они скажут вам, какой партии отдал говорящий свой голос на последних выборах. Диалект венца окутывает его наподобие персональных метеорологических условий. Ему вовеки не избежать своего диалекта, чему неопровержимым доказательством служит тот вымученный литературный немецкий, в коем неимоверно усердствуют австрийские политики, оказавшись перед микрофоном. Но, по сути дела, венец вовсе и не собирается избегать его, пусть даже едва заметные оттенки гласных и будут выдавать, кто говорит — выкарабкавшийся парвеню или опустившийся аристократ, — как бы то ни было, а это его личный, собственный говор. И уже потому лишь венец никогда от него не отречется, что столь высока еще в австрийских краях ценность всего, отличающего одного человека от любого другого. До сей поры здесь питают самые нежные чувства ко всему индивидуальному.

Так что не стоит даже и пытаться заговорить по-венски, сколь бы вас это ни прельщало. Не поддайтесь соблазну подражать «шёнбруннскому» прононсу высших чиновников, «патриархальному венскому» выговору доброго бюргера или «глубокому тону» говорка венских пригородов; также не следует заимствовать оттуда и отдельные обороты речи — в ваших устах это прозвучит противоестественно и фальшиво. Обитатель Вены всю свою жизнь кладет на постижение и шлифование причитающегося ему диалекта, беспрестанно совершенствуясь в нем. А вам хочется так вот — в два-три дня?.. Что вы... Тонкий слух ваших венских друзей и знакомых тотчас разоблачит в вас иностранца, который не самым достойным образом тщится выдать себя за аборигена.

Остерегайтесь этого и по мере возможности пользуйтесь литературной речью. Ибо даже если сам венец с мудрой осторожностью уклоняется от употребления этого чуждого ему языка, он тем не менее испытывает безоговорочное восхищение перед всяким, у кого это получается. Правильной немецкой речью в Вене владеют только лишь драматические актеры (по собственным их уверениям), мужи высочайшей учености (но не самого изысканного воспитания, ибо таковые предпочитают говорить несколько в нос, «по-шённбруннски»), да разве что аферисты. («Подсудимый отвечал на вопросы обвинения приводящим в изумление своей чистотой литературным языком» стало расхожим клише в газетных столбцах судебной хроники; неясным остается, относят ли пребывающие в изумлении репортеры сей факт к смягчающим или к особо отягчающим вину обстоятельствам.)

Так что спокойно разговаривайте в полном соответствии с литературными нормами и правилами, и в Вене к вам станут относиться уважительно, хотя и не без опаски. Вы будете производить впечатление человека, окруженного атмосферой таинственности, ведь не станете же вы против этого возражать?

***

Nota bene: Если уж так угодно, прочтите себе какой-нибудь из многочисленных лексиконов венского наречия, но Боже вас упаси им воспользоваться — не создана еще человечеством такая система передачи звуков, которая могла бы совладать со звучанием венского.

О венской обходительности

...Буделюбезны... — блаадарювас...
...буделюбезны... — блаадарювас...
...буделюбезны... — блаадарювас...
и т.д. до бесконечности.

(Венский вагоновожатый при проверке трамвайных билетов.)

Двенадцать незнакомых друг с другом венцев, долженствующих выполнить совместными усилиями что бы то ни было — автобусную ли экскурсию, какую-либо работу или просто спеть что-нибудь хором, — представляют собою дюжину неимоверно злобных аспидов, находящихся к тому же в особо скверном расположении духа.

Двенадцать венцев, связанных друг с другом узами приватного знакомства, суть само очарованье и сообща могут достичь превосходных результатов.

Вследствие этого каждый венец, коему необходима помощь другого венца,

стремится прежде всего установить с тем, другим личный контакт. Он должен незамедлительно развеять могущие зародиться у этого другого подозрения в том, что от него, чего доброго, ожидается просто бездушное исполнение некоей работы, и уверить его в том, что просят его исключительно о дружеском одолжении. Таким образом, просящему надлежит добиться расположения другого и, сверх того, попытаться достичь несравненно более трудного: он должен и сам найти этого другого симпатичным. Ибо дружеской услугой можно, не отягощая собственную совесть, одолжаться лишь у симпатичного тебе человека.

На этом сложнейшем психологическом фундаменте и распускается пышным цветом легендарная — воспринимаемая порою трезвыми наблюдателями как некая разновидность китайской — церемонность обитателя Вены, достигающая крайних, экстремистских своих проявлений прежде всего в тех случаях, когда под воздействием обстоятельств требуемый приватный контакт должен быть установлен с молниеносной быстротой.

К примеру, если, имея намерение куда-то пройти и не зная дороги, один венец осведомляется у другого:

— Тысяча извинений, прошу простить великодушно, не сочтете ли вы за труд ответить мне?..

— Да, прошу вас? — отвечает прохожий, к которому адресовались с таковым вопросом, в некотором замешательстве, ибо ему, со своей стороны, только еще предстоит найти данный контакт.

— Пожалуйста, будьте настолько добры, — продолжает первый, — и не откажите в любезности подсказать мне, как можно было бы выйти на Блутгассе?

Пока вы, чужеземец, все еще штудируете это титаническое сооружение из извинений, расшаркиваний, учтивых просьб и сослагательных наклонений, уже начинается второй акт нашей маленькой драмы. Ведущую партию здесь играет лицо, к которому отнеслись с вопросом.

— О да, конечно же, — отзывается он. — Тут вам лучше всего будет спуститься по Зингерштрассе. И потом свернуть — первый переулок налево.

— Покорнейше вас благодарю... — И вопрошавший намеревается уже продолжить свой путь к Блутгассе. Но тут в душу только что обретшего связующую нить прохожего закрадывается ужасное подозрение, что он, будучи попрошенным о дружеской услуге, просто предоставил сведения, произведя тем самым лишь некий сухой, индифферентный результат. Так что он торопливо добавляет:

— ...Но вы можете, взяв левее, спуститься по Вайнгассе и потом уже по Лилиенгассе дойти до Зингерштрассе. Получится чуть подальше, но идти гораздо приятнее...

— Сердечно вам признателен, — говорит первый и собирается уже удалиться. Но не тут-то было, визави учтиво удерживает его за рукав:

— Вам ведь можно было бы прогуляться и по Кэрнтнерштрассе до перекрестка с Шулерштрассе, а потом часть пути пройтись по Волльцайле, так, правда, будет совсем далеко, но о-очень красиво!

Дальнейшее уже не доносится до вашего слуха, ведь вы спешите под своды церкви Капуцинов к императорской усыпальнице Кайзергруфт нанести визит тем самым добрым старым Габсбургам, которые, введя у себя испанский придворный церемониал, столь обогатили венскую куртуазность множеством формулировок и форм, как, например, целование руки. И быть может, то, что представляется вам пресловутой китайской грамотой в сфере венских изысканных манер, в действительности суть не что иное, как тайны гишпанского, сиречь мадридского двора.

***

Nota bene: Находясь на территории, отмеченной красно-бело-красными таможенными шлагбаумами, спокойно употребляйте учтивые словечки и формулы вежливости приблизительно в десять раз чаще, чем дома. Хотя даже и при такой дозировке вы все еще будете намного отставать от приемлемого в данной стране уровня, но все же — прежде всего если вы беспрестанно через каждое слово станете приговаривать «будьте любезны» и «покорнейше благодарю», — вас сочтут довольно сносно воспитанным иностранцем.

Об искусстве приветствия

...Здравствуй! А потому, собственно,
что я на тебя сердит!

(Сам слышал)

В любом другом месте взаимный обмен приветствиями дело, может быть, и немудреное. В любом другом месте просто произносят «Добрый день!», бросают в ответ те же самые два слова, чтобы с чувством выполненного долга обратиться к вещам более важным.

Но не в Австрии. Здесь приветствуют не для того, чтобы формально отдать дань правилам хорошего тона. Здесь до сей поры приветствуют, чтобы воздать встреченному должное уважение. Обладая непревзойденным чутьем в иерархии ценностей, должностей и личностей, австриец использует приветствие и ответное приветствие таким образом, чтобы с самого начала определить местоположение на этой шкале обеих здоровающихся сторон. Он восклицает при встрече: «Почет и уваженье!», давая почитаемому таковым образом понять, что испытывает пиетет перед его преклонными летами и несомненными выдающимися достоинствами. Самым изысканным в мире образом он проявил бы неучтивость, произнеси он вместо того только лишь «Свидетельствую свое почтение!» либо всего-навсего «Честь имею кланяться!», употребив тем самым формы приветствия, полагающиеся самому обыкновенному начальнику или равному по положению старшему. Поприветствованный же может признать приветствующего равным себе посредством ответного «Имею честь!», может снизойти к покровительственному «Все ли слава Богу?», «Как ваше благословенное?» или — коль скоро он отъявленный либерал и вольтерьянец — «Как ваше драгоценное?», а может и повергнуть вас в прах коротким «Приветствую!».

Формулы приветствия меняются в зависимости от отношений, в которых находятся приветствующие, и в той же зависимости разнится и их ценность. «Желаю здравствовать!» — приветствует в канцелярии письмоводитель «самого» — господина доктора. Посмей он произнести «Как ваше благословенное?!» — это было бы сочтено неслыханной дерзостью; ответь господин доктор стряпчему «Servus!»[1] — это было бы грубым оскорблением, ибо «Servus!» дозволено к употреблению исключительно среди самых закадычных приятелей. «Мое почтение!», адресуясь к низшему чином, господин столоначальник рискнул бы употребить лишь тогда, если бы в его намерения входило вызвать светопреставление. Ибо в бывшей императорской столице — городе Вене — даже самые радикальные и закоренелые из классовых борцов величают друг друга в письмах не иначе как «Досточтимый товарищ, любезный друг».

А уж если обмен приветствиями в Австрии обретает черты высокого искусства, то, конечно же, и каждая встреча на улице начинается с захватывающего приключения: как он со мной поздоровается? Как мне ему ответить? Приветствие и отклик на оное являют собою в наших краях некую увертюру, где уже слышатся мотивы, стиль и интрига того диалога, каковой за нею воспоследует.

Вот потому-то столь редко звучит безличное «Добрый день!», и в тех лишь местах, где близкие отношения между приветствующим и приветствуемым признаны неуместными, бесполезными и нежелательными, как-то: в присутственных местах, в магазинах, да еще разве что в тех случаях, когда кто-то хочет тонким нюансом поддеть приятеля.

***

Nota bene: Легендарное «Целую ручки!» есть приветствие, относящееся исключительно к даме — в любом случае и по любому поводу, неважно, сопровождается ли оно соответствующим демаршем, предшествует ли он данному высказыванию либо отсутствует вообще.

Nota bene далее: Нет нужды, что никогда вам не овладеть венским диалектом, осилить венские приветствия вы все-таки могли бы. Виртуозом вам здесь не стать, но это принесет вам радость и благорасположение местных жителей.

---

[1] Неподражаемое и всеобъемлющее венское «Servus!» непереводимо, как непереводимо само мироздание, ибо простирается оно от «Ваш покорный слуга» до «Наше вам с кисточкой!». Рука переводчика замирает в благоговенье — и опускается...

Венец как деловой партнер

Результат — еще отнюдь не самое важное.

(Вычитано у Нестроя)

Что ж, вам наконец-то удалось разыскать по телефону вашего венского компаньона — конечно же, в каком-то кафе — и договориться с ним о деловом рандеву на семнадцать часов следующего дня, конечно же в каком-то другом кафе.

Ровно в пять часов пополудни, минута в минуту, вы прибываете на место встречи.

Спустя этак с полчасика в дверях появляется ваш венский партнер по бизнесу и, явно фраппированный вашим видом, велеречиво приносит свои извинения за то, что заставил себя ждать.

Боже вас упаси вымолвить сейчас что-нибудь в таком роде, что теперь уж де ничего не поделаешь, что придется поторопиться, наверстывать упущенное, тем более что вам совершенно необходимо успеть на поезд 19.45; воздержитесь также и от каких бы то ни было иных выражений справедливого негодования. Ведь тем самым вы можете пробудить в нем угрызения совести; мучимый же угрызениями совести венец есть самое строптивое и несговорчивое существо, какое только можно себе представить в поднебесной: в зависимости от своего темперамента он либо намелет вам целую кучу самых невероятных обещаний, чтобы только умилостивить вас, и не выполнит впоследствии ни одного из них; либо же примется донимать вас самыми изощренными придирками, дабы тем нагляднее показать вам, что, несмотря на свою весьма относительную пунктуальность, в делах он тем не менее видал виды.

К тому же, еще договариваясь о встрече, вам самому надлежало учесть то, что легкая непунктуальность в Вене отнюдь не считается неучтивостью — это, напротив, признак свободного духа, не желающего склонять голову пред бездушными законами этого механизированного мира.

Так что даже если в душе у вас все кипит и клокочет, на его извинения следует отозваться миролюбивым замечанием, что опоздание его пришлось как нельзя кстати, так как и сами вы слегка припозднились. Ваша тонкая реплика не сможет не произвести на него глубокого впечатления.

Не торопите его и в дальнейшем, дайте ему время неспешно расположиться за столиком и обстоятельно сделать заказ. («...Н-да-с, э-э, большую чашечку «золотого» с молоком... и, пожалуйста, непременно пропустите сквозь ситечко... или, знаете, господин Франц, пожалуй, вот что... принесите-ка мне двойной «короткий мокка» и к нему самую капельку сливочек!»)

Если сейчас вы вдруг вообразите, что теперь-то уже настало время перейти наконец к делам, то все ваше с таким трудом сохраненное самообладание было совершенно напрасным. Ибо сейчас надлежит начаться — еще не деловой беседе, отнюдь нет, но прелюдии к ней — некоему прологу, увлекательному предисловию к пресной и не представляющей ровно никакого интереса главе. И в этой решающей все и вся стадии ваших взаимоотношений предоставьте водительство венцу. Здесь ему опыта не занимать.

Начнет же он с того, что выскажет, к примеру, приличествующий случаю афоризм относительно преобладающей в настоящий момент метеорологической ситуации, в ожидании, что вы от всего сердца выразите свое полнее с ним согласие. После чего он вскользь отметит тот факт, что ревматические боли, аллергические явления или обострение почечных колик при данных погодных условиях ни в коей мере не должны рассматриваться как нечто неожиданное. На это вам следует ответить, что одним из перечисленных недугов либо страдаете вы сами, либо страдал один из ваших знакомых, излечившийся в течение самого непродолжительного времени благодаря новоизобретенному лекарственному препарату, лишь недавно ставшему достоянием общественности.

Такая беседа неминуемо подведет вас к точке, в которой ваши воззрения совпадут абсолютно, к вящему удовлетворению обеих сторон. Вы пришли к полнейшему согласию в том, что оба вы владеете почечными камнями чрезвычайно редко встречающегося химического состава, что у вас есть общий знакомый, испорченный характер и предосудительное поведение которого вы единодушно порицаете, что оба вы посвящаете свой досуг одному и тому же хобби, или хотя бы в том, что оба вы убежденные противники употребления горячительных напитков.

На этой точке совершенного совпадения мнений надлежит остановиться и

пребывать до тех пор, пока обоими партнерами не овладеет чувство обоюдной приязни или симпатии и оба они не расслабятся полностью.

И вот только теперь наконец одному из вас будет позволительно, случайно пододвинув поближе портфель, как можно более небрежным тоном обронить между прочим: «Ах, к слову, пока не позабыл, что касается поставки тех двухсот тонн листовой прокатной стали высшего качества и сортности...»

Спустя пять минут ваша сделка, сколь бы сложной она ни была, улажена самым деловым и разумным образом; буде же вы действительно упустили свой поезд 19.45, несомненно, ваш венский партнер окажется знаком со знакомым знакомого, который по чистой случайности как раз сегодня собирается ехать в своем авто именно туда, куда вам нужно, и которому доставит необычайное удовольствие взять вас с собою, что обойдется вам намного дешевле и будет не в пример быстрее и интереснее, чем вояж в поезде, отходящем в 19.45, который, кстати сказать, отбыл уже в 19.00 в строгом соответствии с давным-давно вступившим в силу летним расписанием, в то время как вы изучали висящее на вокзале зимнее, которое просто всё руки не доходят сменить.

Венец будет вынужден выполнять свои обязательства недобросовестно, неаккуратно и крайне неохотно, если его с вами ничего, кроме них, не связывает. Но предоставьте ему малейшую возможность отнестись к выполнению своих обязательств как к оказанию вам дружеской услуги, и он не преминет пустить в ход всю свою недюжинную сообразительность, уникальный талант импровизации, всю свою галантность, в которой он весьма искушен, чтобы только предоставить вам все то, чего вы пожелаете. Из соображений же чисто деловых он и пальцем не пошевелит, даже в том случае, если это будет сулить ему очевидную выгоду. Питая к вам симпатию, он сделает ради вас все.

Может статься, что — исключительно из симпатии к вам — он даже когда-нибудь и придет вовремя.

Один из моих друзей — истый венец в самом полном смысле этого слова, венец по рождению, воспитанию и образованию, — в силу необъяснимых причин является фанатичным поборником пунктуальности; он резко обрывал самые многообещающие знакомства, жертвовал материальными и прочими благами, нажил себе целый ряд заклятых врагов лишь тем, что безо всякой пощады указывал всем задержавшимся на их опоздание. Короче говоря, в венском обществе человек этот — явный и бесспорный извращенец.

Вместе с тем судьба Ханса Вайгеля вовсе не так ужасна, как это может показаться на первый взгляд. Потому что его друзья, во всех иных случаях, как и все нормальные люди, вечно опаздывающие, становятся неимоверно пунктуальны, когда имеют дело с ним. Разумеется, исключительно по дружбе, из желания не сделать ему больно, в какой-то мере из сострадания, а вовсе не по убеждению. Вот как далеко может зайти венец в преодолении даже собственной природы, лишь бы оказать любезность ближнему!

Кстати, перу того несчастного принадлежит весьма заслуживающий внимания путеводитель по просторам австрийской души («О Австрия моя» в издательстве «Штайнгрюбен-ферлаг» города Штутгарта), в котором содержится исполненная страсти апология венской беспечности. Отсюда друзья его делают вывод, что он не совсем еще конченый человек.

***

Nota bene: В Вене воспитанному человеку торопиться некуда. Мало того, в Вене сочтут признаком дурного тона, если вы будете сверх меры пунктуальны.

О венских кафе

Милостивый государь желают
поесть — или угодно покушать?

(Венский официант)

...Есть тысяча причин зайти в венскую кофейню: можно, например, попить кофе, можно почитать газеты — чем приличнее кафе, тем больше там разложено газет для посетителей, — можно провести деловую встречу или приватное рандеву, можно сыграть в шахматы, а можно — в бридж, тарок или на бильярде, можно

полистать последние журналы мод. В кофейню удаляются, чтобы без помех, вдали от телефонных звонков, секретарш, назойливых визитеров закончить наконец важную работу или, скажем, написать роман.

Есть кафе, в которых предпочитают бывать журналисты, есть другие, где встречаются литераторы, торговцы филателистическими раритетами, приверженцы кавитационной теории Вселенной, художники-модернисты и художники-традиционалисты, члены правительства и дельцы-букмекеры. В одни кофейни любят захаживать люди ростом от двух метров, в других сидят киношники, в третьих — боссы венского преступного мира. Ибо каждый венец не может не быть завсегдатаем какого-либо кафе, а каждое кафе не может не иметь свое реноме и свои особенности. Скажи мне, о чужеземец, какое кафе имеет обыкновение посещать твой венский приятель, и я тотчас скажу тебе, кто он и что собой представляет.

***

Самое благородное преимущество венской кофейни — это ее дешевизна. Выпив свой «короткий мокка», вы вовсе не обязаны заказывать что-либо еще, и тем не менее вам позволено будет просиживать там долгими часами. С терпением ангела официант будет притаскивать вам одну газетную кипу за другой, каждые четверть часа, минута в минуту, будет ставить на столик перед вами свежий стакан воды; стоит вам только пожелать, и он принесет вам аспирину или чернил, бумаги или конвертов с марками, и ничто не в силах будет поколебать его отношения к вам как к гостю, безусловно, заслуживающему всяческого уважения. Ибо он, точно так же как и все его посетители, проникнут осознанием того, что, если хочешь в полной мере насладиться всеми достоинствами венского кафе, в нем надо просто-напросто жить.

Об австрийской эротике

«О да, любовь... она ведь прямотаки... не так ли... как бы это выразиться... она же действительно... да пропади она пропадом, любовь эта...

(Из монологов за «нынешним»[1]*)*

Хочу предостеречь вас от преувеличенных ожиданий. Оставьте их.

В этом отношении Вена — город в высшей степени заурядный. Основываясь на абсолютно достоверных статистических данных, специалисты неопровержимо доказали, что в Вене проживает гораздо меньше людей с нетривиальными потребностями и запросами, чем во всех остальных европейских столицах, вместе взятых. А поэтому разве что путешественники из соседней Швейцарии в целомудрии своем воспринимают венскую ночную жизнь как нечто из ряда вон выходящее.

В амурных делах австрийца бросается в глаза прежде всего его рассудительность.

Он свято чтит общепринятые условности и сглаживает их присущим ему разгильдяйством. В анналах его истории не может быть не только госпожи Помпадур, но даже и госпожи Отеро. Любовные связи австрийских кайзеров и иных государственных мужей тянулись порою всю жизнь и всегда имели вид почти что узаконенных семейных уз; не было случая, чтобы их наперсницы играли хоть какую-то политическую роль. А у великой Марии-Терезии, единственной женщины, оставившей след в австрийской истории, было шестнадцать детей.

Отнюдь не опровергает сих принципов благоразумия и тот факт, что в одной из австрийских федеральных земель — Каринтии — были достигнуты наивысшие европейские показатели в рождаемости внебрачных детей.

В редакцию одного еженедельника, которая воспользовалась этим достижением как поводом, чтобы разразиться пышущей страстным негодованием обличительной проповедью в виде передовицы, пришло из какого-то селения, затерянного в горах Каринтии, такое письмо:

«Досточтимая редакция! Касательно недавней вашей передовой статьи должен сообщить вам следующее:

---

[1] «Нынешнее» — молодое вино урожая текущего года, равно как и связанные с ним празднества и иные сообразные мероприятия, в основном общественного характера.

Пять месяцев в году в деревне нашей царит самая суровая зима. В продолжение пяти долгих месяцев мы полностью отрезаны от внешнего мира. Кинотеатра у нас нет, деревенского трактира тоже нет, прием радиопередач вследствие климатических особенностей в горах практически невозможен. Так что, скажите на милость, — чем же еще здесь людям заняться?»

Сие документальное проявление человеческого здравомыслия подписано было сельским священником.

***

Nota bene: И Австрия в целом, и Вена в частности предложат вам много интересного и познавательного: как природных красот, так и художественных достопримечательностей. Так что у вас достаточно причин приехать сюда.

Об искусстве

Живут — в поэзии наполовину...
(Грильпарцер)

В апреле 1945 года Вена лежала в развалинах: город руин, голода и страха. Город, в котором жизнь теплилась, забившись в уголки подвалов. Не было ни света, ни газа, ни воды. Кое-где догорали дома. Иногда слышались запоздалые разрывы снарядов. На другом берегу Дуная еще шли бои.

Но в той части здания Оперы, которая чуть меньше пострадала от налетов, на более или менее сохранившейся галерее стоял какой-то жалкий заморыш с кисточкой в руке и покрывал сусальным золотом каменную виньетку.

Этим действием, столь очевидно бессмысленным в своей ничтожности, и начиналось возрождение Австрии из пепла. И что бы ни происходило в последующие годы — первая мысль и первый шиллинг всегда были посвящены Опере. Реконструкция ее стоила немыслимых денег, но ни один голос в разоренной стране не протестовал против такого расточительства. И когда денег больше взять было неоткуда, выпустили заём. Он был подписан в несколько дней, а его облигации считались самой прибыльной из ценных бумаг.

Потом в один прекрасный день восстановление было закончено. И так как именно в этот день страну покидал последний чужой солдат, торжества в честь открытия возрожденной Оперы объявили официальным праздником освобождения Второй австрийской республики.

Опера и «Бургтеатер» суть театры государственные в самом полном смысле этого слова. Все происходящее вокруг них, привлекая всеобщее внимание, становится актом государственной важности. Когда несколько лет тому был свергнут художественный руководитель театра, чуть было не разразился правительственный кризис. Когда недавно в отставку подал директор Оперы, то даже бульварные газетенки выпустили сообщение об этом с огромными заголовками на первой странице. А когда одна эксцентричная дива в запале влепила пощечину одному критику, инцидент этот обсуждался в трамваях и парикмахерских с не меньшею пылкостию, чем на газетных полосах и в кофейнях.

Музыка и театр — в Вене это не просто лишь абстрактные, почитаемые издалека и имеющие значение, по сути говоря, только для интеллектуальной и социальной элиты понятия. Это скорее вещи жизненно необходимые, их место по важности идет сразу же после пищи и питья — и намного опережает роскошь. В той или иной мере к ним причастен каждый: граждане среднего состояния идут на ощутимые жертвы, чтобы позволить себе абонемент в государственную оперу или в «Бург», в Йозефштедский театр или в филармонию; профсоюзы вкладывают деньги в честолюбивый «Фолькстеатер», молодежь покровительствует бесчисленным, в большей или меньшей степени авангардистским, подвальным театрикам. А в пригородах ныне, как и сто лет назад, процветают под открытым небом подмостки любительских и импровизационных трупп.

***

Nota bene: Бесспорно, Вена — это еще и столица закулисных сплетен. Бесспорно, в Вене любой и каждый посвящен во все без исключения интимные тайны всех без исключения знаменитостей бесспорных и знаменитостей хотя бы отчасти. Но

да остережется чужестранец вставить слово в эти пересуды. Ибо даже если венец и не всегда испытывает решпект к своим артистам, любить он их любит всечастно, как собственную родню. А уж родню-то, как всем известно, никто в обиду не даст.

Обитатель Вены как вид

...Кабы меня послушали...
слышь, кабы меня только послушали...
...так бы вот взял бы все —
и отменил...
(Венец за бокалом вина)

Венец как таковой существо малоприятное.

Он капризен и ненадежен до такой степени, что ни в коем случае нельзя положиться даже на самую его ненадежность — подведет. Он вечно сомневается в собственной полноценности и без умолку извиняется за то, что он венец:

Что ж поделать, я родом из Вены,
Нет моей в этом деле вины... —

еще распевает он, находясь в той стадии хмельного блаженства, каковая уже именуется упоением. И очень странно, что именно он — кто может быть необычайно галантным и изысканно любезным — в самом сокровенном закоулке души своей — отъявленный анархист. «...Всеобщего упразднения! — требует, разглагольствуя о политике, портняжка в пьесе Нестроя. —Ибо все сущее только мешает...» Истинное счастье, что венец едва ли подумывает о том, чтобы без промедления, засучив рукава взяться за дело, и еще меньше заботит его претворение в жизнь собственных резких слов и крепких выражений; что ему вполне достаточно дать волю своему анархизму в беспрестанном обличительном резонерстве, для чего ему наилучшим образом служит его диалект: ведь даже и говор венский отнюдь не так мягок и сердечен, как кажется; это ехидное, желчное, порою прямо-таки злобствующее наречие, обожающее малейшим оттенком звука самые великие и монументальные фразы обратить в полнейшую противоположность.

Нет, неуютное существо этот венец. Он всегда готов встать на защиту своих друзей, но всех их скопом отдаст за малейшую возможность позубоскалить. Не верьте его печали — это всего лишь досада; тем более не верьте ему, когда он счастлив — он просто в недурственном расположении духа. Ко всему прочему он неустанно страдает от извечного разлада между желанием и долгом. «Вообще-то охота для человека пуще неволи», — говорит один из персонажей Нестроя. «Да? А мне разве охота?» — спрашивает другой в бесконечной печали. «Ах вон оно что?! — восклицает первый и замирает, пораженный. — Вы должны? Тогда это, конечно же, прискорбно». Однако, как и всякий человек, венец тоже всю свою жизнь вынужден что-нибудь долженствовать: он должен существовать, работать, есть, пить, спать и еще делать тысячу вещей — конкретных, явных, и это он, кто создан для неопределенности и непредвиденности, он, чья любовь всецело отдана не яви, но эфемерности, не целому, но нюансу. Так он и остается всю свою жизнь несчастный человек, неприятный человек, злыдень и несостоявшийся поэт или художник в душе, коль скоро он не проявил еще себя тем либо другим в натуре.

По счастью, на него и здесь нельзя положиться.

***

Nota bene: А надо бы вам все-таки как-нибудь почитать Нестроя. Быть может, по дороге в Вену?

***

— В Вене существовать совершенно невозможно!
— Ну так уезжайте!
— Куда это?
— За границу.
— Гм... Но ведь там жить совершенно невозможно...

■

АЛЬБЕРТ КАРЕЛЬСКИЙ

Лекция о творчестве Франца Кафки

«Иностранная литература» уже обращалась к творческому наследию замечательного германиста Альберта Викторовича Карельского. В прошлом году журнал напечатал его лекцию по проблемам художественного перевода, и этот материал был назван в числе лучших публикаций. В архиве Альберта Викторовича сохранился целый ряд текстов, посвященных австрийским писателям Р. М. Рильке, Р. Музилю, Х. фон Додереру и др. Мы выбрали лекцию о творчестве Франца Кафки — одной из наиболее загадочных и притягивающих воображение фигур в литературе XX века.

Франц Кафка пришел в немецкоязычную литературу в начале второго десятилетия XX века. Он входил в нее, можно сказать, неохотно, во всяком случае — негромко, без всяких претензий. Опубликовал он при жизни очень немного, одни только рассказы — на один томик всего, а три своих романа — по сути, все три неоконченных, два, во всяком случае, — он не только не стал публиковать, но и просил своего друга, писателя Макса Брода, сжечь вместе с другими оставшимися после него рукописями, набросками рассказов, дневниками. Он смысл своей собственной жизни видел только в творчестве, только в занятиях литературой, но он явно не считал свои произведения представляющими особый интерес для других. Можно, конечно, увидеть здесь еще одно свидетельство радикального «умолкания»... и в такой трактовке есть свой резон. Но в целом это была все-таки весьма необычная позиция для того времени. Оно было как раз очень шумным. Многочисленные литературные школы сменяли друг друга, соперничали друг с другом — это было время бесчисленных «измов» — начиная еще с конца XIX века, а зрелые годы Кафки пришлись на период становления искусства экспрессионизма — яркого, шумного, кричащего, протестующего. И вот парадокс: экспрессионисты откричали свое и остались в основном только в истории литературы, не стали живой составной частью литературного процесса XX века. А тихий Кафка оказался одним из самых знаменитых прозаиков этого века, одним из самых признанных литературных новаторов.

Как и экспрессионисты, Кафка в своем творчестве разрушал традиционные художественные представления и структуры. Но внешне он меньше всего был сокрушителем — напротив, робкий, застенчивый, нерешительный и в самом точном смысле слова закомплексованный человек. Он и революцию в языке искусства XX века произвел потихоньку — как бы даже и не претендуя на нее. Но он ее совершил. И даже писатель, чьи художественные принципы бесконечно далеки от него — Герман Гессе, — признал «державную» суверенность его нового языка и назвал Кафку «тайновенчанным королем немецкой прозы».

Как и все его поколение, вступавшее в литературу накануне первой мировой войны и послевоенных революционных потрясений в России и Германии, Кафка проникнут ощущением распада традиционных скреп мира, глубочайшей враждебности этого бездушного, технизированного и бюрократизированного мира человеку, человеческой индивидуальности. На этом основании его иной раз сближали с экспрессионистами — но, думается, это от чистой растерянности. На самом деле его некуда пристроить — ни в какой «изм» его эпохи. Скорей уж он соприкасается с литературой абсурда — уже второй половины века. Но и там при ближайшем рассмотрении сходство снова и снова оказывается скорее внешним — Кафка глубже, философичней, религиозней абсурдистов. С экспрессионизмом же его язык, его стиль не имеет ничего общего, более того, он прямой антипод экспрессионистического стиля. Раскройте начало любого романа Кафки — ничего разорванного, сумбурного, кричащего, экспрессивного; напротив — совершенно вроде бы традиционное, внешне вполне связное, очень спокойное, даже подчеркнуто суховатое изложение весьма обыденных обстоятельств. Сразу понимаешь одно: этот аскетизм стиля (ни единой метафоры! никаких тропов!) — резкая реакция против стилистических оргий fin de siècle, против его стилизаторства и его эстетизма. Правда, когда продолжаешь читать дальше, начинаешь все больше озадачиваться: сама связность тут какая-то подозрительная, вроде бы чересчур подчеркиваемая, настолько связная, что в этой связности начинаешь все безнадежней запутываться, как в вязкой паутине; и обыденность подозрительная — потому что постепенно начинаешь осознавать, что на самом деле это та обыденность, о которой иной раз в сердцах мы, глядя вокруг, говорим «это абсурд» или «это кошмар». Или — «это кафкиана!».

Тихая революция Кафки заключается прежде всего в том, что он, сохранив всю традиционную структуру языкового сообщения, его грамматико-синтаксическую связность и логичность, связность языковой формы, воплотил в этой структуре кричащую, вопиющую нелогичность, бессвязность, абсурдность содержания. Специфически кафкианский эффект — все ясно, но ничего не понятно. Но при вдумчивом чтении, осознав и приняв правила его игры, мы можем убедиться, что Кафка немало чего важного рассказал о своем времени. Начать с того, что он абсурд назвал абсурдом и не побоялся воплотить его.

Вот новелла «Превращение» (1916). Она, правда, ошеломляет читателя не постепенно, а с первой же фразы: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое». Самый факт превращения человека в насекомое, так попросту, в классической повествовательной манере сообщенный в начале рассказа, конечно, способен вызвать у читателя чувство эстетического шока; и дело здесь не столько в неправдоподобии ситуации (нас не шокирует, например, тот факт, что майор Ковалев у Гоголя не обнаружил утром у себя на лице носа), сколько, разумеется, в том чувстве почти физиологического отвращения, которое вызывает у нас представление о насекомом человеческих размеров. Будучи как литературный прием вполне законным, фантастический образ Кафки тем не менее кажется вызывающим именно в силу своей демонстративной «неэстетичности».

Однако представим себе на минуту, что такое превращение все-таки случайно; попробуем примириться на время чтения с этой мыслью, так сказать, забыть реальный образ гипернасекомого, и тогда изображенное Кафкой дальше предстанет странным образом вполне правдоподобным, даже обыденным. Дело в том, что в рассказе Кафки не оказывается ничего исключительного, кроме самого начального факта. Суховатым лаконичным языком повествует Кафка о вполне понятных житейских неудобствах, начавшихся для героя и для его семейства с момента превращения Грегора, настолько сухо и лаконично, по-обыденному, что затем уже как бы непроизвольно забываешь о невероятности факта, легшего в основу истории.

Тут необходимо сделать отступление в некоторые биографические обстоятельства жизни самого Кафки. Еврей по национальности, Кафка родился и всю жизнь прожил в Праге, а Чехия входила тогда в состав Австро-Венгерской империи. В семье Кафки говорили по-немецки (мать говорила и по-чешски). Отметим прежде всего это специфическое положение между национальностями — немецкой, еврейской, чешской, австрийской; оно способствовало формированию ощущения неукорененности, некоего промежуточного существования. Кафка был человеком чрезвычайно легкоранимым, и потому перед внешним миром он испытывал постоянный, непрекращающийся страх. Пожалуй, лучше всего об этом сказала женщина, которую он незадолго до смерти полюбил, но с которой он так и не отважился связать свою судьбу, — чешская журналистка Милена Есенская. Она написала другу Кафки, писателю Максу Броду: «Вы спрашиваете, почему Франк так боится любви. Но я думаю, дело не в этом. Для него жизнь вообще — нечто решительно иное, чем для других людей, и прежде всего: деньги, биржа, валютный банк, пишущая машинка, для него совершенно мистические вещи... Для него служба — в том числе и его собственная — нечто столь же загадочное и удивительное, как локомотив для ребенка... Конечно, мы все как будто приспособлены к жизни, но это лишь потому, что нам однажды удалось найти спасение во лжи, в слепоте, в воодушевлении, в оптимизме, в непоколебимости убеждения, в пессимизме — в чем угодно. А он никогда не искал спасительного убежища, ни в чем. Он абсолютно не способен солгать, как не способен напиться. У него нет прибежища и приюта. Он как голый среди одетых <...> Человек, бойко печатающий на машинке, и человек, имеющий четырех любовниц, для него равным образом непостижимы... Непостижимы потому, что они живые. А Франк не умеет жить. Франк не способен жить. Франк никогда не выздоровеет. Франк скоро умрет».

Эта беззащитность перед внешней жизнью, это неумение к ней приспособиться, естественно в нее влиться доставляли Кафке непрекращающиеся мучения. А главное — они порождали в нем чувство глубокой вины перед жизнью и перед людьми. Можно ведь быть не в ладах с внешней жизнью, но делать из нужды добродетель: проникнуться к ней презрением как к пошлой и недостойной прозе, проникнуться убеждением в своей особости, отмеченности, находить утешение в общении с самим собой, с искусством. Такие установки широко известны по меньшей мере со времен романтической литературы начала XIX века, и они, эти установки, были популярны среди писательской братии и в пору Кафки, когда художники от-

гораживались от мира и создавали себе оплот в эстетизме, в гедонизме, эгоцентризме. Кафка этого не умел. Он, например, глубоко страдал от необходимости ежедневно служить в своей конторе, ему хотелось бы тихо заниматься писательством, чтобы никто не мешал, никто на него не притязал. Но не говоря уж о том, что он не мог себе позволить этого материально, его мучили еще и моральные соображения. Он постоянно ощущал свою вину перед семьей — перед отцом прежде всего; ему казалось, что он не соответствует тем надеждам, которые отец, владелец небольшой торговой фирмы, возлагал на него, желая видеть сына преуспевающим юристом и достойным продолжателем семейного торгового дела. Комплекс вины перед отцом и семьей — один из самых сильных у этой в самом точном смысле слова закомплексованной натуры, и с этой точки зрения новелла «Превращение» — грандиозная метафора этого комплекса. Грегор — жалкое, бесполезное разросшееся насекомое, позор и мука для семьи, которая не знает, что с ним делать.

Этот комплекс усиливался у Кафки и его отношениями с женщинами. Он не мог связать свою судьбу ни с одной из них — хотя они его, похоже, искренне любили и жалели. Кафка вроде бы и мечтал, что называется, «основать семью», иметь детей, стать приличным и «нормальным» членом общества — он постоянно пишет об этом в своих дневниках и письмах, — но страх перед связанными с этим обстоятельствами всегда пересиливал. И тогда он оказывался впутанным в тягостные истории — как, например, с первой его невестой Фелицей Бауэр, с которой он дважды заключал помолвку и дважды ее расторгал. Это снова нагнетало в нем чувство вины.

В общем, Кафка — это натура, очень болезненно переживающая свою неспособность наладить благодатный контакт с окружающим миром. Еще раз повторю, бывают люди, и особенно среди художников, наверное, которые в несовершенстве мира находят оправдание своему одиночеству и своему недовольству миром. Такая позиция может необязательно быть только эгоцентрической и эгоистической. Писатель может разоблачать несовершенства внешнего мира, показывая его враждебность человеку, как это делали, например, реалисты; несовершенство внешнего мира тогда и предстает главным виновником человеческих страданий. Но уже в XIX веке, в эпоху расцвета такого вот социального критицизма, в русской литературе, например, раздавались голоса, протестующие против абсолютистского принципа «среда заела». А у немцев и того раньше, еще в романтическую эпоху, были сказаны — в минуту откровения — страстные слова: «Да не оправдывает себя никто тем, что его погубил мир! Человек сам губит себя! В любом случае!» Это сказал Гёльдерлин, поэт трагической судьбы, уж точно не сделавший никакого зла миру, но тем не менее пришедший к выводу, что уж если предъявлять счет к жизни, то начинать надо с себя.

Вот это и позиция Кафки. «Среда заела» — кажется ему слишком соблазнительным и слишком легким решением. Поэтому-то проблематика всех его главных произведений вращается вокруг юридических комплексов — вины, оправдания, наказания, но, конечно же, в юридическом обличье здесь предстают проблемы нравственные. Неспроста одним из любимых писателей Кафки был Достоевский — модель такой концепции жизни была задана в романе «Преступление и наказание», где эти заглавные «термины» внешне тоже носят сугубо юридический характер, но подразумевают, конечно, более глубокие пласты человеческой морали вообще.

Однако если творчество Кафки было б только самобичеванием, только изживанием сугубо личных комплексов, едва ли оно бы получило такой мировой резонанс. Последующие поколения читателей снова и снова приходили в ошеломление от того, сколь многие черты общественного бытия XX века пророчески предсказал Кафка в своих произведениях. Рассказ «В исправительной колонии», например, сейчас прочитывается как страшная метафора изощренно-бездушного, механической бесчеловечности фашизма и всякого тоталитаризма вообще. Атмосфера его романов «Процесс» и «Замок» воспринимается как грандиозная метафора столь же бездушного и механического бюрократизма. Пускай, по убеждению Кафки, его герой изначально виноват перед миром, но то, как мир наказывает его, далеко превосходит реальные размеры личной вины. Если в мире Кафки у человека мало удобных оправданий, то еще меньше их у жестокого, бесчеловечного мира.

Тут надо учитывать вот еще что. Литературоведы, исследователи знают, отчего и почему герой Кафки входит в сюжеты его произведений виновным; но ведь эти произведения существуют теперь сами по себе, они подчиняются и другим законам восприятия: «обыкновенный» читатель берет рассказ или роман и отнюдь не обязательно знает его биографические основания, его «подоплеку», так сказать; он не обязан предварительно проштудировать биографию Кафки, прочитать его

дневники, письма и т. д. И ему, «простому читателю», трудно — да и надо ли? — отделаться от впечатления, что повсюду в произведениях Кафки тупой и враждебный внешний мир расправляется со слабым и беспомощным человеком, — столь впечатляющи картины этой расправы. Пусть этот уровень восприятия с научной точки зрения поверхностен — но он существует, он реален. И тогда если мы читаем, скажем, рассказ «Превращение» (повторяю, только этот рассказ, не зная никаких предысторий), то мы можем и ужаснуться, например, тому, что так спокоен, в общем, сам тон повествования. Грегор Замза не ужасается своему превращению, не кричит о нем на весь мир — как кричали, скажем, современники Кафки о деформациях человека в условиях машинной цивилизации XX века; пережив первое недоумение, он далее старается приспособиться к непривычному новому состоянию. И домашние его, пережив первое понятное чувство потрясения, тоже пытаются так или иначе приспособиться: сестра сначала ухаживает за Грегором (кормит его, убирает в комнате) из жалости, другие члены семьи с трудом преодолевают чувство отвращения, стараясь еще и скрыть от других эту домашнюю неприятность, а потом в конце концов всем это надоедает, и смерть сына-жука они встречают с явным облегчением. И вопрос о вине и наказании тут уж совсем уходит на второй план, в подтекст. А на первом плане тогда предстает предельно безрадостная аллегория: в один прекрасный день человек обнаруживает свое полное, абсолютное одиночество. И не просто одиночество, а одиночество, вызванное еще четким осознанием своей абсолютной непохожести на других, своей отмеченности. Кафка заостряет до предела именно эту обреченность героя: полную духовную изоляцию героя он передает через невероятную, отвратительную метаморфозу его внешности.

Однако в той модели мира, которая предстает перед нами в новелле «Превращение», явно отсутствует пока одно весьма существенное измерение. В самом деле, поставим себе вопрос: в чем исходная точка такого вот странного развития? Что дало ему толчок, где та причина, следствием которой является этот предельно безрадостный результат? Какая сила обусловила трагедию героев Кафки? К этой проблеме причины, силы, которая определяет конечный результат — духовную и физическую гибель личности, Кафка обращается в своих крупных произведениях — романах «Процесс» и «Замок». Роман «Процесс», над которым Кафка работал в 1914—1915 годах (опубликован в 1925 году Бродом), начинается подозрительно схоже с новеллой «Превращение»: действие романа тоже начинается утром, в момент пробуждения (мы еще вернемся к этому моменту). Первая фраза романа: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест». И вот вместо ожидаемой служанки с завтраком, которая всегда появлялась около восьми, на звонок героя в его комнату входят двое в черных костюмах и заявляют К., что он арестован.

А дальше ситуация в общих чертах развертывается так. Ни эти двое в черном, никто из «компетентных лиц» потом не говорят К., в чем он обвиняется. В первый момент, когда ему сообщают об аресте, он задает естественный вопрос: «А за что?» — и получает исчерпывающий ответ: «Мы не уполномочены давать объяснения. Идите в свою комнату и ждите. Начало вашему делу положено, и в надлежащее время вы все узнаете». И вот К., оказавшись в положении подследственного, обвиняемого, причем обвиняемого неизвестно в чем (помните первую фразу — «не сделав ничего дурного»), начинает обивать пороги официальных инстанций, ходит по адвокатам, один отсылает его к другому, дело обрастает побочными бюрократическими обстоятельствами и соображениями, как бы плотью. Но самое поразительное во всем этом — К. обивает пороги бюрократических инстанций не для того, чтобы выяснить причину своего ареста или чтобы доказать свою невиновность! Он все больше и больше начинает действовать так, чтобы каким-нибудь образом улучшить исход будущего процесса, облегчить себе приговор. Он заискивает, пасует, ищет ходы, действует через знакомых, их родственников, то есть он ведет себя как виновный! Он начинает приспосабливаться — как и Грегор Замза.

Здесь уже отчетливо вырисовываются две стороны конфликта, здесь появляется сила, которая обуславливает судьбу этого человека. Эта сила — некая сложная и разветвленная форма социальных установлений, предельно бюрократизированная, предельно бездумная, спаянная круговой порукой, сила, за которой не просматривается никакой рациональной цели, разве что одна: подавить данного индивида К., внушить ему чувство вины. У Кафки в «Процессе» есть лишь одно определение для этой силы — притом обобщенное — закон (так сказать, символизированная необходимость, власть внешнего мира, торжества необходимости над индивидуальной свободой). Если посмотреть на роман Кафки в этом ракурсе, то перед нами вариант маленького человека, задавленного вот этой бюрократичес-

кой машиной, машинерией (параллель — образ машины в «В исправительной колонии»). Но это — лишь одна сторона проблемы, лежащая на поверхности. Другая сторона вопроса — реакция самого индивида, то, о чем я говорил в связи с «Превращением» и «Процессом».

Совершенно сходная модель и в романе «Замок». Впрочем, в этом романе ситуация знаменательным образом видоизменяется. В «Процессе» был человек обвиняемый; здесь — человек недопускаемый. Героя пригласили землемером, но в то же время его туда и не пускают, держат перед воротами. С ним ведут себя так, как будто Замок — это некая важная, прямо-таки государственная тайна, а он — вроде шпиона, стремящегося эту тайну раскрыть. В остальном же отношения героев и окружения, как и в «Процессе»: герой ждет, ищет удобного случая, ищет подходы, пытается завязать знакомства и действовать через них и т. д. Чего он хочет? Что ему этот Замок? И чего хочет от него Замок — пригласил, а не пускает?

Чтобы осознать эту ситуацию, вернемся снова к «Процессу». Финал «Процесса»: в одно прекрасное утро к К. приходят двое и ведут его в конец города, на пустырь за последними домами, в каменоломню. Предчувствуя, что ему предстоит, К. поначалу слабо пытается сопротивляться, упирается, на краю города говорит: «Дальше я не пойду». Но в следующую же секунду спохватывается, осознав «бессмысленность сопротивления»: «Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук <...> И это было неправильно. Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямцем? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь, в конце, — начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили! Я благодарен, что на этом пути мне в спутники даны эти полунемые, бесчувственные люди и что мне предоставлено самому сказать себе все, что нужно».

Прервемся на секунду и осознаем положение вещей. Человек в последний момент — ибо приближается, мы это чувствуем, последний момент, — окончательно осознает, что цепляться за жизнь бессмысленно. Это как будто безрадостный, беспросветный конечный итог, именно итог: герой ведь не зря спешит «сказать себе все, что нужно». Но это еще не конец истории. «У самого шурфа лежал отколотый камень. Оба господина посадили К. на землю, прислонили к стене и уложили головой на камень. Но несмотря на все их усилия, несмотря на то, что К. старался както им содействовать, его поза оставалась напряженной и неестественной <...> И внезапно К. понял, что должен был бы схватить нож, который передавали из рук в руки над его головой, и вонзить его в себя. Но он этого не сделал, только повернул еще нетронутую шею и посмотрел вокруг. Он не смог выполнить свой долг до конца и снять с властей всю работу, но отвечает за эту последнюю ошибку тот, кто отказал ему в последней капле нужной для этого силы <...> Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал? К. поднял руки и развел ладони».

Снова задержимся на секунду и осмыслим. (Я так подробно останавливаюсь на этой сцене, потому что, вы понимаете, если в очень необычном, «загадочном» романе в последней сцене так подробно изображается, разрабатывается смерть героя, так скрупулезно фиксируются его предсмертные мысли и откровения — ведь постоянно повторяется формула: «вдруг осознал!» — то и нам надо внимательно во все это вглядеться и вслушаться, ибо это уже — завет, и в этом может быть ключ ко всему.) И к тому же Кафка записал эту сцену в самом начале работы над романом, одновременно с завершением первой главы. Итак, человек в этой странной ситуации осознает еще, что ему следовало бы самому прервать эту жизнь, то есть, конечно же, проявить хоть тут мужество и достоинство. И вот нож ему в горло вонзают другие — делегаты «власти». «Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой. — Как собака, — сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его».

Это уже конец, это последние слова романа. Обдумаем и их. Человек уходит с сознанием позора. В чем позор? Прежде всего, конечно, в том, что он, о чем и пожалел выше, не выхватил нож и не вонзил его в себя и тем самым не умер достойно. Но позволительно отнести эти последние слова романа и ко всей судьбе героя вообще. Тем более что у Кафки эта последняя сцена не просто завершает ряд других сцен, составляющих роман. Она тщательно подготовлена предшествующей сценой, находящейся с ней в многозначительной перекличке. Напомню, что в свой последний предсмертный час К., упрекая себя за слабость, в то же время и переложил ответственность на «того, кто отказал ему в последней капле нужной для этого силы». Это первая и единственная апелляция к «высшему судии» и вообще одно из очень немногих упоминаний Кафки о наличии этой высшей силы. Но здесь эта

сила подразумевается либо действующая заодно с внешним миром, либо безучастная. В свое время Мюссе написал: «Когда какой-то атеист, вынув часы, предоставил Богу пятнадцать минут на то, чтобы поразить его ударом грома, он, конечно, доставил себе этим пятнадцать минут гнева и мучительного наслаждения. Это был пароксизм отчаяния, вызов, брошенный всем силам небесным. Ничтожное и жалкое создание извивалось под наступившей на него пятой. Это был громкий крик скорби. Но как знать, быть может, в глазах всевидящего это была молитва» («Исповедь сына века», 1836). Вот и в последней сцене Кафки перед нами еще один счет «высшему судии», еще один, хоть и очень тихий, «пароксизм отчаяния». Но вернемся теперь к сцене, предшествующей этому концу. В этой предшествующей, предпоследней сцене К. попадает в церковь, в собор, попадает как будто бы совершенно случайно. Но оказывается, там его знали и ждали. В совершенно пустом соборе обнаруживается священник, который всходит на амвон и окликает героя по имени. А мы с вами можем теперь припомнить последние мысли героя: «Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал?» Не попал ли как раз тут Йозеф К. к «высшему судии»? Ведь храм в честь этого судии и воздвигнут.

Вместо проповеди священник рассказывает Йозефу К. притчу о человеке, пришедшем к вратам Закона. Притча эта очень странная, непонятная; непонятность ее подчеркивается тем, что после того, как священник привел ее, так сказать, «канонический» текст, они оба вступают в затяжную, поистине казуистическую дискуссию относительно ее истолкования. Но мы с вами сейчас оставим в стороне все тонкости и детали и постараемся уловить хотя бы самый общий ее смысл. Итак, к вратам Закона пришел человек и просит его туда пропустить, он хочет видеть Закон, у него в нем надобность — дело ли, просьба ли, неважно. Но привратник говорит, что сейчас он его не может впустить. Когда-нибудь позже, поясняет он дальше, возможно, но сейчас нельзя. Поскольку врата открыты, человек пытается заглянуть вовнутрь. А привратник смеется и говорит: «Если тебе так не терпится — попытайся войти, не слушай моего запрета. Но только, — говорит, — там есть другие привратники, один могущественнее и страшнее другого». Человек совсем запутался, сел около ворот и принялся ждать, когда будет можно. Ждет недели, месяцы, годы; иной раз пытается подкупить привратника — тот берет взятки, но со словами: «Беру, чтоб ты не подумал, что что-то упустил». И все остается по-прежнему: один стоит у открытых ворот, другой сидит. Наконец пришельцу уже настал черед умирать от старости, он хочет перед смертью задать стражу последний вопрос, подзывает его кивком — на большее сил нет, — и, читаем мы, «привратнику приходится совсем низко наклониться» (вспомним, К., уже с ножом в горле, увидел, как два господина у самого его лица... наблюдали за развязкой!) — так вот, человек спрашивает: «Ведь все люди стремятся к Закону, почему же за все эти годы никто другой не пришел?» А привратник и отвечает умирающему: «Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного! Пойду и запру их».

Внешне сюжет тут кричаще нелогичен. Привратник человека к Закону не пускает, а потом оказывается, что ворота эти были предназначены для него одного! Однако Кафка, юрист по профессии, напомню, ставит тут ловушку именно внешней, обыденной, соблазнительно банальной логике. Потому что если вдуматься, — если захотеть вдуматься! — то не так уж тут все и абсурдно. Если, повторяю, захотеть, то ведь можно и задать вопрос: а почему все-таки не попробовать? Привратник тут поставлен и делает, что ему велели, но он ведь и подсказывает одну возможность: если в самом деле не терпится, войди! Там, правда, другие стражи, я сам боюсь, но это в конце концов я, это мое дело. А ты — попробуй!

Но человек заведомо боится, ждет специального разрешения — и не пробует! Вот ведь какая обрисовывается ситуация! Да еще оказывается, что именно ему — как никому другому! — был открыт этот доступ, а он из страха, из привычки повиноваться и просить на все разрешения и дозволения не оправдал своего предназначения, не решился! Не надо, стало быть, смотреть на «всех людей», на других, никто тебе не указ, никто не облегчит тебе решения, которое принять можешь ты, и только ты! Переступи порог страха — если уж ты таков, что тебе не терпится! Если тебя так тянет туда, к Закону, к истине, к должному; там тебе тоже никаких гарантий нет — но там есть все-таки еще одна возможность, есть ощущение, что ты в самом деле все испробовал, — и это ощущение немало стоит! Привратник у Кафки неспроста, конечно, принимая взятки, приговаривает: «Беру, чтобы ты не думал, что что-то упустил». Это звучит как нескрываемая насмешка, издевка даже — намек на то, что возможность все-таки упускается! Человек ищет проверенных путей, а непроверенных, но ведущих прямиком к цели, боится!

Прозреваемая здесь вина — это не только слабость воли, недостаток достоин-

ства. Герой Кафки мучим и более глубокой, бытийной виной; она — в роковой отгороженности от жизни, в неспособности наладить благодатный контакт с нею и естественно в нее влиться — либо хотя бы достойно принять ее вызов и противостоять ему. Йозеф К. был причастен лишь внешней суете этой жизни — размеренному ритуалу службы, досуга, быта; глубин же бытия он панически боялся и отстранял их от себя. Тогда уже станет понятно, почему такого человека может осенить перед смертью прозрение: умираю, как собака, с чувством позора! И тут уже перед нами вырисовывается некий очень серьезный — и в то же время, по сути, очень простой — этический постулат: бери ответственность на себя — ибо никто ее с тебя не снимет и никто иной, никакая, даже самая высшая инстанция, вплоть до «высшего судии» тебе ее не облегчит! Если ты не испробовал свои возможности сам — то уж если винить кого-то в твоей жалкой судьбе, если предъявлять счет жизни, то начинать надо прежде всего с себя. С этой чисто философской точки зрения Кафка здесь прямо предвосхищает одну из основных посылок экзистенциализма: «Все начинается с каждого отдельного человека и с его индивидуального выбора». Священник на прощание говорит Йозефу К. простые и суровые слова: «Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь». Таким образом, романы Кафки — не просто изобретательно выполненная символическая картина беззащитности человека, личности перед лицом анонимной и всеподавляющей власти; Кафка по-своему ставит очень высокие этические требования к человеку. То, что он, поистине до предела заострив безвыходность ситуации, в то же время ни на гран не снизил этих требований, сразу выводит его далеко за рамки мироощущения декаданса, хотя на первый, поверхностный взгляд он может оказаться весьма к нему причастным.

Но, конечно, и степени чисто социального критицизма Кафки не следует преуменьшать. То, как Кафка показал абсурдность и бесчеловечность тотальной бюрократизации жизни в XX веке, поразительно. Многим у нас — во всяком случае, людям моего поколения — не раз и не два приходилось вспоминать фантасмагории Кафки. И ведь наверняка такой степени обесчеловечения общественного механизма европейское общество времен Кафки не знало, да и потом если и знало, то, видимо, только в нацистской Германии. Так что здесь какой-то поистине необыкновенный дар смотреть в корень, предвидеть будущее развитие определенных тенденций. И вот тут-то Кафка, между прочим, на какой-то момент соприкасается с устремлениями экспрессионистов: это они мечтали в своем искусстве понимать не единичные явления, а законы; мечтали, но не осуществили этой мечты, а вот Кафка именно ее и осуществил — его сухая, жесткая, без метафор, без тропов, как бы лишенная плоти проза и есть воплощение формулы современного бытия, его самого общего закона; конкретные числа и конкретные варианты могут быть разными, но суть — одна, и она выражается формулой. С чисто художественной, технической стороны Кафка достигает такого эффекта прежде всего с помощью вполне определенного приема. Я уже мельком говорил об этом — это материализация метафор, причем метафор так называемых языковых, уже стершихся, тех, чей переносный смысл уже не воспринимается. Когда мы, например, говорим о том или ином человеке — «он потерял человеческий облик», либо о том или ином явлении — «это чистый абсурд», или «это уму непостижимо», или «это как кошмарный сон», мы, по сути, пользуемся такими языковыми метафорами, прибегаем к смыслу не буквальному, а переносному, образному. Мы понимаем, что облик-то все-таки человеческий, а не лошадиный, не собачий и т. д.; и выражение «уму непостижимо» всего лишь есть сгущение нашего впечатления от какого-либо события; потому что, попроси кто-нибудь нас в следующую минуту рассказать о причинах этого события, мы все-таки объяснение-то дадим; пусть свою версию, но все-таки мы предполагаем всегда, что нашему уму это все же доступно. Кафка последовательно материализует именно эту умунепостижимость, абсурдность, фантасмагоричность. Что больше всего озадачивает в его прозе — это снова и снова всплывающая алогичность, неправдоподобность причинно-следственных сцеплений; особенно это заметно, когда неизвестно откуда вдруг по ходу дела появляются предметы и люди, которых здесь просто не должно быть.

Тут, в свою очередь, функционирует более частный художественный прием, но в этом же русле. Собственно, тут конкретно материализуется именно метафора «кошмарный сон». Многие исследователи отмечали эту особенность повествования у Кафки (один французский исследователь метко назвал Кафку «пробужденным сновидцем»). Может показаться, что это тоже, в свою очередь, метафора. Но суть в том, что Кафка весь сюжет своего повествования методически строит по тому принципу, по какому оформляется «сюжетика» сна. Если вы припомните свои

сны, то вы обнаружите, что там сплошь и рядом бывает так: стоит вам по ходу сна подумать о каком-либо явлении или человеке, как он тут же вольется в длящуюся картину вашего сна и сцепится с другими предметами или людьми так, как в реальной жизни совершенно невозможно, абсурдно; все, что по воле причудливых ассоциаций соединяет друг с другом ваш раскованный бесконтрольный мозг, тут же предстает во взаимосвязанных образах, получается такой абсурдный сюжет. Вот у Кафки при желании можно проследить эту технику очень отчетливо — достаточно начать читать первые страницы «Замка». Но этот прием имеет и обобщающий смысл. Я уже говорил, что неспроста и «Превращение» и «Процесс» начинаются с пробуждения человека. В обычном, «нормальном» мире человек, бодрствуя, живет в мире логических причинно-следственных связей; во всяком случае, он так считает; ему все привычно и объяснимо; если что-то кажется необъяснимым, то он все равно это не считает принципиально необъяснимым; он просто считает, что он в данный момент не знает причины, но она существует. А вот засыпая, человек уже погружен в сферу алогизма.

Художественный трюк Кафки в том, что у него все наоборот. У него алогизм и абсурд начинаются, когда человек просыпается. Трюк гениальный именно своей дерзкой простотой — именно он-то и утверждает вопиющую абсурдность реального мира, реального бытия человека в этом мире.

Публикация ОЛЬГИ ВАЙНШТЕЙН

КАРТИНЫ, РАСТУЩИЕ СЛОВНО ДЕРЕВЬЯ

Яркая декоративная живопись австрийского художника Фридриха Хундертвассера не умещается в рамки одного конкретного стиля или художественного направления, ее нельзя назвать ни чисто абстрактной, ни вполне предметной. В его картинах угадывается плавность линий венского Сецессиона, особенно богатое узорочье Густава Климта и замысловатая топография австралийских аборигенов. Искусствоведы признают за ним ведущую роль в возрождении австрийского искусства после второй мировой войны. В одной из обширных монографий об этом художнике говорится: «Поле венского искусства, которое так плодотворно возделали художники начала века, не привлекало к себе внимания, пока Фридрих Хундертвассер не собрал с него урожай. Хундертвассер совершил нечто выдающееся, он не только добился собственного признания, но и вернул Вене мировую славу. Сегодня он известен во всем мире, а Вена опять обрела прежнее величие».

Хундертвассер родился в 1928 году в Вене. Его мать была родом из бедной еврейской семьи. Отец художника умер через год после рождения сына. Рисовать мальчик начал в двенадцать лет. Даже в ранних работах заметна его яркая индивидуальность. Мать была против того, чтобы Фридрих становился художником, причина извечна — она хотела, чтобы сын выбрал более надежную профессию.

Биография Хундертвассера состоит главным образом из многочисленных путешествий: Тунис, Марокко, Италия, Америка, Новая Зеландия, Голландия, Швейцария, Япония, Сибирь, Швеция, Уганда, Судан. В молодости он плавал матросом на торговом судне, совершал перелеты на воздушном шаре. А в1968 году купил в Палермо деревянное грузовое судно «Сан-Джузеппе Т», все проеденное солью и песком, которое шестьдесят лет бороздило моря между Африкой, Сицилией и Францией. Хундертвассер отремонтировал корабль и назвал его «Дождливый день». «Дождливые дни — это дни, — говорит художник, — когда мне хорошо работается и я чувствую себя по-настоящему счастливым».

В общей сложности Хундертвассер совершил не одно кругосветное путешествие. Эти поездки можно считать основным источником его вдохновения и художественных впечатлений. В сущности, Хундертвассер остался самоучкой, хотя три месяца проучился в Венской академии изобразительного искусства. Своими учителями он считает прежде всего Густава Климта, Пауля Клее и Эгона Шиле. «Дома Шиле мне кажутся живыми существами... Он писал так, будто нет разницы между кожей обнаженной девушки и «кожей» дома. Его дома, как люди...», — говорил Хундертвассер. В начале творческого пути важную роль для его становления сыграли художники средневековья, арабская живопись, увиденные однажды на улице Рима изразцы, индийские наскальные росписи и многое другое.

Пауль Фаццетти, парижский галерист, открывший Европе имена Поллока и Дюбюффе, устроил в своей галерее первую выставку Фридриха Хундертвассера в 1954 году. Он вспоминает, каким был живописец в то время: «...Молодой человек приятной наружности, скромный, тихий, но с твердым характером... Ездил на велосипеде с картинами за спиной. Он всюду ходил в свитере, который сам связал из серых, ярко-красных, синих, зеленых и оранжевых ниток. Рукава свитера были чересчур длинные. Он любил рубашки без воротников; сандалии он носил собственного изготовления и всегда надевал непарные носки...».

Собственно, настоящее имя художника — Фридрих Стовассер, «Хундертвассер» (сто вод) — это его псевдоним. Кстати, псевдонимов он напридумывал себе немало, среди них такие экзотические, как «Царство мира» или «Дождливый день». Не менее интригующи названия его картин, например, «Если бы у меня была негритянка, я бы ее любил и рисовал», «Желтые корабли — желтые поцелуи», «Цветущие дома».

Сменив множество профессий и увлечений, Хундертвассер посвятил себя экологии. Он считает, что художник должен опережать потребности общества и экологии, которые неразрывно связаны между собой. Перед лицом назревающей экологической катастрофы мастер развил философию о минимуме потребностей. Например, художнику нужны краски. Он должен относиться к ним как к высшему благу, очень экономно и бережливо. Свое отно-

шение к краскам Хундертвассер сравнивает с отношением к хлебу в военное время. (Они с матерью всю войну прожили в Вене.)

Свою живопись художник называет растительной, вегетативной. Его картины растут как деревья. Процесс роста нельзя торопить, каким бы медленным он ни был. Ведь чем дольше растет дерево, тем прекрасней оно становится. Чем больше времени уходит на создание произведения искусства, тем дольше оно проживет. Это основное правило Хундертвассера, который никогда не идет против природы. Холст он всегда кладет только плашмя, потому что так, по его мнению, естественнее.

Его очень волнует проблема долговечности. По этой причине Хундертвассер, сам изготавливающий краски, не применяет в своих картинах пигменты на животных и растительных основах — они быстро блекнут. Хундертвассер завидует Гомеру: его стихи читают спустя 3000 лет, а картины столько не проживут. Он пользуется желтым и красным кирпичом, землей, углем, глиной, известью. Художник считает, что приготовленные промышленным способом краски так сильно измельчены, что уже потеряли свою душу. Его же собственные краски гораздо грубее и имеют свою фактуру, которую можно видеть и чувствовать. Хундертвассер утверждает, что здесь кроется один из секретов его живописи.

Цвет в картинах знаменитого австрийца превалирует над формой. Он признается, что не силен в рисунке, в работе со светотенью или в скульптуре. Его стихия — это цвет. Многоцветие для него синоним рая, монохромность — ада. Ад в его представлении однотонно-красный: красный огонь, красные лица, красная кровь.

Хундертвассер никогда заранее не знает, как сложится работа над картиной. Формы проявляются и разрастаются как цветы, сами собой. Зачастую он начинает работать от края холста и только потом переходит к середине.

В картинах Хундертвассера часто повторяются одни и те же элементы: линии, спирали, купола. Это не простые повторы, это символы, имеющие для художника большое значение. Он избегает прямых линий, поскольку, по его мнению, они противоестественны, их не терпит сама живая природа. Спираль служит для него символом противоборства и взаимосвязи жизни и смерти, их бесконечности. А луковица, луковичный купол, заимствованный из архитектуры южных католических церквей, — это не только центральный мотив, но даже своего рода фирменный знак Хундертвассера.

«Я был моряком, — говорит он, — занимался архитектурой, живописью, экологией. У каждого из этих занятий был свой смысл, своя цель. И все это похоже на разные сегменты луковичного купола, которые сходятся вместе, к единой цели — своей вершине».

Сегодня шестидесятисемилетний художник близок к своей вершине.

О. ХЛЕБНИКОВА

Проза, поэзия, статьи

1955

НИКОЛАУС ЛЕНАУ. Стихи, № 3.

1958

ЛЕОПОЛЬД ГРЮНВАЛЬД. Современная австрийская литература (Обзор), № 10.

1961

ЛЕОПОЛЬД ГРЮНВАЛЬД. Когда молчание нарушено (Статья), № 6.

1963

ЛЕОПОЛЬД ГРЮНВАЛЬД. Новая австрийская проза (Письмо из Вены), № 8.

1964

ФРАНЦ КАФКА. Рассказы, № 1.

1967

ГУГО ГУППЕРТ. Бригада двадцать первого января (Кузбасская баллада), № 6.

1969

РЕЙНГАРД ФЕДЕРМАН. Голос (Рассказ), № 3.

1970

РОБЕРТ МУЗИЛЬ. Тонка (Повесть), № 3.

1972

ЭРИХ ФРИД. Стихи, № 1.

1974

ИНГЕБОРГ БАХМАН. Стихи, № 3.

ПАУЛЬ ЦЕЛАН. Стихи, № 5.

1975

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ. Стихи, № 12.

1979

ВЕНДЕМИН ШМИДТ-ДЕНГЛЕР. Преодолеть отчаяние (Статья), № 8.

1980

РОБЕРТ МУЗИЛЬ. Рассказы, № 9.

1981

КАРЛ КРАУС. Афоризмы, № 8.

1982

ПЕТЕР ХАНДКЕ. Женщина-левша (Повесть), № 2.

1983

РОБЕРТ МУЗИЛЬ. Человек без свойств (Отрывок из романа), № 9.

ДЬЁРДЬ ШЕБЕШТЬЕН. Австрийская литература и ее связи с литературами дунайского региона, № 10.

ТОМАС БЕРНХАРД. Подвал (Повесть), № 11.

1984

КРИСТИНЕ НЁСТЛИНГЕР. Дуйбол — привет! (Повесть), № 12.

1985

СТЕФАН ЦВЕЙГ. Кристина Хофленер (Роман), № 7 — 9.

1986

ЭРИХ ФРИД. Труд каменщика и другие стихи, № 6.

1987

ЭРИХ ФРИД. Письмо в Москву Михаилу Горбачеву и другие стихи, № 10.

1988

ФРАНЦ КАФКА. Замок (Роман), № 1 — 3.

1989

ГЕОРГ ТРАКЛЬ. Рождение и другие стихи, № 11.

1990

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ.О фонтанах (Вглубь одного стихотворения), № 7.

1991

ВОЛЬФГАНГ КРАУС. В роли предтечи (Австрийская культура в силовом поле европейских течений), № 2.

1992

ГУСТАВ МАЙРИНК. Майстер Леонгард (Новелла), № 3.

РОБЕРТ МУЗИЛЬ. Душевные смуты воспитанника Тёрлеса (Роман), № 4.

ТЕОДОР КРАМЕР. Вырезки из газет (Криминальные баллады), № 11 — 12.

1993

ЭЛИАС КАНЕТТИ. Другой процесс. Франц Кафка в письмах к Фелице, № 7.

«Wespennest» (австрийский литературный журнал), № 11.

■

■Германия

ВСТРЕЧА ГЕРМАНИИ И РОССИИ

В 1995 году вышел в свет первый номер нового российско-германского журнала международного культурного общения «Via Regia» («Королевский путь») на русском языке. Немецкая версия журнала издается в Эрфурте с 1993 года Европейским центром культуры в Тюрингии (редакция под руководством Юргена Фишера и Клаудии Рушковски).

Издатели рассматривают свой журнал как место встречи и обмена идеями и культурными ценностями между Востоком и Западом, прежде всего Россией и Германией. Отношения двух стран были тесными с незапамятных времен — еще в германских эпических поэмах действует Илья Муромец. Взгляд на Россию из Германии, взгляд на Германию из России, самосознание России и Германии — в рамках этих тем рассматриваются проблемы социальной, исторической, политико-экономической и художественной культуры.

Подобное издание ценно тем, что позволяет немецким авторам напрямую, (точнее, через перевод) обращаться к русскоязычному читателю. В первом номере о связи Восток — Запад пишут Юрген Фишер и Юрген Паш; об особенностях сегодняшней воссоединенной Германии размышляет Петер Бендер; о взаимоотношениях экономики и культуры рассуждает Уве Леман-Браунс; об истории оригинального театрального эксперимента в Хеллерау напоминает Детлеф Шнайдер.

Иллюстрация к статье Бернхарда фон Леффельхольца. *(Журнал «Via Regia»).*

Особенно злободневную тему — финансирование культуры — затрагивает в статье «Эффективнее государства и коммун» Бернхард фон Леффельхольц (коммуна — самая малая административно-территориальная единица в Германии). Автор рассказывает о немецком опыте содействия культуре со стороны более тысячи различных фондов, утверждая : «Культура — это прежде всего победа над насилием». Этой мысли вторит название статьи Ренаты Решке «Жизнь без искусства немыслима», посвященной идеям Ф.Ницше об эстетике современной эпохи.

О тайных и явных конфликтах в писательской среде бывшей ГДР рассказывает Манфред Йегер. Оправившись от первого шока, некоторые литераторы из восточногерманских земель пытаются идеализировать социалистическое прошлое. Кристина Баше-Парнель дает утвердительный ответ на вопрос-заглавие своего обзора советской литературы 80-х и 90-х годов «Новое мышление — реалия прошлого?» И наконец, украшением номера стало стихотворение Марины Цветаевой «Германии».

■Испания

«ПРАЗДНОВАТЬ НЕЧЕГО»

Такое резюме сделал Рафаэль Санчес Ферлозио в книге «Ох уж эти коварные проклятые

индеанки!» (издательство «Дестино»), когда дым от фейерверков и салютов по случаю 500-летия открытия Америки уже рассеялся.

«Старый и Новый Свет не встретились, как нам твердят, а столкнулись», — напоминает он вслед за другими авторами, в том числе и Монтенем. Ведь конкистадоры «открывали» материк с чудовищной жестокостью, изгоняя и истребляя индейцев целыми племенами. Но автор отнюдь не винит лишь злодеев-завоевателей, ибо мечтой о великодержавной Испании бредили тогда многие, а имперские замашки господствовали и в других странах. Тем не менее ему стыдно за предков, считавших себя миссионерами христианства в Новом Свете. Даже так называемые варвары — древние греки и римляне — и те уважали чужих богов и не насаждали своих. Испанские же христиане оставили за собой кровавый след. И это — лик победы Креста?!

При встрече Старого и Нового Света расы не только воевали, но и смешивались, причем с не меньшим насилием. Задумаемся, однако, с чьей стороны его было больше, если потомки — в основном дети испанцев и индеанок, а не индейцев и испанок.

Рафаэль Санчес Ферлозио обращается к событиям прошлого и их последствиям исключительно как к эпизодам истории. Для него пять веков — исторический период, а не повод для празднования юбилея, и он умышленно уходит от споров на эту тему: ведь обсуждать юбилей — значит, признать факт его существования.

■ Канада

МЫ ВАМ ПОТОМ ПРИШЛЕМ...

К каким только ухищрениям не прибегают издатели для того, чтобы обойти тот или иной запрет и опередить конкурентов! Не так давно канадское отделение издательства «Пенгвин» нашло для этого еще один весьма оригинальный способ.

Критик, культуролог и преподаватель английского языка Фрэнк Дейви написал книгу «Сеть Карлы: культурологическое расследование знаменитых убийств». Она основана на реальном криминальном материале. Однако судебные власти наложили запрет на какую-либо публикацию до окончания процесса по одному из дел, о котором идет речь у Ф.Дейви.

Пока другие издатели ждали судебного приговора и последующего снятия запрета, «Пенгвин Кэнеда» прибегло к самоцензуре: книга Фрэнка Дейви появилась на прилавках в усеченном виде. Два процента текста (те самые моменты, на которые распространялся запрет) в этом издании отсутствуют, однако в каждую книгу вложена специальная открытка. Когда запрет будет окончательно снят, издательство вышлет недостающие части текста тем, кто отправит эти открытки по указанному адресу.

■США

ЧЕХОВ НА 42-Й УЛИЦЕ

Обойдя немало крупнейших театров мира, чеховский «Дядя Ваня» появился на 42-й улице в Нью-Йорке. Впрочем, начало у спектакля несколько неклассическое: под звуки джаза по ней шествуют прохожие, наши современники: вот поглощенные друг другом собеседники; вот девушка в джинсовой мини-юбке, а вот, наконец, и дядя Ваня. Все в последующих четырех актах идет уже по Чехову: дядя Ваня ревнует Елену; юная Соня влюбляется в доктора Астрова; доктор Астров, в свою очередь, влюбляется в Елену...

Когда труппа готовила этот спектакль, режиссер Луи Маль снял репетиции на кинопленку, а затем смонтировал фильм «Дядя Ваня» на 42-й улице». Каково же, однако, творческое участие находчивого кинематографиста? Оно весьма весомо: ведь точно подобрав самые удачные сцены, Луи Маль создал не документальный киноочерк о репетициях, а полноценную экранизацию пьесы о мучительном чувстве непрожитой жизни.

ОСТОРОЖНО: БИОГРАФИИ!

Сегодня средства массовой информации поражены «культом знаменитости»: лица «звезд» кино, эстрады, политики, спорта красуются на обложках бесчисленных журналов и книг. Биографии известных людей неизменно присутствуют в списках бестселлеров.

Однако насколько точны эти словесные портреты? На этот непраздный вопрос решил ответить журналист и биограф Денис Брайан. Итогом двадцатипятилетних изысканий стала книга «Честная игра: о чем умалчивают биографы» (издательство «Прометеус букс»).

Денис Брайан проштудировал биографии-бестселлеры и попутно исследовал документы, а также побеседовал со свидетелями, самими биографами, их критиками и сторонниками. Результаты оказались весьма тревожными: те, кто нажил миллионы на сомнительных книжках о знаменитостях, не просто неточны или неряшливы. Многие из них замалчивают неудобную для них информацию, перевирают важнейшие документы, передергивают цитаты и факты — и все это ради сенсационных «разоблачений».

Самая дурная репутация в этом смысле — у некой Китти Келли. Взявшись писать биографию Жаклин Кеннеди, эта особа поняла, что без «изюминки» ее опус потонет в океане аналогичных книг о жене президента. И Келли состряпала «сенсацию»: из-за трудностей в политической карьере мужа Жаклин Кеннеди якобы впала в депрессию, от которой ее избавляли с помощью электрошоковой терапии. Все эти волнующие сведения Келли чуть ли не силой выудила у жены какого-то анестезиолога (в его отсутствие), которая, естественно, понимала в этом ровно столько, сколько может домохозяйка понимать в анестезиологии.

После знакомства с биографией Фрэнка Синатры его жена Нэнси сказала о Китти Келли просто: «Надеюсь, она попадет под грузовик». Но Келли не угомонилась и в книге о Нэнси Рейган приписала госпоже президентше амурные проказы с Синатрой прямо в Белом доме. Когда же ее попросили хоть както это обосновать, она заявила, что любовникам достаточно остаться наедине... Дотошные журналисты тут же вспомнили, что в течение восьми лет по четвергам Рональд Рейган и Джордж Буш уединялись в комнате рядом с Овальным кабинетом для «личных завтраков», причем персоналу было строго запрещено беспокоить эту пару...

Немалых «успехов» достиг еще один производитель биографий — некий Чарльз Хайем. Основываясь на слухах, он объявил Кэри Гранта опасным бисексуальным шизофреником. Тот же Хайем «разоблачил» актера Эррола Флинна как нацистского шпиона. Оказывается, во время гражданской войны в Испании актер дружил с немецким врачом Германом Эрбеном. Врач был шпионом, а где один — там и два, рассудил «биограф».

Подобным «творческим» исканиям несть числа. В одной книжке утверждается, что гла-

Жертвы «биографов»: вверху — Эррол Флинн, Жаклин Кеннеди; внизу — Кэри Грант, Фрэнк Синатра и Нэнси Рейган.
(Газета «Глоб энд мейл ов Кэнада»).

ва ЦРУ сделал важное признание на смертном одре (будучи при этом без сознания); в другой — автор позволяет себе поразмышлять за президента Кеннеди и далеко заходит в своих фантазиях... Денис Брайан вовремя напомнил читателям, на что способны порой «писатели» и издатели ради наживы и хотя бы мимолетной известности.

■ЮАР

БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ О ПЕТЕРБУРГСКОМ МАСТЕРЕ

К десяткам англоязычных биографических произведений о Достоевском прибавилась любопытная новинка, изданная в далекой ЮАР. Дж. М. Кутцее — лауреат премии «Букер» за 1983 год — выбрал Федора Михайловича главным героем своего седьмого романа, «Петербургский мастер» (издательство «Вайкинг»). Как литературовед Кутцее строит повествование на фактах; как беллетрист он обращается с теми же фактами весьма вольно.

1869 год: Достоевский неожиданно приезжает из Дрездена, где скрывается от кредиторов, в Санкт-Петербург за останками своего приемного сына, умершего при странных обстоятельствах (на самом деле Павел Исаев пережил приемного отца на двадцать лет). Здесь при сборе нужных бумаг он узнает от следователя Михайлова (вымышленный персонаж), что Павел был членом террористической группы, которую возглавлял известный анархист Сергей Нечаев (документально связь Павла с анархистами не доказана). Не исключено, что Павла могли убрать как полицейские агенты, так и соратники.

Достоевский поселяется в комнате, которую снимал Павел; между ним и хозяйкой Анной завязывается роман. Меж тем совершается убийство пожилого сыщика Иванова. (В октябре 1869 года нечаевцы убили студента Ивана Иванова. В 1870 году Достоевский сообщил в письме издателю Каткову, что знает об этом деле только из газет.) Переодетый в женское платье Нечаев, скрываясь от полиции, появляется в квартире Анны, просит денег у ее дочери и получает их, несмотря на предостережения Достоевского. Затем он ведет Федора Михайловича в подвал, где стоит печатный станок, и после продолжительного спора требует, чтобы писатель переключился на создание подпольной литературы (в том же письме Каткову Достоевский утверждает, что незнаком с Нечаевым. Общеизвестно, однако, что его очень интересовала личность этого человека). В финале русский романист приходит к выводу, что смерть Павла была приманкой, чтобы завлечь его в Петербург, и он на нее клюнул.

По материалам газет «Паис» (Испания), «Глоб энд мейл ов Кэнада» (Канада), еженедельников «Таймс литерари саплмент», «Лондон ревью ов букс» (Великобритания), «Нью-Йорк таймс бук ревью» (США) и журнала «Via Regia» (Германия).

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

УРШУЛЯ КО́ЗЕЛ (URSZULA KOZIOL; род. 1931 г.) — польская поэтесса и прозаик. Окончила филологический факультет Вроцлавского университета, работала учительницей. Автор нескольких сборников стихов, трех книг прозы, сборника пьес. Лауреат национальных премий. Стихи Уршули Козел переводились на многие языки. По-русски печатались в сборнике «Современная польская поэзия» (М., 1971).
Публикуемые стихи взяты из сборников «В ритме корней» («Wrytmie korzeni», 1963), «Список присутствующих» («Lista obecności», 1967), «Избранное» («Wybór wierszy», 1976), «Жальник» («Żalnik», 1989) и из еженедельника «Культура незалежна» (январь 1991 г.).

ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ (CHARLES BUKOWSKI; 1920 — 1994) — американский писатель, уроженец Германии. Автор книг рассказов «Истории обыкновенного безумия» («Tales of Ordinary Madness»), «Заметки старого козла» («Notes of a Dirty Old Man»), «Самая красивая женщина в городе» («The Most Beatiful Woman in Town»), «Шекспир никогда не поступал так» («Sheakespeare Never Did This»); романа «Макулатура» («Pulp») и др. произведений.
Русский перевод романа Ч. Буковски «Голливуд» печатается в журнале «Искусство кино» (1994, № 9—12, 1995, № 1—2).
Предлагаемые рассказы взяты из разных сборников писателя.

ЗАТОНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1922 г.) — критик и литературовед, доктор филологических наук, член-корреспондент АН Украины, член Международной ассоциации литературных критиков. Автор книг «Век XX. Заметки о литературной форме на Западе» (1961), «Франц Кафка и проблемы модернизма» (1965), «Искусство романа и XX век» (1973), «Зеркала искусства» (1975), «В наше время» (1979), «Европейские реалисты XIX века. Линии и лики» (1984), «Австрийская литература в XX столетии» (1985), «Художественные ориентиры XX века» (1988) и многих статей в журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

ЙОЗЕФ РОТ (JOSEPH ROTH; 1894 — 1939) — австрийский писатель. В 1933 г. эмигрировал во Францию. Автор реалистических и сатирических романов из жизни послевоенной Европы: «Отель «Савой» («Hotel Savoy», 1924; рус.пер. 1925), «Бунт» («Die Rebellion», 1924; рус.пер. под названием «Мятеж», 1925), «Циппер и его отец» («Zipper und sein Vater, 1927; рус.пер. под названием «Циппер и сын», 1929), «Бегство без конца» («Die Flucht ohne Ende», 1927), «Марш Радецкого» («Radetzkymarsch», 1932; рус.пер. 1939), «Могила капуцинов» («Kapuzinergruft», 1938) и др.
Роман «Иов» печатается по первому изданию («Hiob». Berlin, Gustav Kiepenheuer Verlag, 1930).

ИЛЬЗА БРЕМ (ILSE BREM; род. в 1945 г.) — австрийская поэтесса и художница. Ее первая книга стихов «Отражения» («Spiegelungen») издана в 1979 г. Затем последовали другие сборники, в том числе «Ответ — молчанье» («Die Antwort ist Schweigen», 1987), «Шаги на меже» («Grenzschritte», 1990) и «Следы тишины» («Spuren der Stille», 1991).
Публикуемые стихи взяты из названных сборников. На русский язык стихи И.Брем переводятся впервые.

КАРЛ ЛЮБОМИРСКИЙ (KARL LUBOMIRSKI; род. в 1939 г.) — австрийский поэт и прозаик, член австрийского ПЕН-клуба и президент ПЕН-клуба Лихтенштейна. С 1962 года живет и работает в Италии. Автор поэтических сборников «Тишина — мера пространства» («Stille ist das Mass der Weite», 1973), «Постоялец жизни» («Untermieter des Lebens», 1976), «Меридианы надежды» («Meridiane der Hoffnung», 1981), «Отсутствие» («Das Ausbleiben», 1994) и прозы: «Жизнь поэта — поэзия жизни» («Dichterleben — Lebendichtung», 1977), «Багатели» («Bagatellen», 1990), «Тахира и Шахиди» («Tahira und Schahidi», 1994).
Публикуемые стихотворения взяты из книг «Свет и пепел» («Licht und Asche». Wien, Edition Atelier», 1987), «Взгляд и мечта» («Blick und Traum». Wiesbaden, Limes, 1981).

ХАЙМИТО ФОН ДОДЕРЕР (HEIMITO VON DODERER; 1896 — 1966) — австрийский писатель. Автор сборника стихов «Улицы и ландшафт» («Gassen und Landschaft», 1923), романов «Убийство, которое совершает каждый» («Ein Mord, den jeder begeht», 1938), «Окольный путь» («Ein Umweg», 1940). Наибольшую известность принес Додереру роман-дилогия «Штрудльхофштиге» («Strudlhofstiege», 1951) и «Бесы» («Die Dämonen», 1956). Затем вышел роман «Меровинги» («Die Merowinger», 1962). «Роман № 7» остался незаконченным.
Публикуемые «Очень короткие истории» («Neun Kürzestgeschichten») взяты из книги «Рассказы» («Die Erzählungen». München, Biederstein Verlag, 1972).

СТАХОВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1954 г.) — прозаик, эссеист, психолог. Его рассказы и эссе печатались в периодике (журналах «Новый мир», «Октябрь», «Континент» и др.), повести «Клад» и «Исполнительные
ги» — в сборнике «Метаморфозы» (М., «Iгресс», 1994).

ВАСИЛЬЕВА НАТАЛИЯ ГЕННАДИЕВНА — переводчик с венгерского и немецкого языков. В ее переводе публиковались новеллы М.Бабича, Й.Е.Тершанского, Э.Кестнера, А.Мушга и др. В «ИЛ» (1994, № 9) напечатаны ее переводы рассказов Р.Леттау, Х.Блюменберга, К.И. Тиса и обзорная статья, представляющая мюнхенский журнал «Акценты».

■ Переводчики:

АСТАФЬЕВА НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА — поэт и переводчик польской поэзии. Автор семи книг стихов. В «ИЛ» публиковались ее переводы произведений Я. Ивашкевича, В. Шимборской, К. Иллакович, А. Свирщиньской, Т. Новака, Е. Харасымовича, Ю. Корнхаузера и др. Лауреат польских переводческих премий ЗАиКС (1979) и ПЕН-клуба (1993), премий «ИЛ» (1986, 1989).

ГОЛЫШЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (род. в 1937 г.) — переводчик с английского. В его переводах издавались романы «Вся королевская рать» Р.П.Уоррена, «Свет в августе» У. Фолкнера, «Над кукушкиным гнездом» К. Кизи, «Теофил Норт» Т. Уайлдера («ИЛ», 1976, № 6—8), «Другие голоса, другие комнаты» Трумэна Капоте («ИЛ», 1993, № 12), повести «Большой налет» и «106 тысяч за голову» Д. Хэммета («ИЛ», 1988, № 7), «Когда я умирала» У.Фолкнера («ИЛ», 1990, № 8) и др. Лауреат премий «ИЛ» (1990 и 1993).

ГОЛЫШЕВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ (род. в 1968 г.) — математик, преподает в Российском государственном гуманитарном университете, переводит с английского.

КОГАН ВИКТОР ИЛЬИЧ (род. в 1949 г.) — переводчик с английского. В его переводе издан роман У. Берроуза «Голый завтрак» (М., 1994), рассказы Р. Дала и Ч. Буковски в периодике.

АРХИПОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1943 г.) — литературовед, публицист, переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Автор многих статей по немецкоязычной и русской литературе, преимущественно XX века. В его переводах изданы повести «Ленц» Г. Бюхнера, «Встреча в Тельгте» Г. Грасса («ИЛ», 1983, № 5), «Исследование одной собаки» Ф. Кафки, романы «Три товарища» Э.М.Ремарка, «Якоб фон Гунтен» Р. Вальзера, пьесы «Санта Крус» и «Граф Эдерланд» М. Фриша, рассказы Г. Бёлля, Ф. Фюмана, Й. Рота.

ФЕДОРОВА НИНА НИКОЛАЕВНА — переводчик с немецкого, шведского, нидерландского, английского, польского. За переводческую деятельность удостоена Государственной премии Австрийской Республики (1995 г.). В ее переводе изданы романы «Дорога в царство колоколов» Х. Мартинсона, «Кто-то дает сдачи» К. Арне Блома, рассказы З. Ленца, Ф. Фюмана, Р. Вернер, Т. Линдгрена, Л. Тырманда и др. В «Иностранной литературе» напечатаны рассказ Анны Зегерс «Каменный век» (1975, № 12), ее повесть «И снова встреча» (1978, № 11), романы «Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой» Ангелики Мехтель (1983, № 1), «Победителю достается все» Дитера Веллерсхофа (совместно с М. Рудницким, 1986, № 6—8, главы 8—14), новелла Ф. Дюрренматта «Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями» (1990, № 1), индийская поэма «Сиддхартха» Германа Гессе (1994, № 9).

ВЕБЕР ВАЛЬДЕМАР ВЕНИАМИНОВИЧ (род. в 1944 г.) — поэт, переводчик, публицист. Автор сборников стихов «Слезы — линзы» (на немецком языке), «Стихи и эссе» (М., 1992), «Тени на обоях» (на русском языке), «Избранные стихи и переводы» (М., 1995). Переводил немецких и австрийских романтиков, поэтов послевоенной Германии. Составитель нескольких сборников поэзии на немецком языке, в том числе двуязычного «Золотое сечение» (М., «Радуга», 1987).

СОКОЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ВСЕВОЛОДОВНА — переводчик с немецкого. С 1991 г. учится на отделении художественного перевода Литературного института им. А.М.Горького. В ее переводе опубликованы стихи У. Хан («ИЛ», 1994, № 2), Бориса Шапиро (М., 1994).

ВЕНГЕРОВА ЭЛЛА ВЛАДИМИРОВНА — критик и переводчик с немецкого. В ее переводе публиковались пьесы немецких драматургов Ф. Брукнера «Наполеон I», Д. Форте «Мартин Лютер и Томас Мюнцер», Ф. Брауна «Великий мир», П. Хакса «Амфитрион», «Пандора», «Разговор в семействе Штайн...», Х. Мюллера «Филоктет» и др. В «ИЛ» напечатаны ее переводы глав из книги Гюнтера Вальрафа «На самом дне» (1986, № 8,9), роман Патрика Зюскинда «Парфюмер» (1991, № 8), повесть «Голубка» (1994, № 9).

■

Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный **"ИНДЕКС"** с 500 000 ссылками, бесплатный **"ЕЖЕГОДНИК"** с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические **"ЕЖЕГОДНИКИ"**.

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последенем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.
Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.
"GREAT BOOKS" - "Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Орвелла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA". Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.
CD-ROM, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - "Britannica Discovery Library" в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.
"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.
"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма
"Мир Знаний",
эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"
Телефон в Москве: (095) 161 0775, 161 4049
Факс : (095) 161 0675
E.-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1995, №8, 1-256